8
1969

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

МАРИО БЕНЕДЕТТИ — Спасибо за огонек 10
КОБО АБЭ — Сожженная карта 110
БЕТТИ КОЛЛИНЗ — В медном котле (Окончание) 160

РАССКАЗЫ

ТИТУС ПОПОВИЧ — Смерть Илу (Вступление Кирилла Ковальджи) 75
СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ — Земля под яблонями 157

СТИХИ

ГАБОР ГАРАИ — Стихи разных лет . 3
УИЛЬЯМ ФАРАХ СИАД Стихи . . 71

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЛИРИКА ПОЛЯ ВЕРЛЕНА (К 125-летию со дня рождения) 198

КРИТИКА

И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ — Один год (Заметки о современном румынском романе) 205
Е. АМБАРЦУМОВ — Осторожно: прогресс! 213
Я. ЗАСУРСКИЙ — Бестселлеры и политика 225

8

АВГУСТ

1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ПУБЛИЦИСТИКА

СТАДС ТЁРКЕЛ — Улица Разделения: Америка (Предисловие С. Вишневского) . . 232
МОРТ САЛ, «МАРК ТВЕН ЭСТРАДЫ»... . . 249

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Г. **БОГЕМСКИЙ** — Горькие парадоксы Альберто Моравиа 225
Н. **ВАГАПОВА** — «Необходима литература ясная и смелая...» 258

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Из работ современных румынских художников (Цветная вклейка)

НАШИ ГОСТИ

Е. ПОМЕРАНЦЕВА — Поиски, раздумья, работа (Алан Силлитоу и Рут Файнлайт в «Иностранной литературе») 261

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

А. Турков «Жизни чудотворный ток» ◇ Кирилл Ковальджи — Сложность личных путей 264

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Ю. Кожевников — Обязан людям ◇ Е. Азерникова — За правдой на белом коне ◇ Владимир Огнев — Поиски новых форм ◇ Т. Мотылева — О мнимой объективности 267

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника . 275

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 288

На обложке: Картина румынского художника ШТЕФАНА ЛУКИАНА «Анемоны».

ГАБОР ГАРАИ

Стихи разных лет

Хроника

Пока из ребенка я становился мужчиной,
в мире под целыми странами, под континентами
клокотали ключи свободы.
Если в Кении перекрывали источник
грудою мертвых тел,
он пробивался в Конго.
И кровью моих многочисленных братьев —
желтотелых и чернолицых,
жестковолосых и краснокожих —
приобреталось право
отвергнуть рабство,
поверить в удачу.
Излучая сиянье,
пронзали космос плоды человеческих рук —
металлические ананасы земного лета.
Они улетали к Луне, бороздили небо,
пока из ребенка я становился мужчиной.

Дымно и жирно грибы висели над миром,
они —
как пираты —
смеялись над нашей надеждой
Но день ото дня плотней становилась сеть,
сплетенная из человеческих рук,
пока из ребенка я становился мужчиной.

Пока из ребенка я становился мужчиной,
моя горделивая нация
отвергла хмель превосходства.
И стала сильнее, чем прежде.
Она достойно несет Человечеству
то, чем богата:
мудрость народа,
его свершенья,
доброе слово и музыку радости.

Девятьсот дней...

Оставшимся в живых защитникам Ленинграда

Девятьсот дней, девятьсот ночей
тугая лавина взрывов.
Девятьсот дней, девятьсот ночей
сизая сталь винтовки.
Девятьсот дней, девятьсот ночей
голос железа и голода.
Девятьсот дней, девятьсот ночей
нет конца ни труду, ни сраженью.

Девятьсот дней, девятьсот ночей
невесомость горького хлеба.
Девятьсот дней, девятьсот ночей
немота на лицах погибших.
Девятьсот дней, девятьсот ночей
могилы, могилы, могилы.
Девятьсот дней, девятьсот ночей.
«Все умерли»,— пишет Наташа.
Девятьсот дней, девятьсот ночей.
А больше о ней — ни строчки.
Девятьсот дней, девятьсот ночей.
Под землей — целый город мертвых.
Девятьсот дней, девятьсот ночей
на земле сражается город.
Девятьсот дней, девятьсот ночей.
Город выстоял!
Скажете: чудо?
Девятьсот дней, девятьсот ночей
сердце Родины в нем стучало.

Девятьсот дней, девятьсот ночей.
Кто их вынес, тот тоже жертва.
Девятьсот дней, девятьсот ночей —
до сих пор они убивают.
Девятьсот дней, девятьсот ночей.
Никогда не исчезнет горе.
Девятьсот дней, девятьсот ночей.
Мир остывшему праху погибших!
И на тысячу лет
долгожданный
мир
городам, которые живы!

Земноводные

В руках благополучнейших граждан,
которые кокетливо сомневаются,
которые покачиваются на трамплине —
прыгать или не прыгать?
В их руках — крапленая карта,
в их руках — нелепая карта,
с ее помощью они загребают сомнительный
выигрыш,
чтобы потом меланхолично уплыть далеко-далеко,

повторяя: Ох, как мы разочарованы! Все было
напрасно!
Не ниспадет благодать на этот край,
где уже закатилось солнце...

В их сердцах навсегда поселилась мировая скорбь,
(неизлечима она — увы! — даже с помощью
шикарных автомобилей).
И под солидной внешностью продолжается
раздвоение:
— То, что есть — отвратительно!
Хорошо, если б было нечто!
Жаль, что в нечто не ходит
по расписанию пароход...

Надо как-то жить! — причитают они —
Ведь застывшее нечто не скоро станет наличными.
Так что лучше быть на любом посту,
Переждать, перебиться, перетерпеть.
Они обожают хвалиться босыми предками,
а сами в замшевой обуви меняют родину.
Пара проектов украденных, нервная клевета
и подленькая до жалости
придуманная биография —
вот из чего состоит типовая коллекция,
с которой они предлагают себя
на толкучке,
где за того, кто больше кричит,
больше платят.
А на выручку можно себе отрастить подходящие
плавники
И стать ни-рыбой-ни-мясом, стать земноводными...

И ходят потом покорные души
в мути стоячих вод.
Трутся возле чужих берегов,
сопят в темноте болот.

Они одиноки. Забыты. Пусты.
Проданы. Перепроданы.
Гордиться пробуют домом своим.
но что им заменит Родину?

Чуть-чуть оживляются в липкой возне.
тревожат тину зловонную.
И Родину вспоминают во сне —
ослепшие землеводные.

Сентябрьский свет

Этот сентябрьский свет ярче и ослепительней
знойного полыхания театральных прожекторов.
Пожухлый лист не желает расстаться с деревом.
Его черенок беззаветно вцепился в ветку,
хотя уже очень скоро — заморозки,
а значит — разлука.

Меж темными пятнами листьев пробилось сияние —
невыносимо яркий поток сентябрьского солнца,
у него уже нет тепла, есть только безумье —
я еще никогда не видел такого бодрящего кровь озноба!
Солнце уходит за листья, а потом опять
неистово хлещет по твоим зрачкам утомленным,
льется в гортань, в легкие, в ошарашенный мозг.

Остановись!
Разделилась дорога на десять дорог.
Лепестки взрываются, будто бетонные доты.
А на кончиках лепестков тебя ждет опасность:
цвет их похож на краску, которой красят ресницы.
Вдруг ты видишь легкий, почти прозрачный полет белья
от кровати до стула, это очень похоже
на полет фиолетовых перистых облаков.

Так начинается лихорадка начала осени,
лихорадка умирающих трав.
Этот сентябрьский свет ярче и ослепительней
превращения твоих ежедневных снов
в синтез химии и желаний.

Как водолаз равнодушный в лоно ленивой воды,
за далекую гору опускается солнце.
И багрово уходят вверх пузыри,
и вспененный воздух бурлит.

Выпей этот напиток —
и ты отрезвеешь.
И ничего не останется, кроме дороги,
кроме пепельного асфальта,
кроме желания жить
и мысли, что надо идти, идти.
Даже если свинцовый дождь,
даже если листва заржавела.
Надо идти, когда орех разорвет пожухлую скорлупу,
идти, когда спрячутся лужи под ледяною пленкой
и замигают в ночи, накренясь, осенние звезды.

Надо идти, потому что другого нет — есть только дорога!
Даже если зубы стучат от страха или от холода,
даже если тигриная пасть возникает из мрака.

Надо идти
ради того, что есть,
ради того, что бессмертно.
А потом услышать:
с дерева рушится лист,
как пара дроздов, на землю, в которой горе твое зарыто.

Перевод с венгерского Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО

■ ■ ■

Как мальчик из стакана — молоко,
спокойно, безмятежно и легко
я пью твою целебную любовь,
а с нею — ты в мою втекаешь кровь.
Я постепенно становлюсь тобой.
Твоя судьба слилась с моей судьбой.
Когда я говорю, то, значит, ты
мне подала сигнал из пустоты.
Когда иду, иду лишь потому,
что я иду по следу твоему.
Не вижу ничего — средь бела дня! —
прозрею, если взглянешь на меня...
О, чудо чувств! Как выдержать его
без доброго участья твоего?
Ты укрощаешь, как любовь велит,
все, что во мне безудержно бурлит.
И потому опять тебе шепчу:
будь тайной, я разгадки не хочу!

■ ■ ■

Трава, река, да я, да ты,
да твои глаза на стекле пустоты.
Последнего солнца последний след.
И еще — ракушка-амулет.

Бабье лето. Ранняя осень.
Поспешность объятий. Мельканье весел
гребцов, несущихся неутомимо
под кровавым солнцем — мимо, мимо...

И вечер. И больше ничего нет.
Ни того, что я ждал тебя несколько лет.
Ни того, что здесь были до темноты
трава, река, да я, да ты.

Слово на стене

На стене написано мелом
одно лишь слово: люблю.
Сколько лет — по серому белым —
метровые буквы: ЛЮБЛЮ!

Не знаю, кто написал,
кому написал, не знаю.
Буквы дождь облизал.
Ветер трепал их, как знамя.
Солнце, огненный гость,
прижгло их лучом горячим.
Но буквы, белые, как кость,
сияют все ярче и ярче.

Над ними сирены воют,
ржавеют тревоги зимние,
под ними — убежища войн,
под ними — руины дымные.
А они в минутной тишине
между двумя взрывами
кричат о звездной весне,
о праве живых быть счастливыми...

Где тот парень или девушка та,
чье первое «люблю» — война,
чья вынужденная немота —
эта говорящая стена?

Может, сейчас где-нибудь
вспоминают об этом лишь вскользь...
Но уже ничего не поделать:
буквы белые, как кость,
навсегда в эту стену гладкую
впечатаны белой клятвою,
чтоб любовь возвещала она.

И пока она есть, ничего не случится.
И будет утро зарею лучиться.
И будет мир и эта стена.

Перевод с венгерского ***РИММЫ КАЗАКОВОЙ***

Я поднимаю свой голос за тех...

Я поднимаю свой голос за тех,
кто выполняет на этой земле самое тяжкое дело:
трудится в черной грязи на прополке свеклы,
из-под скотины вывозит навоз на тяжелой тачке,
руками, пудовыми от усталости, месит раствор,
бетонными балками крепит своды.

Я поднимаю свой голос за тех,
кто лелеет новую формулу,
которая трепетно созревает
в кибернетическом чреве.

Я поднимаю свой голос за тех,
кто кидает в топку крошащийся уголь,
за тех, кто, орудуя рычагами, управляет плавучими
кранами,
за тех, кому помогает работа, а не молитва.

Я поднимаю свой голос за тех,
с кем неуклонно и робко
хожу по этой земле.
За тех, кто руки отогревает
у моей раскалившейся головы.

За тех, кто бормочет во сне
в такт дыханью коров и машин.
За тех, кто ежесекундно гибнет,
оставляя детям надежду и радость.

Я поднимаю свой голос за тех,
кто, может быть, за меня поднимает свой голос,
пусть даже случайно,
остановясь в стихийном сомненье.
За тех, кто рискует своею жизнью
в прохладной смертельной лазури,
повиснув в бездонном космосе,
как будто гигантский маятник,
качаясь от сердца к сердцу.

Я поднимаю свой голос за них —
за тех, кто знает одно-единственное
действие — доброе слово,
избавляющее от беды.
В этом слове слились дыхания наших детей
и родителей наших.

Неизменно оно и ново,
увядает оно и опять расцветает,
низвергаясь, опять устремляется в небо,
утешает оно, излучает радость
и звучит:
работа!

Перевод с венгерского Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО

МАРИО БЕНЕДЕТТИ

Спасибо за огонек

РОМАН

Перевод с испанского
Т. ВОЛГИНОЙ

1

На Бродвее близ 113-й улицы не только говорят на испанском языке,— правда, исковерканном и гнусавом,— здесь, можно сказать, думают, ходят и едят по-испански. Вывески, еще за несколько кварталов отсюда гласившие Groceries & Delicatessen, превратились тут в Groserías y Delicadezas. Здешние кинотеатры не показывают, как на 42-й улице, фильмы с Марлоном Брандо, Ким Новак или Полем Ньюменом — в этом районе с огромных афиш на прохожих смотрят Педро Армендарис, Мария Феликс, Кантинфляс или Кармен Севилья**.*

Наступил вечер одной из апрельских пятниц 1959 года. В такую пору суток наверху неба уже не видно, а внизу воздух кажется даже чище. Здесь, на углу самой длинной улицы Манхэттена, неоновые рекламы скромны, и все же они окрашивают в радужные цвета летящую на их свет мошкару. Испанский Гарлем на Бродвее не столь колоритен, как на Мэдисон-авеню; во всяком случае, сюда не заглядывают туристы из Айдахо и Вайоминга, чтобы запечатлеть пуэрториканцев на кодаковской пленке.

В этот час люди возвращаются к домашнему очагу, если так можно назвать убогие, перенабитые жильцами клетушки. Через открытые окна видны и потрескавшиеся стены в расплывшихся разводах от сырости, и взрослые, прикорнувшие на узких, неудобных койках, и босые дети, сопливые и верещащие; кое-где светится телевизор с пятнами жира или мороженого на экране.

*Улица бедна. Люди бедны. Фасады домов облупились. На физиономии, улыбающейся с рекламы кока-колы, кто-то мелом надписал: «Да здравствует Альбису Кампос!»*** Проходит слепец с бесстрастным лицом, неторопливо позвякивая монетами в жестянке.*

---

* Игра слов: по-английски Groceries and Delicatessen — бакалейные и кондитерские товары; по-испански Groserías y Delicadezas — дерзости и деликатности.

** Марлон Брандо, Ким Новак, Поль Ньюмен — американские киноактеры. Педро Армендарис, Мария Феликс, Кантинфляс, Кармен Севилья — популярные артисты мексиканского кино.

*** Педро Альбису Кампос — пуэрториканский поэт и общественно-политический деятель, один из лидеров националистического движения за независимость Пуэрто-Рико (недавно умер после многолетнего заключения в американской тюрьме).

Улица бедна, и большая сверкающая вывеска «ТЕКИЛЯ-РЕСТОРАН» (на которой буква «И», кстати, не горит) не вяжется со всем окружающим. Впрочем, к категории роскошных этот ресторан не отнесешь, и при беглом взгляде на прейскурант, прикрепленный в черной рамочке около дверей, легко сделать вывод: к его клиентуре никто из обитателей испанской части Гарлема не принадлежит. Это, собственно, не столько пуэрториканский ресторан, сколько что-то латиноамериканское вообще. Несмотря на ранний час, столы накрыты — скатерти, тарелки, обеденные приборы, салфетки. За столиком справа уже сидит парочка и, прижавшись головами, изучает меню.

В переднем салоне, окнами выходящем на Бродвей, пятеро официантов дежурят, ждут посетителей у трех десятков столов. В глубине зала — двухстворчатая дверь в отдельный кабинет, где подготовлен стол на двадцать персон. В кабинет ведет и другая дверь, небольшая, через которую можно попасть в узкий коридор и на кухню. В коридоре на узком и высоком столике, рядом со статуэткой, изображающей быка в тот момент, когда в него вонзают бандерильи, стоит телефон.

Зазвенел телефон — и из кухни немедленно появляется Хосе. Он — испанец, но за многие годы, прожитые в Нью-Йорке, совсем незаметно для самого себя привык пересыпать испанскую речь английскими словами.

— Алло, это «Текиля-Ресторан», speaking. Ah, you speak español. Да, сеньора. Нет, сеньора. Все типичное, национальное of course**. Нет, сеньора. Да, сеньора. Нет, сеньора. Все первосортное. А сколько гринго вы собираетесь привести? Да, сеньора. Нет, сеньора. Конечно, когда приходят гринго, мы приносим барабаны. Typical, you know***. И волынки. Никарагуанские? Да, разумеется. На любой вкус. Будьте спокойны, сеньора, все будет хорошо. А когда вам нужно? В следующую пятницу. О'кей, сеньора, я записываю. Что? Что? Ах, да, комиссионные? You mean**** ваши комиссионные? Это — естественно, но вам придется позвонить позже и поговорить с manager*****. Спросите мистера Питера. Мистер Питер Гонсалес. Комиссионные — это его дело. Да, конечно. Bye-bye******.*

Хосе выходит в передний салон, окидывает официантов внимательным взглядом и начинает раскладывать салфетки. Ему удается разложить только полдюжины. Снова звонит телефон.

— Алло. «Текиля-Ресторан». Speaking. О, сеньор посол. Как вы поживаете? Давно мы не имели удовольствия вас видеть здесь. И ваша супруга? Я очень рад, сеньор посол. Да, сеньор посол. Я запишу, сеньор посол. Да, сеньор посол. В следующую пятницу? Видите ли, сеньор посол, на этот вечер отдельный кабинет уже зарезервирован. Заказ поступил и принят. Кто? Я точно не знаю, сеньор посол, но думаю, кубинцы из Майами, из высших кругов. Конечно, сеньор посол, очень важно — именно это я и говорю. Разумеется. Тем более если вы хотите просто поразвлечься. Именно так, как вы говорите, сеньор посол: всегда и во всем профессиональная тайна прежде всего. Я так и знал, что вы поймете, сеньор посол. Да, да. Только никому об этом не говорите. Думаю, что это тайная вечеря. Придут ли гринго? Не уверен, сеньор посол, но кто-нибудь всегда приходит. Нет, сеньор посол, этого я не могу вам сказать. Профессиональная тайна. Вам бы не понрави-

---

* Говорит. А! Вы говорите по-испански *(англ. и исп.)*.
** Конечно *(англ.)*.
*** Типичное, разумеется *(англ.)*.
**** Вы имеете в виду *(англ.)*.
***** Управляющий *(англ.)*.
****** Пока-пока *(англ.)*.

лось, сеньор посол, если бы я сообщил, что в июне тысяча девятьсот пятьдесят седьмого вы здесь трижды ужинали с одной красоткой, которая оказалась потом сообщницей «барбудос». Нет, сеньор посол! Спите спокойно, я это только так, к примеру, говорю. Вы же знаете, я — могила. Не беспокойтесь, сеньор посол. Большое спасибо, сеньор посол. Я знал, что вы поймете. Итак, я резервирую для вас кабинет на следующую субботу. О'кей, сеньор посол. Желаю вам удачи, сеньор посол. Мое почтение вашей супруге.*

Хосе не успевает вернуться к своим салфеткам, как снова звонит телефон. Жест, который делает при этом Хосе, означает не покорность судьбе, а скорее сознание тяжкой ответственности.

*— Алло, «Текиля-Ресторан». Speaking... Питер? Наконец-то это ты, Педро. Нет, ничего не произошло. Просто ты мог позвонить пораньше. Уругвайцы? Нет, пока не пришли, но должны вот-вот быть здесь. Послушай, они транжиры, как аргентинцы, или бедняки, вроде парагвайцев? Скорее скряги? Я только хотел узнать: всегда лучше знать, с кем имеешь дело. Не переживай! Конечно, звонили. Между прочим, звонила эта старая сорока и сообщила, что в следующую пятницу к нам хотят прийти по меньше мере полтора десятка гринго, члены клуба ротариев. Я согласился. Она потом тебе позвонит — хочет получить комиссионные. По моему скромному разумению, стоит дать. Она всегда приводит много народа. Она андалуска, знаешь, настоящая образина, но ловчее ее нет никого, и завлекает гринго нашими музыкантами. Потом звонил посол. Что значит, который из них? Тот толстяк, который любит побаловаться марихуаной. Ну вот, теперь ты еще потребуешь, чтобы я тебе по телефону раскрыл «top secrets»**. Ему тоже нужен отдельный кабинет на следующую пятницу. Но раз уж я обещал старухе, и к тому же знаю, что ты предпочитаешь обойтись без осложнений, я сказал послу, что мы зарезервировали кабинет для кубинцев из Майами. Знаешь ли, так, пожалуй, лучше всего, потому что толстяк не станет связываться с госдепартаментом. Хорошо сделал? О'кей. Я перенес его визит на следующую субботу. Как? В субботу придут гватемальцы? Какие? Арбенсовцы или идигористы?*** Эх, черт побери! Почему ты раньше не предупредил. Послушай, предоставь мне это, завтра поговорю с послом, договорюсь о следующем воскресенье. А больше новостей нет. Bye-bye!..*

Теперь уже четыре стола заняты. Официанты — за исключением одного, самого высокого, который незаметно ковыряет в носу, скрашивая этим свое вынужденное безделье,— зашевелились. Они приносят с кухни то одно, то другое блюдо, но делают это не спеша, как бы сохраняя силы на то время, когда уж наверняка посетители хлынут лавиной. Но как только появляются три типа, слишком тепло одетые для нынешнего мягкого апреля, и садятся за столик в центре зала, пятый официант извлекает мизинец из левой ноздри и с натренированной улыбкой направляется к вновь пришедшим.

Четверть часа спустя двери главного входа распахиваются особенно шумно, и в зал гурьбой входят, смеясь и громко переговариваясь, восемь, десять, пятнадцать человек.

— Похоже, уругвайцы,— бормочет Хосе и идет им навстречу.— Вы — уругвайцы, сеньоры?

---

* «Бородачи» *(исп.)* — имеются в виду кубинские революционеры.

** Совершенно секретно *(англ.)*.

*** Арбенсовцы — сторонники бывшего президента Гватемалы Хакобо Арбенса, свергнутого в 1954 году в результате организованной империализмом США агрессии против этой страны. Идигористы — сторонники диктатора Гватемалы генерала Идигораса Фуэнтеса, ставленника Соединенных Штатов.

— Да,— отвечают хором по меньшей мере семь голосов.

Дородный, безукоризненно одетый мужчина лет шестидесяти делает шаг вперед.

— Мое имя — Хоакин Бальестерос. На прошлой неделе мы заказали стол в отдельном кабинете.

— Да, да,— подтверждает Хосе.— Будьте любезны, проходите сюда.

Хосе и высокий официант придерживают створки дверей, пропуская Бальестероса и его спутников. Всего их восемь мужчин и семь женщин. Бальестерос принимается рассаживать компанию.

— Мужчина, женщина... мужчина, женщина,— говорит он.— Так удобнее всего, не правда ли?

У женщин вырывается довольный смешок.

— А вы, Бальестерос, командуйте,— говорит кто-то из мужчин.— Показывайте, где садиться, и называйте нас по имени и фамилии. Так мы сразу и познакомимся друг с другом.

— Вы правы, Окампо,— соглашается Бальестерос.— Поскольку я решил собрать за одним столом пятнадцать уругвайцев, оказавшихся по различным причинам в Нью-Йорке, не будет лишним соблюсти формальность и представиться. Хотя, насколько мне известно, некоторые из вас уже сами познакомились, все же я принимаю предложение Окампо и буду рассаживать вас, оглашая имя и фамилию. Здесь, справа от меня, сядет Мирта Вентура. Рядом с Миртой — Паскуаль Беррутти. Рядом с Беррутти — Сèлика Бустос. Рядом с Селикой — Агустин Фернандес. Рядом с Фернандесом — Рут Амесуа. Рядом с Рут — Рамон Будиньо. Рядом с Будиньо — Марсела Торрес де Солúс. Рядом с Марселой — Клаудио Окампо. Рядом с Окампо — Анхелика Франко. Рядом с Анхеликой — Хосе Рейнач. Рядом с Рейначем — Габриэла Дюпети. Рядом с Габриэлой — Себастьян Агиляр. Рядом с Агиляром — София Мелоньо. Рядом с Софией — Алехандро Ларральде. И рядом с Ларральде, наконец, ваш покорный слуга — Хоакин Бальестерос. Идет?

— Вы не родственник Эдмундо Будиньо? — спрашивает соседка Рамона слева, Рут Амесуа.

— Я его сын.

— Сын Эдмундо Будиньо? Того, у которого газета? — доносится до Рамона теперь уже справа голос Марселы Торрес де Солис.

— Да, сеньора, того самого, у которого газета и фабрика.

— Черт возьми,— говорит Фернандес, выглядывая из-за Рут.— В таком случае вы — важная персона.

— В любом случае важная персона — мой отец, у меня же только агентство путешествий.

Утруждать себя выбором блюд не нужно: Бальестерос уже распорядился насчет меню — фаршированные помидоры, равиоли по-генуэзски, рис по-кубински, мороженое с фруктами.

— Я старался выбрать кушанья попроще,— пояснял свой выбор Бальестерос, когда принесли закуску.— Я хорошо знаю, что мы, уругвайцы, все страдаем печенью.

— Как кстати заговорили о печени,— сказал Хосе Рейнач.— Я вспомнил о своих таблетках.

— Как дела? Сделали много покупок? — спрашивает, ни к кому в отдельности не обращаясь, София Мелоньо — улыбка ее молодит лет на десять.

— Только электротовары,— отвечает сидящий напротив нее Беррутти.

— Где? В «Чифоре»?

— Конечно.

Селика Бустос с видом заговорщицы наклоняется к Беррутти и, как бы стыдясь своего вопроса, спрашивает его, что такое «Чифора».

— Как ? Вы не знаете? Это контора на втором этаже одного дома на Пятой авеню. Там делают баснословные скидки для латиноамериканцев.

— Ах, дайте мне, пожалуйста, адрес.

— С удовольствием. Пятая авеню, 286.

— Не подумайте,— говорит Бальестерос вполголоса на ухо Ларральде, — что «Чифора» знаменита только электротоварами. Там работает один кубинец, так он, представьте, достает чудесных девочек.

— О! Я запишу адрес.

— Не мешает. Пятая авеню, 286.

— А того служащего как зовут?

— Видите ли, я не знаю его имени. Но вы как войдете, так осмотритесь. Направо — секция с проигрывателями и телевизорами. Налево — стенд с эластичными чулками. Так вот там, за стендом, тип, о котором я говорю,— чернявый, худой, с глазами как у змеи.

— Я очарована всем! — восклицает Мирта Вентура, кладя руку на запястье Беррутти.— Всего неделю назад я приехала сюда и уже, вообразите, очарована. Радио-сити — великолепен. Ах, этот оркестр, то появляющийся, то исчезающий! А какой потрясающий органист, а ковры! Вы обратили внимание, какие ковры? Вы ступаете, и нога ваша утопает...

*— Радио-сити... Не тот ли это громадный зал, где танцуют «Rockettes» *? — спрашивает с другого конца стола Агиляр.*

— Он самый, он самый,— отвечает Беррутти,— какое совершенство!

— Об этом именно я и думал, когда смотрел на них вчера вечером. То, что у нас нет ничего,— это понятно, Монтевидео — глушь. Но в Буэнос-Айресе, где столько мест для развлечения, а? Скажите мне, Беррутти, что в Буэнос-Айресе можно сравнить с «Rockettes»?

— Вы имеете в виду только ножки или и то, как девушки вымуштрованы?

*— И то, и другое. И ножки, и муштровку. Вспомните «Майпу» **, и вам захочется плакать.*

— Ну, все зависит от того, когда вы были в «Майпу». Я, например, помню, еще в пятьдесят пятом там были две восхитительные брюнетки.

— Восхитительные, потому что пышненькие?

— Да, но и не только поэтому...

— Я спрашиваю оттого, что все — дело вкуса. Мне, кстати, нравятся не столько пышные, сколько стильные, такие как «Rockettes».

— Ясно, все дело вкуса. Мне тоже нравятся стильные, но чтоб при этом было, хм, и все остальное... опять же пышненькое.

Приняв намек на свой счет и стараясь не раскрывать, что это ей приятно, в беседу вмешивается Габриэла Дюпети.

— Вам не кажется, что этот разовор, как бы это сказать, стал уж слишком мужским?

— Вы правы,— соглашается Беррутти.

Наступает несколько неловкое молчание. Слышно только, как стучат ножи, вилки. Окампо с каким-то присвистом осушает бокал кьянти. Все смотрят на него с веселым удивлением, движения кадыка Окампо на несколько секунд привлекают всеобщее внимание.

— Прекрасное вино,— произносит Окампо, заметив, что все взгляды устремлены на него.

---

*Балерины кордебалета, выступающие на сцене театра Радио-сити в Нью-Йорке.

** Театр ревю в Буэнос-Айресе.

С левой стороны стола раздаются смешки, и Рейнач чувствует необходимость вмешаться.

— Вот чем и примечательна эта страна. В ней хорошо даже то, чего она сама не производит. Калифорнийские вина неважные, верно. Но здесь вы можете купить любое вино, из любой страны мира. Только вчера я купил бутылку токая, а это, как вы знаете, вино коммунистическое. Вот что такое широта взглядов! Вы понимаете, что это значит, когда США разрешают продавать у себя вина из коммунистических стран?

— А не перейти ли нам на «ты»? — говорит Фернандес, обращаясь к Рут Амесуа.

— Что ж, идея не плоха,— отвечает она и машинально смотрит на свои часики, которые показывают двадцать минут одиннадцатого.

— По-моему, лучше сразу переходить на «ты», а то потом труднее,— настаивает Фернандес. Он кладет вилку, на которой лежат горошинки, и в порядке рекогносцировки дотрагивается до обнаженной выше локтя руки девушки.

— Веди себя приличнее,— замечает она, и в тоне ее упрек и призыв. Как будто послушавшись, рука Фернандеса возвращается к вилке, но горошинки успели уже соскользнуть на фаршированные помидоры.

— Так вы замужем? — спрашивает Будиньо у сеньоры Солис.

— А разве я не похожа на замужнюю?

— Ну, я не знаю, как должна выглядеть замужняя женщина. Мне кажется, что вы чересчур молоды.

— Не так уж, Будиньо. Двадцать три.

— Ого, солидный возраст.

— Вы смеетесь, а иногда я чувствую себя старой.

— Знаете, мне это понятно, иногда я чувствую себя молодым.

— Но, помилуйте, Будиньо, у вас совсем молодое лицо.

Слева от Будиньо раздается нервный голос Рут.

— Почему вы не на «ты», как мы?

Рамон и Марсела, словно заговорщики, понимающе переглядываются.

— Признаться, мы еще не думали о такой возможности,— говорит Будиньо.— Но, пожалуй, подумаем.

— Неужели? — подымая брови, говорит Марсела.

— Подумаем... если весьма ощутимая разница — почти в двадцать лет — не смутит вас.

— Вас?

— То есть не смутит тебя.

— Нет, уверяю тебя, что нет.

— Я все-таки не могу понять,— ораторствует София Мелоньо,— почему мы так враждебно настроены к Соединенным Штатам, почему мы всегда ищем у них недостатки? Ведь это замечательная страна! И люди здесь работают по-настоящему, с утра до ночи, а не то что в Монтевидео, где одна забастовка кончается и начинается другая. Как ни прискорбно, но надо согласиться, что у нас рабочие — еще темный люд. А здесь нет. Здесь рабочий — сознательный человек, он знает, что его заработок зависит от работы, и держится за нее. Скажите мне, кто в Монтевидео трудится с утра до ночи?

— Думаю, что вы, сеньорита,— неожиданно заявляет Ларральде,— хотя бы пропагандируя свои взгляды.

— Не острите, Ларральде, вы прекрасно знаете, что мне нет смысла работать.

— Я так и думал.

— Этого еще не хватало, чтобы мы, девушки из хороших семей, превратились в конторских служащих. Еще один способ утратить женственность.

— Все зависит от обстоятельств, сеньорита. Иногда женщине приходится выбирать: умереть с голоду или утратить женственность.

— Любопытно, Ларральде, а вы не коммунист?

Беррутти поглощен Миртой Вентура, Фернандес флиртует с Рут, и Селика Бустос, отгороженная от компании спинами своих ближайших соседей, чувствует себя одинокой. Она решается заговорить с Агиляром, который в этот момент взглянул на нее.

— А вы что поделываете в Нью-Йорке?

— В Нью-Йорке я только проездом. Постоянно живу в Вашингтоне.

— Ну, а что вы делаете в Вашингтоне?

— Делаю расчеты.

— Расчеты? Опять ничего не понимаю. Кто вы? Бухгалтер? Инженер? Конторский служащий?

— Архитектор.

— Ну и чертовщина.

*— Я работаю в ОАГ *.*

— И вы довольны?

— Да, в известной степени.

— А что вы там делаете?

— Проектирую города. В основном для слаборазвитых стран.

— Неужели у нас настроят стерильные, симметричные, отполированные городки — похожие друг на друга, как две капли воды, лишенные своего лица?

— Тем не менее это лучше, чем трущобы и бидонвили. Разве не так?

— Да, конечно, но почему все-таки одинаковые?

— Выходит дешевле. Сейчас мы подготавливаем несколько проектов для Парагвая. Возможно, в будущем году мне придется поехать в Асунсьон на восемь-десять месяцев.

— Я не смогла бы поехать в Асунсьон.

*— Почему? Из-за Стресснера **?*

— Да.

— Там, в Монтевидео, я тоже так думал. Но считаю, что это ребячество. Подобными рассуждениями мы ничего не изменим. Когда я был студентом, я много работал в Уругвайской федерации студентов университета, потом мне надоело быть архипринципиальным и архибедным котенком. Возможно, я кажусь вам циником. Однако здесь мне прекрасно платят. Но, конечно, в Монтевидео у меня не осталось друзей.

— И вы довольны? Я хочу сказать, в душе вы довольны собой?

— О, вполне. Наступает момент, когда надо решить вопрос для себя — сохранять верность принципам или зарабатывать деньги.

— И вы решили.

— Да. Но я не буду поступать подобно некоторым из моих коллег, желая заглушить угрызения совести, они убеждают других, что все превосходно. Уверяю вас, это не так. И ОАГ — грязное болото. Но долларов я зарабатываю много.

— Мы ничего, абсолютно ничего не производим,— говорит Рейнач Габриэле Дюпети.— Как можно требовать, чтобы североамериканцы вкладывали капиталы в нашу страну, если мы ничего не производим. Для привлечения капиталов нужно иметь в наличии что-либо похожее на немецкое чудо — вот там работают. Меня приводят в восторг интел-

---

* Организация американских государств.

** Нынешний диктатор Парагвая.

лигентики, которые, сидя в кафе, настаивают на проведении более независимой политики. Для меня главное — выгодная сделка. И как коммерсант я утверждаю, что я не стал бы горевать, если бы у нашего Уругвая независимости несколько поубавилось, называйте его тогда как хотите — присоединившимся государством, долларовой зоной или, еще более откровенно, колонией. В коммерции понятие «родина» не столь важно, как в гимне, и зачастую дела идут в колонии лучше, чем в формально независимой стране.

Будиньо наливает кьянти в бокал Марселы, потом в свой.

— Ты не бывала в Бауэри?

— Нет, это что такое?

— Район пьянчуг. Там надо идти и смотреть под ноги, не то наступишь на какого-нибудь выпивоху, растянувшегося на панели или на мостовой. Зрелище удручающее.

— Испанский Гарлем производит тоже удручающее впечатление.

— Мне никогда не разобраться толком в пуэрториканском вопросе. Во-первых, чего стоит одно название «присоединившееся государство». Звучит оскорбительно! Национальное достоинство измеряется той или иной суммой долларов. Весьма напоминает продажу оптом. А теперь к тому же их поймали на удочку — в обмен на право свободного въезда в США они получили привилегию жить скопом в одной каморке, работать как лошади и зарабатывать при этом меньше любого американца. Нет, с этим нельзя согласиться

— А знаешь, какое чувство испытываю я к Соединенным Штатам? Ясно, что они отвратительным образом ведут себя по отношению к Латинской Америке. Достаточно вспомнить, что произошло в Мексике, в Никарагуа, в Панаме, в Гватемале. Мой брат немало рассказывал мне обо всем. И все это не может не вызвать возмущения. Но как только приезжаю сюда, обо всем забываю. Я ведь была и в Европе, однако Нью-Йорк — один из тех городов, где мне все по душе.

— И как твой муж разрешает тебе одной разъезжать по божьему свету. Он не догадывается, что это может быть опасно, по крайней мере для него?

— Нет. Дело не в том, разрешает или не разрешает. Просто мы с ним разводимся.

— А...

— Мое замужество длилось не больше шести месяцев.

— Вам нравятся доллары? — спрашивает Анхелика Франко у Клаудио Окампо.

— Кому они не нравятся?

— Вы только подумайте — они все одинакового размера! Что банковский билет в один доллар, что в сто. Как же американцам не стать хозяевами всего мира, когда у них такие красивые деньги? Кто устоит? Если бы вас, Окампо, захотели купить, вы смогли бы устоять? Я нет. Мне только покажи доллар, я сразу перестаю сопротивляться. Почему?

— Что же вам сказать? По-моему, одно из двух — или вы ужасно честолюбивы, или...

— Говорите, говорите...

— Или вы почти лишены предрассудков.

— Буду откровенна: я не честолюбива.

Агустин Фернандес не терял времени зря. Пока рис по-кубински остывает, его правая рука покоится на бедре Рут.

— Мне не следовало приезжать в Соединенные Штаты; всякий раз, как я оказываюсь здесь, меня бросает в жар при мысли об Уругвае, при мысли о том, как мы убоги. А здесь все значительно, все делается с большим размахом.

Рука медленно продвигается вверх.

— Веди себя прилично,— тихо говорит Рут.

— Наша философия — это философия танго,— спокойно продолжает хозяин руки.— Любимая девушка, старушка мать, футбол, мате, канья, старые кварталы Баррио Сур**, чувствительности хоть отбавляй. На этом далеко не уедешь. Мы мягкотелы, понимаешь? Обрати внимание, даже наших почетных гвардейцев называют «тряпками»***. Мы и есть тряпки, а надо, наоборот, быть твердыми, как эти типы. Делай бизнес, и все тут. Что годится — милости просим, что не годится — в сторону.*

Рука продвигается вперед, пока не нащупывает кромку трусиков.

— Агустин, нас заметят,— почти с отчаянием шепчет Рут.

— В плане социальном,— изрекает с невозмутимым лицом Фернандес,— наш Уругвай мне не нравится. В экономическом — тоже. В общечеловеческом и того меньше. Подумать только, что здесь перед нами такой пример, а мы позволяем себе роскошь его игнорировать. Ты себе не представляешь, как я всегда расстраиваюсь, приезжая в Нью-Йорк.

— Я не собираюсь возвращаться в Уругвай,— говорит сидящий во главе стола Бальестерос, обдавая горячим дыханием Ларральде,—может быть, когда-нибудь и придется временно, чтобы повидать мать и племянников, но остаться навсегда — ни за что.

— Не знаю, смог ли бы я настолько оторваться от Уругвая.

*— Конечно, смогли бы. Все могут. Знаете, что лучше всего излечивает тоску по родине? Комфорт. Здесь я его получил и теперь даже не вспоминаю Пасо Молино****. Приятно сознавать, что вы можете нажать кнопку и весь земной шар вам ответит. Жизнь здесь изумительно механизирована, не так ли? Как-то один субъект, кажется, мексиканец, сказал,—не иначе, чтобы испортить мне пищеварение: «Да, здесь все в высшей степени механизировано, но вы не задумывались над тем, сколько тысяч голодают в остальной Америке, чтобы североамериканцы могли нажимать свои кнопки?» Поверьте, пищеварение он мне не испортил, я только ответил... Знаете, что я ему ответил? Ха-ха! Я пристально посмотрел на него и заявил: «А мне, собственно, какое дело?»*

— Мне потому и нравится быть подальше от Монтевидео,— нашептывает Анхелика Франко, обращаясь к Окампо,— что это позволяет освободиться от предрассудков, которые мешают жить. Я, например, уверена, что если бы вы — а вы мне весьма симпатичны — сделали мне сейчас какое-нибудь предложение, которое в Монтевидео показалось бы возмутительным, или сказали бы что-нибудь грубое и двусмысленное, я бы не рассердилась. Вот что делает расстояние. В Монтевидео вы бы меня не узнали. Странно, но там я такая тихонькая, такая застенчивая, замкнутая, нерешительная. Здесь же, наоборот, я освобождаюсь от всего связывающего. Скажите, Окампо, совершенно откровенно, я вам кажусь застенчивой?

— Нисколько. Больше того, мне кажется, что вы чрезвычайно решительны, я сказал бы, агрессивны.

— Ах, как хорошо, что вы так находите. Вы не знаете, как приятно чувствовать себя свободной, решительной. Там все по-другому, там все

---

* Мáте — парагвайский чай. Канья — спиртной напиток из сока сахарного тростника.

** Пролетарский район Монтевидео.

*** Игра слов: во времена колонизации нынешнего Уругвая солдат, сопровождавших экспедиции, называли «бланденгес», это название сохранилось за теперешними почетными гвардейцами; кроме того, «бланденге» означает мягкий, бесхарактерный человек — «тряпка».

**** Один из торговых районов Монтевидео.

меня сковывает. Увижу Паласио Сальво и оробею, кто-нибудь сядет в автобусе рядом со мною, я — робею. Стоит какому-нибудь парню дотронуться до меня, хотя бы нечаянно, мне делается не по себе.*

— А здесь вы этого не чувствуете?

— Проверьте, Окампо, проверьте.

— Ну и вот,— признается Марсела Рамону Будиньо,— больше я так не могла. Неприятно сознавать, что возбуждаешь только вожделение. Женщина хочет, чтобы ее любили еще и за что-то другое, а не только за это.

— Я думаю, что любить тебя за что-то другое нетрудно. Помимо, разумеется, первого.

— Ты не принимаешь мои слова всерьез и смотришь на меня несколько снисходительно. Я кажусь тебе девчонкой?

— А ты и не похожа на взрослую.

— Тем не менее, уверяю тебя, ужасно побывать замужем и потом остаться одной. Пока не вышла замуж, я тоже была одна, но то одиночество другого рода. Тогда еще была надежда.

— Черт возьми, как сказано! Ты хочешь убедить, что в двадцать три года ты уже потеряла надежду?

— Нет. Теперь у меня есть опыт, и я знаю, что может не повезти.

— Все в жизни зависит от этой альтернативы — повезет или не повезет.

— Ну, а ты счастлив в браке? Какова твоя супружеская жизнь?

— Видишь ли, прошло уже столько лет с тех пор, как я женился, что обсуждать мою супружескую жизнь неинтересно. В ней нет ничего примечательного, понимаешь?

— У тебя есть дети?

— Сын. Ему пятнадцать лет. Его зовут Густаво.

— Должно быть, приятно иметь сына. Если б у меня был ребенок, я уверена, мой брак был бы спасен.

— Ну, расскажи еще мне.

— Однако кто же ты, скажи мне? Писатель? Журналист? Детектив? Ты заставляешь человека говорить, а сам ничего не рассказываешь.

— Я тебе уже сказал почему: мужчина, искушенный жизнью, женатый, имеющий сына,— всегда скучен, а девушка, как ты, молодая, красивая и без мужа, постоянно вызывает интерес.

Марсела медленно жует кусочек хлеба. Затем спрашивает с неопределенной улыбкой:

— Ты что, хочешь облегчить мне задачу?

На громкий смех Будиньо оборачивается Рут Амесуа, и Клаудио Окампо, и Хосе Рейнач. Лишь когда они возобновили свои было прерванные беседы, Будиньо весело посмотрел на Марселу.

— Знаешь, ведь до этого я не додумался. А мысль превосходная!

Теперь смеется она.

— Нахал.

На этот раз оборачивается лишь Окампо:

— Похоже, молодежь решила поразвлечься.

Мирта Вентура сняла жакет и выставила напоказ свое главное оружие — соблазнительно округлые плечи. Беррутти как бы невзначай бросает косые взгляды, но ему неловко слишком откровенно рассматривать все экзотические прелести этой бронзовой спины. И еще не зная, какова будет реакция, он разглагольствует:

— Мы совершаем ошибку с самого начала, со школьной скамьи. От-

* Одно из старых больших зданий города, расположенное в самом центре, здесь размещены гостиница и конторы, на первом этаже — кафе, известное как место свиданий.

сутствие религиозности, чрезмерная приверженность к светскому обучению. А потом еще рассуждения, что ребенок, дескать, должен свободно проявлять собственную личность. Я получал немало оплеух, когда ходил в частную французскую школу. Теперь же стоит учительнице взять за ухо кого-нибудь из юных принцев, которыми заполнены начальные государственные школы, как против нее сразу же возбудят дело.

— Я воспитывалась у доминиканских монахинь.

— Ну вот. И результат? У тебя есть индивидуальность, ты отличаешься от общей массы.

— Спасибо, Беррутти.

— Я это говорю не для того, чтобы польстить тебе, а чтобы подкрепить свой тезис. В Соединенных Штатах с богом связывают все: образование, конституцию, расовую дискриминацию, армию. Вот что мне здесь и нравится. Соединенные Штаты — глубоко религиозная страна, мы же, наоборот, светская. Потому-то мы и разобщены. Бог объединяет, неверие разъединяет.

Туфелька Мирты как бы случайно касается туфли Беррутти. Он не убирает ноги, хотя и не совсем уверен, что она не спутала его туфлю сорок второго размера с ножкой стола, и продолжает говорить с еще большим пылом.

— Я не требую, чтобы человек перестал грешить. Заблуждение, грех свойственны самой природе человека.

— Ты имеешь в виду первородный грех?

— Вот, вот, ты понимаешь меня. Однако грешить можно по-разному: не испытывая чувства вины, почти с радостью, как это делает атеист, или же грешить, как ты и я, по-христиански ощущая свою виновность перед богом.

— Я больше скажу: по-моему, сознание человеком своей вины придает греху особый привкус.

Беррутти отодвигает сантиметра на два свою туфлю сорок второго размера, и тотчас же туфелька Мирты настигает ее. Отбросив теперь всякие сомнения, Беррутти уверенно вскидывает голову, поправляет рукой растрепавшиеся волосы и развивает свои идеи дальше.

— Именно особый привкус. Как, должно быть, скучно атеистам. Совершишь грехопадение, а никто с тебя за это не спросит.

— Ужасно. Когда я думаю о таких вещах, у меня сжимается сердце.

— Потому-то великие произведения искусства всегда были воодушевлены грехом.

— А это, по-существу, означает, что, когда их создавали, думали о боге.

— Разумеется, если нет бога, нет и греха. Великие произведения изображали грех, ибо он запретен и наказуем. В этом и заключается суть эстетики: конфликт между грехом и виной. Точнее говоря, искусство — искра, которую высекают, столкнувшись одно с другим, запрет и возмездие.

— У тебя складно получилось.

— Не правда ли, здорово? Я додумался до этого сию минутку, пока разговаривал с тобой.

— Ты — необыкновенен,— говорит Мирта, а ее нога в нейлоновом чулке чувствует тепло другой ноги, проникающее сквозь синтетическую ткань брюк.

Ларральде пожимает плечами. По правде сказать, его не очень-то интересуют отдающие кастовым душком рассуждения Софии Мелоньо. Да и физически она не привлекает. Но София, видимо, взялась обратить его на путь истины.

— Ларральде, не заставляйте меня усомниться в справедливости

ваших слов. Только вы ведь смеетесь надо мной. Не скажете ли вы мне, где есть бóльшая свобода, чем здесь? Ну, ну, назовите хотя бы единственное место — бóльшего я не требую.

— В джунглях Амазонки, например. И что, обратите внимание, любопытно: там нет представительной демократии.

— Вот я и говорю, вы надо мной смеетесь. Как и полагается хорошему журналисту. Единственно, что вы умеете делать,— насмехаться.

— Не думайте так, сеньорита, мы умеем делать и еще кое-что.

— Не могли бы вы перестать называть меня «сеньорита»?

— Извините, я думал, вы не замужем.

— Так оно и есть, дурачок, но меня зовут София, а дома называют «девочка».

— А-а...

— А что, вы напишете обо всем, что видите?

— Разумеется, не обо всем...

— А почему не обо всем?

— Потому что нельзя, девочка. Говоря языком журналистов — надо подогнать Соединенные Штаты, которые мы видим, к тем Соединенным Штатам, с которыми нас знакомят в Монтевидео голливудские кинофильмы. Зачем писать о расовой дискриминации, если можно написать о частной жизни кинозвезды? Если я, например, расскажу, что в Сан-Франциско поэт-битник выбросился с третьего этажа лишь потому, что не принимал американский образ жизни, и, не убившись, так и остался при этом образе жизни, только с перебитыми ногами, то мой рассказ там не понравится, и редактор по телеграфу крепко отдерет меня за уши, посоветовав «не подкармливать хищников». Так что предпочитаю писать о преимуществах электронного мозга. Вот это им нравится. Электронный мозг — мечта наших министров финансов, футбольных тренеров и главарей контрабандистов. Точнейшие подсчеты, никаких случайностей, минимальное использование человеческого материала, и помимо всего — есть на что положиться. А вам нравится электронный мозг? Во многих слаборазвитых странах, в том числе и в Уругвае, пользуются пока его примитивным и ненадежным заменителем. Я имею в виду гороскоп. Но, смею сказать, электронный мозг заслуживает большего доверия. Именно такую мысль я проведу в будущей статье. Будьте благодарны, что об этом я сообщил вам первой.

— Вы немного пьяны, не правда ли, Ларральде? Можно поинтересоваться, для какой газеты вы пишете?

*— Для «Ла расóн» *. Но не ищите там инициалов А. Л. Обычно мои статьи появляются без подписи или под псевдонимом «Аладин».*

— Скажите, сеньор Аладин, под каким знаком зодиака вы родились?

— Под созвездием Девы.

— Под созвездием Девы? Значит, вы порывисты, чувствительны, деятельны, практичны, обладаете здравым смыслом, набожны, отличаетесь верностью. И... чрезвычайно работоспособны.

— Превосходная гадалка. Блистательно разбираетесь. Во всяком случае насчет работоспособности отгадали. Пожалуй, следует проверить на электронной машине столь замечательные, обнадеживающие данные о моей персоне.

Ларральде решительно берется за бутылку.

— А теперь выпейте вина, девочка, чтобы десерт лег как следует.

Слышен телефонный звонок. Он кажется далеким и несколько приглушенным отзвуком застольной беседы: на одном конце стола хохочет Бальестерос, живот его ритмично сотрясается в ответ на остроту Агиляра; в центре раздается громкий голос Габриэлы Дюпети: «Клянусь тебе,

* Буржуазная газета, выходившая в Монтевидео.

здесь я стыжусь, что я — уругвайка»; Окампо и Анхелика Франко нашли еще один повод для сближения и уже напевают дуэтом: «Ах, сердце, не обманывай себя». Так продолжается до тех пор, пока не входит Хосе, призывая к тишине.

— Сеньор Бальестерос, вас просят к телефону. Сказали, что это very urgent.*

От изумления Бальестерос внезапно перестает смеяться, у него начинается икота, которую он пытается заглушить кашлем.

— Боже мой, very urgent...— говорит он вставая и, слегка пошатываясь, выходит из-за стола. Он останавливается на мгновение возле Ларральде, опираясь на спинку его стула, и затем двигается дальше мелкими, нетвердыми шажками.

Замолчала Габриэла. Танго оборвалось на словах «...не думай, то не зависть иль тоска...» Под столом все руки и ноги возвращаются на исходные позиции. Марсела впервые за вечер дотрагивается до руки Рамона, лежащей поверх стола.

— Не знаю почему,— шепчет она с неподдельным волнением,— но у меня ощущение, будто случилось что-то плохое, касающееся всех нас.

*Уставившись на висящий на стене портрет Айка **, Рейнач жует, и временами слышно, как он причмокивает языком. София Мелоньо ломает пальцы. Селика Бустос спрятала носик в платке. Агиляр прикуривает сигарету уругвайской марки «Республикана», привезенную с родины, и подносит зажигалку к «Честерфилду», вздрагивающему в руках Фернандеса. Мирта Вентура натягивает жакет, ей предупредительно помогает Беррутти. Рут Амесуа чихнула, но никто не говорит «будьте здоровы». Рамон глубоко вздыхает и левой рукой, поскольку правую держит Марсела, берет бокал и допивает вино.*

Бальестерос возвращается, его не узнать. Всем ясно: произошло нечто такое, что отрезвило его сразу и окончательно. Он совершенно растерян, подавлен, кажется, вот-вот заплачет.

— Ужас... Страшная беда...

Он едва выговаривает слова, однако смысл их моментально доходит до всех.

— Где? — спрашивают одновременно несколько голосов.

— Там.

— В Уругвае? — подсказывает Ларральде.

— Да.

— Говорите же. Что случилось?

— Катастрофа. Страшное наводнение. Землетрясение в море. Точно ничего не известно. Позже мне позвонят еще раз. Все разрушено. Страна в развалинах. Вода затопляет улицы. Что-то невиданное. Страна как будто исчезла с географической карты. Все — селения и города — разрушено, снесено.

Рут Амесуа пронзительно вскрикивает, откидывается назад. Фернандес и Будиньо поддерживают ее. София Мелоньо громко всхлипывает. Селика Бустос устремила взгляд на стену, а слезы капают на вторую порцию мороженого. Габриэла кусает нижнюю губу, закрывает лицо руками. Рейнач, единственный из мужчин, не может сдержать слезы. Ларральде с трудом произносит:

— Откуда узнали?

— Мой сосед, мексиканец, услышал передачу последних известий по телевидению. И, зная, что я здесь, позвонил мне.

Анхелика Франко подносит флакончик с духами к носу Рут. Та приходит в себя, открывает глаза и тотчас же, плача, закрывает их снова. Мирта Вентура молится: «Во имя отца и сына...»

---

* Очень срочно *(англ.)*.

** Имеется в виду Эйзенхауэр.

Беррутти неодобрительно смотрит на нее и тоже спрашивает:

— А жертвы есть?

Бальестерос качает головой.

— Ну что вы заладили одно и то же, и так тошно. Откуда я знаю? Сообщили только, что страна больше не существует. Уничтожена, полностью уничтожена.

Несколько озадаченный Хосе наблюдает из угла за происходящим. Он идет в кухню и успевает задержать высокого официанта.

*— Wait a minute. *. Пока не давай им счет.*

Марсела тихо всхлипывает, оставаясь спокойной.

— Не верится, что могло произойти...

— Я так и знала. Помнишь, говорила, когда уходил Бальестерос. Я знала, что случится... что коснется всех нас.

— Какая трагедия!

— И Сесар там.

— Твой муж?

— Да.

— Тебя это волнует?

— Да.

— Это божья кара,— причитает Габриэла,— ведь я сказала: здесь мне стыдно, что я — уругвайка. Это божья кара, и я ее заслуживаю. Бедная мамочка. Бедная моя старушка. И брат. Не хочу думать об этом. Не хочу.

— Вообразите,— говорит Агиляр Селике Бустос,— только что мне хотелось разыгрывать из себя циника, а сейчас... комок подкатывается к горлу.

— Все уничтожено,— бормочет Рейнач,— все уничтожено, значит, и мой магазин тоже. Моего магазина больше нет. Не может быть. Вы же знаете мой магазин? На углу улицы Восемнадцатого июля и Габото. Ведь, в самом деле, он наряден? В прошлом месяце я сменил светящуюся вывеску. В магазине — вращающаяся дверь, два грузовика доставляли товары. Невероятно! А что я тут наговорил? Вы слышали? Во всяком случае вы, Габриэла, слышали меня. Я говорил, что мы ничего не производим. Это неверно. Уругвай — чудесная страна, Габриэла. Там можно работать, не испытывая страха. Мой отец — еврей, я — еврей. Я родился в Монтевидео, но я — еврей. У меня есть дядя, он убежал из Германии из-за чудовищной катастрофы. Нет, не землетрясение, но тоже чудовищно. Моя семья лишилась было всего. А в Уругвае нам никто не мешал. Чудесная страна. Можно работать и зарабатывать. И вот она исчезла. Больше ее нет...

— ...На земле и на небесах,— читает молитву Мирта Вентура,— ...хлеб наш насущный даждь нам днесь.

— Замолчи,— раздраженно говорит Беррутти.

— Как? — спрашивает она, крайне удивленная.— Разве ты не говорил только что?...

— Ерунда. Бог, если он все разрушает, не может существовать. Понятно? Как можешь ты молиться спокойно! У тебя там нет никого, кроме монахинь.

— Как же? Есть,— восклицает Мирта, заливаясь, наконец, слезами.— Там мой папа, бедный папа, бедный папочка.

— Посмотрим, вернет ли бог тебе твоего папочку.

— Какой ты жестокий!

— У меня двое детей. Понимаешь, двое детей — мальчик и девочка. Если бог убьет их, я хочу сказать — если они погибнут, клянусь этим крестом, я отрекаюсь от всего.

---

* Подожди минуту *(англ.)*.

— Она правильно говорит,—всхлипывает, стискивая зубы, София.— Это — кара. Кара за то, что я не работала.

— Не будьте наивной,— уговаривает Ларральде.

— Кара за мое пренебрежение к бедным, называла их сбродом.

— Да перестаньте, наконец, болтать глупости! — явно теряя терпение, кричит Ларральде и трясет ее за плечо.— Если бы это наказание предназначалось вам, исключительно вам, судьба не позаботилась бы спасти вас, наоборот, именно вы должны были бы оказаться в жерле вулкана.

— Но разве вы не понимаете, что так гораздо тяжелее? Разве вы не понимаете, что пугает сознание того, что ты бессильна, ничем не можешь помочь, даже не можешь сама увидеть, что там происходит. И вот... должна еще что-то сказать... Я должна признаться.. Все мои слова, сказанные ранее,— позерство, ложь. Мне нравится там Пусть наша страна — маленькая, незначительная, но она мне нравится. Я не могла бы жить здесь, среди этих роботов, расчетливых и изобретательных до абсурда.

Анхелика Франко торопливо вытаскивает доллары из сумочки. Она складывает их по три и рвет на кусочки.

Окампо перехватывает ее руку.

— Не впадай в истерику. Потом будешь раскаиваться. Разорвать сто долларов! Ты что, с ума сошла? Ты что-нибудь соображаешь, какой от этого прок?

— Конечно, это — возмездие за мою болтовню, за твои предложения мне. Доллары для меня ничто. Понимаешь?

— Ну-ну, не волнуйся, я и не собирался принимать все всерьез.

— И про мою застенчивость — вранье. Я никогда не была застенчива.

— Понимаю.

— И тут, и там — я везде такая, какой ты меня видишь. Я проститутка. Проститутка, и ничего больше.

Бальестерос безвольно свесил руки по обеим сторонам кресла. Грузный, нескладный, с покрасневшими глазами, с искаженным лицом, он похож на калеку.

— Вот видите,— говорит он, обращаясь к Ларральде, но глядя куда-то в сторону,— никогда ни от чего нельзя отрекаться. Всего минуту назад я клялся, что никогда не вернусь туда. А сейчас хотел бы быть там. Я отдал бы десять лет жизни, чтобы оказаться там. Неужели человеку нужно пережить землетрясение, чтобы понять, что́ ему дорого? Признаться вам? Я думаю о Пасо Молино, о том, что сейчас там одни развалины, и вот видите, я, шестидесятилетний старик, готов расплакаться как ребенок. Вы бывали в Пасо Молино? Помните там шлагбаумы, такие большие? Мне, знаете ли, очень нравилось, даже когда я вышел из мальчишеского возраста, постоять около них в сумерках и посмотреть, как проходят поезда. Иногда проходило сразу по три состава, и тогда они сливались, напоминая два непрерывных ряда автомобилей, автобусов или трамваев. Глупо, но мне доставляло удовольствие видеть, как наконец шлагбаумы открывались, и зрелище тотчас прекращалось.

— Сесар наверняка был в Сальто,— тихо говорит Марсела.

— Что он там делает? — спрашивает Рамон.

— У моего свекра — поместье, а занимается им Сесар, он и ведет все дела.

— А какой у тебя муж?

— То есть какая у него внешность?

— Да.

— Высокий худой с темными волосами У него зеленые глаза, тонкий нос, широкие плечи.

Марсела вытирает платком виски.

— Не тревожься раньше времени,— успокаивает Рамон.

В ответ Марсела улыбается чуть заметной, виноватой улыбкой:

— Ты утешаешь меня, подбадриваешь, а я, идиотка, и не вспомнила, что у тебя там тоже близкие.

— У нас у всех там близкие.

— У тебя отец, жена.

— Да, сын, жена, все.

— Боже мой, боже мой...

Не в силах больше сдерживаться, утратив сразу свое внешнее спокойствие, Марсела начинает плакать, не скрывая и не стыдясь слез, и произносит, без тени раскаяния, уже не рисуясь, просто, как будто она сама поняла все только сейчас:

— Я его люблю. Он нужен мне. Это невыносимо. Не может быть.

Будиньо смотрит на Марселу, зажигает сигарету и протягивает ей. Потом зажигает вторую — для себя.

— Густаво, Долли...— вырывается у него.

Когда вновь раздается телефонный звонок, все вздрагивают и застывают, будто в детской игре «замри». Снова входит Хосе. Говорить что-либо Бальестеросу излишне. Достаточно только посмотреть на него. Бальестерос встает и теперь уже не шатаясь, чуть не бегом устремляется к двери. Остальные вскакивают из-за стола и бросаются вслед за ним.

— Что?.. — выкрикивает Бальестерос, хватая трубку. Глаза всех прикованы к нему. Внезапно толстяк начинает медленно оседать. Хосе первый подхватывает его. Будиньо берет повисшую трубку.

— Я — друг Бальестероса. Ему плохо. Что там?

Он слушает. Потом слышится вздох. Будиньо с шумом выдыхает, словно полностью освобождая легкие от воздуха.

— Спасибо,— звучат в ушах у всех его слова.— Если бы вы знали, как мы вам благодарны. Да, Бальестеросу уже лучше. Потом он непременно позвонит вам.

Бальестерос открыл глаза и, запинаясь, просит Будиньо поскорее сообщить новости остальным.

— Все преувеличено,— говорит Будиньо.— Приятель Бальестероса слышал другое сообщение, и надо полагать, что предыдущее далеко от истины. Правда, было большое наводнение, действительно несколько селений внутри страны затопило. Но никакого землетрясения в море, никаких жертв. Просто наводнение на этот раз сильнее, чем бывало раньше.

Воцаряется глубокая тишина. Потом Рейнач издает какой-то неопределенный хриплый радостный звук, смутно напоминающий слово «магазин». Окампо, наклонившись, подбирает обрывки долларовых банкнот и отдает их Анхелике Франко.

— Склейте их, а потом обменяйте в каком-нибудь банке.

— Спасибо,— несколько смущенно произносит она. Прядь волос выбилась из ее безупречной прически и пристала к липкой от пота и слез щеке.

В углу Агустин и Рут целуют друг друга. Беррутти пытается подсесть поближе к Мирте Вентура, но она удерживает его ледяным взглядом, цедит сквозь зубы:

— Не трогайте меня, понятно?

Селика Бустос поворачивается к Агиляру — он привалился спиной к стене.

— Итак, ничего не случилось. Все на своих местах. Не так ли? Все идет по-прежнему, вам предстоит вернуться в ОАГ, пока смерть не разлучит вас с ОАГ.

София Мелоньо смотрится в зеркальце.

— Вид у меня безумный. Словно самой пришлось пережить землетрясение.

— Ну? — раздается рядом с ней голос Ларральде.

— Видите ли, все мы наговорили массу глупостей за сегодняшний вечер. Бесподобных глупостей...

Хосе решает, что его время настало. Он бежит на кухню и говорит официанту:

— Теперь давай счет.

Когда официант вручает счет, у Бальестероса мелькает мысль, что ему предстоит пережить еще одну хорошую встряску. Но он сразу же прикинул, что сумма не столь велика.

— А, проценты!

Подходят Беррутти и Рейнач, хотят помочь рассчитать, сколько придется на каждого.

— Надо делить на восемь. Женщины не платят,— предлагает Беррутти.

Двое других молча соглашаются.

Будиньо подает Марселе пальто.

— Ну и как? Страх пошел на пользу?

— Да,— отвечает она,— а тебе?

Подумав немного, он отвечает:

— Мне тоже. Но не очень.

Что-то в тоне Рамона Будиньо заставляет Марселу настороженно взглянуть на него.

— Ты только что называл: Густаво, Долли. Долли — имя твоей жены?

Застигнутый врасплох, он улыбается.

— Нет, это не имя моей жены.

Подбирая чаевые, Хосе ворчит:

— Десяти процентов и то не дали.

Компания медленно направляется к дверям. В переднем салоне, выходящем на Бродвей, все столы заняты. Кого-то из посетителей ресторана несколько шокирует вызывающее поведение Габриэлы Дюпети — она широко разводит руками и громогласно восклицает:

— В самом деле... Разве мы — не воплощение глупости! И когда поднимаем тревогу, она оказывается ложной. И все в этом убедились. Даже настоящей катастрофы на нас еще не обрушилось.

2

За открытым окном никакого движения воздуха. Торчащие кроны платанов неподвижны, лишь отдельные листья чуть-чуть дрожат, словно кто-то щекочет их. Я весь в испарине, будто каторжник. Воздух наэлектризован, но уже известно, грозы не будет. Что я могу себе сказать? По-моему, именно сейчас нужно задать такой вопрос. Раньше я всегда обманывал себя, всегда казался самому себе даже не таким, каким был на самом деле, предпочитал видеть жизнь в розовом свете... А по ночам, когда становилось невыносимо тяжело и я готов был громко зарыдать, я все же не рыдал, а беззвучно плакал, уткнувшись в подушку. В таком состоянии склонен к преувеличениям. Нельзя ясно мыслить, если грудь сжимает тоска или отчаяние. Лучше называть это состояние отчаянием. Конечно, только если речь идет о самом себе. Пусть другие навешивают

свои ярлыки — ипохондрия, неврастения, сомнамбулизм. Я же с самим собой договорился называть это состояние отчаянием. Я уверен, что именно сейчас наступил момент, когда нужно задать такой вопрос — в душе нет ни радости, ни уныния. Я, так сказать, просто спокоен, и все. Нет, вру. Я чудовищно спокоен, спокойно выгляжу. Так вернее.

Падают первые капли. Вот хорошо, подставлю им лицо. Здесь, в окне девятого этажа, я уже чувствую их прикосновение, а пешеходы на главной улице еще ни о чем не подозревают. Хоть раз оказаться впереди кого-нибудь. Не тот ли это момент, когда можно закрыть глаза и сказать: «*Мы не хуже других, и у нас, Будиньо, есть своя история*»? После того ужина с соотечественниками в Нью-Йорке в ресторане «Текиля» я снова и снова перебираю все в памяти. Если попытаться, можно все вспомнить. Надо только зажмурить глаза. Мы не хуже других, и у нас, Будиньо, есть своя история. Начнем.

Иногда мой сын думает, что он — значительная личность или же что ему предстоит стать таковой. Это, разумеется, заблуждение, хотя и не слишком серьезное в семнадцать лет. В семье не было, нет и не будет никакой другой значительной личности, кроме Старика. Предприимчивый делец, зажигательный оратор, выдающийся человек. Он затмил всех нас. Я всегда был только его сыном, а не Рамоном Будиньо. А мой сын всегда будет не Густаво Будиньо, а только внуком Эдмундо Будиньо. Даже мой дед в последние годы был лишь отцом Эдмундо Будиньо. Недаром все мы обращаемся к нему на «вы». Все — дети, внуки, невестки. Старомодно, однако он сумел сохранить этот обычай, сумел держать нас на должном расстоянии от себя. Каждому — свое. Нижестоящему — пренебрежение, вышестоящему — почтение. Вот как-то Рубен и Мариано заходят к Густаво позаниматься с ним, но не застают его дома. В этот момент выходит Старик, он останавливается, здоровается с ними, и Рубен о чем-то спрашивает его, уж не помню о чем. Старик тратит не меньше десяти минут на то, чтобы изложить свою точку зрения и принять традиционные выражения восторга. Они смотрят на него с восхищением, почти что с преклонением. И это понятно. Старику не важно, что его собеседники не ровня ему. Он со всеми говорит одинаково блестяще, убедительно, ясно. Густаво тоже восхищался им. Его, правда, несколько коробит, что дед с таким пылом и столь красноречиво защищает то, что, по мнению Густаво, обречено историей. Но он, несомненно, восхищается им. Хотелось бы мне, чтобы мой сын восхищался мною? Нет, впрочем, я не знаю.

А что делает этот голубь под дождем? Трудно ему. Так давно, так давно это было! С тех пор прошло тридцать пять, тридцать шесть лет. Нет. Ровно тридцать семь. До этого лишь отрывочные воспоминания, как фотографии в альбоме, а не целые, законченные события. Тогда он еще не был Стариком. Только Папой. Папой, о котором я часто и подолгу думал, когда мне было шесть лет. Ныне в игрушечных магазинах нет такого разнообразия игрушек. А тогда казалось, что игрушек — целое море. Трехколесные велосипеды, мячи, ролики, «чертики», лото, самокаты, оловянные солдатики! «Выбирай любую игрушку!» — сказал Папа. А я в это время рассматривал свой лакированный ботинок. Медленно поднимаю глаза. Медленно — чтобы постепенно, не сразу увидеть великолепное зрелище: море игрушек! За прилавком стоит хозяин. Он с трудом сдерживает улыбку. «Что, видать, глаза разбежались»,— говорит он. «Ну, выбрал?» — подгоняет меня Папа. Мне бы хотелось взять трехколесный велосипед, и ролики, и мяч, и солдатиков. Но надо выбрать что-то одно. Папа мне обещал: «Если ты позволишь доктору сделать укол и при этом не заплачешь, я сведу тебя к Оддоне и разрешу взять, что тебе больше всего понравится». Как это я вспомнил, что его звали Оддоне? Я не заплакал, и отец выполняет обещание. Больше всего мне

нравится коробка с солдатиками, но чересчур досадно, что именно она понравилась мне, ведь она дешевле всего. «Ну и задача, малыш»,— говорит Оддоне. Его лицо мне неприятно. Я стараюсь убедить себя, что мне хочется трехколесный велосипед. Я прекрасно понимаю, что велосипед — самая красивая вещь, и она будет по достоинству оценена мальчишками с нашей улицы Лагунильяс. Улица Лагунильяс. «Ну?» — снова спрашивает Папа, взглянув на часы. «Я хочу солдатиков». Говорю это, как всегда, плохо выговаривая слова. Потом, значительно позже, я понял, что и Оддоне, и Папе, по различным, но понятным причинам, показалось, будто их провели. «Подумай хорошенько, мальчик,— предупреждает меня Оддоне.— Разве самокат не лучше? У него резиновые шины, тормоз и звонок». Самокат, конечно, великолепен, но мне нравятся оловянные солдатики. «Оставьте его,— вмешивается Папа,— он знает, что может выбрать любую вещь». Я облегченно вздыхаю еще и потому, что Оддоне, расхваливая самокат, усилил мои сомнения. А я не желал никаких сомнений, мне хотелось, чтобы солдатики по-прежнему нравились мне больше всего, больше, чем любая новинка, какой бы потрясающей она ни была. «Я хочу солдатиков»,— повторяю я решительно, лишая Оддоне последней надежды. Папа улыбается. Смотрит на меня. Глаза у него голубые-голубые, но взгляд теплый. Он откусывает кончик сигары, сплевывает и говорит: «А мы возьмем десять коробок». Я обнимаю его ногу. Потом понимаю, что при этом мну безукоризненную складку на брюках, и слегка разжимаю руки. «Все разные?» — спрашиваю я, взволнованный, все еще не веря. «Все разные»,— подтверждает Папа. У Оддоне ревматизм, но он как обезьяна лезет по лестнице наверх и, возвратившись только с девятью коробками, с притворным разочарованием разводит руками. «Есть только девять разных серий»,— поясняет он. Не дожидаясь, пока кто-нибудь из них найдет другой выход, я поспешно говорю: «Тогда я хочу две коробки: вот с теми голубыми, на лошадках». Оддоне расплывается в улыбке. Папа тоже смеется. Я заливаюсь краской, но стою на своем и лишь снова принимаюсь рассматривать носок ботинка. На улице я чувствую, что все глядят на меня. Я не захотел, чтобы Оддоне присылал коробки с рассыльным. Кто знает, когда бы их принесли. И поэтому я несу их сам, в двух громадных пакетах, по одному в руке. «Ты похож на муравья,— говорит Папа,— дай мне хотя бы один пакет». Но я не хочу. У меня затекают руки, особенно левая, но я хочу сам нести свое сокровище. «Почему я похож на муравья?» — спрашиваю я просто так, чтобы убить время. Вероятно, я сказал: «Почему я похож на му...авья». Но сейчас я коверкаю слова отчасти нарочно, так как знаю, что мой неправильный выговор вызывает ко мне симпатию. К тому же так мне легче. Ведь, чтобы произнести «р», надо напрячь нижнюю челюсть и энергично повернуть язык. Папа улыбается. Волей-неволей его забавляет, как я выговариваю слова. «Потому что ты столько тащишь»,— отвечает он. Мы проходим еще один квартал. «Давай, не валяй дурака,— говорит Папа, наконец,— не съем же я их у тебя». Он забирает у меня один пакет. Уголком глаза я вижу его гетры, брюки, ремень с позолоченной пряжкой, голубой галстук с булавкой, крепкую шею, широкополую соломенную шляпу с черной лентой. Приятно идти вместе с Папой. Я не умел выражать свои переживания словами, но был доволен, чувствуя себя под надежной защитой. Приятно сознавать, что ты — сын этого безукоризненно одетого, элегантного, всегда чисто выбритого, уверенного в себе человека, который спокойно смотрит вокруг и имеет обо всем твердое суждение...

Дождь прекратился. Но свежее не стало. Старик ставит Густаво в тупик, когда захочет. Для этого он употребляет — и злоупотребляет при этом — все свое превосходство. Вчера вечером вынудил его разъяснить свою политическую позицию. Затем постепенно — с улыбками, шутками,

каламбурами, ну и некоторыми аргументами — измотал его настолько, что тот, обессиленный, замолчал. Я вдруг ощутил большую нежность к сыну, не обычную отцовскую нежность, а какие-то особые чувства как к человеку, отстаивающему, пусть неумело, свои взгляды. Старик сомневается, не уверен в своей правоте, однако и виду не подает. Густаво же убежден, что именно он, Густаво, прав, но ему не хватает уменья доказать это. Старик — старый волк, чемпион полемики, великолепно знает все ее тонкости и хитрости. Бедный Густаво — сосунок перед ним. Но я, пожалуй, держал бы ставку на него. За его неопытностью кроется убежденность. Ему посчастливилось быть с теми, кто понимает, в чем зло, кто рискует жизнью, пытаясь осуществить давнишнюю зыбкую мечту об освобождении. Меня в юности окружали совсем иные люди. Мы вполне отчетливо представляли себе, что несправедливость системы, при которой нам надлежит жить, оскорбительна для достоинства человека. Однако свое возмущение мы выражали у себя дома, наедине с самими собой. Ну, а что это значит? Возможно, мы верили в осуществимость наших мечтаний лишь теоретически, риторически. У нас не было глубокой, безусловной веры, впитанной с молоком матери. Мы полагали, что знаем, где добро, а по натуре были пессимистами, почти фаталистами в том, что касалось возможности победы, возможности окончательного утверждения добра, как мы его понимали. В среду у нас зашла речь о заявлении, по сути человеконенавистническом, одного сенатора из Арканзаса. «Не стоит беспокоиться,— сказал Мариано.— Это последние судороги утопающего». Вот в этом-то и разница. Мы же считали, что они непобедимы.

В кабинете Старика мне всегда не по себе. К тому же уже двадцать минут двенадцатого. Старика все еще нет. Лучше мне уйти.

Кто стучит? Знают, что я один у себя в конторе, и все-таки стучат. Лицемеры. Как им нравится прикидываться тихонями!

А какое мне дело до того, что говорит мне ослепительная пышнотелая секретарша, у которой между грудями колышется фунт стерлингов; секретарша когда-то привлекательная, но со слишком толстыми на мой вкус губами, с большими, но невыразительными бараньими глазами, изрядно глуповатая. Секретарша уже не соблазняет. А мне что за дело? Я знаю, что мне еще нужно просмотреть программу «Путешествуйте весело» и список сорока четырех туристов, намеревающихся провести лето в Мар дель Плата *, так как Пунта дель Эсте ** им не по карману. Вот до чего мы докатились. Пусть она положит сюда бумаги. Вот сюда, именно сюда. Тогда ей придется наклониться, и я увижу, что она прячет под фунтом стерлингов. Какая ерунда. Как-то я заметил Ансуэле, что если она весит семьдесят килограммов, то пятьдесят из них наверняка, расположены спереди. Мать всей вселенной. Не женщина, а молочная ферма. Если бы только она не была так глупа. Лучше, если она все оставит. Я просмотрю. Я не могу спокойно работать, когда тут, передо мной, торчит эта кормилица по призванию. До свидания. Сзади она не так хороша. Слишком низкий таз, гораздо ниже, чем у Марселы или у Сусанны. Сегодня я уже второй раз вспоминаю Марселу. Я так и не знаю, помирилась ли она со своим Сесаром.

Сусанна все же умна. Даже чересчур. Теперь все кончилось. Через две недели восемнадцатая годовщина. Какая же это свадьба? Картофельная, мыльная или еще какая-нибудь? Жена раздражает меня, не влечет к себе, а почему, не знаю.

Итак, программа «Путешествуйте весело». «Во время путешествия

* Курортный городок в Аргентине.
** Фешенебельный курорт в Уругвае.

вас неизменно будет сопровождать музыка, причем гарантируется, что тридцать процентов ее — Гардель*, остальное — по выбору, но только популярная. Не бойтесь, друзья, никаких Бахов, Прокофьевых, Бартоков не будет. «Путешествуйте весело» предоставляет вам гида, который знает наизусть девяносто три анекдота, в том числе двадцать пять достаточно соленых, для представителей мужского пола. За программу «Путешествуйте весело» вы можете заплатить с болью в сердце, делая обременительные для вас ежемесячные взносы, которые обеспечат вам полуголодное существование на несколько полугодий. «Путешествуйте весело» уничтожит вас как личность, позволит вам незаметно, но за высокую цену стать частью великого целого, именуемого «Коллективная экскурсия». «Путешествуйте весело», сокращенно «П. В.», будет думать, страдать, потеть, наслаждаться за вас и... зарабатывать на вас. Зачем вам сидеть дома, если можно путешествовать, пум-пум!.. А если можно путешествовать, то почему не «путешествовать весело», пум-пум!..» Этот сочинитель и впрямь выжал все из своих мозгов. Его творение благоразумнее пустить до и после информации. Надо позвать секретаршу, ослепительную, пышнотелую, глупую и т. д.

— Я подписал, сеньорита. Попросите пустить это до и после информационного сообщения.

Приятно ехать по набережной. Лучшее время дня. Только сейчас и можно отдохнуть за рулем. Уж не уговорил ли я самого себя — и тоже «путешествую весело»? Вот как раз здесь, у выезда на набережную Президента Вильсона, на прошлой неделе лежал мертвец. Воспоминание о нем и сейчас невольно приводит в содрогание. Какое жуткое у него было лицо. И все же каждый раз, проезжая здесь и вспоминая о нем, я как бы смакую свои ощущения. А его страшный язык! Но почему такое зрелище и отталкивает и одновременно притягивает меня? Первый увиденный мною покойник не вызывал отвращения. Предпочитаю того, первого. Три раза я вбегал, и всякий раз мне говорили, что нельзя шуметь. Я знал, что они правы, но забывал об этом. Там, в глубине комнаты, в самом отдаленном от окна углу — мой двоюродный брат, с белым, как простыня, лицом, с худенькими, неподвижными руками. «Ему ничем не поможешь»,— сказал дядя Эстебан, поднося платок к глазам, и все женщины вышли в сад, чтобы спокойно поплакать. Месяц тому назад Виктор упал возле клумбы с геранью, и всем запомнилась кровь, вылившаяся из ранки,— она была бледной, словно разведенной, рядом с сочным, вызывающе жизнерадостным цветком растения. Виктора подняли под громкие причитания тетушек, положили на родительскую кровать, и с тех пор в дом зачастили врачи, какие-то личности в халатах, которые делают уколы, родственники, справляющиеся о здоровье. Я живу в постоянном ожидании чего-то. В чехарду играть не могу — нет товарища. Тем более в прятки, не от кого прятаться. Странно, но с тех пор как заболел Виктор, одному мне играть не хочется, даже с солдатиками. Я играю только в камешки, кегли, кручу волчок. Но волчок не всегда удается завести, и потому он мне надоедает. Я придумал, как играть в камешки одному. А то просто ношусь по саду, подражая свисткам на железной дороге, то ржанью лошадей, то гудкам грузовика, на котором развозят молоко, или выкрикам газетчика. Играть одному весело, если бы сам этого захотел, а не тогда, когда тебе ничего другого не остается. И уж совсем мне не хочется быть со взрослыми. Все страшно заняты болезнью Виктора. На меня никто не обращает внимания. Я всего лишь здоровый ребенок,

* Карлос Гардель — знаменитый аргентинский певец, исполнитель танго, погибший при авиационной катастрофе еще в 1935 году, но записи которого популярны до сих пор.

который регулярно ест свой суп и чурраско *, предварительно разрезанный мамой. Я — нормальный, здоровый ребенок, меня не нужно накачивать инъекциями и сыворотками. Иногда мне хочется, чтобы у меня тоже было кровоизлияние, но тут же я спохватываюсь и решаю — все же лучше бегать по саду. Раза три я врывался в комнату, но потом уже накрепко запомнил, что этого делать нельзя. Бессознательно, подчиняясь инстинкту, я осторожно, тихо вхожу в комнату Виктора. Все ушли. Все, кроме тети Ольги. После долгих бессонных ночей, проведенных у постели умирающего сына, она заснула, сидя в плетеном кресле. Затылок ей свело, руки скрючены усталостью и отчаянием. Волосы растрепаны, полуседая прядь падает на лоб и шевелится от прерывистого, похожего на всхлипывания дыхания. Впервые я замечаю, что у тети старое, морщинистое лицо. Глаза Виктора закрыты, он лежит неподвижно. Я тоже не двигаюсь, но глаза у меня широко открыты, я окидываю взглядом вещи, разбросанные на этажерках, на комоде, на ночном столике. Вон там, например, лежит бинокль для скачек, который как-то раз дал мне дядя Эстебан, чтобы я вблизи крупным планом мог увидеть лицо Папы, которое, однако, предстало передо мной с противоположного тротуара маленьким и далеким. А вон там книги, где изображены различные национальные костюмы, а также том испанского словаря с разными флагами. Все это Виктор просил в первую неделю болезни, когда еще мог сидеть, разговаривать и даже сердиться. А вот красный «конструктор» с наполовину собранным подъемным краном. Тут же моя доска и мел. Я по-прежнему стою неподвижно, озираясь по сторонам, ожидая сам не знаю чего. На простынях чуть заметно шевелится измученное лицо Виктора. Едва, едва, но шевелится. Он открывает глаза, и кажется, что взгляд его устремлен вверх. Слабо, беззвучно двигаются губы. У меня нет сил подойти. Я прирос к полу. Да я и не хочу подходить. Что-то происходит, и это я понимаю прежде, чем голова Виктора чуть заметно поворачивается, а широко открытые и невидящие глаза уставляются в стену. Тетя Ольга храпит и стонет. Она шевелится в кресле, но продолжает спать. Я не хочу быть здесь, когда она проснется, не хочу видеть ее отчаяния. Осторожно, тихонько я наконец делаю шаг и протягиваю руку к биноклю, не замечая, что беру его неправильно, и, приставив бинокль к глазам, вижу на кровати маленькую, далекую, почти невидимую, как бы уже ушедшую в другой мир голову Виктора. Но мне не страшно. Я кладу бинокль на консоль и выхожу на цыпочках, почти не дыша. В смятении, словно лунатик, я бреду в сад. Навстречу мне идет Папа. Он сразу догадался о том, что произошло и что я все видел. Папа погладил мои волосы и положил руку мне на плечо. Помолчав немного, он взял меня за подбородок и заглянул в глаза — очевидно, хотел убедиться, что я плачу. В моих глазах, должно быть, отражалось изумление, но они были сухи.

А вот сейчас я, как ни странно, плачу. Не сильно, однако плачу. Опущу стекло, чтобы ветер высушил глаза. Не хочу, чтобы Сусанна заметила. Может, после сорока плачется легче, чем в восемь лет? Не знаю... Вот скотина! Как это он умудрился обогнать меня справа. Ясное дело, женщина...

Мне всегда нравилось растянуться вот так, как сейчас, на огромном камне и смотреть на море. И почему это у меня такие волосатые ноги? Хм, девушка. Недурна, только слишком белая. Боже мой, как она сожгла кожу. Разве поверишь, что этот тип ласкает ее с нежностью? Лучше уж буду смотреть на небо. Ни одной чайки... Простыни были холодные. Вверху — недосягаемо высокий, в пятнах потолок. Электрическая лам-

* Кусок мяса, жаренный на углях.

почка висела на длинном шнуре, обсиженном мухами. «Ему уже семь лет,— говорит тетя Ольга.— Вы будете отдавать его в какую-нибудь школу? Наверно, в частную». Папа отвечает, что спешить некуда. «Если вы собираетесь отдавать его в частную школу, то тогда, действительно, можно не спешить,— рассуждала тетя,— потому что там учат хорошо, и он нагонит упущенное время. Тогда как из народной школы выходят бунтари и недоучки». Папа, как бы между прочим, спросил: «А ты что, ходила в народную школу?» Мама рассмеялась, он — нет. Не смеялась, конечно, и Ольга... «Так или иначе мы отдаем его в частную школу, но не по тем причинам, о которых ты говоришь, а для того, чтобы он выучил язык».— «А...— произнесла тетя Ольга,— в британскую?» — «Нет, в немецкую». — «Прямо сейчас?» — «Прямо сейчас,— ответил Папа,— мне нравится этот язык, и я хочу, чтобы он учил его с детства». Итак, прежняя жизнь кончается, думал я, лежа в постели. Простыни холодные, но мама меня хорошо укутывает. Мне исполняется уже семь лет. Прежней вольготной жизни приходит конец, и я не очень уверен, что перемены придутся мне по душе. Школа есть школа, неважно какая. А что значит именно народная школа? Чем она отличается от частной? Школа — это ученье, другие ребята, дисциплина, учителя, уроки. Стало быть, у меня появятся обязанности. Иногда приходит Виктор, и мы играем в прятки, в чехарду, но мне больше нравится быть одному, с моими игрушками, в придуманном мною мире, сочинять истории о героических подвигах, о революциях и представлять все в лицах. «Богатое воображение искателя приключений»,— говорит мама. «Скорее критика, чем искателя приключений»,— говорит Папа. Я погружаюсь в мир вымышленных событий. Вот холм, самолет, маяк. Никогда не забываю забраться повыше, чтобы лучше видеть всю панораму. Мне нравятся оловянные солдатики, потому что я могу вести их за собой, формировать из них отряды, рассредоточивать их, разбивать в бою, награждать, считать погибшими. При этом чувствуешь себя облеченным властью, всемогущим владыкой сотен подчиненных тебе судеб, единственной, неповторимой личностью, жесты и поза которой вошли в историю.

Ага, вот наконец-то чайка... Ложась спать, я всегда казался себе беззащитным, ничтожным. Ничтожным, когда, например, смотрел на высокий, но ветхий, в пятнах потолок, который грозил вот-вот рухнуть. И он как-то рухнул, куски штукатурки упали на кухарку, и она была вся в крови. Я ощущал свое ничтожество, разглядывая светящиеся нити электрической лампочки и неподвижно сидящих на шнуре, словно в каком-то ожидании, пять мух. И я сочиняю сказку. Когда перед тем, как лечь спать, в последний раз придет Папа и погасит свет, мухи в темноте станут огромными, раздуются, превратятся в черных чудовищ и будут летать надо мной, изредка касаясь своими лапами, громадными и волосатыми. Я знаю, что все это — лишь плод моего воображения, но испытываю трепетное наслаждение, вызывая в себе этот особый, понятный только мне страх. А когда я кричал, пытаясь стряхнуть с себя густую, плотную, непроницаемую тьму, этот крик бывал искренним, он вырывался помимо моей воли и сознания, инстинктивно, будто не я сам придумал все свои страхи. И тогда быстро входил Папа в полосатой пижаме, зажигал свет, и все страшное, конечно, исчезало. Но я успокаивался только на время. Я придумал, что ужасные чудовища при свете снова превращаются в мух, замерших на свисающем с потолка шнуре. В темноте происходят и другие превращения, каждую ночь разные. В углу — вешалка, на нее кто-нибудь всегда вешает пальто, пиджак или халат. Какими обыденными и мирными кажутся они при дневном свете или когда горит электрическая лампочка. Но в темноте каждая вещь приобретает свой истинный облик, каждый раз новый. То халат превра-

щается в носорога, то пальто—в жирафа, да еще с головой гиппопотама. А в эту ночь, в день моего рождения, вместо куртки и широкого шарфа появился громадный бык с головою тети Ольги. Я никогда никому не рассказывал об этом. Это тайна — моя и моих чудовищ. Будет ли в школе такая же непроницаемая темнота? Или там всегда будет солнце, как в патио? Вот входит Папа, и я притворяюсь, что сплю. Он целует меня, я что-то бормочу, будто во сне. Слышу, как щелкает выключатель. Снова темнота. Я ее чувствую сквозь веки. Папа уходит. В правой руке я крепко держу оловянных солдатиков, которых мне не позволяют брать с собой в постель, так как я могу поцарапаться, да к тому же еще и разорвать простыни. Я крепко держу солдатиков, но знаю, что в этот момент я больше не властелин, не всемогущий генерал, стоящий во главе целого войска, а беззащитный мальчишка, который не осмеливается открыть глаза, потому что, пока глаза закрыты, веришь, что с мухами на шнуре не произойдет волшебных превращений...

...А девушка-то. Вот и она разгорячилась под солнцем. Разве скажешь, что и она смотрит на своего спутника с нежностью? Да и главное ли в нежности?.. А какие тайные чудовища есть у Густаво? Какой страх охватывает его? Раза два или три я видел его испуганным, но тогда для страха были иные причины. Например, когда разыгралась буря на Пунта Горда или когда Густаво катался на самокате по тротуару (ему было что-то около восьми лет), а бульдог Магариньосов вдруг бросился на изгородь. Но какие сокровенные страхи мучают его?.. Я уже не пытался проникнуть во внутренний мир моего сына, закрытый для меня. А для кого-нибудь он открыт? Я испытываю ужасное чувство, когда он смотрит на кого-то мимо меня, ожидая и противодействия и защиты, враждебности и помощи. И этот кто-то — всегда Старик. Не думаю, чтобы у него установилось взаимопонимание с матерью. Но Сусанну это меньше всего трогает... Вода лижет мои ноги. Холодная. Над морем уже дюжина чаек. Уже сотни чаек. На сегодня хватит.

3

Мне не пришлось видеть карнавал по меньшей мере лет десять. Ребенком я всякий раз ходил на уличные представления, и они мне нравились. По правде, сейчас я не переношу чего-либо подобного. Но надо же показать карнавал этим янки.

— Don't you think it's very beautiful?
— Marvelous, it beats New Orleans.
— Oh, no, I've been there.
— Really? When?
— Fifty-nine.*

Сколько у нее веснушек! И как только на одном лице может быть столько веснушек? У него нет веснушек, зато у него есть кодак. И как только можно нащелкать столько снимков?.. Вот и появились большеголовые карнавальные чучела. Важная деталь национального колорита.

— Look at those heads.
— How wonderful.
— How funny!**

* — Вам не кажется, что это очень красиво?
— Восхитительно, почти как в Новом Орлеане.
— О нет, я был там.
— Правда, когда?
— В пятьдесят девятом. *(англ.)*

** — Посмотрите на те головы.
— Как чудесно.
— Как забавно! *(Англ.)*

Жаль, что среди чучел нет Короля шутов. Они бы нашли, что он — еще более национален.

— You think we are funny people?
— Of course you are.
— Sorry, we are not.
— Pardon.
— We are very sad people.
— Like the tango?
— Sure, like the tango.
— Oh, I love tango.
— El Choclo, for instance.
— Pardon.
— That means Kiss of Fire.
— Oh, yes. I love Kiss of Fire, d' you remember, Tom?
— What?
— But, Tom, we use to dance Kiss of Fire at the Havana Hilton.
— I see, Mrs. Ransom, you have been at Havana.
— Every season B. C.
— B. C.?
— Yes, before Castro.*

Как-то им понравится эта повозка, в которой симпатичный Люцифер щиплет за зад толстуху. Смеются, тем лучше.

— Look at the Red One.**

А если мне сострить по поводу *The Red Badge of Courage?* ***

— You know, Mr. Ransom, that is our Red Badge of Courage.
— I beg your pardon.
— Our Red Badge of Courage.
— Sorry, I don't get it.
— You surely know the book, don't you?
— Oh, it's a book. A gaucho's story?
— Of course, Mr. Ransom, it's a gaucho's story.
— Oh, fine.****

---

* — Вы считаете, что мы забавный народ?
— Конечно.
— К сожалению, это не так.
— Извините.
— Мы очень грустный народ.
— Как танго?
— Вот именно, как танго.
— О, я люблю танго.
— Например, «Эль чокло».
— Извините.
— Это означает «Поцелуй огня».
— О да, я люблю «Поцелуй огня», ты помнишь, Том?
— Что?
— Но, Том, мы же танцевали под «Поцелуй огня» в Хилтон-отеле в Гаване.
— Так вы бывали в Гаване, миссис Рэнсом?
— Каждый год д. К.
— Д. К.?
— Да, до Кастро *(англ.)*.

** — Посмотрите на этого краснокожего *(англ.)*.

*** Имеется в виду роман «Алый знак доблести» американского писателя Стивена Крейна (1871—1900).

**** — Вы знаете, м-р Рэнсом, это наш «Алый знак доблести».
— Простите.
— Наш «Алый знак доблести».
— Извините, не понял.
— Вы, конечно, знаете эту книгу, не так ли?
— О! Это — книга. Одна из повестей о гаучо?
— Конечно, м-р Рэнсом, это одна из повестей о гаучо.
— О, прекрасно *(англ.)*.

...Эстрада на углу Капурро и Усарес. Я пристроился в углу на ящике, один, без друзей — смотрю представление. Мне, помнится, одиннадцать лет. Мама дала мне десять песо (десять песо в тысяча девятьсот двадцать восьмом году — целое состояние!) на конфетти, серпантин, леденцы — все, что захочу купить. Приехала труппа «Оксфорд», и народу собралось видимо-невидимо. За кем-то в маске стала выступать группа актеров. Среди них был мальчик-танцор, младше меня. Он танцевал хоты, тарантеллы, милонги и маламбо*, а потом исполнил болеро Равеля. Кончив танцевать, мальчик подошел к моему углу. У него большие глаза и худые ручки. «Тебе понравилось?» — спросил он. «Да,— ответил я,— может, сойдешь вниз?» —«Не могу».—«У меня есть десять песо». И я показал деньги. Он широко открыл глаза. «Я попрошу разрешения»,— сказал он и, поговорив с человеком в черном, вернулся. «Пошли»,— позвал мальчик, спустился с эстрады, и мы отправились. «Хочешь, пойдем в парк?» — «Это очень далеко?» — «Нет, совсем близко». Мы шли быстро, почти не разговаривая. Я смутно понимал, что покупаю его общество за десять песо. Неважно. Зато на какое-то время у меня есть товарищ. В парке темно, нет ни души. «Ты давно танцуешь?» — «С прошлого карнавала, и еще пою».— «Что ты поешь?» — *«Милая, когда полюбишь ты меня?»* — «Моя мама это тоже поет».— *«Возле пальмовой рощи»*.— «Эту я не слыхал».— *«Не знаю, не знаю, что сделали со мной твои глаза»*. «А эту слышал». *«Мой хересский конь»*. «Тоже знаю». Все это неправда, не знаю ни одной. «Значит, ты знаешь много песен».— «Около двадцати».— «Здорово».— «А еще я умею бороться».— «Здорово».— «Хочешь, тебя научу?» Он поменьше, но сильнее и ловчее меня. А, понятно, в чем дело. Он старается засунуть руку в мой карман. Наконец, это ему удается. Вытаскивая новенькую бумажку, он задевает ею за мои брюки. Я молчу. Он отпускает меня. «Тебе понравилось?» — «Ты здорово умеешь бороться, кто тебя научил?» — «Мой старик».— «А кто он, твой старик?» — «Грузчик».— «Понятно, почему ты такой сильный!» — «Он работает в порту».— «Как интересно».— «Ладно, я пошел».— «Уже?» — «Да нам еще надо выступать в другом месте».— «Тогда прощай».— «Прощай!» Он убегает. Я остаюсь сидеть на низкой, покосившейся скамейке. Вокруг настоящие заросли. Что-то щекочет мне лицо. Светлячок или ночная бабочка. Десятилетний танцор возвращается. «Возьми».— «Зачем?» — «Я вытащил у тебя деньги, когда мы боролись, но взять их себе не могу. Я всегда так делаю, а сейчас не могу». Я беру новенькую бумажку, она лишь слегка смята. «Как тебя зовут?» — «Анхель, а тебя?» — «Рамон».— «У меня есть дедушка, его тоже зовут Рамон».— «Знаешь что, Анхель, возьми эти десять песо».— «Нет, слишком много».— «Я их тебе дарю».— «Я не хочу».— «Если ты не возьмешь, я оставлю на лестнице».— «У тебя что, лишние деньги?» — «У меня — нет, а у моего Папы есть».— «А что делает твой старик?» — «У него фабрика, а сейчас он покупает еще и газету».— «Газету с комиксами?» — «С комиксами».— «Вот здорово».— «Возьми себе десять песо».— «Ну, ладно, раз у твоего старика столько добра, давай мне десятку».— «Бери».— «Прощай».— «Прощай». Я лишаюсь десяти песо, но это неважно, зато у меня целых полчаса был друг, который даже хотел вернуть мне десять песо.

— Oh, Tom, I'm tired.
— Would you like to go to the hotel, Mrs. Ransom?
— Oh, yes.
— Not yet, Mary, please. I'm taking some pictures.
— I'm so tired, Tom, be kind.
— Would you like to stay here, Mr. Ransom, enjoying our corso?

---

* Милонга, маламбо — аргентинские народные танцы.

— Yes, I prefer to stay. I'm enjoying this Carnival very much.
— Don't worry, Mr. Ransom. Let me take care of Mrs. Ransom.
— Oh, would you take her to the hotel?
— With pleasure.
— That would be very kind of you, Mr. Boudinow. And Mary, why don't you practice your Spanish with our friend?
— I will, Tom.
— Fine.
— Bye-bye, Tom.
— Bye-bye, honey.
— Good night, Mr. Ransom.
— Good night and thank you very much.*

Представляю себе, что надо этой сеньоре.

— Отель далеко?
— Нет, в нескольких кварталах отсюда.
— Тогда пойдемте пешком.
— Где вы так хорошо научились говорить по-испански, сеньора Рэнсом?
— Моя мать — аргентинка, она говорила с нами по-испански, когда мы были детьми.
— А, понятно.
— Мой отец — ирландец, но он тоже говорит по-испански. Я из Северной Каролины, а брат мой родился в Тегусигальпе **.
— Черт возьми, какой коктейль!
— Ведь верно, мешанина? По правде говоря, я не устала.
— Хотите вернуться?
— О нет, избавьте.
— Тогда — в отель?
— Нет, нет.
— Ну что ж, как прикажете, сеньора.
— А если мы пойдем в вашу контору, сеньор?
— В агентство? Так поздно? Уже полночь!
— Полагаю, у вас есть ключ?
— А ваш муж не удивится, обнаружив, что вас нет в отеле?
— Мой муж еще два часа будет делать снимки и к тому же, если он не встретит меня, то ничего не скажет.
— В таком случае...
— Дело в том, что мне надоел мой муж, сеньор Будиньо.
— Может быть, вы чем-нибудь сегодня расстроены, сеньора Рэнсом?
— Называйте меня Мэри, Рамон.
— Откуда вы знаете, что меня зовут Рамон?

---

* — О! Том, я устала.
— Может, поедете в отель, миссис Рэнсом?
— О да.
— Не сейчас, Мэри, пожалуйста. Я сделаю еще несколько снимков.
— Я так устала, Том, сжалься.
— Вы хотели бы остаться здесь, м-р Рэнсом, посмотреть на наш карнавал?
— Мне бы хотелось остаться. Очень интересный карнавал.
— Не беспокойтесь, м-р Рэнсом. Если разрешите, я позабочусь о миссис Рэнсом.
— Вы отвезете ее в отель?
— С удовольствием.
— Это было бы очень любезно с вашей стороны, м-р Боудиноу. А почему, Мэри, ты не попрактикуешься в испанском с нашим другом?
— Я это сделаю, Том.
— Прекрасно.
— До свиданья, Том.
— До свиданья, милая.
— Доброй ночи, м-р Рэнсом.
— Доброй ночи, и большое вам спасибо *(англ.)*.

** Столица Гондураса.

— Это написано в рекламных брошюрах вашего агентства.
— Вы сегодня расстроены, Мэри. Это бывает. Наш грустный карнавал на многих действует удручающе.
— Я не расстроена. Мне осточертел мой муж. Вот и все. Чего проще?
— Только сегодня вечером или всегда?
— Пожалуй, всегда, но особенно сегодня вечером.
— А почему вы не разводитесь?
— Наверное, лень.
— Ну что ж, это тоже причина.
— Вот видите! Вы даже рассмешили меня, Рамон, а это нелегко.
— Однако вам идет, когда вы смеетесь.
— До вашей конторы еще далеко?
— Мы пришли, сеньора.
— Не стесняйтесь, называйте меня Мэри.
— Я не стесняюсь, уверяю тебя.
— Браво — за переход на «ты».
— Где же ключ?
— Надеюсь, ты не скажешь, что потерял его именно сейчас?
— Нет, вот он.
— Как здесь хорошо, просторно, чистенько!
— Контора как все другие.
— Можно снять туфли?
— Можешь снимать с себя все что угодно.
— В том числе и условности?
— Это прежде всего.
— Рамон, почему гринго не такие?
— Не такие, как кто?
— Как ты, решительные.
— Я вовсе не решительный, клянусь всеми святыми.
— Безбожник. Тебе мешают мои веснушки?
— Нет, они мне нравятся. Что мне мешает, так это твое огромное ожерелье, и лама из перуанского серебра, и все эти бренчащие браслеты.
— Я сниму их.
— Сними и это.
— Хорошо, Рамон.
— И это, и это, и это.
— Нет, это — нет.
— Да, это — да.
— Рамон.
— Мэри.
— Называй меня лучше Мария. Я так давно не играла в любовь по-испански. Так давно никто не говорил мне приятных вещей на испанском.
— Красивая штучка.
— Вот так, Рамон.
— Худышка конопатая.
— Так, Рамон.
— Шлюшка.
— Так, Рамон, так. Скажи мне еще что-нибудь.
— Я исчерпал репертуар, Мария, но могу начать сначала: красивая штучка, худышка конопатая, шлюшка.

Будь проклята милость, которой удостоила меня эта костлявая бабенка, но знаю, чем все это кончится, если я отвергну ее. В прошлом году произошло нечто подобное. Потом — жалобы мужу, претензии, сцены. И в конечном итоге весьма ощутимые убытки. Нет уж, спасибо.
— Одевайся, Мария.
— Прямо сейчас?

— Да, прямо сейчас.
— Ты приедешь в этом году в Соединенные Штаты?
— Не думаю.
— А на будущий год?
— Еще менее вероятно.

Наконец-то. Наконец-то. Какое счастье, что они завтра рано уезжают. Похожу немного один, надо подышать... Хорошо еще, что разговаривала по-испански. Почему ей взбрело в голову, что я обязан переспать со *всеми* своими клиентками? Или, быть может, она считает, что должна спать со *всеми* представителями агентств, которые ее обслуживают? Отец — ирландец, мать — аргентинка. Может, и так. Когда североамериканцы думают о Латинской Америке, она представляется им большим котлом с марихуаной. Когда североамериканки думают о Латинской Америке, она представляется им в виде фаллоса — и смотрят на тебя как на племенного жеребца. Теперь — в машину. Проехаться по набережной, медленно, в полном одиночестве. Какое счастье! Племенной жеребец. Однако какой же по счету женщиной она будет? Посчитаем. Когда был холостяком — Росарио, Мария, Аурелия, Хулия, Алисия, Клара, венгерка, ну и все. Семь. Сусанна, конечно. После женитьбы — Маруха, Рита, Клаудия, жена Санчеса—Глэдис и теперь миссис Рэнсом. Пять. Итого — семь плюс Сусанна, плюс пять — всего тринадцать. Это называется воздержание. Никого я не забыл? Пожалуй, нет. Кроме того, еще две неудачные попытки в США. Желания у меня всегда хватало. Ровно девять месяцев моего пребывания там и, следовательно, столько же воздержания. Надо бы оказывать содействие путешествующим в таких случаях. Есть же солидное агентство путешествий «Рамон Будиньо и компания», точно так же должны существовать агентства, помогающие туристам разрешать их сексуальные проблемы. Откуда же мне знать, что ключевой фразой было «Would you like to see my etchings? * Хм, вот это конспирация.

Ричмонд. Вирджиния. Жена профессора. Полный провал. Бедняга доброжелательно смотрел, как я обучаю его жену танцевать танго под единственную имевшуюся у них пластинку — «Воздушная гвоздика», хотя на пластинке написано по-английски «I'm down in the Garden» **. Пластинка кончалась, и опять все сначала. Жена профессора все теснее и теснее прижимается ко мне, а профессор следит за нами с довольной, благодарной улыбкой. Я чувствовал ее всю — каждый сантиметр, каждый миллиметр ее тела, все извилинки, все выпуклости, волосы, прыщики, застежки, завязки, узелки, кнопки, пуговицы, даже горошинки на платье. Она хотела научиться танцевать танго с паузами, восьмерками, приседаниями, потому что как-то раз видела, что именно так танцевала одна аргентинская пара. Она, конечно, тоже чувствовала мой бумажник и вечное перо, паспорт и расческу, мои ребра, пряжку, пояс и так далее, особенно и так далее. А профессор все любовался нами. Не могу забыть его взгляд и улыбку. Мне казалось, что он, пожалуй, из тех, кто убивает, уничтожает с улыбкой. Уничтожено по меньшей мере тридцать воздушных гвоздик, целый букет. Меня охватывало бешенство из-за разных причин. В том числе и потому, что не гожусь воспроизводить определенные переживания в присутствии постороннего свидетеля, у которого завидное самообладание или вместо крови — лимонад. Меня еще приглашали на уик-энд, но... как говорится, «nevermore»***, больше я не мог. Своей ученице-партнерше я послал орхидею, чтобы возместить многочис-

* Не хотели бы вы посмотреть мои гравюры? *(Англ.)*

** Я внизу, в саду *(англ.)*. Воздушная гвоздика (clavel del aire) — эпифитное растение, паразитирующее на деревьях и телеграфных проводах в тропиках Латинской Америки.

*** «Никогда больше» *(англ.)*.

ленные воздушные гвоздики. Все обошлось. Другую неудачу я потерпел с маленькой блондиночкой из Нью-Йорка, студенткой факультета изящных искусств. Она привязалась ко мне в ресторане, однако зайти со мной в отель не захотела. О «гравюрах» речи, разумеется, не было. Она пригласила меня к себе на квартиру, в пятницу вечером. Причем тоже для того, чтобы я научил ее танцевать танго. Я согласился. Мы купили фрукты, кока-колу, датский сыр, суп-концентрат, помидоры, черный хлеб, кокосовый торт, Liebfraumilch * и засахаренные каштаны — кутить, так кутить. Всего на девять долларов и девяносто центов. Но помешал пустяк. Квартира оказалась маленькая, грязноватая, плохо освещенная. Вдруг раздвинулись гардины и появилась какая-то югославка в ночной рубашке. Как выяснилось, она живет в этой же квартирке и учится тоже на факультете изящных искусств. Несчастная болела, ее мучил бронхит и жар. Мне было так жаль ее. Несмотря на мое, конечно обоснованное, негодование, после второго бокала Liebfraumilch я смягчился и, обливаясь пóтом, наискромнейшим образом танцевал танго то с одной, то с другой под единственную имевшуюся у них пластинку — на этот раз пластинка называлась «I got ideas» **, а на самом деле это было наше популярнейшее «До свидания, ребята» на скорости 45 оборотов в минуту с барабанами в паузах, визжащими скрипками и ловко вставленными возгласами — как на бое быков — «олé!» А югославка в ночной рубашке, страшная, будто смертный грех, пыщущая жаром и пахнущая лекарствами, дышала мне в ухо, и столь усердно, что потом трое суток я провалялся в постели уже со своим персональным бронхитом и персональным жаром.

Теперь надо объяснить Сусанне, если она не спит, как случилось, что выполнение обязанностей туристического гида могло затянуться до трех часов утра. Кто поверит? А ведь несправедливо! На этот раз я действительно выполнял профессиональный долг. Я могу, например, сказать, что мы поехали в Пунта дель Эсте и вернулись очень поздно. Но тут можно попасться, так как не позднее, чем завтра, Сусанна переговорит с моей ослепительной, пышнотелой и т. д. и т. п. секретаршей, и из ее болтовни сумеет выудить истину; Сусанна в этом деле — мастак, а пышнотелая — дура. Надо только слышать, как они чирикают по телефону.

— Ах, я разбудил тебя. Как дела, дорогая? Спи, спи. Нет, не так поздно. Сейчас пять минут четвертого. Продолжай спать. Американская чета. Оба несносные. Завтра расскажу. Пойду приму душ. Спи.

Носовой платок я выкинул на набережной. А как уничтожить на рубашке пятно от губной помады? Дома даже спирта нет.

4

Чай — жидкий, а масло не лежало в холодильнике. Противно мягкое. Никто не понимает, как для меня важен завтрак. Густаво еще спит, его голая нога высунулась из-под простыни. Сейчас у Сусанны только я один. Вернее, теперь только она одна завтракает со мной, так как считает своим долгом вставать рано, успеть подготовить завтрак перед тем, как я уйду в агентство. Бедная Сусанна. Ненакрашенная, да еще с заспанным лицом. Она говорит: «Хочешь еще сахара?» — но таким же тоном могла бы сказать: «С Новым годом!» Говорит, чтобы что-то сказать. Мне жаль ее, а не надо бы жалеть. Одно упрямство. Встает вместе со мной и ходит с видом великомученицы. Ее бесит, когда я называю ее «Святая Себастьяна». А что, если сказать ей сейчас?

* Марка рейнвейна.

** Мне пришла мысль *(англ.)*.

— Святая Себастьяна.

Хм, в самом деле, бесит. Почему она никогда не ставит масло в холодильник? Лучше уж жевать поджаренный хлеб, чем намазывать его подобной гадостью. Сегодня у хлеба вкус облатки. Да, последний раз я причащался в двадцать девятом году в Пунта-Карретас *. На задворках бабушкиного дома было очень уютно. Оттуда был виден церковный двор и зады лавки «Хорошее обхождение», где торговали углем. Священники играют в футбол, их рясы подоткнуты и так похожи на шаровары. Священники играют в футбол, а налетчики убегают из тюрьмы. Власть и благодать. Плоть и дух. Бог и дьявол. «Колорадос» и «бланкос»**. Я сказал священнику, что, когда вырасту, буду «колорадо». Он велел мне прочитать двадцать пять молитв сверх положенных. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего — Иисус. Мне сказали: пока ты жуешь облатку, можешь попросить о трех вещах. Я попросил здоровья для Папы, здоровья для Мамы, и мяч пятого размера для себя. Я принес великую жертву, попросив мяч после всего, а сначала благородно высказав добрые пожелания. Но мяч от Иисуса я так никогда и не получил. Что касается здоровья, то его он послал, по крайней мере на время. Это была единственная счастливая пора моей веры — бог тогда еще не был туманностью, каким стал впоследствии. Туманностью, которая затем постепенно рассеивалась. В те времена бог был человеком с бородой, во плоти и крови, и с ним можно было беседовать. Кроме того, церковь приносила какое-то облегчение, особенно летом. «У меня нет грехов»,— сказал я в исповедальне. «Сын мой, откуда такая гордыня, ты что, даже не бросаешь греховных взглядов на девочек из твоего класса?» С этого момента я решил избавляться от своей гордыни. Раньше я не обращал внимания на девочек, однако на следующий же день после исповеди изо всех сил старался бросать на них греховные взгляды. «Теперь у меня на душе есть грех»,— сказал я в воскресенье на исповеди. Этот священник был старше, он недоверчиво поднял на меня глаза и спросил: «Какой?»— «Я смотрел греховным взглядом на девочек в школе». Меня переполняло чувство удовлетворения — ведь я одержал победу над своей гордыней. «Откуда такая гордыня? — сказал тогда старый священник.—Не следует кичиться тем, что грешен». Я наспех прочитал тридцать «Отче наш» и убежал. Дома я открыл словарь на слове «грешный». Там было сказано — принадлежащий или относящийся к греху или грешнику. И немного повыше слово «грех» — действие, высказывание, желание, помышление, противное закону бога или его заветам, или пренебрежение ими. Ну, конечно, я смотрел на девчонок с пренебрежением. Я беру назад «Святую Себастьяну», но она не убирает размякшее масло. О, как приятно улыбнуться. С завтраком покончено, и в животе у меня что-то бурчит.

— Заходи и садись.

Я никогда не мог привыкнуть к беспорядку в этом кабинете. Почему отец всегда пишет простым карандашом?

— Сейчас кончу передовицу и побуду с тобой.

Когда впервые появилось разочарование? Когда он перестал быть Папой и превратился в Старика? «Сейчас кончу передовицу и побуду с тобой». Никогда он не будет со мной. Никогда я не буду с ним. Что это — ненависть? Возможно, я не исключаю ее. От письменных столов и архивных полок здесь исходит запах сырости, старых бумаг и смятых сигарет. Газета? Ба! Какая ее часть? Мозг, желудок, печень, сердце, пря-

* Район Монтевидео.

** «Бланкос» и «колорадос» — традиционные политические партии Уругвая. Первая представляет интересы преимущественно земельной аристократии, вторая — национальной буржуазии.

мая кишка, мочевой пузырь? Здесь царит Старик. И в одной сорочке он элегантен. Седина идет ему. Разбросанные в беспорядке бумаги тоже создают для него фон. Даже я украшаю его. Человеку все служит к украшению, если про него говорят: «Какие могут быть сравнения. Доктор — человек дела, тогда как его сыновья...» Уж знаю, знаю. Тогда как его сыновья, если и представляют собой что-нибудь, то лишь потому, что носят имя Будиньо. Несмотря на все его недостатки — у кого их нет? — Доктор — деловой человек. А какие недостатки у Доктора? Ничего существенного: чересчур много курит, позволяет женщинам любоваться собой, слишком властен, демагог. Такие недостатки — достоинства. А истинные достоинства? Неутомим, любезен, когда захочет, знает, что слово его — закон, при случае — филантроп, любитель хороших вин, веселый компаньон. Подвижен, умеет расшевелить других, у него звонкий смех, блестящие глаза; он ловко создает впечатление, что знает больше того, что говорит, обладает настоящим талантом казаться сердечным, хотя за этой сердечностью прячет пренебрежение, одевается безукоризненно — костюмы из английского материала, солидный счет в банке, щедрые чаевые, ценит нравственные качества, здоров, как бык, искренен, хоть и не всегда, und so weiter *. А вот и этот жалкий подхалим.

— Добрый день, Хавьер, как семья?

Вот он подходит, вот сейчас начнет мне рассказывать о болезнях своей жены.

— Неважно, дон Рамонсито, у жены страшно болят ноги. Врачи говорят, что это от излишнего белка, но анализ не показывает белка. Ноги у нее не только болят, но и пухнут. Делаются вот такие. Врач говорит, что ей надо похудеть, а она так любит сладкое. Она всегда была сластеной. Я тоже сластена, но я не толстею.

— Что это вы, Хавьер, с каждым днем все больше сгибаетесь?

Старик правильно сказал. Это, наверное, от подхалимства. Он на десять лет моложе Старика, но выглядит старше на все пятнадцать.

— В чем дело?

— Пришли те самые парни, Доктор.

— Какие?

Он не осмеливается сказать какие, наверняка потому, что я здесь.

— Ничего, говорите, Хавьер. Рамон все-таки мой сын. Или вы ему не доверяете?

— Пожалуйста, Доктор, не говорите так.

«Все-таки» не может не уколоть меня. «Все-таки».

— А что им нужно?

— Думаю, Доктор, они пришли договориться насчет действий в Сан-Хосе **.

— Хорошо, пусть войдут.

«Все-таки». Боже мой, ну и рожи. Густаво называет их фашистскими молодчиками. Но видел ли он их вблизи? Договориться насчет действий в Сан-Хосе. Какой позор. Они, наверное, думают, что играют в гангстеров, в фильмы про шпионов, в голливудскую стерильную войну, в которой всегда побеждают хорошие, то есть североамериканцы и неофашисты, а терпят поражение плохие, то есть коммунисты; на такие роли, как и полтора десятка лет назад, подбирают ирландцев поуродливее — раньше они же изображали гестаповцев. О'Брайены, представлявшие одержимых гитлеровцев, по существу сродни О'Коннорам, которым теперь поручается показать жестокие зверства «красных»... Фашистские молодчики... слишком много чести, пожалуй. Прямо награда. Им как раз и хочется, чтобы их так называли. Но они и этого не заслужили. С таким

* И так далее *(нем.)*.

** Небольшой провинциальный городок неподалеку от Монтевидео.

страхом смотрит курносый толстяк, как Старик, невозмутимый Старик, раздает револьверы.

— Они не заряжены.

Но это предупреждение не успокаивает толстяка. Двоим другим, должно быть, братьям, вид оружия как будто доставляет удовольствие. Они сухощавы, с длинными лицами, с зачесанными назад волосами. У них — тонкие, холеные руки, которым не знаком труд и которые всегда мыли импортным мылом. К какому классу общества они принадлежат, можно определить по тому, как отполированы их ногти, как аккуратны, округлы, ровны узлы галстуков (чтобы так завязать галстук, надо по крайней мере минут десять простоять перед зеркалом), по отутюженным белоснежным воротничкам, по добротному материалу брюк без манжетов, остроносым ботинкам. Разница между ними и толстяком, может быть, лишь в том, что он пока еще говорит — ЛЮДИ, а эти говорят — СБРОД. Старик по разным причинам должен презирать в равной мере всех троих. Тем не менее он их, конечно, использует.

— Вы знакомы с моим сыном Рамоном?

— Не имеем удовольствия.

— Очень приятно.

— Очень приятно.

— Очень приятно.

Почему этот негодяй не вытрет свою потную руку? Толстяк нервничает. Шмыгает носом. Нащупывает платок, но напрасно, он забыл его или не взял. Даже прелюбопытно: потечет у него из носа? В левой ноздре уже видна капелька. Он что, будет вытирать ее рукавом из импортного материала? Весьма затруднительное положение. В правой ноздре тоже появляется капелька. Да, утерся рукавом. Если бы его мама видела! А она, должно быть, по меньшей мере — вице-председательница Благотворительного комитета Лесного клуба.

— Ну, ребята, какие у вас предложения?

Предпочитаю не слушать. На собрании социалистов — выстрелы в воздух, явная провокация, потом обоснованные репрессии, решительные действия: двух учителей — самых беспокойных (которые слишком докучали) — в тюрьму. Предпочитаю не слушать... Когда я перестал любить его? Когда начал разочаровываться? Папа и Мама за перегородкой. Я пошел к товарищу — повторить физику за третий класс. Но забыл авторучку и вернулся. На мне были мягкие кеды, и, кроме того, я старался не шуметь, так как думал, что они спят. Однако они не спали. «Перестань»,— слышен был голос Папы. Мне следовало бы уйти, это было бы самое правильное. Но я не мог пошевелиться. «Перестань». Мама плакала. Мама плачет. «Ты это делаешь со всеми, я только одна из многих, нельзя так, я не могу, Эдмундо». И неумолимый голос: «Перестань».— «А дети, а дети, ты не подумаешь даже о детях, когда занят этими сумасшедшими». Голос Мамы прерывается. «Перестань».— «Не могу, Эдмундо, не могу». Доносятся его удар и ее крик. Резкий, унижающий удар. Мама, дорогая Мама. Вдруг тишина. Я по-прежнему не могу, не могу пошевелиться. Мне бы надо было войти, надо было дать ему стулом по голове. Теперь я понимаю, что нужно было поступить именно так. Но тогда я был поражен. И кроме того, у меня не нашлось сил видеть ее обнаженной. Папа перестал быть Папой, стал Стариком. Послышалась возня, звук снимаемых подтяжек, хриплое дыхание, кашель и прерывающийся, какой-то рыдающий, вместе с тем покорный стон. Я убежал прежде, чем все кончилось, убежал без авторучки. Бежал до самой набережной, спустился к камням и плакал там до позднего вечера...

— А теперь идите, ребята. Я занят.

— Извините, Доктор. Очень приятно, сеньор.

Я предпочел не слушать. Они уносят оружие в портфеле. Прощайте.

— Ну-с, чему я обязан, что сын оказал мне честь своим посещением? — Как всегда острит.

— Ты бледен, Рамон.

— Меня многое тревожит. Мне кажется, вы повели газету по неправильному пути.

— Ты только затем и пришел, чтобы высказать мне это?

— Мне ясно, вы не хотите это признать. Но люди в конце концов поймут, что, преследуя собственную выгоду, вы пренебрегаете интересами страны.

— Знаешь, Рамон, я всегда думал, что ты немного глуповат, но никогда не думал, что до такой степени.

— Не оскорбляйте, Старик, считайте, что я прошу вас об одолжении.

— До сих пор ты так и не уразумел, что у меня нет ничего общего с этой страной? До сих пор ты не понял, что эта страна слишком мала для меня?

— Не кричите на меня, Старик.

— А ты не перечь. Разве ты не видишь, что все здесь заняты мышиной возней, приспосабливаются, словно лилипуты? Зачем, по твоему мнению, я делаю столько денег, столько денег, что их хватает открыть для тебя агентство путешествий и дать возможность твоему бездельнику братцу заниматься своими дурацкими экономическими науками?

— Если всю жизнь вы будете попрекать меня деньгами, которые мне дали для агентства, тогда...

— Тогда что?

— Ничего.

— Я сделал эти деньги потому, что я думаю о настоящем бизнесе, потому что действую с размахом и еще потому, что этой прогнившей стране я показываю свое респектабельное, добропорядочное лицо, а только такое лицо ее устраивает. И так далее. И так далее. А вы разве похожи на меня? Уго — ветреник и грубиян. Ты щепетилен не в меру. Вот какие сокровища. Скажи мне, к чему вы стремитесь?

К чему? Хорошенький вопрос. Возможно, Старик прав. Но я ненавижу его, хоть он и прав. Во всяком случае, он прав, если иметь в виду его окружение, хотя бы вот этого Хавьера — согбенного, со всем согласного Хавьера, сплетника и зануду, который позволяет подшучивать над собой, удивляет, возмущается, когда это требуется, делается как бы меньше, когда надо быть незаметным, перестает быть самим собой, превращается в эхо, тень, карлика, болванку, каплю, тряпье. Он прав в отношении того, что происходит у него на глазах, так как не хочет видеть остальное. Но страна — это нечто большее, чем стопроцентное использование каждого миллиметра газетной бумаги, страна — это не только обеды в «Эль Агила»* с депутатами своей фракции, не только устойчивый курс доллара в одиннадцать песо, вспышки магния при фотосъемках, установление тарифов для штрейкбрехеров, широкая контрабанда, «Общество отцов-демократов»**, культ коммерческой рекламы, священнодействие при голосовании, празднование Дня простаков***. Страна — это еще и больницы, где не хватает коек, школы, которые вот-вот развалятся, семилетние воришки, голодные лица, трущобы, притоны гомосексуалистов на улице Реконкисты, кровли, сорванные ветром, морфий, не менее дорогой, чем золото. Страна — это также те, кого волнуют человеческие судьбы, раскрытые объятья, люди, влюбленные в эту землю, смельчаки — правда, их еще не так много,— обладающие достаточным мужеством,

* Дорогой ресторан в центре Монтевидео, где устраиваются деловые встречи, обеды и т. д.

** Одна из наиболее реакционных организаций в Уругвае.

*** День, когда обманывают, как 1 апреля.

чтобы заявлять о наших пороках; это священники, которые, к счастью, верят прежде всего в бога, а затем уже в «Тайную Ловкость»*, это народ, который, к сожалению, пока еще верит в слова; это изможденные тела, которые к ночи падают как камни, а потом умирают безвестно. Вот что такое в действительности наша страна. Другая, которая Старику кажется невероятно маленькой,— это только тень настоящей.

— А, Будиньо, сколько лет, сколько зим!

Мне на плечо тяжело легла рука. Не могу вспомнить, как его зовут. Похоже, что в школе он дружил с Осси.

— Встречаешься с Осси?

— Надо же! Только позавчера мы говорили о тебе.

— Не может быть!

Как же его зовут? Как же его зовут?

— Подумать только! Мы даже вспомнили, какую оплеуху влепил тебе герр Гауптман. Помнишь?

Новое ощущение, которое я тогда испытал, было не болью, резкой и неукротимой, которая шла от уха и толчками доходила до века. Боль можно притупить, заняв воображение чем-нибудь другим, отделить ее от себя и сбросить, как ничтожный груз. Это ощущение не было и тем робким утешением, которым иногда сменяется надежда, если в ней мы не находим спасения. Новое ощущение начинается с боли, но потом перестает быть только ею, усложняется, соединяется с другими ощущениями, которые мы испытывали уже когда-то, в какой-то день, а может, и год назад. Ни сейчас, ни раньше в подобных случаях я не мог испытывать к себе жалость. Способность к сопротивлению возникла давно, в промежутки между разными периодами детства. Некоторые из этих периодов исчисляются только днями. Но с тех пор, как Мама однажды ударила меня, а Папа, обычно такой сдержанный, покраснел от гнева, а может, и от стыда за свой гнев, с тех пор я не мог преодолеть в себе чувства превосходства, чувства необъяснимой и спокойной жалости к тем, кто меня наказывает. Именно поэтому удар меня ни в чем не убеждает, и мне на самом деле было жаль даже вспотевшего, разозленного герра Гауптмана. Я понимаю, каким одиноким должен был чувствовать себя этот сопящий, кругленький немец под гневными взглядами мальчишек, которые, как полагается, проявляли элементарную солидарность со мной, высказывая свое возмущение, но только сквозь зубы и только по-испански. Я понимаю, ему надо показать, что он учитель, а вместо этого он растерян и чувствует себя дураком перед единодушным молчанием класса. И, наконец, я понимаю: учитель ждет, что я запла́чу. Но оттого, что я слишком этого хочу, мне не удается заплакать, и я только мигаю с притворным рвением. Справа от меня я слышу астматическое дыхание Карлоса, которого подобные проявления жестокости совершенно выбивают из колеи, усиливая его нездоровье. Он — мой бескорыстный союзник, потому что мы оба маленькие и оба латиноамериканцы, а остальные крупные и к тому же немцы. Оба мы испытываем необъяснимое страстное желание быть слабыми среди этой неумолимой твердости, под взглядом этих всегда спокойных, ясных глаз. Когда рано утром мы, спаянные чувством товарищества, молча входим в серую неприветливую дверь на улице Сориано и в тысячный раз машинально читаем на бронзовой вывеске «Deutsche Schule» **, мы знаем какой мир нас там ожидает, какая там подчас нечеловеческая дисциплина, какие мелкие оскорбления и окрики. И теперь, когда в знакомом шепоте я слышу мое имя

---

* Апокрифическая книга иезуитов.

** «Немецкая школа» *(нем.)*.

«Рамон, Рамон», которое отчетливо улавливается в однообразном шуме астматического дыхания, я знаю, что Карлос взволнован, что его мучит какой-то страх; ведь Карлос совершенно не умеет отрешиться от собственного страдания, посочувствовать герру Гауптману, пожалеть об его одиночестве. Для Карлоса существует прежде всего его собственный страх. Он боится, что накажут его или меня, он боится ледяных, вселяющих тревогу взглядов учителей, боится знаменитой плетки директора, которую видели и испробовали очень немногие, но все же свидетельские показания на этот счет есть. Он опасается спортивного духа, который владеет другими мальчиками. В классе он шарахается от резкого немецкого произношения, которое его непослушный язык не может одолеть. Ему страшно в мире, где властвуют приказы и пощечины, презрение и запрещения. Но при всей его слабости ему все же хватает сил, чтобы подбодрить меня вопросом: «Тебе очень больно?» Не знаю точно, почему это случилось. Помню только, что герр Гауптман диктовал по-немецки, а мы изображали его слова с помощью колючек, словно покрытых шипами готических знаков, где буквы *u, i, e, m, n* напоминают длинные дрожащие ручные пилы. *Droben stehet die Kapelle, schauet still ins Tal hinab. Drunten singt bei Wies' und Quelle, froh und hell der Hirtenknab.** Голос Уландова пастушка пробивался ко мне сквозь монотонное чтение герра Гауптмана, и я был совершенно уверен, что не таким тоном надо читать описание часовни, которая в тишине взирает на свою долину.

Traurig tönt das Glöcklein nieder, schauerlich der Leichenchor; stille sind die frohen Lieder, und der Knabe lauscht empor.**

До этого момента у меня не было ни времени, ни желания думать о смерти, но теперь мне казалось, что я слышу этот колокол и это погребальное пение, заглушившее голос пастушка. Я не слушал герра Гауптмана, хотя сейчас вспоминаю, что толстяк дважды прошел мимо, чуть не задев меня полой широчайшего пиджака, из кармана которого торчал переплетенный томик Тиля Уленшпигеля. И забыв о пастушеском пении, о колоколе и погребальном хоре, я улыбнулся, подумав об осле, которого Тиль Уленшпигель учил читать. Но в этот момент немец дошел до слова «Hirtenknabe!» ***, и я так вздрогнул от его крика, что всем стало ясно: я перестал писать еще на предыдущей строфе. *«Hirtenknabe!»* — и это было из поэмы, а герр Гауптман рявкнул еще и «Ach, du Faulpelz!» ****— это к поэме не относилось, это уже была брань, обращенная ко мне, и когда прозвучало *«Faulpelz»*, я почувствовал, что по моему лицу от левого уха поползла трещина, а голова разламывается, будто стена оливкового цвета качалась, качалась, пока я думал о своем, а теперь вдруг рухнула на мое ухо. В горле у меня раздался свист, похожий на астматическое дыхание Карлоса, потому что именно с левой стороны у меня рубец, который и без оплеухи иногда болит. Я не заплакал, так как острая физическая боль была для меня пока еще неизвестным феноменом — я стал думать, что за мной должна сидеть златоволосая Гудрун, словно сошедшая с гравюры в «Deutsches Erbe*****. Карлос шепчет: «Тебе больно? Тебе очень больно?» Но я далеко. Встретив Гудрун в коридоре, я долго смотрел ей вслед. Герр Гауптман пришел в себя, вытащил Тиля Уленшпигеля из кармана и обмахивается им. Я знаю, что сейчас Карлосу будет страшно, потому что ему всегда страшно, когда у немцев есть что-нибудь в руках. Действительно ли Гудрун сидит сза-

---

* Наверху стоит часовня, тихо взирая вниз, на долину. Внизу, у ручья, радостно и светло поет мальчик-пастух *(нем.)*.

** Грустно звучит колокольчик, страшен похоронный хор, смолкли радостные песни, и мальчик прислушивается *(нем.)*.

*** Пастушок *(нем.)*.

**** Ах ты бездельник! *(Нем.)*.

***** «Немецкое наследие» *(нем.)*.

ди? Думая о пощечине, висящей у меня на ухе, как медаль, я чувствую прилив не вполне осознанной гордости. Карлос, конечно, сочувствует мне, но в этот момент для меня важнее возможное восхищение Гудрун, чем не подлежащее сомнению сострадание Карлоса. Сейчас желание, чтобы мной восхищались, вызвано не простым тщеславием, а перспективой пробудить интерес, интерес, еще не имеющий ни степеней, ни названий, которыми определяется любовь. Герр Гауптман решает довести диктовку до конца, и снова раздается крик: «Hirtenknabe!» — как будто кто-то сдернул шляпу с вешалки. Инстинктивно я пригибаюсь, словно за криком неминуемо должна последовать другая пощечина, словно стена оливкового цвета снова обрушится на мое левое ухо. Но голос продолжает: «Dir auch singt man dort einmal» *. От очарования часовни и пастуха уже ничего не осталось, и эти последние устрашающие слова нисколько не нарушают ход моих размышлений. А они направлены к Гудрун, приближаются к ней, хотя и на почтительное, вполне допустимое расстояние. Когда герр Гауптман приказывает выходить, я осмеливаюсь оглянуться назад, решаясь показать Гудрун мою первую почетную пощечину. А Гудрун? Она, по правде говоря, глуповата. В ее небесно-голубых глазах уже сейчас проскальзывает будущая неизбежная скаредность. Одинокие, неподатливые золотые косы висят, как веревки. Конечно, она видела все. И тут она подымает палец с лиловыми чернильными пятнами на розовом суставе и, слегка покачиваясь, кричит: «Вернер, Ганс, посмотрите на Рамона, посмотрите, как он распух, как позеленел, точь-в-точь жаба!» Я, конечно, мог бы ей ответить. Но не ответил. Мне стало грустно, и я лишь теперь почувствовал, что у меня действительно болит ухо, что боль стала значительно менее приятна и усилилась, что Карлос снова задает свой обычный вопрос, что по моему носу текут горячие слезы.

Ах да, и этот тип все торчит! Как же его зовут? В его фамилии где-то есть «ль». Кольясо, нет. Кальорда... тоже не то. Конечно, Кальериса.

— Так вы вспоминали об этой оплеухе? Вот здорово! Ты знаешь, по временам это место и сейчас болит. А тот удар был хорош, все равно что на десятом раунде.

— Ну, я пошел, Будиньо, надо как-нибудь встретиться.

— Конечно, надо как-нибудь встретиться.

— Договорились, старикан.

— Прощай, Кальериса.

— Какой Кальериса! Я — Кальорда.

— Черт возьми, извини. С годами забываешь. Во всяком случае «ль» в твоем имени есть. Не так ли?

Я — эгоист. Это несомненно. Я захожу к тете Ольге не для того, чтобы справиться о ее здоровье. Подумать только, когда умер Виктор, мне казалось, что она старуха, а ей было всего тридцать с небольшим. Она казалась мне старой, потому что у нее была полуседая прядь и веерки морщин около глаз.

— Соберись с силами, тетя. Давай пройдемся немного. Сегодня не так уж жарко и приятно погулять по набережной.

Я — эгоист. Я пришел только для того, чтобы расспросить у тети Ольги о Маме. Но сначала я, разумеется, должен поинтересоваться ее ревматизмом.

— Ох, сынок. Если бы не кортизон, не знаю, что бы я и делала. Но время от времени я должна прекращать мазаться им. Ты помнишь, что я уже давно не могла разгибать руку, а теперь — могу, посмотри. Скажу

---

* По тебе там тоже споют *(нем.)*.

тебе, что вчера вечером пришла Челита и свела меня в театр Солúс, конечно, на пятичасовой спектакль, так как вечером меня клонит ко сну. И когда эта актриса, не знаю ее имени, разыграла сцену, в которой героиня сходит с ума, и казалось, что видишь настоящую сумасшедшую, я не могла удержаться и аплодировала, аплодировала, наверно, минуты три. Ты представляешь себе, сынок, я — и аплодирую. Это я-то, которая больше десяти лет не могла разогнуть руки. Кортизон — замечательное изобретение. Когда же найдут какое-нибудь средство против рака? А у меня есть предчувствие, ужасное предчувствие, что я умру от рака, как твоя бедненькая Мама, царство ей небесное.

— Кстати, тетя, как вы думаете, Мама была счастлива?

Она мне этого не скажет — я уже знаю, что этого она мне не скажет. Она всегда обращается со мной, как с двенадцатилетним.

— Но, сынок! С чего тебе пришло в голову спрашивать меня об этом? В последний, ужасный месяц твоя мать очень страдала, но всю остальную жизнь она, конечно, была счастлива. Можно ли не быть счастливым с таким замечательным человеком, как твой отец?

Только бы она не возводила глаза к потолку, а то меня начнет тошнить.

— Вы, тетя, на самом деле думаете, что Папа — замечательный человек?

— Ай, Рамонсито, что с тобой сегодня? Ты задаешь такие странные вопросы. Конечно, твой отец — замечательный человек. Теперь, когда я стара и страдаю ревматизмом, когда со мной нет больше моего бедного Эстебана и я почти не помню личика Виктора, моего дорогого сыночка...

— Не плачьте, тетя, уже все прошло.

— Ты прав, дай мне твой платок. Теперь я уже стара и могу признаться тебе, что, когда твой отец стал посещать наш дом, все мы с ума сходили по нему. Сначала он приходил из-за Сесилии. Если бы ты видел, какой она стала старой, клянусь тебе. Она выглядит куда более старой, чем я, а ведь она всего на один год старше. Она ходит с палкой, и одно веко у нее непроизвольно дергается. Вначале твой отец приходил из-за Сесилии, она была старшая, очень ладненькая. В то время мужчинам нравились пышные женщины. Сесилия, говорил твой отец, вы достойны кисти Рубенса. Да, я помню, в тот вечер был у нас сын Мартина Са́ласа. Тогда ему было девять лет, и у него было дурацкое лицо, а теперь, поди ж ты, он — секретарь нашей миссии в Гватемале, и в канун Нового года он прислал мне открытку из Чичикастенанго — ну и названьице! — оно всегда напоминает мне Чичи Кастеляр, помнишь, у нее тогда родились семимесячные близнецы, впрочем, ты был в ту пору совсем маленький, но даже в «Импарсиаль» писали, что подобный случай встречался до этого лишь один раз, в Калабрии. Ну так вот, в тот вечер был сын Мартина Саласа, и вдруг он выпалил: «Но ведь Рубенс рисовал голых женщин». Мать так ткнула мальчика кулаком, что скула у него раздулась, будто мяч! Да, твой отец ходил сначала из-за Сесилии. Потом, хотя тебе трудно в это поверить, он стал строить куры мне.

— Я верю вам, тетя.

— Рамон, ты — ангел. И я, глупая, приняла это всерьез, а он хотел лишь вызвать ревность у твоей матери, которая делала вид, что он ей безразличен. Именно делала вид, потому что она была очень хитрая. Она была очень добрая, но страшно хитрая. Она, знаешь ли, прикидывалась рассеянной, не обращала на него внимания. А все было рассчитано: уж если моя сестра бралась за что-нибудь — берегись! Бедный Эстебан всегда шутил над ней. «По велению Инес начался в суде процесс», — декламировал он. Ты считал, наверно, что Эстебан очень серьезный, а он был большим шутником. Иногда он превосходно острил. Конечно, в послед-

нее время, да и еще раньше, он был в подавленном настроении, особенно с тех пор, как мы потеряли Викторсито, дорогого моего сыночка.

— Не плачьте, тетя, это уже прошло.

— Ты прав. Ты оставишь мне твой платок? Я его выстираю и поглажу. Да, так оно и было, Инес и твой отец прикидывались, что не интересуются друг другом. Но однажды они не вытерпели, между ними произошла страшная ссора, а кончилась она тем, что они стали женихом и невестой. Хорошо еще, что мы с Сесилией не были завистливы. По правде говоря, немного-то мы, конечно, завидовали. Но проплакав два дня, как Магдалины, мы утешились тем, что твой отец по крайней мере войдет в нашу семью. Ах, каким он был хорошим деверем!

— Почему, тетя?

— Видишь ли, когда мы потеряли Викторсито, моего мальчика... Да нет, я не плачу...

— Высморкайтесь, тетя.

— Спасибо, сынок. Когда мы потеряли Викторсито, твой отец пришел и сказал Эстебану: «Если что понадобится, ты же знаешь». А когда Эстебан, да упокой бог его душу, покинул меня, твой отец пришел, обнял меня (Ах, как обнимал всегда этот человек! В его объятиях чувствуешь себя защищенной, согретой!) и сказал: «Ольга, если что понадобится, ты же знаешь». Он всегда был таким. Какого отца бог послал тебе! Я думаю, что ни ты, ни Уго до сих пор не понимаете этого. Видишь ли, Рамон, ты хорошо знаешь, как я всегда любила твою мать. Инес и я были неразлучны, у нас даже размер одежды был один и тот же, а в девушках мы и комбинации носили общие. У нас не было тайн друг от друга, и уж если когда-нибудь существовали истинные сестры, так это были мы — Инес и я. С Сесилией дело другое: она училась играть на рояле и потому считала себя интеллигенткой, на нас смотрела сверху вниз. Ты хорошо знаешь, как я всегда любила твою мать, она была святая. Но я откровенно скажу тебе — твой отец стоял на несколько ступеней выше ее. Выше ее по уму, а Инес была очень смышленая, по силе характера, а Инес совсем не была мямлей, по терпимости, да по всему. Так оно и есть, муж должен стоять выше жены, чтобы она чувствовала себя под надежной защитой, а потому — больше женщиной. В этом-то и состояла моя проблема, Рамон. Это дурно, что я говорю так, но я уверена, что мой бедный Эстебан не стал бы спорить. Он был добряк, это верно, но такой слабохарактерный, такой скрытный и скромный, что я так никогда точно и не узнала, умным он был или глупым. Бедный Эстебан, у него всегда были глаза умного человека, а поведение — глупца. Я все говорила, говорила и говорила, а он только смотрел на меня. Вот как сейчас ты. Я, наверно, слишком много говорю? Я много говорю?

— Не слишком, тетя. Вы говорите порядочно, но занятно.

— Спасибо, сынок. Ты — ангел. Так вот, я никогда не чувствовала себя уверенной. Потому что, говоря откровенно, я никогда не знала, что именно Эстебан обо мне думал.

— Итак, тетя, вы полагаете, что Мама была счастлива?

— Эх, мальчик. Какая муха тебя укусила? Не просто счастлива, а очень счастлива. Ну, а если в какой-то момент, а такие моменты бывают у всех, она и не была счастлива, то я могла бы поклясться, что в этом она сама виновата, так как твой отец был и есть удивительный человек, каких уже не увидишь.

— Большое спасибо, тетя.

— Но, Рамонсито, не обижайся на меня, ты хорошо знаешь, что я предпочитаю тебя всем моим племянникам не только потому, что ты играл с моим дорогим мальчиком; ты единственный видел, как он закрыл свои голубые глазки, когда я, несчастная, заснула, как идиотка.

— Платок у вас в рукаве, тетя.

— Спасибо, дорогой. Не только поэтому, но и потому, что Уго с каждым днем становится все грубее, и раз уж ему тридцать с лишним, он семь лет как женат и имеет звание казначея, то нечего ждать, что он изменится. И не только поэтому, а еще и потому, что дочерям Сесилии доставляет удовольствие смеяться надо мной, так что для меня лучше, когда твои двоюродные сестры подальше от меня. Тебя же я люблю больше всех.

— Спасибо, тетя.

— Но я скажу тебе, также откровенно, что твой отец — другое дело. Он мужчина с большой буквы, понимаешь? Этим я не хочу сказать, что ты хуже или лучше, я просто хочу сказать, что ты мужчина неплохой, но с маленькой буквы. Таких мужчин, как твой отец, больше нет — самоуверенных, элегантных, обаятельных, сильных, энергичных.

— Черт возьми, тетя.

— Мне так приятно с тобой разговаривать и приятно, что ты вспоминаешь обо мне. Знаешь, я тебе очень благодарна за предложение погулять и даже чувствую себя так, будто бы и на самом деле погуляла. Я предпочитаю остаться дома. А то надо было бы одеваться, причесываться и тому подобное. А при ревматизме это страшная работа, даже теперь, когда мне гораздо лучше, благодаря кортизону. А как твоя жена?

— Хорошо, тетя. Она не прислала вам привет, потому что, когда мы с ней сегодня утром завтракали, я сам еще не знал, что зайду к вам.

— Она — прелесть, твоя жена. А Густаво?

— Я не видел его со вчерашнего дня — готовится к экзаменам по истории. Литературу сдал с большим трудом.

— Я уже знаю. Сусанна мне звонила.

— Итак, я ухожу, тетя. Я очень рад, что вы так хорошо выглядите.

— Ты — ангел, Рамон.

Напрасно я оставил машину в мастерской. Зажигание выдержало бы еще недельку. Слишком жарко, чтобы ехать в автобусе, да еще висеть в нем от угла улиц 8 Октября и Гарибальди. А что, если я отправлюсь домой? Я нисколько не сомневаюсь, что план «Путешествуйте весело» будет осуществляться и без моего надзора.

— Такси свободно? В Пунта Горда. Можете ехать по Анадор, Прогресо и по набережной.

Ох, как я устал. От безделья, конечно. Что там знает тетя Ольга. «Я страдаю»,— сказала Мама за четыре часа до смерти. Она была так слаба, так измучена. Только тогда она и была мне по-настоящему близка. На многие годы у меня в голове застрял, остался как бы замурованным ее голос: «Не могу, Эдмундо, не могу». Мне казалось, что довериться ей было равносильно тому, чтобы зайти за перегородку и увидеть, как они борются, обнаженные, и как Старик бьет ее. Неделю она носила темные очки... Она дала, она дает мне руку. Совсем худая рука, одни кости. Она уходит от меня именно тогда, когда я обрел ее. Мама, которая кутала меня. Мама, которая надевала на меня три пары чулок, потому что ноги у меня были как палочки и я стыдился их и она тоже. Мама, которая по субботам всегда приготавливала для меня флан * и с гордостью рассказывала о моем диком аппетите. Мама, которая молча сочувствовала мне, когда Старик называл меня «растяпа, хуже растяпы». Ее глаза из глубины смотрят на меня. Они не спрашивают, потому что уже все знают. Они просто говорят. Я знаю, что она любит меня, может быть, больше, чем Уго, но у нее в животе такие ужасные боли. Как я могу надеяться, что она любит меня? При той страшной боли, которая, как клещами,

* Сладкое блюдо.

раздирает ее изнутри, при том адском состоянии, в котором она находится, как я могу претендовать на то, чтобы она помнила, что любит меня? К тому же она через мое плечо смотрит на Старика. Но она смотрит на него не так, как смотрит на меня Густаво. Во всяком случае, когда Старик уходит, в глубине ее глаз появляется блеск, правда, очень слабый, жалкая искорка. Я не могу защитить ее, а она говорит: страдаю. Значит, моя любовь бессильна. А если продолжить мысль: для чего нужен бог? Бывало, что я не видел ее дни, недели — бродил бесцельно по вечерам; она ждала меня ужинать, а я не приходил до глубокой ночи; сколько раз мне хотелось ее обнять, но я сдерживал себя. Теперь уже поздно, и нечего предаваться воспоминаниям. Нечего обманывать себя. Почему я чувствую себя таким опустошенным, обездоленным, не способным подбодрить другого? Мама, жалкая, бедная мама, разве ей приходило в голову, что она так, вдруг будет умирать? А я? Что происходит со мной? Мама, я ничего не могу объяснить, не могу оправдаться, извиниться, мне нечего сказать. Она же говорит: страдаю. И ее страдание, которое меня ранит, вселяет в меня страшную растерянность. Это, без сомнения, еще одно поражение, похожее на многие другие, но в данном случае это мое поражение, потому что, когда Мама в отчаянии закрывает глаза и рот ее искривляет гримаса, гримаса страдания, с которым никогда нельзя примириться, я чувствую, что во мне тоже что-то корчит непокорную гримасу.

Мама говорит: я страдаю. Но почему она чувствует потребность признаваться? Произнесла бы она эти слова, если бы я не стоял на коленях здесь на ковре, прислонившись щекой к ее бессильной руке? Произнесла бы эти слова наедине со Стариком, с теткой Ольгой, с Уго? Ее последнее ощущение любви, последнее, которое приходит к ней в полубессознательном состоянии, в промежутках между приемом то одного, то другого болеутоляющего средства. Смогу ли я понять это ощущение? Она не может прийти в себя и я тоже, потому что смерть — это еще одна плацента, которая объединяет нас, так же как жизнь была первой плацентой, связывающей нас воедино. И то, что страдает она, это только полуправда, ибо ее мука отражается во мне, как это бывает, когда в одном и том же организме поражен, например, желудок, а из-за этого плохо работает сердце. И подобное чувство я испытываю только потому, что передо мной она; я испытывал бы его и в том случае, если бы она смотрела на меня даже с ненавистью или безразличием. Ведь не случайно отца и сына не связывает ни плацента, ни пуповина, а лишь далекий-далекий, микроскопический бродячий сперматозоид, который превратился в меня, но мог бы и заблудиться. И если бы даже Старик теперь не поглядывал на меня, чтобы сказать: «Растяпа, хуже растяпы», если бы он не улыбался своей еле заметной улыбкой, чтобы напомнить этому подлому Хавьеру, что «все-таки это мой сын», все равно и тогда между нами не было бы плаценты ни в жизни, ни в смерти. В лучшем случае — а наш случай не лучший — могли бы установиться дружеские, сердечные отношения, как с наиболее близкими из моих приятелей (а кто он — мой самый близкий друг?), могла бы появиться пожизненная гарантия, что я и даю и получаю, взаимная поддержка и понимание перед лицом постыдного страха перед жизнью, своего рода уверенное равновесие. И так было бы уже неплохо. Но это, по моему мнению, невозможно — я говорю, нисколько не рисуясь, потому что ни я, ни отец не способны создать подобные отношения. Между мной и Густавом нет неприязни, обиды, взаимного разочарования — просто полное незнание друг друга, словно мы живем на разных этажах или будто кто-то взял на себя труд изобразить наши мысли в разных музыкальных ключах. Вдруг мамины ногти впиваются в мою щеку и тут же отпускают ее, как будто для того, чтобы облегчить боль или приласкать меня. Но именно «как будто». По-

тому что то была не ласка, то пришла смерть. Я дважды вскрикнул. Сначала от испуга и собственной боли, боли еще поверхностной, задевшей лишь кожу. Потом я закричал от того, что с ужасающей ясностью понял все, что произошло, я посылал ненужное «прости», охваченный примитивным страхом. Пятое ноября. Вспомнил бы я сейчас этот день, мог бы восстановить его в памяти минуту за минутой так, как будто рассматривал поры кожи под огромным микроскопом, если бы не это ее последнее движение, ранившее меня? Кто мне докажет, что это не было поспешное, отчаянное, последнее проявление любви?

Ча-ча-ча, прекрасно, ча-ча-ча.

— Прошу вас, не могли бы вы выключить радио? Возле Риверы сверните налево. В эту пору на набережной точно на карнавале, лучше ее объехать.

— Папа, тебя ждет дядя Уго.

— А ты куда идешь?

— К Мариано. Скажи маме, что я приду поздно. Пока.

Что понадобилось Уго? Мы никогда не разговаривали откровенно, запросто. А как полагается беседовать братьям? Жаль, что нет свода правил, который бы определял, какими должны быть эти беседы.

— О, Уго!

— Привет!

— Что случилось?

— Хочешь послушать кое-что интересное?

— Да.

— Ну так поставь эту ленту.

— Опять новинки джаза? Новое танго?

— Нет. Это — Старик.

— Что?!

— Вчера эту ленту мне дал Риэра, будучи уверен, что это доклад Старика о показателях производства. Но надпись на коробке оказалась неверной. Он совершил роковую ошибку. Тут два голоса. Один — Старика, а второй некоего Вильальбы. Мне кажется, это окончание какого-то разговора.

— В газете?

— Нет, на фабрике.

— Давай сюда.

— Закрой дверь. Мне не хочется, чтобы слышала Сусанна.

— Хорошо, теперь молчи.

— И однако вы могли бы разрешить это очень просто.

— Я не хочу это обсуждать. Мне известно, что вопрос о забастовке был решен на собраниях, которые созывали трое служащих из управления.

— Я — один из них, если вас именно это интересует.

— Я догадывался, но это меня не беспокоит. Вы сейчас, можно сказать, хозяин, следовательно, с забастовками покончено.

— Да?

— Что касается двух других, то у меня есть подозрения. Я получил кое-какую информацию, анонимные письма, указываются разные лица. В общем, мне назвали десять или двенадцать имен. Действительно, все они внушают подозрение. Но не хотелось бы вновь оказаться к кому-то несправедливым.

— Конкретней. Что вы хотите, сеньор?

— Конкретно — и мне кажется, что не требую многого,— я предпочел бы, чтобы вы назвали мне эти два имени. Я вам доверяю. Я знаю, что вы меня не обманете.

— *Чтобы вы могли наказать их?*

— *В принципе да. Мне не хочется причинять неприятности сразу десятку или дюжине человек, среди которых окажутся и невиновные.*

— *Послушайте, за кого вы меня принимаете?*

— *Ну-ну, поосторожней!*

— *Нет, за кого вы меня принимаете?*

— *Поосторожней, говорю вам!*

— *Вы думаете, что за несколько грязных песо?..*

— *Скажем, за лишние пятьсот в месяц.*

— *Вы думаете, что за несколько грязных песо, сколько бы их там ни было, я потоплю двух друзей, двух хороших парней, виновных единственно в том, что они на два месяца лишили вас, сеньор, вашей проклятой прибыли? Разумеется, у вас денег куры не клюют. Ну, вложите их во что-нибудь другое, сеньор.*

— *Не хотите ли вы сказать...*

— *Ну?*

— *Не хотите ли вы сказать, что верите в... солидарность?*

— *А вы нет?*

— *Видите ли, Вильальба, вы решили порвать со мной, но я могу заткнуть вам рот.*

— *Да, я знаю. Все имеет свою цену. Вы об этом?*

— *А вы неподкупный? Поздравляю вас... но теперь поздравьте и меня с тем, как у меня поставлена разведывательная служба. Я давно знаю, кто эти трое хороших парней: это — вы, Санчес и Лаброкка.*

— *Ну и что?*

— *А то, что очень приятно испытывать людей, убеждаться, что деньги сильнее слов. Например, таких, как «солидарность». Посмотрите-ка сюда. Знаете, о чем это письмо? Не знаете? Это заявление за подписью Санчеса и Лаброкки, в котором они называют вас главным зачинщиком забастовки.*

— *Кто этому поверит?*

— *Вы. Вам знакомы подписи Санчеса и Лаброкки? Ну так взгляните. Как вам нравятся ваши хорошие парни? И если бы вы знали, как дешево! А? Что вы скажете?*

— *Ничего.*

— *Ладно, не пытайтесь меня убеждать, что вы оправдываете их.*

— *Нет, я их не оправдываю. Но, видите ли... Сейчас я чувствую себя сильным, но предполагаю, что могу быть сильным до определенного предела. Они сдались раньше меня. Тем хуже для них. Вот и все, понимаете? Трое людей могут быть честными и стойкими, но лишь пока все спокойно, пока ими владеет энтузиазм. Но один из них может стать предателем от одного удара в живот; другой, более закаленный, только когда ему будут вырывать ногти; третий же, самый стойкий, лишь когда его будут жечь каленым железом. На градуснике преданности всегда отмечена точка кипения, при которой человек в состоянии продать свою мать.*

— *Не заходите слишком далеко в своей теории. Я предложил им всего-навсего по 400 песо каждому.*

— *Вот видите, вам даже не понадобилось прибегать к удару в живот, вы и без него получили два предательства.*

— *Тем не менее мое предложение остается в силе?*

— *Я не удивляюсь.*

— *Думаю, у вас нет причин мучиться угрызениями совести. Те не мучились.*

— *Конечно. Вы легко определили точки кипения.*

— *Итак, договорились?*

— *Нет. Это невозможно. Самое большое зло, которое вы могли бы мне причинить, это заставить меня презирать самого себя. А я боюсь, что если ваши посулы будут возрастать, если вы будете соблазнять меня рос-*

кошью, удобствами и властью, то, кто знает, может быть, в глубине души я окажусь слишком неравнодушным к комфорту и честолюбию, а потому в конце концов сдамся, и это было бы отвратительно. Я достаточно себя знаю, чтобы понимать, что не смогу это перенести.

— *Но почему же? Быть честолюбивым неплохо.*

— *Конечно нет.*

— *И комфорт любить — неплохо.*

— *Конечно, неплохо. Знаете, что только плохо?*

— *Нет.*

— *Быть столь же проституированным, как вы, сеньор.*

Недурно, недурно.

— Что же ты молчишь, Рамон?

— Я думаю.

Недурно, недурно.

— Поставь-ка снова конец.

— *достаточно себя знаю, чтобы понимать, что не смогу это перенести.*

— *Но почему же? Быть честолюбивым неплохо.*

— *Конечно нет.*

— *И комфорт любить — неплохо.*

— *Конечно, неплохо. Знаете, что только плохо?*

— *Нет.*

— *Быть столь же проституированным, как вы, сеньор.*

Недурно, недурно.

— А что потом стало с этим человеком?

— Я расспрашивал о нем Моралеса. Кажется, он хлопнул дверью, собрал свои вещи и ушел. Все это произошло четыре дня назад. Ну, что ты скажешь?

— Сначала я задам тебе вопрос. Почему тебе хотелось, чтобы я прослушал эту запись?

— Потому что нам надо принять какое-то решение.

— Собственно, решение уже принял Вильальба, тебе не кажется?

— И я об этом — нельзя допустить, чтобы он ушел.

— Я тебя не узнаю, Уго, не хочешь ли ты сказать, что собираешься назначить его управляющим.

— Нет, я не хочу, чтобы он ушел просто так. Я хочу, чтобы ты уговорил Старика выгнать его.

— Чтобы я уговорил Старика? Уго, да ты рехнулся! Старика никто не уговорит и не убедит ни в чем, тем более если ему придется, поддавшись на уговоры, платить компенсацию за увольнение.

— Все же лучше заплатить компенсацию за шесть месяцев, чем терпеть этот позор и позволять всякому ничтожеству безнаказанно оскорблять Старика.

— Хочешь, я скажу тебе свое мнение. Я не считаю его ничтожеством. Более того, я думаю, что он настоящий мужчина.

— Этого еще только не хватало. Мы не понимаем друг друга, Рамон.

— Верно. Не понимаем.

Недурно, определенно недурно. Ну, а все-таки, почему тот человек смог пойти наперекор ему, а я не могу? Иногда я собираюсь сделать это, даже приготавливаю речь, нечто вроде декларации о моей независимости, но стоит мне встретиться с ним, я забываю слова, не нахожу доводов, а если и вспоминаю, получается неубедительно, ведь я знаю заранее, как он будет смотреть на меня и улыбаться, затянется гаванской сигарой, бесцеремонно пустит мне прямо в лицо ее дым, а потом откроет рот и заговорит с издевкой, с ненавистной самоуверенностью, подчиняя меня безапелляционностью своих суждений, своим высокомерием, своим превосходством, поскольку он знает, или по крайней мере полагает, что

стоит неизмеримо выше своего друга, своих подчиненных, своих врагов и друзей, своих сыновей, выше своего прошлого — одним словом, выше всего, кроме собственного будущего.

— Ладно, Рамон, тогда говорить больше не о чем. Я сам потолкую со Стариком.

— Твое дело. А ленту возьми.

— Привет Сусанне и Густаво. Пока.

— Пока. Привет Долли.

Он не достоин ее, это-то уж совершенно бесспорно. Но кто достоин Долли? Я не видел ее почти два месяца. Так лучше. Мне тяжело ее видеть. Скажу ли я ей об этом когда-нибудь? Не думаю. Уго — мой брат. Долли, любимая. Если бы я мог на одну минуту, только на одну минуту заглянуть в ее мысли, узнать, что творится у нее в голове, нет — лучше в сердце. Если бы я мог узнать, что она думает обо мне! Мой деверь Рамон, и только. Однако раза два или три я поймал ее на том, что она смотрела на меня с нежностью. Деверь и невестка могут, конечно, испытывать друг к другу нежные чувства с разрешения святой матери-церкви. Но иногда мне казалось, что она смотрит на меня с нежностью, недозволенной святой матерью-церковью. Уго — мой брат. Мужлан. Долли, любимая. Мне кажется, это было в доме Мендеса. Конечно, это было в доме Мендеса. Встречали целой компанией Новый год. И вдруг она и я — одни на длинном балконе, где на маленьком столике стояли бокалы с шампанским. Оставалась четверть часа до полуночи, до первого января тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года. Уго и Маринес танцевали, прижавшись щекой к щеке. Они исчезали, они исчезают за разрисованной ширмой. Нам ни разу не пришлось поговорить друг с другом, замечает Долли. Комок подступает у меня к горлу. Да, никогда, а жаль, потому что мне очень нравится говорить с тобой. Как тебе жилось в последнее время? В каком смысле, Долли? Ты имеешь в виду агентство? Нет, я знаю, что там у тебя все хорошо. Тогда с Сусанной? Нет, я думаю, что и тут у тебя все в порядке. Напрасно ты так думаешь. Я имела в виду твоего отца. Моего отца? Да, Рамон. Когда я вас вижу вместе, мне всегда кажется, что должен произойти взрыв. Долли, твой радар работает превосходно. Но это губит тебя, Рамон. Извини, что я говорю тебе это. Я не только извиняю, я благодарю себя. Пойми, Рамон, что ты один от этого страдаешь, твоего отца ничто не трогает. Я это слишком хорошо знаю. Так в чем дело? Это сильнее меня. Но не сильнее его. Долли... Что, Рамон? Мне кажется, что не очень-то любишь Старика. Но... Не красней — станешь слишком красива. Но... Да, я тебя понимаю, Долли. Я так хорошо тебя понимаю, что поведаю тебе один секрет. Я его тоже не люблю. Но... Молчи, не говори ничего, не порти последние минуты тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, после того как ты доставила мне самую большую радость в этом году. Я?.. Ты не представляешь себе, что значит быть всегда среди людей, которые бубнят без остановки. О, Доктор — Необыкновенная личность! Какой Ты Счастливец, Рамон, Что У Тебя Такой Отец! Клянусь, я не испытываю к нему ни зависти, ни злобы, ни ревности, я просто чуть-чуть ненавижу его. Пожалуйста, Рамон, не говори так. Я предупреждаю тебя, что если ты еще раз закроешь мне рот рукой, я ее поцелую. Так поступают рыцари? Но они не целуют в ладонь. Мне бы хотелось, чтобы ты сказал еще одну глупость, и я бы снова могла закрыть тебе рот. И чтобы я... С Новым Годом. Поздравляю. Рамон, Долли, идите сюда. А Сусанна? Пойду-ка поищу ее. Сусанна! Где Сусанна? Бедная Сусанна. Сусанну рвало, ее рвало в ванной, она возвращала новому тысяча девятьсот пятьдесят седьмому году последний глоток, сделанный в предыдущем, тысяча девятьсот пятьдесят шестом году. Чтобы я снова могла закрыть тебе рот, сказала Долли. Так это что? Не знаю. Уго — мой брат. Долли, любимая.

5

— Ах, как хорошо, что вы пришли, сеньор Будиньо. Вас ждут человек десять. Доктор Меса. Затем два человека, которые хотят стать гидами, они пришли по рекомендации члена Правительственного совета. Сеньорита Соуто. Сеньор из Информационного агентства США, который приходил вчера. Человек из типографии. Переводчик, тот самый венесуэлец. Педроса, из автобусной компании. Потом еще молодой человек из клуба, он просит нас раздобыть ему рекламы, афиши с видами Токио для модного магазина, который он вместе с теткой собирается открывать.

Секретарша — восхитительна, пышнотела и т. д. и т. д.,— сегодня на груди у нее нет фунта стерлингов, таким образом возможности для обозрения значительно увеличились.

— Пожалуйста, сеньорита. Я уже говорил вам, что вы должны служить мне фильтром. Не могу же я часами принимать всю эту бестолочь. Болвану, который просит рекламы, афиши с Токио, дайте какой-нибудь вид Пириаполиса *, а если ему не нравится, пусть проваливает ко всем чертям. Доктора Месу проводите ко мне, а всех остальных — к сеньору Абелье. Мой брат не звонил?

— Сеньор Уго?

Идиотка, у меня только один брат.

— Да, конечно, сеньорита, мой брат Уго.

— Нет, сеньор Будиньо, не звонил. А вот супруга звонила.

— Супруга моего брата?

— Нет, сеньора Сусанна.

— А!

— Она просила сказать вам, что пошла в парикмахерскую.

— Ну, что ж...

— Очень приятно, доктор Меса. Мой отец говорил мне о вас. Я к вашим услугам. Говорите, что вам угодно?

Подумать только, ведь это подставное лицо нотариуса, который обделывает делишки с компаньоном Старика. Дальнее родство. Вроде как троюродные братья.

— С удовольствием, доктор, с удовольствием.

Я тебе устрою экскурсию по музеям.

— Конечно, доктор, включим все знаменитые музеи: Прадо, Пинакотеку, Райхсмузеум, галерею Уффици, Капитолийский музей, Альбертину, дом Рембрандта, Британский музей и, разумеется, Лувр.

Я попал в точку, старикашка. Ты думал, что я забыл о Париже, а тебе хочется побольше поторчать на ревю в «Лидо» и поменьше в Лувре.

— Доктор Меса, не будем сейчас говорить о цене. Эта часть дела всегда неприятна. Но поскольку вас, доктор, рекомендовал нотариус Фаджи, близкий друг Папы, вы, естественно, будете иметь самое лучшее и на самых хороших условиях... Вот, например, можно бы на двадцать второе мая, если только вы предпочитаете самолет... А, на пароходе. Это другое дело. Конечно, для отдыха ничего лучшего не придумаешь. Самолет — это выход, когда время не ждет, когда приходится дни превращать в часы.

Эта фраза слетает у меня с языка сама по себе, точно «будь здоров» в ответ на чихание.

— Обратите внимание, доктор Меса, сейчас в скоростном самолете полет отсюда в Европу длится меньше часов, чем дней, если плыть на пароходе. Уму непостижимо. Да, конечно, когда человек хочет отдохнуть

* Курортное место в Уругвае.

от нервного напряжения, полечиться покоем, избавиться от забот, повысить тонус и т. п., одним словом, полностью обновиться, я в этом случае всем рекомендую пароход. Вы намереваетесь путешествовать один? Понимаю, понимаю. Один, но поедет также приятельница. Конечно, доктор, всегда приятнее путешествовать в хорошей компании. Это я себе отмечу. Желательно каюту на двоих. Вы принесли паспорт? А паспорт сеньориты. Прекрасно, моя секретарша запишет ваши данные, а я позабочусь о том, чтобы вы были довольны. Очень приятно, доктор Меса, всегда к вашим услугам.

Три часа. На рассвете я не могу переносить бой часов в столовой. Я не хочу принимать таблетки. Предпочитаю бессонницу. К тому же мне нравится рыться в воспоминаниях. Почему, когда я просыпаюсь на заре, я вспоминаю почти всегда одно и то же: мою первую близость с женщиной. Несомненно, оставила неизгладимый след. Росарио. Вспоминаю без грусти. Вечереет, море спокойно и похоже на большую чашу. Позади нас — деревья. Почти каждый вечер мы играли в лапту. Портесуэло для этого идеальное место. Мне семнадцать лет. Столько же, сколько сейчас Густаво. А Густаво бывал ли близок с женщиной? Наверняка. Возможно даже, с одной из своих соучениц. Не случайно он смотрит на них спокойно. Думаю, не зря. Росарио жила в домике у Сеспедес. Я — у Портелы. Море — как чаша, а за нами громадные деревья. Ни один лист не шелохнется. Пройдемся немного? Хорошо, сказала она, мне нравится ступать по сухим веткам. Там чудесно пахло соснами. В то время там стояло всего несколько особняков. А деревья росли купами. Можно было спрятаться от всего мира. Да и мир этот был к тому же далеко. Там, где виднелись, где виднеются огни. Немного страшно, но это даже хорошо. Она дает мне руку. Наши открытые купальные костюмы высохли, и нам совсем не холодно, хотя уже наступил вечер. Я всем телом чувствую нашу наготу, особенно ее. Какие ноги. Стремительно надвигаются сумерки. А там дальше — мир, автомобильные гудки, звуки танго. Садись сюда, говорю я. Площадка между кустами словно сделана по специальной мерке. Даже есть подобие крыши. Ты нервничаешь? Нет. Я вдруг думаю о том, что кожа у нее все еще соленая от моря. Моя тоже. Я обнимаю ее. Мои неумелые руки еще не знают, что делать дальше...

Часы в столовой бьют половину четвертого. Если бы я смог заснуть. Правда, я несколько успокоился. Воспоминание об этом всегда успокаивает мои нервы, возвращает вкус к жизни. Попробую усыпить себя методом расслабления. Начнем снизу. Сначала пальцы ног, потом щиколотки, икры, ляжки, живот, желудок, гру-у-у-дь, пле-е-е-чи, заты-ы-лок...

6

— Согласитесь, дедушка,— сказал Густаво.— Традиционные партии находятся на пути к распаду. Где Батлье, Саравиа, Брум, Эррера?* Все они в земле. Идеалы их тоже похоронены. А по земле ходят Сесар, Нардоне, Родригес Ларрета **, то есть антисемитизм, погоня за ведьмами, презрение к массам. Выступая по радио, в прессе, Нардоне и Берро повторяют то, что раньше говорили Сесар и Луис. Внутри основных партий нет единства, и народ понимает это. Он не будет вечно голосовать за них. Скорей всего, в один прекрасный день он подложит им хорошую бомбу.

* Видные политические буржуазно-либеральные деятели Уругвая.
** Уругвайские реакционные деятели.

— Не смеши меня,— отвечает Старик.— Кому подложите бомбу вы — сосунки, маменькины сынки, игрушечные марксисты?

— А ваши пресловутые сыновья «отцов-демократов»? А, дедушка? Разве они не сосунки, не маменькины сынки, не игрушечные капиталисты?

— Э, Густаво, мне ты об этом можешь не говорить. Они такие же выродки, как и вы. Или еще хуже. Я их использую, потому что мне это надо. К тому же они не стоят мне ни одного песо. Находятся люди, которые берут расходы на себя. Дело не в том, что вы — левые, а они — правые, дело в том, что и те и другие принадлежат к худосочному поколению, падкому на моду, легкомысленному, привыкшему повторять чужие фразы, не способному думать самостоятельно.

— А вы, дедушка, в своей газете не повторяете чужие фразы? Вы разве мыслите самостоятельно?

— Когда я считаю нужным повторять чужое — я действую, исходя из своих соображений. Разница в том, что моя газета — коммерческое предприятие, а ваша хочет соблюдать принципы, политическую мораль и т. д. и т. п. Вы коллекционируете внешние признаки революционности, как другие коллекционируют бутылочки или спичечные коробки. По-вашему, революция заключается в том, чтобы ходить без галстука.

— А по-вашему, дедушка, что такое революция?

— Густаво, не тяни меня за язык. Ты хорошо знаешь, что я, мягко выражаясь, плюю на революции.

— А как насчет демократии?

— На демократию — и того хуже, но она помогает мне зарабатывать деньги, и потому я — демократ. Демократ с самой большой буквы, если хочешь. Потому-то с Соединенными Штатами я ощущаю такое родство, чего тебе никогда не понять. Им тоже наплевать на демократию, их также интересует коммерция. Демократия для них — хорошая пропаганда, с ее помощью они подымают столько шума, в том числе и насчет Кубы, что никто и не вспоминает, как они подкармливают Стресснера или Сомосу *, кстати, оба они — моего поля ягоды.

— Ага!

— Демократия по-американски — это значит разрешать всем в своей стране голосовать и проводить уик-энды за чтением комиксов, разрешать всем — конечно, кроме негров, на которых наложена эпитимья,— чувствовать себя гражданами, а с другой стороны, максимально использовать дешевый труд латиноамериканского сброда. Для меня же демократия означает следующее: писать каждый день образцовую, зрелую и корректную с политической точки зрения статью и тут же по телефону попросить начальника полиции хорошенько всыпать дубинками моим бастующим работникам. Я не мучаюсь сомнениями. Раз уж мне выпала судьба родиться в дерьмовой стране, я и сам дерьмо. Извлекаю, как могу, для себя пользу, вот и все. Твой прадедушка говорил о родине, твой папочка разглагольствует о национализме, ты — о революции. А я, малыш, рассказываю о себе. Но смею тебя заверить, что я значительно больше разбираюсь в моих проблемах, чем вы в своих. Мы — колония? Конечно, да. К счастью. Скажи-ка мне: кто здесь стремится к независимости? Ну вот, пожалуйста, хотя бы эти так называемые бомбочки. Клянусь тебе, я не боюсь их. И еще тебе скажу. Весьма возможно, что в один прекрасный день какой-нибудь уволенный или оскорбленный мною рабочий — а мне ведь нравится их оскорблять — отправится домой и будет по дороге ругать меня на чем свет стоит, дома усядется пить мате, продолжая ругаться, потом купит револьвер, вернется на фабрику и всадит мне пулю. Скорее всего произойдет именно так — гораздо менее вероят-

* Стресснер — диктатор Парагвая, Сомоса — диктатор Никарагуа.

но, просто немыслимо, чтобы твои левые из кафе преодолели, наконец, свои бесконечные сомнения и мелкие разногласия, пришли к общему согласию и решились бы подложить бомбу в мой «шевроле». Чтобы убить человека, надо вдруг проснуться рогоносцем, быть от природы отчаянным храбрецом или напиться пьяным. А вы ведь пьете только кока-колу.

Сусанна ставит баночку на туалет и смотрит на меня, лицо у нее намазано.

— Сегодня Густаво рассказал мне о своем споре с дедушкой.

— Я присутствовал при этом.

— Именно об этом я и хотела с тобой поговорить. В твоем присутствии речь идет о таких вещах, а ты молчишь как рыба — разве так можно? Тебе следовало бы поддержать отца по многим причинам. Во-первых, чтобы попытаться улучшить ваши отношения. А, во-вторых, потому, что с Густаво надо что-то делать. Вчера вечером Лаура сказала мне — она просто предупредила меня как хорошая подруга,— что Густаво водится с очень опасной компанией — анархистами, коммунистами или с кем-то в этом роде. Она сама видела, как они на рассвете расклеивали плакаты.

— Да что ты говоришь? А нельзя ли узнать, что делала твоя хорошая подруга Лаура в такой ранний час на улице, вместо того чтобы мирно спать дома вместе со своим достопочтенным семейством?

— Не паясничай. Я говорю серьезно.

— Когда мне было семнадцать лет, я тоже заклеивал стены плакатами.

— То совсем другое. Ты это делал из снобизма.

— А Густаво почему это делает?

— Ах, если бы из снобизма! Но он-то думает, что по убеждению. И все из-за дурного влияния.

— Может, он не только думает так, а на самом деле действует по убеждению.

— Не хватало еще, чтобы ты его защищал.

— Я его не защищаю, но признаюсь тебе, что предпочитаю, чтобы он был причастен к этому бунту, в котором есть какой-то спортивный дух, чем бросал бы зловонные бомбы в университете.

— Рамон, хочешь я выскажу тебе, что думаю о твоем поведении в последнее время? Ты так ведешь себя только для того, чтобы досадить своему отцу, а заодно и мне.

— Пожалуй. Кто знает.

— Рамон, тебе уже перевалило за сорок. Нельзя всю жизнь вести себя как мальчишка. Это, знаешь ли, выглядит смешно.

— Никогда еще я не чувствовал себя столь взрослым. Даже больше чем взрослым — старым.

— Дай мне ту баночку. Нет, не эту. Зеленую.

— Сусанна.

— Что?

— Может быть, ты перестанешь мазаться кремами, и пойдем в постель?

— Ты с ума сошел.

— Сусанна.

— Сегодня, Рамон, я не могу. Может быть, завтра. К тому же я так расстроилась из-за Густаво.

— А какое это имеет отношение?

— Самое прямое. Ты — готов в любой момент, а я нет. Мне нужно, чтобы ты был ласков со мной.

— Хорошо, иди же!

— Я же сказала тебе, что не могу.

— Ну, ладно.

Пусть остается и мажется своими кремами. Сначала у меня появилось желание, а теперь прошло. Нет настроения упрашивать два часа. К тому же она сказала, что не может. Правда, нередко она притворяется, что не может, а на самом деле может.

— Рамон.

— В чем дело?

— В последнее время ты стал какой-то странный. Все время кажется, что думаешь о чем-то другом. Не обращаешь ни на кого внимания... Не только на меня, я уж к этому привыкла, но и на других. Ты постоянно рассеян.

— Да, я тоже заметил. Но меня не беспокоит, со мной такое и раньше бывало. Гарантирую тебе, что это не переутомление от работы, работа в агентстве не изнуряет. Все пройдет.

— Почему ты не сходишь к Ройгу?

— Бесполезно. Он всегда находит, что я совершенно здоров. Пока самое серьезное, что он обнаружил у меня,— жировик. А платить тридцать песо за визит из-за такого пустяка не стоит. Платят охотно, когда врач говорит: дорогой друг, очень сожалею, но у вас рак.

— Ай, Рамон. Разве я не права, что ты какой-то необычный?

— Рак с каждым днем становится все более обыденным и все менее необычным.

— Я знаю, но я суеверна. Мне кажется, что, если я не буду произносить это слово,— я спасена.

— Хорошо быть суеверной, особенно если это помогает. И даже если когда-нибудь ты поймешь, что это не помогает, что все бесполезно, так или иначе, никто уже не сможет отнять у тебя прошлые утешения.

— Рамон, хочешь я приду к тебе?

— Ты же сказала, что сегодня не можешь.

— Видишь ли, честно говоря, я не уверена. Да ты и не настаивал.

— А, так я должен был настаивать.

— И кроме того, мне надо стереть кремы.

— Сотри.

— Так прийти?

— Иди.

7

Глория Каселли смотрится в зеркало, и сегодня ее лицо кажется ей терпимым. Но она не довольствуется тем, что видит себя анфас. Иногда в профиле скрывается самый неприятный сюрприз. Чтобы его обнаружить, нужно взглянуть в боковые зеркала. Глория передвигает их, пока не находит нужный угол. Ясно, прядь волос над ухом ее старит. Даже еще хуже: она делает ее другой, изменяет ее. Глория, во всяком случае, понимает, что у нее на голове, по ее мнению, несколько грубоватой, уши — всего лучше, приятнее, красивее. Следовательно, надо, чтобы они были видны. Бесспорно, с левой стороны ее профиль лучше, чем с правой. К сожалению, что-либо исправить невозможно. Пятно на тонкой шее не скроешь никаким кремом. Оно небольшое, не безобразное, но заметное. Это от печени — уже много лет подряд упорно твердят ей врачи, но она знает, что пятнышко появилось двадцать семь лет назад, как раз в тот месяц, когда она стала женщиной, то есть когда у нее еще не было ни печени, ни сердца, ни щиколоток, ни десен, поскольку каждый человек начинает ощущать свои органы лишь по мере того, как они начинают болеть, а тогда у нее только иногда побаливала селезенка, и то,

если она слишком много бегала по пляжу или часами играла в волейбол на университетской спортивной площадке.

Лицо в зеркале улыбается ей. Время от времени стоит проверять, какую силу еще имеет ваша улыбка. Она, конечно, уже не то, что раньше. Морщины, появившиеся возле рта, не скроешь; они делают улыбку более жесткой и по крайней мере наполовину лишают ее прежнего простодушия, ее привлекательности и обаяния. Надо признать, что это соответствует истине. Потому что сама Глория тоже утратила не менее половины своего простодушия и привлекательности. То, что осталось, еще заставляет мужчин медленно поворачивать головы, когда она проходит, и отпускать ей вслед какую-нибудь пошлую любезность, однако оставшееся не вызывает у нее особой уверенности.

Она слегка поводит плечами и думает, что именно ее плечи получили первые похвалы от Эдмундо. «Красивые плечи! Они прямо созданы для того, чтобы на них опереться, как только устанешь». Так сказал Эдмундо Будиньо десятого сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года, и она почувствовала, что в первый раз слышит всерьез сказанный комплимент, а не шутливые восторги, которыми награждали ее в течение дня товарищи по факультету. Они бросали свои замечания, как будто играли в салки. Их слова словно прикасались к ней, чем-то напоминая о любви, а затем отпрыгивали, бежали дальше, и она, конечно, не принимала их всерьез. Комплимент Эдмундо опирался на что-то такое же ощутимое, как сама усталость. И лишь много позже она поняла, что с его стороны это не было знаком особого внимания, просто он иначе не мог. Он мог или восхищаться, или отвергать, хвалить или поносить, и всегда его собственная личность была центром его суждения; она присутствовала в нем как двигающая сила, как закон, как божество. Он, например, говорил: «Мне нравится эта гора, так как рядом с ней я чувствую себя сильным», или же: «Терпеть не могу трамваи, потому что, когда я вынужден ползти за ними в автомобиле, я — раб их медлительности».

Да, надо убрать эту прядь. А если ее заколоть возле уха? Недурно. В те времена он читал гражданское право на втором курсе, ему было сорок шесть лет, но виски его уже были тронуты сединой. Иней на висках, говорила, вздыхая, глупенькая Ана-Мария. Но не одна Ана-Мария, все девушки на факультете смотрели на него с почти болезненным обожанием. Как же тут было не содрогнуться, когда он тихо подошел сзади (не на факультете, а в Национальном салоне изящных искусств) и сказал ей: «Красивые плечи! Они прямо созданы для того, чтобы на них опереться, как только устанешь». Она тотчас подумала, что он — это идеал, что он выглядит именно так, как должен выглядеть человек, рожденный изобретать, создавать будущее, что он — воплощение искренности, доверия, общительности, симпатии. Она еще не осмеливалась сказать — любви. И тут она обернулась; никогда раньше он не казался ей столь великолепным, столь неотразимым, столь мучительно красивым.

В мужской красоте непременно должно быть и что-то некрасивое, асимметричное, неправильное. У Эдмундо Будиньо как раз были эти едва заметные неправильности, которые в глазах женщин являются решающими. Они должны существовать, но лишь в такой мере, чтобы не обезобразить лицо и фигуру; они нужны скорее для контраста, чтобы глаз отдохнул немного и затем с новой силой воспринимал красоту. Этим, например, отличается безупречное, но скучное в своей красоте лицо Тайрона Пауэра от слегка неправильного, но волнующе привлекательного лица Берта Ланкастера. Вспомнив имена этих двух американских актеров, Глория подумала, что она — исключение из общих правил: ей не нравится ни тот, ни другой. «О, профессор, я не заметила вас, вы застали меня врасплох»,— сказала она, и с этого момента не могла уже больше смотреть на заинтересовавший ее рисунок Пастора. «Разрешите пригласить

вас выпить со мной чашку кофе?» — сказал он. И ответить на этот вопрос можно было только утвердительно, так как уже в те времена Будиньо задавал подобные вопросы собеседнику лишь из вежливости. Никогда не случалось, чтобы кто-нибудь бестактно отклонил приглашение. Кафе оказалось старым «Тупи», которое тогда было напротив театра Солúс. Она прекрасно помнит, что, когда они вошли, половицы сильно скрипели от его решительных шагов и совсем слабо — от ее и так обычно мягких, легких, летящих, а в этот вечер еще приглушенных резиновыми подметками. «Что вы читаете?» — спросил он и, не ожидая разрешения, взял обе книги, одобрил кивком Валье Инклана *. И неопределенно фыркнул, прочитав имя Панаита Истрати **. Именно тогда случилось то, чего она совсем не ожидала,— крутой поворот руля полностью изменил ход ее жизни, или, вернее, удар топора разрубил ее жизнь надвое: от четвертого декабря тысяча девятьсот двадцатого года до десятого сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года и от десятого сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года до сегодняшнего дня. Он улыбнулся невозмутимой, спокойной, уверенной улыбкой. Положил книги обратно рядом с ее сумочкой и вдруг, как ни в чем не бывало, сказал, поразив ее окончательно, неожиданным переходом на «ты»: «Знаешь, ты мне очень нравишься. Мне повезло, что я встретил тебя в салоне,—вот уже несколько дней, как я собираюсь спросить: хочешь быть моей возлюбленной?»

Даже теперь — с того момента прошло двадцать два года — лицо в зеркале заливается краской. Но в тот вечер краску вызвали сразу несколько чувств: стыд, страх, радость. Прежде всего, радость. Радость от того, что он обратил на нее внимание, что он предлагает ей совместную жизнь (так неверно и тенденциозно истолковала она его слова); радость от того, что он говорит ей «ты», что он здесь и ждет ее ответа. «Профессор»,— пролепетала она, а он подвинул свою чуть обросшую волосами руку и осторожно положил на ее руку, бледную, беззащитную и довольную. И под воздействием исходившего от его руки тепла, проникавшего в самое сердце, с биением которого она никак не могла справиться, лишь наклонила голову и тихо сказала, глядя на отвергнутого Панаита Истрати: «Я так счастлива, профессор». А когда подняла глаза, он уже говорил уверенно, как человек, заключивший удачную сделку: «Зови меня Эдмундо. Только, разумеется, не на факультете». Но она никогда не переставала называть его профессором, и, пожалуй, это было ее единственное непослушание. А когда он впервые привел ее в меблированную комнату и, не спеша, почти целый час целовал и ласкал, наслаждаясь ее стыдливостью, а потом, когда все было кончено, спросил: «Тебе было очень больно?» И она ответила: «Да, профессор»,— он не мог удержаться от смеха, услышав столь комическое проявление почтительности, принесенной из аудитории. И позднее, значительно позднее, она продолжала называть его профессором, особенно во время любовных утех,— это слово осталось между ними как пароль, как соучастник, как свидетель, которому можно было довериться.

Десять минут пятого. Он сказал, что придет в половине пятого. Он точен. Пусть приходит. Все приготовлено, все чисто, аккуратно. Глории осталось только подобрать бусы. Не слишком замысловатые, такие ему никогда не нравились. «Сними эту безвкусицу»,— сказал он, увидев на ней привезенное двоюродными сестрами из Испании коралловое с серебром ожерелье. Лучше вот это, из кофейных зерен, что он купил ей в Бразилии лет пять назад. Но тогда надо надеть другую блузку, потому что синее не идет к кофейному. Выглажена ли кремовая блузка? Да, вот хорошо. Ее жизнь на самом деле оказалась разделенной на две половины. Сколько мужчин кружило возле нее в эти годы! Что там говорить! Она

* Испанский писатель Рамон дель Валье Инклана (1869–1936).

** Панаит Истрати (1884—1935) — румынский писатель.

оставалась ему верна, не делая над собой особых усилий. Верна без надежды, без взаимности, потому что сначала у него была жена и дети и, конечно, случайные любовницы, а потом, когда он овдовел, он ни разу и словом не обмолвился о женитьбе. Их связь всегда была такой, как сейчас,— тайной, скрытой, неизвестной другим. Может быть, так лучше. Один из сыновей Эдмундо — Уго — немного младше ее, второй — Рамон — всего на несколько лет старше. С Уго она никогда не разговаривала, с Рамоном — два раза. Кто-то познакомил их в доме Ривасов. В другой раз их места оказались рядом в самолете Плуны *, летевшем в Буэнос-Айрес. Рамон ее не узнал или притворился, что не узнал. Нет, конечно, не притворился. Они почти не разговаривали во время полета. Она взяла сигарету, и он протянул ей зажигалку. «Спасибо за огонек»,— сказала она. Вот и весь разговор. Если бы он знал! Но никто ничего не знает. Это чудо, особенно если учесть, с какой скоростью распространяются сплетни в этом городе. По сути дела, глубоко провинциальном, где нет больших кабаре, не бывает нашумевших спектаклей, не происходит крупных скандалов. Подсвеченный огнями фонтан в «Парке союзников» — вот и вся наша ночная жизнь. Сплетня — самое большое здешнее развлечение, семейное шоу. Но никто об этом ничего не знает, никто об этом ничего никогда не знал. Он очень хорошо умеет быть осторожным. А те, у кого есть подозрения, боятся расспрашивать, не хотят взваливать на себя чудовищную ответственность — обнаружить уязвимое место Эдмундо Будиньо, одного из столпов государства. Конечно, всем ясно, что в его жизни есть белые пятна, многоточия, пустые строки (как в анкете), которые никто не может заполнить достоверными данными. Да никто и не отважится.

Резко щелкнув и слегка задрожав, снова заработал холодильник. Ах, не забыть приготовить кубики льда. Когда он потягивает виски, ей всегда кажется, что это самое спокойное время дня у ее мужчины. Покончено с фабрикой, покончено с газетой, с партийным домом, с полоумными юнцами, которые приходят за оружием и за газетными восторгами, покончено с безропотным Хавьером, со скрупулезным Рамоном, с подражающим отцу Уго, покончено со всем внешним миром. Он рассказывает обо всем, раскрывает одну за другой главы прошедшего дня. Он с ней откровенен — в этом она не сомневается. Еще бы — он рассказывает ей отвратительные, грязные, ужасные вещи. Будто знает, что ее любовь примет и темную сторону его существа, которая находится во власти дьявола и которую он никому не показывает. Даже Рамону — в этом она тоже уверена. Рамону он показывает еще более циничного, мрачного, агрессивного и жестокого Эдмундо Будиньо, чем тот есть на самом деле. Кроме того, Рамону он ничего не говорит об их связи, потому что это (во всяком случае, она так объясняет себе) было бы капитуляцией, равносильно признанию в том, что он может быть не таким черствым, не таким непреклонным, не таким бесчеловечным, не таким надменным. А в этом он не признается никогда. Внимание Глории привлекала терпеливо выращиваемая им в себе злость, с каждым днем приобретающая новые черты, новые оттенки.

К тому же, к тому же... Глория улыбается, поправляя некрасивую складку на покрывале. К тому же теперь ей известен еще один, самый страшный секрет. В шестьдесят восемь лет доктор Эдмундо Будиньо, один из самых влиятельных людей в стране, могущественнейший в области экономики и политики человек, утратил силу в скромной, но весьма важной области, не имеющей отношения к политике и экономике. Короче говоря, с сексом у него покончено. Глория снова улыбается. Она вспоминает тот день, когда он, потерпев первую неудачу, все тем же

* Плуна — уругвайская авиационная компания.

обычным, уверенным тоном сказал: «Сегодня было ужасно много работы. Лучше оставим до завтра». И она ответила: «Хорошо, профессор»,— но тут же раскаялась, потому что эти слова, ставшие для обоих неизбежным атрибутом их интимной жизни, помимо ее желания прозвучали иронически, приобрели невольно насмешливый оттенок, как будто имели собственную жизнь и сами придавали себе истинное значение. Обещанное завтра так и не наступило, и после четвертой неудачи поражение было официально признано. Однако он сумел представить его не как конфуз, а как своего рода памятник. Сексуальная кончина превратилась в нечто вроде почетного знака. Я заслуживаю отдых в этом отношении больше, чем кто-либо. В конечном счете, так даже лучше. Теперь голова у меня свободна, и я могу успешнее разобраться в кошмарном хаосе нашего мира. Ему не было дела до того, что его «заслуженный отдых» не должен был непременно совпасть с отдыхом Глории, не было дела до того, что у Глории еще не все покончено и что настороженный милый зверь, которого он сумел разбудить в ней, будет еще требовать пищи и игры. С тех пор прошло уже три года, а Глория продолжает быть ему верна.

До чего удобно калифорнийское кресло. Оно всегда почти облегает тело. Однажды она была у самой черты. Глория редко танцевала. Но от танго трудно удержаться. Партнер вел ее вполне корректно, не слишком прижимаясь. Как только они вошли в ритм танца, между ними установилось взаимопонимание. Словно с детства они танцевали вместе. Словно заранее знали каждый шаг, каждую паузу, каждый поворот. И много раньше, чем она узнала его имя, Глория ощутила это взаимопонимание, это сходство, родство, согласованность, которые позволяли ей угадывать самые неожиданные и невероятные па партнера и следовать за ним как тень, как спаянный с ним ритмом спутник, как послушный карандаш пантографа. И вдруг она почувствовала, что целиком находится во власти незнакомца — всей кожей отвечала ему, и каждое новое па, угаданное ею, доставляло ей наслаждение, которое было гораздо больше, чем просто удовольствие от танца, оно могло превратиться при новых сближениях в то последнее заключительное содрогание, что она заранее ждала. Она знала, что тут не было ни духовного родства, ни общих воспоминаний, ни взаимной симпатии — ни одного из этих предвестников любви. Но она также знала, что куда бы ни позвал ее этот человек, она пошла бы за ним как автомат, как робот. Она это знала, потому что, когда они танцевали чарамуско, при неожиданном резком звуке флейты Глория на мгновение, как при вспышке молнии, увидела себя в объятиях этого мужчины, и короткое, головокружительное видение настолько поразило ее, что она должна была ухватиться рукою за его шею, и она пробормотала: «Простите»: ей показалось, что с ней дурно. Она была у самой черты, однако ничего не произошло. Впрочем, это не ее заслуга (а может быть, и вина, кто его знает, подумала Глория). После восьмого или девятого танго, когда бандеонист взял финальный аккорд и она остановилась, слегка задыхаясь, но не от усталости, а от сладкого сознания своей покорности, когда она с изумлением обнаружила, с какой силой реагирует на близость этого человека, который был почти ее ровесником, а не старше на двадцать семь лет, когда он посмотрел на нее долгим, спокойным взглядом и в глубине его темных глаз она увидела целый костер отказов, она так остро, словно ее полоснули ножом, ощутила, что перед ней разыгрывается вечная трагедия, пародия на удар судьбы. У нее было такое ощущение, что будто бы ее выбросили на улицу. В этот момент мужчина сказал: «Я прошу извинить меня». Ослабевшая от неутоленного желания, она только через несколько часов поняла смысл этих слов, когда одна из подруг прошептала ей в ухо: «С каких это пор ты танцуешь с гомосексуалистами?»

Глория вытягивает ноги. Ее ноги нравятся мужчинам. Сколько

раз — в автобусе, в кафе, в театре, на лестнице — она ловила взгляды мужчин, с восхищением созерцавших загорелые точеные икры, которые как бы обещали или гарантировали чувственную силу. Это сила, которой она обязана исключительно Эдмундо и которой сейчас никто не пользуется. Вчера, позавчера, десять месяцев назад перед ней все тот же вопрос: «Справедливо ли это?» Несмотря на все, для Глории еще имеют значение табу, существующие в ее среде. Но любое табу можно опровергнуть. Из этого столкновения мнений рождается понятие или не слишком твердая уверенность в том, что он не муж или, вернее, он не хотел стать ее мужем, даже когда мог и должен был стать им. Остается сделать вывод: стоит ли оставаться верной человеку, который не хотел быть ее мужем и уже больше не любовник и который к тому же, будучи любовником, обманывал ее столько, сколько мог, со всеми женщинами, с какими только ему хотелось, начиная с потаскух и кончая богатыми бездельницами, не расстающимися с библией и морфием. Конечно, не стоит. Ответ настолько прост, что Глория не может удержать кривую усмешку, однако в усмешке улавливается и ласковая жалость, сочувствие и готовность к пониманию. Он — эгоист, кто ж в этом сомневается? Самый большой эгоист во всем обширном районе между реками Куарейм и Ла Плата, между рекой Уругвай и лагуной Мерим. Но даже в этом есть свой смысл. Тем, что ты спутница Человека номер Один, несмотря на все, можно по-своему гордиться. Двадцать лет я была любовницей Эдмундо Будиньо — подсчитывает Глория, хотя знает, что на самом деле до двадцати лет не хватило нескольких месяцев. Я все еще его наперсница, добавляет она. Жаль, никто об этом не знает, но все же это несомненно накладывает отпечаток. Во всем городе, во всей стране нет никого (точнее — пожалуй, нет!), кто принимал бы, как она, всемогущего человека у себя дома и выслушивал бы его длинные исповеди. Сколько бы заплатили журналисты, фотографы, кинорепортеры, депутаты оппозиционной партии, чтобы услышать и увидеть то, что слышит и видит она каждый день. Вот и сейчас через несколько минут придет Будиньо, вздохнет устало, поцелует ее в щеку, снимет пиджак, сменит ботинки на домашние туфли, вымоет руки и лицо, сядет в плетеное кресло, возьмет стакан с виски, куда уже опущено два кубика льда и налито на три пальца содовой, спросит рассеянно: «Как ты поживаешь?» — и начнет рассказывать ей о своих делах, освобождая себя от проблем прошедшего дня. А может быть, вернется к вчерашнему монологу и спросит: «Как мне не презирать людей, если они принимают меня таким, как есть? С самого начала у меня было ужасное искушение — надуть, облить их помоями. Но при этом я давал себе клятвенное обещание, что как только появится малейший признак того, что они способны возмутиться и ответить мне, я буду готов отступить. Скажу даже больше: юношей я полагал, что хочу докопаться до самого дна, до самого основания этой страны, потому что, только зная доподлинно, где находится ее основание, человек может твердо стоять на ногах. И я начал зондировать почву. Обманул — и дна не нащупал, смошенничал — опять ничего, совершил подлог — все то же, устроил денежную аферу — по-прежнему хоть бы что, поступил подло — все спокойно, применял насилие, давление, шантаж — и абсолютно никаких последствий. Сейчас я раздаю оружие маменькиным сынкам, провожу клеветнические кампании. Но, признаюсь тебе, мне это надоело. Может быть, у этой страны нет основания? Мне сообщают об угрозе разоблачения, настолько сокрушительного, что полетят все мои марионетки. Я думаю: может быть, наконец, настал этот час, но нет, ничего. Всегда находится кто-то, кого можно купить, или у кого не хватает мужества, или кто достает из пачки сигарету и пожимает плечами. Они не знают, сколько зла они мне причинили. Потому что я упрям. Я одержим желанием найти эту основу: в поисках ее я превратился

в подлеца. Теперь даже, если мне и удастся ее найти, она меня не удержит. Я чувствую, что прогнил насквозь».

При этих словах Глория подойдет к нему, погладит рукой по голове. Волосы у него все еще густые, почти такие же, как двадцать лет назад. Залысины у висков не увеличиваются. Щеки по-прежнему хорошо выбриты и гладкие. «А что касается моих сыновей,— возможно, продолжит он, поскольку это одна из излюбленных его тем,— то что прикажешь делать с Уго? Меня от него кидает в дрожь. Этот дурак хочет мне подражать. В чем? Скажите, пожалуйста. У него превосходная женушка, а он не обращает на нее внимания. Он получил звание казначея, потому что я чуть ли не на носилках притащил его к экзаменационному столу. А теперь, когда он стал специалистом, я предоставил ему самые лучшие костыли для его параличной деятельности — мои связи. Он думает, что его хорошо оплачиваемые консультации посыпятся к нему из-за его прекрасных глаз. Как бы не так. Второй, Рамон,— совсем не то. Он хорошо видит, что происходит кругом, он умный. Еще совсем мальчиком он обладал острым глазом, сразу схватывал все. Поэтому о нем я сожалею больше, куда больше. Он ушел из университета, но это не имеет для меня значения. Изображает из себя левого, сам уверен, что он — левый. Ха! Я предложил ему денег, чтобы он открыл агентство путешествий, с тайной надеждой, что он откажется. Но он взял. Вместо того чтобы сказать мне: «Подавись ты своими деньгами, Старик, я начну снизу, с того, на что сам способен, вот и все». Теперь, если он узнает о моих темных делах с Молиной, разве у этого слюнтяя хватит мужества, чтобы решительно схватиться со мной и сказать: «Ты, Старик, свинья, и я в последний раз разговариваю с тобой»? Нет, он так не скажет. Он не знает, как бы я его за это обнял. Нет, вместо этого он наверняка испугается и придет просить меня бросить это грязное дело, но не из-за грязи, как таковой, а чтобы не запачкать имя семьи. А можно ли запачкать имя Будиньо больше, чем я его запачкал с одобрения всей страны, которая в наказание превратила меня, по меньшей мере, в национального героя? Да, он, разумеется, скажет, что надо подумать об Уго, о Густаво, о Сусанне, обо всех. Еще бы. Он не думает только обо мне, не думает, что я его отец и что я весь прогнил. Это его не беспокоит. В его присутствии я принимаю сопляков, которых мне рекомендовало посольство, вручаю им оружие и даю самые разбойничьи, самые бандитские наставления, какие только могу извлечь из своего репертуара, и он героически удерживается от тошноты и подает руку этим болванам, вместо того чтобы спустить их с лестницы. На семейных сборищах он пожирает глазами Долли, но я уверен, он никогда не решится заговорить с ней, дотронуться до нее, переспать с ней. Он — растяпа, вот он кто. Малодушный растяпа. А в результате он ненавидит меня. Настолько ненавидит, что хотел бы видеть меня мертвым, и я уверен, что его любимая мечта — подстроить мое убийство. Но у него никогда не хватит мужества осуществить. Он не способен убить муху, а в этом мире надо уметь убивать и кого-нибудь поважнее мухи. Теперь мы с ним не сговоримся. Все кончилось в тот момент, когда он принял от меня деньги для агентства. Он будет ненавидеть меня больше и больше. Я все больше и больше буду его презирать. Теперь он может спасти себя, только если решится раз и навсегда покончить со мной. В тот момент, когда он наставит на меня пистолет, в тот самый миг, когда раздастся выстрел, я буду любить его и прощу. Обрати внимание, что в этом спасение для нас обоих. Потому что мне надоело быть таким, и бывают дни, когда я чувствую, что теряю силы. Но сейчас я уже не могу позволить себе проявлять слабость. Сейчас не стоит раскаиваться и начинать сначала. Когда я решил стать таким, какой я есть, я действовал сознательно. Не стоит говорить: какая жалость, я ошибся, прошу прощения у общества, у семьи, у казначейства. Ты ска-

жешь мне: а совесть? Не поверишь, но я задаю тот же вопрос. Разница в том, что ты спрашиваешь об этом у меня, а я — у призрака, называемого богом. А совесть? — спрашиваю я его. Но вопрос мой звучит как рекламация, претензия, наподобие той, что вы предъявляете в магазине, когда вам продали бракованный товар. А совесть? В том-то и весь ужас — ее у меня нет. А если и есть, я никогда не встречал...»

Он опаздывает уже на десять минут. Глория наклоняется к журнальному столику, берет «Ла гасета» и открывает ее на пятой странице. Редакционная статья Будиньо написана в еще более агрессивном тоне, чем обычно. Неужели верно, что у страны нет основы? А у нее, у Глории Касельи, есть? Разве Будиньо не делал с ней все, что хотел, а она всегда соглашалась, не бунтовала, не протестовала. Не будет ли он презирать ее за это полное приятие всего, что раньше она называла любовью, а теперь пониманием? Поймет ли она по-настоящему? Глория — сорокалетняя, все еще привлекательная, желанная — на миг представляет себе, какой могла бы быть ее жизнь, если бы тогда, десятого сентября, когда он ее спросил: «Хочешь быть моей возлюбленной?» — она бы просто ответила: «Нет». Один слог, ничего больше. Может быть, она вышла бы замуж, как ее сестра Берта, и имела бы двух карапузов и мужа вроде Фермина, который только и умеет говорить о футболе и о лотерее, Фермина, который назубок знает расстановку команды «Пеньяроль» * за последние пятнадцать лет и который не выиграл десять тысяч песо в программе «Вопросы и ответы» лишь потому, что его надули, так как он выбрал тему «Профессиональные футбольные игры первой группы А, сыгранные на стадионе Сентенарио с 1940 года по настоящее время», а этот злоумышленник спросил его, какая книга была настольной у Хуана Альберто Чиаффино. Может быть, она растолстела бы, как Берта, которая больше не носит пояс, не занимается гимнастикой и примирилась с расширением вен, и окончательно сдала бы в архив свои надежды на идеальную любовь, роняла бы слезу в очередной День матери, когда малыш вручал бы ей ежегодное сочинение, заданное ему по случаю такой волнующей даты, и дважды в неделю обнимала бы толстое, потное тело Фермина или кого-нибудь другого, в том же разе,— обнимала бы с той же обыденностью, с какой грузчик таскает груз, а священник отпускает грехи. В таком случае лучше было сказать «да», по-своему, конечно, то есть... «Я так счастлива, профессор». Неважно, как обстоят дела сейчас, но несомненно одно: то, что случилось с ней тогда, было настоящим приключением, почти как в кино или в романах, приключением, в котором она играла главную роль. Но также бесспорно и другое: ни в первые годы, ни даже в первые месяцы она не чувствовала, что он принадлежит ей. Ослепленная происходящим, она все же смогла понять, что была своего рода инструментом, незаметным инструментом в руках этого трудного, непроницаемого, жестокого человека. Она поняла, что он наслаждался ею, но не любил, что она была желанна, но не была необходима. Она была источником наслаждения этого человека и представляла для него ценность, пока была нужна ему, чтобы возбуждать его чувства. Потом, когда он издавал последний удовлетворенный крик и, расслабленный, давил ее своей огромной массой так, что она чуть не задыхалась, Глория знала, что будет дальше, она просто перестанет для него существовать, он устремит взгляд в потолок, а у нее будет ощущение, что в этот момент она для него значит меньше, чем комод, шкаф или стулья. Период, когда он начал поверять ей свои сокровенные мысли, начался не тогда, а в последние годы, с тех пор как он потерял способность обладать ею. Глория зажигает сигарету и выпускает колечко дыма, он научил ее этому в тот вечер, когда уговаривал начать курить

* Одна из двух наиболее сильных футбольных команд Уругвая.

И когда появилось третье колечко, она задает себе первый вопрос: «А то, что происходит теперь, что это — один из способов общения или новая, открытая им форма, с помощью которой он хочет продолжать использовать ее как инструмент, хочет продолжать наслаждаться без любви, хочет, чтобы она по-прежнему возбуждала, уже не чувства, а мысли, потом он снова оставит ее, и она снова станет для него мебелью?» Еще до того, как она заканчивает свой вопрос, колечко ускользает от ответственности и растворяется в воздухе. Не успевает она затянуться во второй раз, как раздается звонок.

Глория открывает дверь. Он стоит, опираясь на одну ногу, шляпа на затылке. Усталый вздох, потом поцелуй в щеку. Глория помогает ему снять пиджак и подает ночные туфли. Ботинки, как обычно, со стуком падают на пол. Из спальни Глория видит, как он моет руки и лицо. Потом Эдмундо Будиньо подходит к плетеному креслу, берет стакан виски с двумя кубиками льда и содовой — на три пальца — и спрашивает с неизменной жесткой улыбкой:

— Как ты поживаешь?

8

— Ты идешь в центр?

— Да.

— Хочешь, подвезу?

— Хорошо, высади меня около университета.

— Ты снова спорил с дедушкой?

— Нет. После той схватки мы заключили перемирие.

— Мама беспокоится.

— Да, она уже прочла мне несколько проповедей.

— Она действительно беспокоится.

— А ты нет?

— Не слишком. Думаю, что понимаю тебя лучше, чем твоя мать.

— Ты уверен в этом?

— Совершенно уверен... Во всяком случае, постарайся быть с ней поприветливей, не пугай ее. Ты хорошо знаешь, какая она нервная.

— Дело в том, что маму все пугает. Она впадает в панику от многих слов.

— Ну, так не произноси их при ней. Ты добьешься лишь того, что в доме не будет покоя. Думай, что хочешь, но не спорь весь божий день все об одном и том же.

— Ты тоже думаешь, что не стоит обсуждать все, что происходит?

— Нет, конечно. Но мне кажется, что спорить с матерью — бесполезно. Ты ее не убедишь. А дедушку тем более.

— Дедушка — другое дело. Мама искренне пугается и, кроме того, ничего не понимает. Дедушка же, наоборот, прекрасно все понимает, но он предпочитает пугать других, а не пугаться самому.

— Это люди другого покроя. Они не хотят терять свой мир.

— Я это знаю. И они сделают все, даже невозможное, чтобы не потерять его. Но больше всего меня возмущает то, что он встает в позу человека с безупречным прошлым, человека безукоризненно честного и порядочного. Я имею в виду его статьи, позицию его газеты. А не то, что он говорит мне. Разговаривая со мной, он кокетничает, пытаясь выглядеть хуже, чем он есть.

— Мы все в какой-то степени рабы позы: они, мы, вы тоже. Дело только в том, что эти позы — разные.

— В каком смысле мы являемся рабами позы?

— Старик сказал тебе в тот раз. Это один из немногих пунктов, в котором я с ним мысленно согласился. Вы думаете, что делать революцию означает ходить без галстука.

— С чего-нибудь надо начинать, вы не делаете даже этого.

— Знаю, знаю. Но вы начинаете говорить, кричать, организовывать митинги, сами себя разжигаете и, в конце концов, убеждаете себя в том, что страна именно такая, какой вы ее себе представляете. А страна — совсем не то, нечто другое, она, пожалуй, значительно хуже того идеала, который вы себе придумали.

— Кто рассказал тебе эту басню?

— Видишь ли, Густаво, в основном наши с тобой мнения совпадают: надо покончить с концентрацией капиталов, с таким положением, когда земля находится в руках небольшой группы людей, с отсутствием самостоятельной и достойной уважения линии в нашей внешней политике, с коррупцией в государственном аппарате, с крупными аферами в вопросе о пенсиях, с большой и малой контрабандой, с марионетками, с главарями политических клубов, с полицейскими пытками, с порядком получения дешевых автомашин для депутатов. Конечно, со всем этим надо покончить, но вы не понимаете, насколько сильно притупилась у нас чувствительность.

— В каком смысле?

— Видишь ли, я как-то слушал по телевизору депутата от партии колорадо, и он открыто издевался над народом. Тезис его таков: «В течение четырех лет вы возмущаетесь депутатами, которые, как я и как многие другие, ввозят для себя из-за границы автомобили по дешевым ценам. Вы считаете это глубоко аморальным. Но когда наступает время голосовать, вы выбираете нас, а не тех, кто не воспользовался этой привилегией. Это означает, что народ не придает значения мелочам».

— Какая наглость!

— Разумеется, это наглость. Однако, к сожалению, он в сущности прав. Люди все меньше придают значения частностям, имеющим отношение к политической морали. Народ знает, что в высших сферах совершаются крупные аферы, но считает, что он не в силах помешать этому. И тогда человек с улицы, участие которого в политике ограничивается голосованием на выборах, примиряется, и сам тоже пытается обделать маленькое прибыльное дельце, совершить свое скромное мошенничество. Поверь, что самый серьезный кризис, существующий в этой стране, это кризис примера.

— Скажи лучше, что с этого все началось. Но теперь дело не исправишь тем, что будешь подавать хороший пример. Необходимо менять существующий экономический строй.

— Да, Густаво, я согласен с тобой. Но, ослепленные идеей переустройства, вы забываете о морали, и это ваша серьезная ошибка.

— Дело в том, что страна переживает экономический, а не нравственный кризис. Во всяком случае, моральный кризис неразрывно связан с определенной экономической структурой.

— Послушай, вы, после каждого слова упоминающие Маркса и теорию относительной прибавочной стоимости, могли бы иногда вспомнить, что Маркс говорит о политической экономии, о науке относительного накопления как о настоящей нравственной науке, самой нравственной из всех наук. Вам не приходило в голову, что хоть марксизм разоблачает обезличивание личности при капитализме, он в действительности предлагает также изменить символ в этой нравственной науке. Что бы делал ты и твои революционеры без галстуков, если бы сейчас появилась возможность изменить строй, как вы говорите, и пришлось бы немедленно передавать этот только что изменившийся строй шайке аморальных, властолюбивых, хитрых, фальшивых людей? Прекрасно, что вы хотите изменить строй, но постарайтесь, чтобы одновременно изменился и моральный облик людей, потому что в противном случае все преобразования пойдут насмарку, а эволюция, или революция, или любые дру-

гие изменения окажутся напрасными. Тебе не приходило в голову, что у нас в стране наблюдается огромная политическая апатия, коллективное безразличие, все пожимают плечами, и возможно, потому, что давным-давно завоеваны социальные права народу, который еще не начал их требовать. Поэтому, если раньше мы были в первых рядах на континенте, то теперь все опережают нас, у всех народов в Америке больше общественного самосознания, чем у нас, все идут больше в ногу с жизнью, чем мы, и когда наступит время Великих Перемен, о которых вы мечтаете, ты увидишь, что Уругвай, такой чистенький, такой демократический, уравновешенный, пример для всей Америки, славящийся своей свободой и тем не менее такой непоправимо застоявшийся, последним усвоит урок истории, последним откажется от своего великолепного ханжества.

— Вы все таковы: как будто во всем хорошо разбираетесь, а в основе своей — разрушители. Вы только умеете перечислять недостатки, недочеты.

— Нет, Густаво, между нами и вами разница только в темпах. Я думаю, что для преобразования существует одно-единственное действенное средство — политическое воспитание, а на это нужно время. Ты же полагаешь, что перемена произойдет внезапно, созреет вдруг. Я прекрасно помню, что до двадцати лет все кажется срочным, и действительно все срочно. Однако признание того, что существует неотложная необходимость что-то сделать, не всегда означает, что сделать это можно немедленно. Дай бог, если ты и твои друзья правы, но для меня существуют только два пути достижения политической сознательности: один — это голод и ограбление, второй — воспитание. Мы не страдаем от голода и от грабежа, во всяком случае так, как другие народы Африки и Америки, а с другой стороны — мы не были должным образом воспитаны. Поэтому нас так мало интересуют настоящие политические преобразования и, напротив, очень занимает феномен политического вырождения, подлога. Когда я так говорю, я имею в виду нашу отвратительную тщеславную бюрократию, сеть клубов, бесконечные злоупотребления с пенсиями, глубоко зашедшую коррупцию. Вы строите свои планы, рассчитывая на народ, который предварительно идеализирован вами, но этот народ пока еще не дал повода к подобной идеализации. Пойми — все, что я сейчас говорю тебе, не направлено ни против вас, ни против народа. Вы — прекрасные ребята и полны самых лучших намерений, я это признаю, но у вас в голове — только экономические схемы, к тому же иностранные, и вы забываете, на чем все это должно строиться, народ тоже очень хорош, этот превосходный сырой материал можно будет использовать, его совершенно необходимо воспитать. У нас все умеют читать и писать, но не умеют мыслить политически, если только это не касается общественных должностей или пенсий. Иногда достаточно провозгласить лозунг, но обычно этого мало. Если ты проведешь опрос, например, об отношении к аграрной реформе, то обнаружишь, что самые ярые защитники ее — люди свободных профессий, интеллигенция, студенты. Другими словами—средние слои и выше, большинство—владельцы больших и дорогих квартир. Но поезжай в деревню, и если там ты встретишь хоть одного крестьянина, молодого или старого, который не испугается, когда ты заговоришь с ним об аграрной реформе, или не отвергнет ее прямо и категорически, тебе надо будет дать орден или просто-напросто не поверить тебе. Видишь ли, во всяком случае, сейчас у наших пеонов*, работающих в имениях, нет привязанности к земле, им нравится чувствовать себя кочевниками. У пеона представление о свободе ограниченное и авантюристическое, свободу он понимает как возмож-

* Пеон — батрак.

ность сегодня в одном месте укрощать лошадей, а завтра — в другом стричь овец и знать, что его ничто не связывает, или, по крайней мере, думать, что это так,— как говорят знатоки, это унаследовано от гаучо *. Отсюда следует, что прежде, чем манить их флагом аграрной реформы, надо привить им любовь к земле. Но тогда, подумай, если у них нет этой любви, так ли уж необходимо ее прививать? Нет ли других способов осуществить социальную справедливость, покончив, конечно, с язвой латифундизма? Нет ли других вариантов, которые больше бы соответствовали нашему характеру и — почему бы и нет? — некоторым нашим обычаям?

Пока вы будете копировать опыт Боливии, Кубы или Ганы, пока вы будете рассматривать нашего пеона из имения как нечто подобное кубинскому крестьянину или рудокопу из Оруро **, дело не сдвинется с места. Ты скажешь, что не сегодня-завтра в Бразилии или Аргентине могут произойти грандиозные события, которые потрясут основы общества, и что эти события мигом втянут нас в революционную волну большей или меньшей силы. Возможно, это случится, но все-таки зрелость не достигается с помощью декрета. Если у нас произойдет взрыв, то это не потому, что мы осознаем его необходимость, а лишь потому, что взрыв произошел у наших соседей и огонь перекинется на нас. При этом самое вероятное, что охватившее нас пламя нам ничего не даст, разве что сожжет нас. Пока мы не создадим свое собственное оружие и не изобретем свой собственный порох, пока всем нутром не ощутим необходимость в своем взрыве и своем огне, никаких действительных, глубоких изменений не произойдет, а будут они лишь чисто внешними, поверхностными, как и наша теперешняя, широко рекламируемая демократия. И если наши столпы отечества, в том числе и твой дед, могут во всеуслышание говорить, что руки у них чисты, то это потому, что наши представления о политической гигиене заставляют желать много лучшего. Ну, а теперь выходи, здесь я не могу поставить машину.

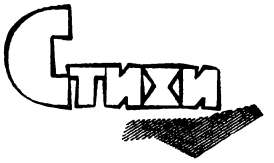
---

* Гаучо — крестьянин-пастух.

** Центр горнодобывающей промышленности в Боливии.

(Окончание следует)

УИЛЬЯМ ФАРАХ СИАД



Перевод с английского и французского АЛИНЫ БУКАЛОВОЙ и ЛЕОНИДА ПАВЛОНСКОГО

«Земля благовоний» — так называли Сомали древние египтяне. Расположенная на Африканском Роге, эта страна всегда находилась на стыке негритянского и арабского миров, она веками являлась ареной столкновения и одновременно мостом между двумя великими цивилизациями Востока. Сами сомалийцы в песнях и легендах чаще всего называют свою родину «Землей поэтов». На протяжении веков поэзия играла огромную роль в общественной и духовной жизни сомалийского народа.

Крупнейший современный поэт Сомали Уильям Фарах Сиад является достойным наследником богатых поэтических традиций своего народа.

Сиад родился в 1931 году в городе Джибути, административном центре французского Сомали. Образование получил в Европе — окончил парижский институт экономических и общественных наук. Он рано начал писать стихи и уже в студенческие годы стал зрелым поэтом. Сомалийский язык не имеет письменности, и Сиад пишет свои стихи на французском и английском языках.

«Его стихи — как живые цветы Земли Поэзии, как благоухающие орхидеи. Они сродни поэмам Рабиндраната Тагора. Сиад не забавляется поэзией, он не развлекатель, он настоящий поэт, влюбленный в поэзию. В своих стихах он повествует о судьбе своего народа»,— так писал известный поэт президент Сенегала Леопольд Седар Сенгор в предисловии к стихотворному сборнику Сиада «Хамсин».

После провозглашения независимости Сомали Сиад возглавил сомалийский национальный музей «Гареза» и продолжает свою литературную деятельность.

Вдова, чей сын убит

Она была старой и слабой,
Голод сушил ее тело,
Взгляд ее был неподвижен
И в пустоту устремлен,
В бесконечную черную ночь
Вдовы, чей сын убит!

Тяжелые,
Нищие годы
Морщинами кожу изъели.
Она говорить пыталась,
Но внятно не может промолвить
Слово беззубый рот
Вдовы, чей сын убит!

В глубокие две глазницы
На черном лице печальном
Солнечный блик ложится,
Но в черную вдовью ночь
Не в силах пробиться свет.

Слепые глаза ее смотрят
Пристально в мир непонятный.
Призраком злобным оттуда
Голод грозит всегда
Вдове, чей сын убит!

Ее темнота окружает
Такая, как цвет ее кожи.
Она напрягает силы
В неравной борьбе с нищетой,
Она побороть старается
Свое неизбывное горе
И одиночество вечное
Вдовы, чей сын убит!

Она мне с трудом сказала —
Слезы ее душили.
«Был у меня добрый,
Большой и сильный сын,
Заботливый сын...» — сказала
Вдова, чей сын убит!

«Не троньте меня,— сказала,—
Оставьте меня,— сказала,—
В моем одиночестве страшном
О сыне плакать одной».
Но плакать не может больше —
Слезы ее иссякли
В тот самый день злополучный,
Когда его увезли.
Выраженьем единственным горя
Был воющий звук
Из горла
Вдовы, чей сын убит!

Она мне с трудом сказала.
«Тринадцать лет беспросветных,
Тринадцать лет бесконечных
Прошло с несчастного дня,
Когда белый сахиб *
Большой саркал **
Сына забрал у меня...
Сына забрал»,— сказала
Вдова, чей сын убит!

---

* Господин.
** Начальник.

От горя она ослепла,
Но в почерневшем мире,
Где черные дни текли,
Ей виделся свет —
Единственный сын.
«Варсамо... Варсамо... Варсамо!» —
Снова звала его
Вдова, чей сын убит!

Большой сахиб,
Белый саркал
Никогда не вернется назад,
И ее единственный сын...
Назад не вернулся...
Остался лежать там,
На полях сражений,
На славы полях,
Где рис теперь посеян,
Могилу его не найти средь могил
Тысяч
Братьев по смерти.

Храброму солдату,
Погибшему в бою
«За свободу и демократию»,
Что обещала,
Свобода, ты?!
Что подарила
Ты, демократия?!

Какая цена обещаньям пустым,
Цена миражам, мечтам?
Меж тем...
Солдатской матери рука
В просящем простерта жесте
Во мраке дней,
Похожих на ночь
Вдовы, чей сын убит!

Сына
Звали
Варсамо Самакаб,
Ее —
Самарон Фахье.
В Британском Сомали
Найдите
Район Эригаво.
Спросите —
И каждый житель
Укажет
Вдову, чей сын убит.

Да будет голод с тобой!

Голод
на грозном своем пути
брюхо грызет и мозг,
как кожу гложет проказа.

Голод
приходит из ада
и вновь возвращается в ад
по поверженным жертвам.

Голод —
ублюдочный сын
смертных семи грехов,
в закоулках ада рожденный,
взращенный в канавах
зловонных,—
зловещая тень всех зол.

Со времен
незапамятных
ненависть так выражают:
голод да будет с тобой!
Так проклинают:
голода гнев на тебя!

Что есть правда?

От начала начал,
от начала
времен,
если было такое начало,
человек —
эта бренная плоть,
наделенная мыслью,—
вечно ИСТИНУ ищет...

Но считалось всегда:
правда — СВЕТ,
правда — ВЕРНОСТЬ,
ЛЮБОВЬ...
Никогда не искал
человек
оборотную сторону
ПРАВДЫ.

Беспощадная
ПРАВДА —
это только
сплошное СОМНЕНЬЕ,
сомнение в СУТИ вещей,
и сомненье
в СЛОВЕ,
и сомненье
в ничтожных
ВОЗМОЖНОСТЯХ
МЫСЛИ самой.

Ложь

Как тень
есть
света
ложь,

так ложь
есть
искра
правды.

Верь
в то, что создаешь,
знай —
неизбежно ложь
лежит в основе
ВЕРЫ
с правдой рядом.

Я и ты

Я только то,
что я собой являю,
и нет во мне
того, что есть в тебе,
а ты — не я,
а ты совсем иная...
Быть может, потому,
друг друга дополняя,
с тобой вдвоем
мы составляем нечто,
как Ночь и День
в их сочетанье
вечном.

ТИТУС ПОПОВИЧ

Смерть Ипу

НОВЕЛЛА

Перевод с румынского
Д. ШПОЛЯНСКОЙ

Иногда впечатление от личного знакомства с писателем противоречит впечатлению от его произведений. Так немногословный стеснительный человек оказывается автором раскованных и удивительно смешных рассказов. Другой — суховатый и колкий — раскрывает в стихах свое неожиданно нежное, незащищенное сердце...

Про Титуса Поповича такого не скажешь: он откровенно и открыто выражает в творчестве свой характер и темперамент. Увлеченный, артистически яркий собеседник, он как бы не умещается в самом себе, ночь напролет изображая десятки своих земляков, рассыпая исторические и философские парадоксы, демонстрируя упражнения йогов, читая стихи, распевая румынские народные песни, рассказывая и показывая... Будто в комнате целый ансамбль. Голова слегка кружится от такого неуемного натиска...

Потому, начав читать «Смерть Ипу», сразу узнаешь напористого «перенаселенного» Титуса Поповича. Узнаешь не столько по теме, сколько по исполнению. Сюжет сам по себе (очень точно найденный, полный драматизма и глубокого значения) все-таки еще не отмечен печатью личности писателя. Способ передачи, точка зрения — вот что делает новеллу своеобразной и неповторимой.

Внешний сюжет целиком пропущен через внутреннее восприятие четырнадцатилетнего мальчика. Но какого мальчика! Острота и интенсивность его чувств порою даже чрезмерны. Отсюда напряженность и резкость образов, пересечение яви и воображения.

Детская непримиримая чистота подростка больно сшиблась с грязью и фальшью взрослых — их «добропорядочное» мещанство обнажилось и обрело чудовищные формы в час перелома и крушения их косного уклада. Мальчик, на которого обрушилась непомерная тяжесть житейского разлада, противится ему всеми силами своей неокрепшей ранимой души. Не умея еще сознательно ответить себе и миру, он мечется, чувствуя то отверженность и одиночество, то враждебность и ненависть к окружающему. Сам стиль прямой исповеди мальчика, дисгармоничный и обостренный, выражает «хождение по мукам» пробудившейся личности и убедительно приводит к неумолимому нравственному приговору в конце повествования.

Что же произошло на глазах подростка?

Население трансильванского села едва успело отпраздновать день 23 августа 1944 года, как село оказалось оккупированным германскими войсками, вчерашними «союзниками». Люди сбиты с толку, надежды сменяются отчаянием, никто не знает, что будет завтра... Вот тут-то проявляется сущность самых «уважаемых» людей, которым на все наплевать, лишь бы выжить, любой ценой спасти себя и свое добро.

За селом обнаружен убитый немецкий солдат. Гитлеровцы грозят расправой всей сельской верхушке, если не будет найден виновный. Тогда священник, нотариус и иже с ними уговоривают блаженненького старика Ипу взять на себя вину, «спасти село»... Взамен — пышные похороны, надгробный памятник, как у знатных людей...

Вся эта страшная сделка глубоко потрясла мальчика, для которого Ипу — соучастник его игр и фантазий, единственный друг среди взрослых. Трагически сталкивается

поэтическая любовь мальчика к Ипу, простодушная человеческая высота самого старика и жестоко-прозаический, лицемерный торг вокруг его жизни.

Потому внешне благополучный исход ничего не меняет. Беспощадный приговор произнесен, прощения не будет. Он прозвучал в ожесточенной душе мальчика в тот самый миг, когда «уважаемые» участники торга почувствовали облегчение и радость...

Нравственная истина познается дорогой ценой. Но эта истина дороже всех иных ценностей, без нее живая душа погибла бы...

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми: «Кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может жить при вечном пламени?

Исайя, 33, 14

1

стоял на самом краю поля, засеянного люцерной, уронив руки, словно мокрые, грязные плети. И глядел на мертвого Фридриха, лежащего в зарослях бузины и репейника, от которых несло козлом. «Люцерна» звучала для меня прекрасным испанским словом. Вдалеке, точно сытые свиньи, урчали пушки, но я их ничуть не боялся, ведь не шальным же снарядом убило здесь Фридриха, а значит, не могло убить и меня.

Впрочем, никто и ничто не могло причинить мне вреда: я был самый лучший и самый красивый мужчина в мире, и, если бы меня не терзала неистовая, тайная ото всех, кого я знал, жалость, я был бы счастлив, поистине счастлив, ведь я знал все, *все на свете,* и лишь прикидывался простачком, когда меня спрашивали, какой сегодня день или как называется столица Англии, или советовали вымыть руки перед едой. Тут я мгновенно выхватывал из кармана свою маску несмышленого, кроткого ягненка и, отвернувшись, быстро натягивал ее. Это было не совсем честно с моей стороны, но иначе я не мог: желтый океан ненависти тотчас захлестнул бы меня, я был бы убит, уничтожен, тайно зарыт в землю бог весть где, а они, *другие,* помаявшись день-два угрызениями совести, в конце концов облегченно вздохнули бы.

Прищурившись, я огляделся сияющими, глубокими своими глазами, прикрытыми соломкой ресниц: все та же оглушительно гудящая степь; солнце, ревущее, как осел; и, разумеется,— пушки, чуть о них не забыл, но в этом сумасшедшем гуле они терялись, они стрекотали безобидно, как кузнечики.

На шоссе появилась повозка. Я знал, кто едет там, но не хотел утруждать себя, назвав его имя. Повозка будет здесь через двадцать восемь минут, через 1680 секунд, и времени еще вполне достаточно, но на всякий случай я начал считать про себя и подошел ближе к Фридриху. Он лежал так, что нельзя было разглядеть, при нем ли его парабеллум девятого калибра, который он охотно давал мне подержать, вытащив предварительно патроны. Впрочем, стрелять он и тогда не разрешал мне, чтоб не испортить боёк, оставалось лишь целиться в смутные испуганные тени по углам конюшни, и теней становилось все больше, и они молили меня о пощаде.

Фридриха убили серпом. Рваная рана на шее была полна муравьев, сотнями увязавших в густеющей крови. Китель был расстегнут, многих пуговиц недоставало. Они тускло поблескивали в сожженной

солнцем траве, и по белой майке двумя параллельными шеренгами ползли муравьи: одни, еще чистые, черные — к ране, другие — оттуда, липкие и словно опьяневшие. Они кричали, что вернутся, как только справятся с делом, а встречные молчали и торопились, обливаясь потом.

Голова Фридриха была свернута набок: он мог бы сейчас и без зеркала увидеть собственную спину; левый сапог валялся в нескольких шагах, носок обмотался вокруг пожелтевших, как овечий жир, пальцев. Наконец я нашел кожаный пояс и взял парабеллум.

«Восемьсот девяносто три...» Стрелять уже было некогда: услышит человек в повозке. До меня явственно доносилось, как грустно жуют жвачку запряженные коровы и падает в дорожную пыль их серебряная слюна.

Я стоял с пистолетом в руке, чувствуя, как слабые лучи солнца стараются поджечь мои волосы. В ту минуту когда повозка поравнялась со мной, я с холодной решимостью обернулся и крикнул:

— Бач Марку! Поди посмотри, здесь мертвец!

Из повозки выскочил одноногий Марку и, схватив свой резной костыль, заковылял ко мне. (Говорили, будто он был ранен где-то под Сталинградом или на Дону, но я не верю этому — для солдата он слишком глуп. Должно быть, угодил ногой в лисий капкан, а потом сговорился с докторами, чтобы хапнуть инвалидную пенсию: целую кучу денег,— так я слышал.)

Марку остановился возле Фридриха. Костыль, ткнувшись в кротовую нору, глубоко ушел в землю, и, не подхвати я Марку, он грохнулся бы да сломал к чертям и вторую свою ногу. Он смотрел на Фридриха до самого захода солнца, потом на меня — до завтрашнего утра, но я только пожал плечами и, опустив на глаза фиолетовую завесу, тихонько захныкал. На самом же деле я пел и смеялся — потому что в жизни не видел такого побледневшего лица, как у Марку. Губы его треснули звучно, словно лопнувший каштан, и он подпрыгивал на своем костыле до тех пор, пока я не почувствовал, что голоден.

— Поди позови господина начальника,— сказал я.— Пусть придет засвидетельствует смерть и примет энергичные меры.

— Мне пойти? Мне? — почтительно спросил Марку.

Я слегка кивнул и тотчас пожалел об этом — Марку дико вскрикнул и, кажется, выругал меня. Ему идти? Какое ему дело, почему должен идти он? Казалось, он бросится на меня, изобьет, раздробит мне голову своим протопоповским посохом. Он мог это сделать, он умел удерживать равновесие и на одной ноге — привык. Но пусть попробует! Только я приготовился выстрелить ему в печень и на секунду закрыл глаза, чтобы выиграть время и холодно все обдумать, как услышал его бормотанье: казалось, он жалуется, точно тонет в Теузе и зовет на помощь, но тихо, чтоб не разбудить жену, которая могла бы его спасти, если бы не спала на берегу.

— Сделайте милость, барчук, подите сами... У меня в Косалэу дела, непременно надо...

Земля, на которой он стоял, хлынула на него, взобралась на щеки, прилипла к ним, карабкалась выше, ее скапливалось все больше под его соломенной шляпой. Я увидел, как он дрожит, и мне тоже сделалось страшно, *впервые в жизни,* но я не мог уже уступить, иначе я стал бы рабом Марку и никогда больше не сумел бы его застрелить, даже если бы он надо мной смеялся и кричал мне вслед: «Аист!» (Так меня называли, разумеется, потихоньку, за мои длинные, гладкие ноги со стальными мускулами.)

— Сейчас же отправляйся, не то худо будет!

Видя, что он не трогается с места, я решил поставить на карту все.

— Ну, хорошо. Пойду я, если ты не боишься остаться здесь, с этим разлагающимся трупом.

В следующее мгновение Марку уже уносился гигантскими скачками, точно прыгун с шестом. Секунду он парил над повозкой, словно огромный лист, потом бросился в нее, повернул и принялся хлестать коров, пока не сломал кнут. Тогда он стал лупить их костылем, кизиловая палка со стуком опускалась на широкие, крепкие многострадальные их спины.

Страх, который я нагнал на Марку, тучей пыли проводил повозку, а потом бросился на меня и стиснул до боли. Будто я очутился один-одинешенек в колодце, вырытом солнцем, его стены давили меня, я задыхался. Даже муравьи на трупе Фридриха что-то почуяли и заволновались.

Я направился к селу, с пистолетом в руке, отогревая озябшие пальцы на его деревянной, покрытой насечками рукоятке. Я шел босиком, острые синеватые камешки больно кололи пятки, было хорошо, я стал самим собой.

До встречи с теми, с другими (я знал, что они собираются сейчас в примэрии, кричат, рвут на себе волосы, глядят друг на друга с подозрением и скрытой ненавистью), у меня было, только для себя самого, какое-то время: может пройти даже несколько времен года, и я буду бегать на коньках, бродить под дождем, расстегнув на груди рубашку, может промелькнуть только секунда. Столько, сколько хочу я. Мне было лень выбирать, и, предоставив времени делать что ему вздумается, я произнес некие тайные слова: «Бутыль... Ризница... Ступенька... Лохань... Панцердивизион... Рак!» — и рассмеялся.

Потом бежавшая навстречу толпа захватила меня, закружила, как водоворот, и я проделал с ней обратный путь. Я не выпускал из рук пистолет. (Он очень нагрелся, обжигал, я мог пальцами прочитать все надписи на стволе.) Господин начальник жандармского поста Гочиман мчался как одурелый, сдвинув на затылок пропотевшую фуражку.

Живот его колыхался на тощем теле, весело подпрыгивая, и я не удивился бы, если б он лопнул и оттуда выкатился бы заяц или арбуз.

Я не подошел вместе с ними к Фридриху и смотрел издали, как они собрались вокруг него, присели на корточки, а потом поднялись — словно делали зарядку. Я услышал голос Гочимана:

— Наказал нас господь, братья румыны! Берите его... так... осторожно... еще осторожнее...

— Господин начальник, у него голова отрывается. Сейчас останется у меня в руках.

— Сапог! Носок! Пуговицы! Пилотка! — выкрикивал господин Гочиман так громко, хрипло и скорбно, что слова его казались гнилыми. — Подымайте его! Марку, постелил ты в повозку свежего сена?

Мне хотелось есть. Если я не потороплюсь, Старик, Король, Брат Мой не успеет поджарить мне ломоть хлеба и натереть его чесноком, мне придется есть суп из зеленой фасоли со сметаной, картофель по-французски и блинчики. Я постарею, превращусь в ревматика, потеряю зубы и волосы...

— Осторожно! Как можно осторожнее! С величайшей осторожностью!

Ссутулившись, медленно, словно ползая на коленях, мы двинулись за повозкой. Степь затихла. И снова стали слышны пушки. Я прижимал пистолет к бедру и, чтобы не сбиться с дороги, смотрел в одну точку, и шел прямо на церковную колокольню, напоминающую то, что мне стыдно назвать.

2

Я пришел домой, миновав солдат, рывших новые окопы. Спины их блестели так, что казались розовыми зеркалами.

Иоланда рассказала мне, рыдая, что и сегодня ей не удалось растерзать Молодого Бога, он был вооружен автоматом Смейссера и его сопровождали всадники. Иоланда просила у меня прощения, я не хотел, чтоб она видела, как я огорчен, и я печально кивнул ей. «Может быть, завтра».— «Может быть».

Кони мои ржали, роя землю копытами, слышался стук сабель по железным ступенькам; из подвала, вместе с холодным, кислым запахом картофеля и заплесневелых стен, доносился плач закованных в цепи рабов; жена моя, с высокой сияющей грудью, ждала меня на опушке леса в горячей тени, на ложе из папоротника. Но прежде надо войти в замок, ласкать, чтоб ласкали тебя, улыбаться, чтобы улыбались тебе.

Я люблю этот замок, хотя никому не говорю об этом, люблю огромный гранитный камин, в котором пылают колоды ливанского кедра, в альковах — постели с простынями из голландского, отливающего перламутром полотна, здесь я буду проводить жаркие ночи и дни с моей женой, и мы станем любить друг друга до тех пор, пока не расплавятся наши кости. Люблю и столовую со сводчатым потолком, дубовый стол и *трон,* стены, тесно увешанные оружием (рапиры, копья, арбалеты, кинжалы с широкими, короткими лезвиями, фамильный щит и трофеи, завоеванные в тяжких боях в Испании и на берегу Евфрата). Здесь едят зажаренных целиком быков, баранов, коз, кабанов, пьют вино из десятилитровых глиняных кувшинов с серебряными крышками. Устраиваются чудовищные оргии, где я оскверняю свою любовь и потом, стремясь вновь обрести покой, брожу в одиночестве по лесам, чтобы простили меня деревья, небо, звери и я сам.

«Все это — опасные глупости»,— сказал, презрительно улыбаясь, Господь наш Спаситель Иисус Христос, когда узнал правду о доме, где живет и он сам. И его израненные губы сжались, вытянувшись в белую черточку... «О любимый мой, дорогой, несчастный ребенок, одинокий мой...» Он стиснул меня в объятиях, пахнущих ладаном и томатной пастой, поцеловал в макушку, зарылся лицом в мои грязные волосы. *Она* же, наоборот, дернула меня за руку, повела в пустой класс (сейчас каникулы, *она* учительница), заперла дверь на ключ, дала мне бумагу и ручку и сказала, что не выпустит, пока я не сделаю «описание нашего дома», как нормальный человек, которому в это ужасное время выпало счастье иметь крышу над головой, горячую еду и двор, где можно играть.

Вот это «описание»:

НАШ ДОМ, НАШ ОЧАГ

Наш дом находится в прекрасном селе М... Он высится рядом со святой церковью, потому что принадлежит приходу. Мой зять — приходский священник, он проповедует слово божие. Его теплый голос воспаряет в воздухе, напоенном смирной и ладаном. Когда он поет во время причастия *«Да прильпнет язык мой к гортани»,* я вижу ясное небо и сонмы праведников. И тогда мне хочется творить добрые дела. У нас большой двор, очень чистый и ухоженный. Во дворе — куры, утки, гуси, индюки. У нас есть верная черная собака по кличке Санда. Она охраняет нас от злодеев-воров. Со двора входим в кухню. Пол сверкает чистотой. Здесь стоит печь. Над печью — старые часы с гирями. Здесь мы едим утром, днем и вечером. В кухне стоят еще сосновый стол и стулья, шкаф, в котором находится посуда, называемая глубокими тарелками,

мелкими тарелками, маленькими тарелочками, и много других вещей: машинка для перемалывания цикория — из него делают кофе,— медная ступка, колокольчик, ножи, ложки и вилки.

Спальня состоит из кроватей, шкафов, стола, стульев и печи, в которой разводят огонь. Огонь разводят зимой, когда холодно. Столовая состоит из стола и двенадцати стульев с обитыми гобеленом спинками. Я забыл сказать, что над кроватью в спальне висит красивая картина художника А. Гавра, которая представляет Господа нашего Христа на горе Гефсиманской, молящегося за всех нас, и по его лицу текут кровавые слезы. Затем есть комната поменьше, где сплю я и где находятся кровать, стол, стулья и маленькая печь, которая зимой раскаляется докрасна и приятно фыркает.

Таков мой любимый, дорогой очаг. Я живу здесь у моей сестры Маргареты потому, что мы — круглые сироты. У меня есть еще и старший брат, он сидит в тюрьме. Отец Иоан поминает его в своих молитвах. Я жил у этого брата, но год назад он и его жена были ночью арестованы. Мы жили возле вокзала в очень некрасивом, тесном доме, потому что брат, вместо того чтобы заниматься своим делом, совершал дурные поступки. Теперь я счастлив, ибо у меня есть крыша над головой, двор, где я могу играть, и горячая, очень вкусно приготовленная еда. Вечером мы играем в домино. Потом читаем. Каждый читает то, что ему больше подходит по возрасту, книги, которые нас всегда чему-нибудь учат: как вести себя, как думать, как растить детей и т. д., и т. п.

А дальше, за горизонтом, течет среди ив река, куда я хожу на рыбалку вместе с Теодором Чупе, по прозвищу Ипу, который наш слуга и нищий духом. Я очень рад, что Спаситель думал о таких людях, когда сказал: *«Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное».* Таков мой очаг. Моя сестра — учительница. Каждый вечер я молюсь за их счастье и здоровье. Мне четырнадцать лет, и я должен сделать еще многое, потому что я не получил никакого воспитания, а был предоставлен самому себе и бегал по пустырям со всякими шалопаями. До тех пор, пока я не попал в мой новый любимый очаг, я никогда не молился, потому что никто меня не научил. Я прошу вас, дорогой отец Иоан и любимая моя сестричка, простить меня, если я в чем-нибудь перед вами провинился.

Таков мой дом, наш очаг.

Когда я закончил сочинение, уже совсем стемнело, наступил вечер. Я перепачкал пальцы чернилами и слизнул их — во рту остался вкус ржавого железа. Я барабанил кулаками в дверь класса, но Маргарета выпустила меня не скоро, она забыла обо мне. После ужина Красавец, Святой с глазами как уголья, велел мне прочесть то, что я написал.

— Та-а-ак... Стань вот там. Смотри, чтоб хорошо падал свет от лампы, не испорть глаза, они тебе нужны.

Когда я закончил, он и Маргарета плакали. Сделав усилие, заплакал и я. Это было нетрудно, я только вспомнил о *Нем,* о вечерах, когда мы пекли в золе картошку, а потом бросали кухонный нож в приклеенный к двери портрет короля, так что он весь продырявился, а Мария, *Его* жена, смеялась и приглаживала свои рыжие волосы...

Потом отец Иоан пошел в кладовую. (Кладовая у нас большая и просторная, в ней — спрятанное за фальшивой стеной — найдешь все: сало, окорока, сахар, пшеничную и кукурузную муку, сушеную фасоль и множество просфор, из которых, в случае нужды, мы будем делать сухари.) Он вернулся с бутылкой вишневой настойки и налил мне стаканчик. Я выпил, настойка была сладкая, хорошая, вязкая, как грязь, она воспламенилась у меня в желудке, затопила мне глаза, и я почув-

ствовал себя счастливым. Потом я пошел спать, но перед тем как заснуть, при свете луны написал стихотворение. Быть может, я самый великий поэт страны, как Михаил Эминеску, разница лишь в том, что он — классик, а я — модернист. Я не люблю воспевать красоту, по-моему, она должна храниться в тайниках души. Я хочу говорить правду. Правда всегда необычна, она походит на камень, на щуку — ведь с той минуты, когда щуку оглушишь, она тоже становится неподвижной, как кусок дерева. Правда всегда раздражает. *Он* не раз говорил мне, что надо думать правду, но что я буду вынужден выбирать людей, которым скажу правду. «Впрочем,— сказал *Он* (дорогой мой, Черный Всадник, Человек со Стрелой),— когда ты встретишь таких людей, можно ничего им и не говорить. Вам всем вместе придется кое-что сделать!» Я не понял, что он хотел сказать, но помню не только его слова, но и цвет неба в ту минуту, когда он их произносил, и запах его сигареты, и как он забыл во рву свою шляпу, которую мы потом вместе искали, и как *Он* был счастлив, что шляпа не нашлась. «Может быть, на нее набрел какой-нибудь лысый,— сказал он,— ему она нужна, а мне — нет. Ну ее к черту!»

На подоконнике, при свете луны, я написал *Стихотворение*. От клена шел сильный аромат, на нем жужжали шпанские мухи.

Игра

Я играл с ангелами в футбол
И научил ангелов курить.
Мне нравилось, ах, как мне это нравилось.
И я выплюнул им в рот бациллы, которые
Кишмя кишели у меня в груди.
Я ребенок,— сказал я им.— Придите!
И я научу вас любить
Тыквы в поле.
Я их побил!
Ах, как мне это нравилось и как мне было больно!
Ангелы,— сказал я им,— не убегайте!
Красивые и глупые ангелочки,
У которых есть очаг, ваш любимый дом
Там наверху, с Востока до Запада.
Они не убежали.
И отерли золотые сопли и притаились
В моих карманах, где
Для них
Я держал скрытыми, связанными и голыми
Толпу женщин.

Здорово! Это очень понравилось бы Михаилу Эминеску, он позавидовал бы мне, но, человек благородной души, честно признался бы в этом.

Я спрятал стихотворение, зашил его в подкладку коротких черных штанов, выкроенных из старой рясы отца Иоана, и теперь поглаживаю зашитый листок парабеллумом, который так и прилип к моим пальцам, когда я вошел во двор и увидел Отца Спасителя, Сладкие Губы, Пылкую Кошечку, Мою Печурочку...

3

Отец Иоан, супруг моей сестры, мой зять, священник села М., молод, высок, строен. У него металлический голос и черные брюки, а губы такие красные, что, когда он улыбается, я боюсь — вдруг они лопнут и перепачкают кровью его рубашку. Он прилежно учился и всегда получал первые награды. Женитьба на моей сестре немножко испор-

тила ему карьеру, потому что моя сестра — бесприданница, но зато она учительница, очень красива и послушна.

Летом они ходят в поле следить за крестьянами, которые обрабатывают им приходскую землю из «десятой доли».

Крестьяне — мошенники, им нельзя доверять, они прикидываются почтительными, а сами так и норовят что-нибудь урвать, лишь повернешься к ним спиной. На Маргарете тонкое зеленоватое платье, под которым ничего нет. Когда она идет против солнца, видны ее округлые бедра и длинные полные ноги. Он обнимает ее за талию, они все время что-то шепчут друг другу на ухо, а потом исчезают в зеленеющей кукурузе, и тонкие стебли чуть колышутся им вслед.

На этом я с ними заканчиваю.

Отец Иоан приближается ко мне плавной скользящей походкой, его руки легко, точно крылья, воздеты в воздух. Я не успел ни надеть маску, ни погасить свои глаза. Он увидел Море, Корабли, плывущие к гибели, мой Галоп и ветер, который треплет мне волосы, запекшуюся Кровь и веселых Муравьев. Он слегка нахмурился, все его добрые и ленивые движения исчезли, и я спросил себя: почему он так ненавидит меня, что я ему сделал? Мне хотелось рассказать ему, что я видел в поле, среди репейника и бузины, хотелось спросить, где теперь Фридрих и почему я не боюсь покойников, почему при виде их меня разбирает смех и они никогда мне не снятся.

— Пойдем со мной,— сказал он так устало и бессильно, так издалека, что я снова понял: ему известно обо мне все, не знаю откуда. Не оборачиваясь, он вышел на улицу, запыленную золотом и пухом пингвинов, потом вошел на церковный двор. Под тяжелыми, прохладными, округленными кронами каштанов он сделался маленьким и жалким. Он открыл дверь, я следовал за ним вплотную, чтобы он не заметил парабеллума в моей руке, чтобы видел только мое лицо, которое теперь заросло сивой бородой. В день пятого апреля 1937 года, в четверг, в шесть часов пополудни нашу сельскую церковь поразило молнией — это была божья кара за людские грехи. Когда появилась эта багровая туча. Когда умер примарь. Когда отец Пинтериу плакал на улицах и рвал свою белую бороду. Потом церковь отстроили. Теперь она опять закопчена и пахнет пеплом, крахмалом и паутиной. Но когда церковь пуста, ее слабый свет вонзается в твою грудь когтями, ввинчивается в нее точно штопором, обессиливает тебя.

Я попытался сделать так, чтоб было воскресенье, чтоб было тепло и пахло людьми, попытался услышать скрипучие голоса, ссорящиеся из-за каких-то давно украденных овец, увидеть женщин с белыми широкими лицами и старинными золотыми ожерельями на дряблой груди. Ничего не получилось.

Отец Иоан вошел в алтарь, я слышал — вот он ходит там, открывает какие-то шкафы, вот шелестит ризой, скрипят недавно вымытые половицы, вот он кашлянул раз, другой. Я не мог шевельнуться, страшно мне не было, но я больше не был самим собой. Я положил пистолет на скамью и погладил его, простился с ним. Распахнулись царские врата. Появился отец Иоан, облаченный в черную рясу, черную камилавку и черную эпитрахиль с серебряными нитями, которую надевают на похоронах.

Он сел в епископское кресло, где не сидел ни один епископ, на кресле были вырезаны сабли и дьяволы, птицы и языки пламени, крепости и терновые венцы. Он стиснул пальцами виски, потом позвал меня, но так тихо, что я не понял, позвал он меня или мне только показалось. Было очень холодно, я был один, круглый сирота. *Он* далеко, может, забыл меня, может, его убили, может, забыл меня.

— Подойди, милый.

Я подошел.

— Преклони колени.

Я преклонил колени.

Он накрыл меня эпитрахилью — черная парча, пахнущая сотнями тысяч мертвых и живых крестьян, давила мне голову.

— Дитя,— сказал он.— Дитя...

И вдруг случилось то, чего я опасался: я был захвачен врасплох, у меня не оказалось при себе никакого оружия, мне стало страшно и мерзко оставаться дальше одному. Мне захотелось целовать его колени, стать таким, как хочет он,— мелким, глупым и смирным, навсегда войти в их семью, убить Иоланду, оставить умирать с голоду мою жену на опушке леса, никогда больше не завывать, точно волк, точно архангел, когда я бываю с Ипу на берегу тинистого Теуза.

— *Я люблю тебя,*— сказал отец Иоан, и, хотя он говорил шепотом, мне показалось, будто я слышу победную трубу, и звук ее звал меня от всего сердца, но в то же время и смеялся надо мной — чуть-чуть смеялся, и я не сердился: может, я заслужил, чтоб кто-то смеялся надо мной, если он любит меня по-настоящему.

Я ощупью искал его руку, но он не захотел найти мою. Никто никогда не дает руку именно в ту минуту, когда она нужна тебе — не раньше и не позже. Это я постигал на протяжении всей моей долгой жизни, и все же мне и теперь больно — я так и не сумел к этому привыкнуть.

— Я люблю тебя и страдаю, когда вижу, что страдаешь ты...— Незаметно, совсем незаметно, но в голосе его почувствовалось удовлетворение — он достиг чего-то, не знаю чего.— Я хочу тебе помочь, молюсь, чтоб ты обрел спокойствие. Скажи мне, что с тобой?

— Отец Иоан,— ответил я, набрав в грудь воздуха.— *Я убил.*

Эпитрахиль слетела с моей головы, тонкие пальцы отца Иоана вцепились в мою рубашку и подняли меня вровень с его лицом.

Я задыхался от смеха: он стал непокож на себя, его лицо могло принадлежать кому угодно — господину писарю, какому-нибудь нищему, захмелевшему охотнику, рабу. (Только лицом Фридриха оно не могло быть.) Перед таким лицом я больше не мог стоять на коленях; я поднялся, тихонько, плаксиво застонал, потер поясницу. Он смотрел на меня презрительно, с гадливостью, он хотел любой ценой дать мне почувствовать свое презрение и гадливость. Но сам он витал где-то далеко: думал о том, что подадут на обед, о холодном пиве из колодца, и я понял, что опять победил его, хотя отдал бы все на свете, чтоб он победил меня.

— Это было... в бомбежку,— начал я противным голосом, широко раскрыв свои искренние глаза.— Когда я проходил через парк. Знаешь, там, где убежища. Там упала бомбы.

— *Упали,*— поправил отец Иоан.

— Они были полон мертвецов.

— *Он был,*— поправил отец Иоан и подвинулся, чтоб я мог сесть рядом с ним. Кресло было достаточно широкое, так что мы прижались друг к другу и он, чтоб мне было удобнее, обнял меня за талию.

— Я... бежал домой. Хотел увидеть, *ОН* ли... *ОНА* ли...

— Оставь,— нетерпеливо сказал он.— Оставь это...

— Но я хотел видеть, жив ли *Он,*— в бешенстве заорал я. Но тотчас же успокоился. И продолжал: — Парк был полон мертвецов. Выпавшие наружу кишки. Разбросанные по траве. Пахло тем, что люди съели утром. И одна женщина. Полная. Раздетая, в толстых лиловых панталонах, была видна ее кожа. Желтая. С прыщиками. Текла кровь, земля впитывала ее. Я тебе сказал: прыщики, вроде гусиной кожи.

Женщина еще жила. Тяжело дышала, и, казалось, ей смешно и странно, почему она не может подняться, и все что-то искала пальцами. А я убежал оттуда. Может быть, никто не пришел ее спасти. И если поразмыслить хорошенько, в ее смерти виновен я, не правда ли, отец Иоан?

Он коротко, всей грудью рассмеялся и поцеловал меня.

— Господи боже,— воскликнул он,— господи боже! — И внезапно перестав смеяться, нахмурился, вся кожа на лбу собралась у него над бровями.— Глупости,— сурово сказал он.— Глупости.— И злобно, по-бабьи ущипнул мою руку. Потом опять сунул меня под эпитрахиль и теплым, странным голосом, который, казалось, сушил каждое слово, растягивая его на солнце, как шкуру ягненка, спросил:— Почему ты не любишь нас? Сейчас ты говоришь через меня с тем, кто нас всех видит. Не лги. *Больше* не лги!

Мне было до смерти скучно, и потому даже в голову не приходило лгать ему — ложь дает быструю, острую, огромную радость, но потом чувствуешь себя усталым, выжатым и раздумываешь: зачем все это?

— Не могу, отец Иоан. Не могу вас любить. Вы слишком хорошие, до того хорошие, что так не бывает. *Не пройдет номер,* понимаешь?

Он завел все сначала: скинул черную тряпку с моей головы, схватил меня, стиснул коленями и придвинул свое лицо к моему так близко, что у меня в глазах зарябило.

— Послушай! Не думай, что ты вывернешься! Я за тобой буду следить! Я сделаю тебя человеком, так и знай... Я...

И тогда церковная дверь угрожающе, протяжно заскрипела, тяжело стукнулась о стену, и моя сестра Маргарета во все горло закричала не своим, а каким-то надтреснутым и бесстыдным голосом, как бабка Фогмегоайя, когда она бывает пьяна и поет на улице всякие непристойности:

— Ио-о-не-ел! Ио-о-о-не-ел! Иди скорей! Несчастье!

Отец Иоан забыл обо мне, отпихнул меня в сторону, сорвал с себя облачение и выбежал из церкви.

Оставшись один, я насмешливо перекрестился, взял со скамьи парабеллум и вышел вон. Было так много солнца, что я затосковал по Ипу.

4

Я стоял посреди просторного, одурманенного светом двора и проклинал себя. Отвращение пришло внезапно, точно икота, я сам себе вдруг опротивел, мое неуклюжее тело, узловатые коленки и локти, пот, остро обжигавший меня под мышками и между ног.

Стиснув зубы, я требовал отчета у всевышнего за то, что не знаю, чего хочу, за то, что он создал меня таким вместительным: чем-то вроде огромного горшка, в котором нельзя приготовить *одно* кушанье, а надо кидать туда всю пищу, которой ты запасся на много месяцев,— сахар и соль, белую муку и сладкий красный перец в уксусе, ничего не выбираешь, и голод растет, когда видишь эти кипящие помои... Вот и в эту минуту вижу все и не могу ничего выбрать: на улице у ворот остановилась военная машина «хорх», голый до пояса шофер в непонятной досаде грызет ногти, он не выключил мотор, и от грохота становится еще жарче, а я, точно щенок, боюсь двора, посреди которого стою: земля выжженная, белая, блестящая, под ее черными трещинами, всего на палец ниже наших ног, сочится, клокочет, кипит нечто грозное, а что — мы не знаем. Потом двор уменьшается, конюшня и дом наваливаются с обеих сторон, хотят раздавить меня; обезглавленное небо прячется на сгнивших крышах, где хрипят голуби.

Тщетно я выпрямляю плечи, тщетно сопротивляюсь. Знаю: ничего из меня не выйдет, ни одна женщина не полюбит меня безумно, не быть мне поэтом, этот полдень — мой враг, и я скоро умру. Не с автоматом в руках, не верхом на коне, зажав в кулаке саблю, сияющую, как белый цветок,— умру, изнуренный лихорадкой, в жару, и после меня останется на подушке только большое овальное серое пятно.

— Поди сюда,— донесся из летней кухни сиплый голос Ипу, и сразу все эти странные мысли, ослепнув и испугавшись, отлетели от меня, потому что, пока живет на свете Ипу, ничего со мной не случится. Я все сделаю, чтобы он жил долго-долго, я буду приносить ему самые чудодейственные лекарства, а впрочем, Ипу молод, ему нет еще и семидесяти... Летняя кухня — вот это да, это постройка!

Два года назад Ипу сбил ее из досок, из разных досок, какие нашел,— от старого забора, от клозета,— и тех, новеньких, что стащил у солдат. Она великолепна: полным-полна гвоздей, с них свисают связки чеснока, лесы, дырявые кастрюли, моя гусарская сабля — на нее я всякий раз гляжу со страхом и грустью, потому что Маргарета хочет пустить ее на кухонные ножи,— гамак, где спит Ипу, подальше от земли, от враждебных сил, проникающих ночью в тело.

Я быстро прикрыл дощатую дверь, водворилась жаркая тьма, в щели между досками пробиваются золотистые полоски, и проходишь будто сквозь тигровую шкуру. В печи гудит огонь и пляшут добрые демоны. Иоланда, пантера, греет свою черную шкуру, и язык у нее свисает, словно она поймала розового удава и не в состоянии его проглотить.

Ипу, присев перед огнем, жарит сало, шипят раскаленные брызги, в левой руке у него большой ломоть хлеба, который вбирает сало, как губка. Кряхтя, он неторопливо встает, натирает хлеб чесноком — и в животе моем вопит радость, которая придет сейчас, через несколько секунд. Кусаю раз, другой, все лицо в сале, глотаю, давлюсь, икаю, глаза полны слез. Ипу весь красный, словно вывалялся в крови. «Вкусно?» — спрашивает он, и я киваю ему и жадно ем. За стенами метель и зеленоглазые волки с воем рыщут по степи. «Хочешь еще?» — «Хочу». Ем до отвала, я весь в поту, но легок, как пух, и смиренно думаю о том, сколько наслаждений на свете: нынешних и предстоящих. Самое главное — не думать о том, что бывает между этими наслаждениями, не расстраиваться.

Ипу неуклюже суетится, ставит еще что-то на огонь, почесывает шкуру Иоланды, а она, нахалка, пыхтит и дремлет. Он кружит по кухне, ждет, но мне лень начинать. Наконец он решается, и голос у него чуть удивленный: до сих пор так не бывало, чтобы первым предлагал он, обычно я упрашиваю его, пока не потеряю терпение.

— Играть будем? — спрашивает он.

Голос его, просительный, униженный и смущенный, доставляет мне такую дикую радость, что я готов запрыгать. Я понимаю — все утро, пока я бродил по полям, он поджидал меня, тревожился, не случилось ли что (не сломал ли я ногу, не укусила ли меня собака). Все, чем я занимаюсь, не глупости, а самые важные дела для Ипу, и следовательно для всех на свете. В его взгляде сквозит нетерпение, но чтобы выиграть время и насладиться своей победой над темными силами, которые преследуют и будут преследовать меня до самой смерти, я говорю:

— Не сейчас. Чуть позднее.

Почему мы сто раз не подумаем прежде, чем сказать? В летней кухне стало душно, угнетающе душно, лучи света наполнились застоявшейся мертвой пылью, сделались липкими. Ипу — сгорбленный, старый, уродливый, с красным, облупившимся лицом, с воспаленными глазами

без ресниц, в своей вечной дырявой кэчуле * — оттопырил губы беззубого рта, руки у него выпали из плеч, и. согнувшись, он искал их внизу, на земле, заляпанной жиром.

— Ладно,— говорит он.— Ладно... Тогда... позднее...

И быстро выходит, оставив дверь раскрытой настежь, чтобы вошло то, что находится снаружи, и отомстило за него.

Я сказал себе, что у него это пройдет и что, в конце концов, это первое огорчение, которое я причинил ему с тех пор, как мы знаем друг друга, с того дня, когда он надавал мне пощечин там, на плотине, среди разбросанной под ногами рыбы.

Впервые я приехал на каникулы в деревню, чтобы поправиться — я был похож на умирающего от чахотки. Целыми днями я бродил один, «им» некогда было заниматься мною, они только что поженились и бог словно отнял у них разум — они то и дело щипали друг друга, пронзительно и противно смеялись, от жадности у них слюнки текли, день и ночь они беспрерывно валялись по всем постелям и без конца ели и ели, не видя пустыми глазами, что кладут в рот. Мыть руки — ну это черта с два! В волосах у меня было полным-полно репьев, потому что я целые дни проводил в поле. Я ни с кем не водился, так как в то время был Классическим Драматическим Поэтом, писал драму «Михай Храбрый» — «Под черным знаком ворона — убийства, преступления, ты смертью вся запятнана, ты вся в крови, Олтения»,— которая позднее затерялась в водовороте пережитых мною событий. Она была недурна и нравилась мне, хотя тогда я еще не умел ценить природу.

Однажды в полдень на плотине через Теуз я увидел вычерченный на небе силуэт человека. Сгорбленный, тучный, в рваной кэчуле, из которой, точно ласточкины крылья, лезли белые клочья, он нес на плече что-то длинное, вроде копья. За ним тянулась орава детей, они пели что-то непонятное, но голоса звучали, как колокольчики, и дети были красивы, они тоже вырисовывались на облачном небе, преследуя этого неуклюжего человека, который шагал, притворяясь, будто не слышит их. Потом я разобрал, что они говорили своими ангельскими голосками:

Ипу, Ипу, рябый,
Как из ж... жабы.

Когда они подошли совсем близко, жирная туша быстро обернулась и бросила в них большую, круглую, серебристую, тут же взорвавшуюся бомбу. А потом он ударил их копьем, которое сломалось, и ребята с визгом дали стрекача, они сбежали по откосу и бросились в тинистую воду — все, и мальчишки, и девчонки, были голышом.

Я увидел этого человека на плотине. Он сидел сгорбившись и держал в руках сломанную пополам длинную палку. Кругом валялась рыба, несколько рыбешек еще били хвостами, как ножиком. Человек был ужасающе уродлив, с воспаленными глазами, похож на нечищенную скотину. Я подошел ближе, наступил на рыбу, поскользнулся и упал на него, а он залепил мне пару таких пощечин, что у меня голова кругом пошла. Пока я ошеломленно глядел на него, он красивым, благородным жестом протянул мне сломанное удилище.

— Вот...— сказал он.— Кизиловое было! Всю зиму возился, опаливал его, а теперь... Накажи их господь!

— За что ты меня побил? — спросил я в бешенстве.

— Я тебя не бил,— ответил он и засмеялся щербатым ртом.— Давай поедим жареной рыбы.

---

* Островерхая барашковая шапка.

Он разломал удилище на мелкие куски, сложил их пирамидкой, поджег, посыпал рыбу крупной солью, и мы съели всю рыбу, сидя на плотине, как два огородных пугала.

Когда мы покончили с едой, он встал и приветствовал меня на военный манер:

— Ich melde gehorsamst *, Чупе Теодор, по прозвищу Загаженный, по прозвищу Раскоряка. Если скажешь мне «Ипу», я тебе все кости переломаю. Только те, кого бог убил, зовут меня Ипу.

Что было потом — никого не касается, даже меня, все это я коплю и берегу на старость, когда буду одинок, когда Ипу уже станет мертвецом и сгниет. Это очень длинная история о том, как я стал его властелином, единственным его властелином, как он нанялся слугой в церковь и к отцу Иоану только для того, чтобы быть поближе ко мне и служить мне назло всем; и как я понял, до чего это тяжело — иметь над кем-нибудь власть; и как единственная ошибка — сегодняшняя, когда я сказал ему, что мы будем играть позднее,— делает все сомнительным, доводит до отчаяния, потому что вдруг сознаешь свою неподготовленность к жизни, сознаешь, что такие ошибки — совершенные с умыслом или нечаянно — вводят тебя в ряды господ-рабов и тебе может это понравиться. А хорошего тут мало!

Не знаю, долго ли я сидел там, точно в тюрьме, грустный, наедине с Сандой, дрыхнувшей, как чурбан, да она и есть чурбан, грязная, блохастая сука.

Неожиданно распахнулась дверь, в глаза мне брызнул свет. Ипу вошел проворно, как никогда, и стал снимать со стен лесы и удочки и рассовывать их по карманам. Он пнул ногой собаку, лежавшую вразвалку, точно пьяная баба, и, не глядя на меня, спросил жестко и нетерпеливо:

— Есть еще хочешь?

— Нет.

— Тогда вставай. Пойдем на речку.

— Не пойду,— со злостью ответил я.

— Шевелись! — гаркнул он.— Не заставляй меня повторять! Чего ты сидишь в этом пекле? В духоте! Держи удилище!

Он бросил мне удочки, дал пинка, и я, слегка испуганный, очутился посреди двора. Тяжело и часто дыша, Ипу подталкивал меня в спину. Военная машина стояла все там же, шофер посмотрел на нас пустыми глазами, точно мы были волосатыми лягушками.

Тогда Ипу взял меня за руку, завладел мною, и к горлу у меня подступили слезы; я посмотрел на него с благодарностью. Ипу невероятно уродлив, вся кожа со лба спускается на щеки, и глаз не видно, нижнюю челюсть он выпячивает вперед, как крокодилы к смене погоды, но рука у него теплая и мягкая.

— Идем, милый, идем... Сегодня мы поймаем *его*.

У меня перехватило дыхание.

— Настал его час? — почтительно спрашиваю я.

Ипу не отвечает, чем дальше мы уходим от дома, тем веселее, тем радостнее он становится.

5

На красную ограду примэрии взобралось множество народу. Людей было столько, что места не хватало, и они раскачивались взад и вперед, точно подгнившая виноградная гроздь. Никто не курил, все молчали. Со двора доносился неровный, гонкий голос Флоари Фогмегоайи:

* Честь имею доложить *(нем.)*.

Ой, убили, ой, убили
Тебя, бедный, на чужбине,
Не поплачет мать о сыне!..
Не поплачет, не повоет,
Твое тело не обмоет,
Не с ее свечой — ой, бедный! —
Ты уходишь в путь последний...

Но никто не восхищался ею, как это бывало на похоронах, когда она, подвыпив, сладко благоухая ладаном и покойником, пела «Последнюю хору». Тогда все оживлялись, даже опечаленная семья, и словно забывали, где находятся: подмигивали, прищелкивали языком, покачивали головой и с какой-то завистью шептали: «Ишь, чертова пьяница», а если она, хватив лишку, сбивалась, все расстраивались, словно с ними случилось что-то постыдное.

Мы локтями проложили себе дорогу и вошли во двор.

Фридрих лежал на маскировочной плащ-палатке, другая прикрывала его, виднелись лишь сапоги со стершимися, блестевшими, точно серебряные жуки, гвоздями на подметках. Чуть дальше солдаты мыли пушку Бофорс, в брюхе грузовиков рылись шоферы, несколько человек на ступеньках играли в карты, а один сонно таскал воду из колодца.

Возле Фридриха горели свечи, но они то и дело гасли и Флоаря Фогмегоайа зажигала их вновь, изводя гору спичек.

Обливавшиеся потом люди молча раскачивались на ограде, некоторые, сняв шапку и потупившись, вошли во двор, молодой фельдфебель сфотографировал их, и лицо у него при этом было такое напряженное, будто он целился из пистолета. Другие солдаты разгуливали перед крестьянами, тяжело ступая, не глядя на них, и все ускоряя шаг. Заложив за спину руки, солдаты подходили к людям все ближе, словно хотели ощупать их или выгнать со двора.

Фогмегоайа увидела нас, перестала причитать и, стоя на коленях, будничным тоном спросила Ипу:

— Ты на рыбалку? Принеси и мне рыбы.

— Разве я не приношу тебе всегда?

— Приносишь... Лучше бы не приносил,— вдруг рассердилась она. Тихонько застонала, схватилась за поясницу, согнулась и выпрямилась, и было слышно, как трещат ее кости.

— Чего ты ходишь в кэчуле в такую жару? Свариться хочешь? И почему не даешь барчуку поспать после обеда? — Затем, без всякого перехода, наклонилась над прикрытым грязной палаткой телом.— Молодой он был, красивый, а теперь мертвец, и больше ничего. Я над ним причитаю, больше ведь некому,— сказала она, пожимая жирными плечами.— Принеси мне рыбы, я задолжала в трактире.

— Пойдем,— вдруг сказал Ипу и дернул меня.— Принесу... не беспокойся. И ступай домой...— Она посмотрела на него водянистыми глазами, на которые набегали слезы.

— Да, милый, милый,— сказала она.— Бедняга ты. А сестра твоя ничего... Вчера чуть было в колодец не свалилась. Я ее и мою, и приглядываю за ней, да она то и дело —как заорет, как заорет... И так целый день, у меня уж голова болит. И все она под себя...

Мы пробились между молчащими людьми. На улице Ипу опять взял меня за руку.

Мы вышли из села, поднялись на холм, и господь принял нас в свои объятья, как детей или усопших.

— Хорошая баба эта Флоаря,— сказал Ипу.— Будь у меня деньги, я поправил бы ей дом. (Флоаря прежде была его женой, но они разошлись лет сто назад, не знаю по какой причине, да и никто не знает; они слишком бедны и безобразны, чтобы кто-нибудь задавался вопросом,

почему они разошлись. С тех пор Ипу жил в поле, а зимой — по конюшням, пока не нанялся в слуги к нам, чтобы защищать меня.)

— Будем играть? — спросил я, боязливо глядя на него.

— Ну да, будем,— тотчас ответил он, однако без большой охоты. И взглянул на небо: оно было багровое, могучее и опиралось плечами о землю.— Ну да,— повторил он,— время ведь у нас есть.

6

Наше оружие было надежно спрятано, несколько ночей Ипу рыл яму в кустарнике, он выстлал ее досками, сделал дощатую же крышку и прикрыл все глыбами земли. Кто угодно мог тысячу раз проходить там, мог даже ступать по крышке и ничего не заподозрил бы.

Мы пробрались туда на четвереньках, обдирая ладони о белую жесткую землю, но это было необходимо: в открытом поле никогда не знаешь, чей взгляд за тобой следит и откуда. Сердце у меня билось как всегда, когда я сюда приходил, по спине бегали мурашки, я чувствовал себя юным и, как еж, раззадоренным... Ипу обернулся ко мне. У него тоже блестели глаза и дрожал голос.

— Никого не было,— шепнул он.

Мы вместе подняли крышку, хорошо смазанное оружие тускло поблескивало, словно ценное дерево: три винтовки ЦБ со штыками, автомат Смейссера, бинокль, две дырявые карты, офицерская шинель из зеленоватой кожи, с пятнами высохшей крови...

— Автомат,— сказал я.— Сегодня я беру автомат, а ты будешь враг.

— Ладно,— ответил Ипу и подал мне автомат. Сам он взял винтовку, быстро проделал несколько приемов, пучком желтой травы стер со штыка смазку — лезвие коротко, злобно сверкнуло, и я ощутил, как его холодное жало копается в моих внутренностях.

— Бери каску,— сказал Ипу.— Мне не нужно. Э-э, ну, теперь держись,— рассмеялся он. И исчез. Еще минуту-другую я слышал, как он пробирается кукурузным полем, потом мне стало страшно.

Страх был острый, как наслаждение, но гораздо длительнее, а вскоре стал даже болезненным. Стыда я не испытывал, но свыкаться со страхом не хотелось.

Я тоже пополз в поисках удобного места, откуда можно увидеть врага, который вскоре пойдет в атаку, ошалев от алкоголя, испуская протяжные свирепые крики, ступая по трупам тех, кто был подкошен на бегу.

Солнце раскалило дырявую стальную тыкву на моей голове. Я лежу в ложбинке, прижавшись к земле всем телом, меня бьет дрожь, и все вокруг мне враждебно: тишина и жужжанье, бестолковые птицы, кукурузные метелки, слишком ясное небо. Мне нельзя шевельнуться, товарищи убьют меня, если я выдам позицию. Ведь они — всего лишь несчастные люди, они хотят, чтоб все кончилось как можно скорее, хотят вернуться домой. Мне некуда возвращаться, и все-таки, естественно, я тоже не хотел бы умереть.

Вздрагиваю. Нет, ничего, враг еще не двинулся. Почему же он не начинает? Если так будет продолжаться, я встану, сдамся и мы пойдем удить рыбу. Странно, что Ипу решил, будто мы поймаем *его* сегодня. С самой весны, всегда в один и тот же час, под вечер, мы забрасываем корм под эту мрачную прогнившую корягу с корнями, похожими на змей, и слышим, как *он* ворочается на илистом дне, жадно глотает, скользит — слюнявый, черный, будоража этот кружок стоячей воды, где никто никогда не купался и которая снится

мне всегда, когда я болен и меня лихорадит. Тогда «мои» оставляют меня в покое, я слышу, как они веселей и проворней, чем обычно, ходят по комнатам, и голоса их звучат чище — разумеется, они думают, что я умру, и поэтому не пристают ко мне и позволяют Ипу сидеть со мной целый день. Ипу приходит и вечером, когда они уже спят, сидит до рассвета, и мы играем. В Наполеона Бонапарта, Императора французов.

Я говорю:

— Теперь ты Русский Царь и говоришь: «Наполеон, ты побил меня при Аустерлице, и в Иене, и при Маренго, и при Ваграме, но если ты осмелишься ворваться в мою страну, наступит суровая зима и ты потеряешь всех своих гренадеров...»

— Да,— кивает Ипу.— Говорю.

— А теперь я Наполеон и говорю: «Царь, я не боюсь зимы. Прежде, чем ляжет первый снег, ты приползешь ко мне на коленях и будешь просить пощады, потому что ни зима, ни твои казаки не могут победить Наполеона, Императора французов, Меня».

— Да,— говорит Ипу.— Так ты говоришь.

...И начинается война. С гиком, размахивая саблями, несутся всадники, поле вызвездилось белыми взрывами, похожими на комочки хлопка, звучат стоны раненых и мои, Наполеона, приказы... Мчимся на конях, кидаемся в штыковую атаку, карабкаемся на редуты, срываем с бойниц знамена, превращаем в пепел села, уводим в рабство мужчин и женщин, спим на снегу... и ни один из нас не двигается. Ипу сидит на стуле, уперев руки в колени, глаза его горят, а я — в постели, под натянутым до самого подбородка одеялом.

И мы играем во что угодно: в подводную лодку «Докс», в княжну Тараканову, в Авраама Янку, в Децебала, в исследователей Северного полюса, в охотников африканских джунглей — до тех пор, пока Ипу не уснет, словно тихо расставаясь с жизнью, а я счастлив, что ночь такая долгая и что я болен.

— Ты убит! — слышу я за спиной голос врага, и холодный кончик штыка колет мне поясницу. Ипу, по своему обычаю, незаметно подкрался, окружил мое войско, и теперь я в его власти. Он страшно доволен, смеется беззубым ртом и стоит, раскорячившись, с винтовкой наперевес.

Я поднимаюсь, отряхиваю пыль, приставляю к виску два пальца — «бум!» — и валюсь на землю. Я застрелился. Плен — это позор, которого командир пережить не может.

Ипу собирает оружие, уносит его в тайник, опускает крышку, забрасывает все землей и травой, потом берет меня за руку, и мы идем к желтоватой нитке воды. И чем ближе мы подходим, тем легче наши шаги, мы ступаем по-кошачьи, внимательно следя за каждой волной, каждым изгибом реки и каждым ее всплеском, подмечаем направление ветра и где находится солнце, чтоб наши тени вдруг не простерлись по воде.

— Мы в самом деле его поймаем? — спрашиваю я и чувствую, как бегут мурашки по моей вспотевшей спине.

— Да,— очень печально отвечает Ипу,— настал его час.

Мы пришли.

Здесь растет старая ива с серебряными листочками, под ее выгибающимися из воды ветвями — черный, сонный, плотный водоворот. Здесь у реки нет дна, эта мокрая дыра тянется до противоположной стороны земного шара, невесть куда, в какую страну, и, может быть, там, на ее краю, тоже стоят старик и мальчик. Может, и тот старик решил, что «настал его час». И мы должны торопиться, должны опередить их.

Ипу разматывает моток лески, сплетенной из конского волоса, и привязывает большой черный крючок.

«На что брать будем?» — взглядом спрашиваю я.

Я свернулся калачиком возле ивы, мне холодно, послеполуденное осеннее солнце обжигает, но в нем — только я понимаю это — сверкающая зимняя стужа и смерть света.

— На медведку.

Он открывает красную коробочку из-под чая, где карабкаются друг на друга несколько жирных медведок, собранных сегодня утром в куче навоза.

— А что, если б медведки были большие, с быка? — шепчу я.

— Ничего,— отвечает Ипу.— Они ловили бы рыбу на нас. Насаживали бы нас на крючки и забрасывали в воду.

Он привязывает к концу лески тяжелую свинчатку, размахивается, и грузило беззвучно падает в воду, леска натягивается, Ипу втыкает конец орехового удилища во впадину на берегу и, моргая, присаживается на корточки. Мне хотелось бы уйти отсюда. У меня вспотели ладони. Ипу оборачивается ко мне и важно кивает головой.

— Поплыл...

Вода еще чернее, на ней ни морщинки, она как каменная плита. Ни за что на свете не хотел бы я узнать, что происходит внизу, в этой влажной ночи. Я спрашиваю себя: кто же я — медведка или огромная рыба, которая приближается к ней, волоча по илистому дну мягкое белое брюхо? Я спрашиваю себя: кто сейчас сильнее — голодная рыба или мерзкая козявка на продетом сквозь ее тело крючке?

Вдруг толстый прут напрягается, гнется, конец его касается поверхности воды. Ипу взметнулся, точно белка, схватил удилище и коротко, изо всех сил дернул. Леска жужжит и словно тонкой пилой прорезает воду. Черная дыра оживает, бурлит; в ветвях ивы волны набегают одна на другую, такого шума, таких всплесков еще никто не слыхивал. Ипу побагровел, пот струится по его лбу прямо в глаза. Бросаюсь к нему, утираю ему пот ладонями, его кожа обжигает меня. Ору, как сумасшедший: «Не выпускай его! Держи крепко! Тащи! Убей его! Уничтожь!»

Ипу делает мне знак: мол, все в порядке, но я не вижу ничего, кроме водоворота, слышу, как гудят могучие мускулы Ипу, трещат кости рук, как внутри у него что-то стонет.

Не знаю, долго ли мы стоим так, потом леска движется вправо. Когда она слишком натягивается, Ипу с усилием поворачивает удилище, леска идет влево, потом опять вправо. Я все чаще вытираю ему рубашкой лицо.

— Готов,— говорит он наконец.

— Тогда... дашь и мне немного подержать? — спрашиваю я.

Беру удилище. Что-то бешено бьется там, во тьме, тянет меня к воде, я теряю равновесие и выпускаю прут. Кричу, ругаюсь, как извозчик, но Ипу мигом раздевается, прыгает в воду и плывет, точно красный тюлень — брызги так и летят во все стороны. Он ныряет под иву, туда, где беспорядочно спутаны корни, и выходит из воды с удилищем в руках, а потом взбирается на берег, прикрываясь левой рукой. Я помогаю ему влезть в штаны, и он счастливо смеется, перепрыгивая с ноги на ногу.

Вода успокаивается, из глубины выходит огромная голова с широкой пастью и злыми, налитыми кровью глазами. Длинные усы шевелятся, сом, проглотив медведку, стал сам похож на нее, на невероятно отвратительную козявку.

Ипу тянет сома, точно колоду, запускает руку в разинутую пасть и вытаскивает его наверх, на берег. Хвост поднимается, хлещет Ипу по

ногам, тогда он, разозлясь, вынимает перочинный нож и всаживает его в голову сома.

Я смотрю на воду, которая так быстро успокоилась. Теперь этот стоячий кружок похож на ледяной взор пустынного мира.

7

Иду впереди, шлепая босыми пятками по горячей пыли. На плече несу удочки, не гляжу по сторонам; сом на спине Ипу — хвост тащится по земле, оставляет за нами след дракона... Люди выходят к воротам, кричат, крестятся, мы не обращаем на них никакого внимания. И вдруг я ловлю себя на подлой мысли: мне хотелось бы, чтоб это я поймал сома, я *один*, только я, чтоб можно было хвастаться. Я останавливаюсь; Ипу, который идет, глядя в землю, и пыхтит, наталкивается на мою спину.

— Бач Тодор,— говорю я...— Бач Тодор...

— Мы его поймали,— отдувается он, выбрасывая из легких горячий воздух.— Поймали его наконец. *Мы вдвоем.*

Это значит — Ипу и я.

Мы поравнялись с примэрией, там все еще толпится народ, бабка Фогмегоайа продолжает причитать, одному богу известно, откуда у нее это берется, будь она образованной, могла бы стать поэтессой, как Вероника Микле.

— Ein Fisch! Kolossal wie ein Fisch *,— кричит немец в воротах и фотографирует нас. Я не успел насупиться и выдвинуть одну ногу вперед; если бы я принял эту позу, то через десять, через сто лет весь мир был бы убежден, что это я поймал рыбу, а Ипу лишь тащит ее на спине.

Ипу сворачивает за угол и входит во двор примэрии. Солдаты окружают нас, кричат, дивятся, хлопают в ладоши. Ничего не осталось от их могущества и холодной ожесточенности; они такие же непоседы, как и я, они позабыли о сожженных городах, о черных мертвых танках в степи, о пылающем небе и гниющих, разбухших мертвецах в лопнувших мундирах. Они дивятся и хлопают в ладоши.

— Bajonett! ** — сказал Ипу одному из них, и тот, не спрашивая зачем, вытянул штык с серебристым лезвием и подал. Ипу стал резать рыбу на куски — мякоть была желтоватая, студенистая, и кровь собралась в его ладонях.

— Фиш! — говорит он и раздает солдатам куски сома.— Фиш! Хороший. Gut **. Жирный! Поминки по покойному, прости его господь.

Солдаты берут большие куски холодной, клейкой рыбы и стоят с протянутыми, точно подносы, руками, как будто им мало и они выпрашивают еще кусочек.

— Вот и тебе! — кричит Ипу и бросает самую лучшую часть — хвост — бабке Фогмегоайе, которая все еще стоит на коленях там, возле покойника, но уже лыка не вяжет, видно, немцы дали ей рому или шнапсу.

Нам досталась только голова. Теперь, без туловища, она кажется еще огромнее. Ипу насаживает ее на острие копья; мне смешно: он походит на татарского хана, который несет на копье голову побежденного царя. Мы кланяемся окружающим, Ипу берет меня за руку:

— Пойдем-ка домой.

Медленно, медленно наступают багровые сумерки. Солнце покрыто

---

* Рыба! Колоссальная рыба! *(нем.)*.

** Штык *(нем.)*.

*** Хороший *(нем.)*.

пылью, удивительно, что оно не чихает, деревья спят в своей застоявшейся испарине, рука у Ипу сухая и прохладная.

— Когда мы уходили, у нас был господин офицер,— внезапно замечает Ипу.

— Он приходит каждый день,— отзываюсь я...

После того как король Михай заключил 23 августа мир, было большое веселье, все напились, даже я, так что я не слишком хорошо понимал, насколько пьяны другие. Через три дня с запада послышались пушечные залпы и множество народу побежало навстречу нашим, которые, не пивши, не евши, ехали верхом, с саблями в руках. Мудрый Святой решил, что мы никуда не пойдем, а вечером, когда последние пограничники — старые небритые люди — ушли, волоча в пыли свои длинные винтовки «лебель», примарь, Святой и доктор вышли на околицу села с хлебом-солью и привязанным к палке белым полотенцем. Они ждали до следующего утра и тогда увидели идущие танки и орудия — и немцев, теперь наших смертельных врагов. Домой они вернулись с молодым офицером, очень красивым блондином, у которого одна рука была деревянная, всунутая в черную перчатку, а на груди — орден Железного креста второй степени. Офицер не пожелал жить у нас и поселился в доме господина Арделяну, который бежал с его пути.

Офицер стал приходить к нам каждый вечер, они играли в преферанс, беседовали — не знаю о чем, меня всегда отсылали спать. Я вылезал в окно и шел во двор Арделяну смотреть на солдат. Фридрих давал мне поиграть парабеллумом, предварительно вынув патроны.

Офицера звали Вальтером, я был убежден, что он спит с моей сестрой, мне хотелось накрыть их, позвать Святого — пусть посмотрит на них вместе, голых,— дать ему в руки оружие и сказать: «Если ты мужчина — отомсти за себя».

— Сегодня они ссорились! — говорит Ипу, остановившись посреди дороги.— С чего бы это? Господин офицер говорил спокойно, только побелел весь, как стена... А господин священник все плакал и тер руки одна об другую...

— Знаешь что? Он нашел тайник в кладовой,— озаряет меня.— Придется отдать им все, что там есть, все, что вы вместе с батюшкой спрятали. Ему нужно продовольствие для солдат, значит, они отступают.

— Ха-ха-ха! — в восторге смеется Ипу.— Вот чертов немец, унюхал тайник... Может, у него машина есть, которая рассказывает ему что и как.

— Уж наверно,— говорю я.— Иначе и быть не может. Тайник был такой надежный.

Ипу задумывается.

— Нет на этом свете надежного тайника. Разве что в могиле.

8

Когда мы, грязные и усталые, вошли во двор, нас поразила непривычная суета. Батюшка, в белой рубашке, расстегнутой на щуплой, молочного цвета груди, колол дрова, прикусив кончик языка; он обеими руками осторожно, будто стеклянный, держал топор, и его черная бородка блестела от пота. Маргарета, сидя на ступеньках кухни, молола мак; она зажала мельницу между колен, платье задралось, блестели белые крепкие ноги, виднелись розовые трусики. Губы у нее были алые, влажные, а волосы накручены на папильотки — издали казалось, что на голову ей уселись мотыльки, прилипли там и умерли.

Усатый, как морж, господин доктор Буну, по своему обычаю слегка

навеселе, в сбившемся набок галстуке, носился по двору — ловил курицу. Птицы бешено кудахтали, словно смеялись, что он гоняет их ногой, как мяч. Госпожа докторша — большая, рыхлая, с рыжими крашеными волосами — толкла орехи в тяжелой ступке. Господин писарь Милиуцэ, в смокинге (единственном костюме, который у него еще оставался), маленький, жалкий, сновал между ними, рассматривая всех сквозь стекла очков в палец толщиной, словно каждый раз заново узнавая людей, а жена его, госпожа Клара, с которой я каждую ночь сплю,— высокая, чуть сутулая, с тяжелой, крепкой грудью и кожей цвета кофе с молоком — покусывала стебелек пеларгонии и слегка улыбалась, прислушиваясь к зову своего пахнущего мылом и перцем тела.

— А вот и наши рыболовы! — крикнул батюшка, еще издали приветливо улыбаясь нам своими похожими на раны губами.— Господи боже, да вы поймали чудовище.

— Айн фиш,— сказал Ипу.— Колоссаль ви айн фиш!

— Но какого черта вы с ней сделали? — спросила Маргарета, чуть прикрывая платьем ляжки.— Как раз сегодня ты надумал продавать ее, Тодор?

— Давайте я наколю дров, батюшка,— подскочил к нему Ипу и стал отнимать топор. Но батюшка не давал, и каждый тянул топор к себе.

— Нет, нет, бач Тодор, немножко гимнастики не помешает, у меня уже брюшко начинает отрастать... Прошу тебя...

— За работу! За священную работу! — хрипло закричал доктор Буну.— Все должны работать, никто не смеет сидеть сложа руки, все должны действовать!

— *Сегодня званый ужин!* — сказал батюшка, и только я заметил, что глаза у него красные, очень блестящие и все время бегают, точно их изнутри кусают муравьи.

— Из головы можно сварить уху! — басом сказал Ипу, поднимая копье с трофеем.— Уху, и ее хватит на всех...

— Э, бач Тодор,— вмешалась госпожа Клара, и от ее низкого, чуть грубоватого голоса у меня вспотели ладони,— сегодня найдется, чем угостить.

— Как вам угодно,— произнес Ипу, не глядя на нее.

Клара, которая сидела на перилах террасы, болтая ногами, уронила белую полотняную туфлю, и господин писарь бросился сломя голову, надел туфлю жене и украдкой поцеловал ей ногу. Он явно хотел показать мне, что владеет этой женщиной, но я только издевательски рассмеялся про себя.

— Тодор! Присмотри за огнем, дорогой, пусть разгорится получше! Будем печь сдобные пироги и ореховый торт!

Маргарета встала, лениво потянулась и начала вытаскивать из волос папильотки; они медленно падали на землю, и куры бросились к ней, полагая, что им дают корм, но потом разбежались, презирая ее глупость.

В большой кухне и тепло и холодно: тепло у печи, в которую Ипу, стоя на коленях, подбрасывает дрова; разжигать ее сильнее нет надобности, он стоит там только ради удовольствия глядеть на пламя — он мог бы простоять так до самой зимы, без еды, без питья, отогревая тело, столько мерзнувшее в этой жизни. А у стены прохладно и пахнет плесенью — так, вероятно, пахнет в гробнице Штефана Великого — старыми, усталыми камнями. Запахи спорят, сражаются, на минуту побеждают одни, потом отступают, чтоб собраться с силами. Чем-то свежим и клейким пахнут яйца; госпожа писарша разбивает их одно за другим над пушистой горой муки, и они, отсвечивая опаловой жидкостью, падают туда — желтые, круглые, беззащитные. Острый, сладкий аромат гвоз-

дики, смешанной с корицей, вызывает желание чихнуть, и на глаза навертываются слезы. На плите бурлит капуста, над ней пляшет крышка, и тогда все остальные запахи взывают о пощаде. Господин Мелиуцэ своим охотничьим ножом с рукояткой из оленьего рога чистит картофель, похожий на пахнущих землей рыбок, которые плавают в синей кастрюле. Батюшка нарезает лук и плачет, доктор пьет кисловатую крепкую водку, часы бьют семь и играют «Да здравствует король», темные руки Клары липки от масла, белы от теста, которое под ее длинными пальцами становится нежнее и ласково, как шелк, касается их.

— Индюк! — кричит Маргарета. Она почему-то возбуждена, стучит деревянными каблуками домашних туфель, играет всем своим телом, словно хочет непрерывно его чувствовать, знать, что оно принадлежит ей, ждет длительного наслаждения и той истомы, которая походит на смерть... — Индюк! Еще не зарезали индюка?!

Ипу с сожалением отрывается от огня, но Маргарета останавливает его:

— Не надо... Ступай ты,— говорит она мне,— зарежь его, я знаю, тебе это нравится... Не я буду, если этот ребенок не вырастет преступником, уж и не знаю, в кого он такой...

Она ненавидит меня и не в силах скрыть эту ненависть, вспыхнувшую в ней, как только я появился на свет. Она щипала меня до синяков, плевалась. «Зачем тебе эти зеленые глаза, дерьмо ты эдакое? Ну говори же — зачем? — И тянулась ногтями, чтоб их выцарапать.— Почему бог не дал мне таких глаз?»

У нее большие глаза, тоже зеленые, но апатичные и выпуклые, мне противно смотреть на них, а за столом меня начинает тошнить, я боюсь, что они упадут ей в тарелку, и она, не заметив, проглотит их. А вообще-то она красивая, в ней есть что-то от суки с крепким телом.

— Ты еще не ушел? Ты... заморыш!

Все смеются, словно услышали удачную шутку. Я униженно спрашиваю:

— Можно... саблей?

Никто не отвечает, значит, можно, и я со всех ног бегу в летнюю кухню, лезу на стул и снимаю со стены свою гусарскую саблю. Она ржавая, но режет, как бритва, Ипу наточил ее на бруске, но после этого не позволяет мне играть ею.

Сабля тяжелая, руке хорошо держать ее. Крякнув, описываю саблей круг и с удовольствием слышу ее свист по кривой...

Индюки — на навозной куче позади клозета. Птицы-лягушки: отвратительная, гнилая кожа свисает у них с подбородка, когда я подхожу, она раздувается, и я содрогаюсь от омерзения. Я мог бы, наговорив им ласковых слов, неожиданно напасть и зверски истребить их. Но, должно быть, ужин не такой пышный, семь индюков ни к чему. И все-таки это, видно, большое торжество, потому что вообще-то «мои» — скряги и не пошли бы на такие расходы... Индюков успокаивают эти мысли. Я вовсе не применял хитрой тактики, просто так уж получилось. Я подхожу, проверяю гибкость своих мускулов, мои босые ноги утопают в тепловатом навозе. Сабля, мелькнув, точно черная молния, ударяет индюка поперек тела, по его твердым перьям, я слышу резкое царапанье, скольжу, падаю, выпустив из рук оружие, индюки разбегаются по краю отводной канавы в спутавшийся репейник. С воплем бросаюсь туда, рублю направо и налево, из срезанных стеблей течет белая горькая кровь, я пробиваю себе тропинку, лезвие сабли мокрое, я весь в волдырях от крапивы, ору, слышу, как клохчут перепуганные насмерть индюки, мне не видно их, но сабля прокладывает путь к ним, отступать им некуда, перед ними стоячая вода, где над ними, высокомерными аристократами двора, смеются утки.

Все, я загнал его в тупик, он там, в клубке цикуты, лопухов и крапивы, на коленях, обессиленный, он больше не надувается, не бросает вызова, он хотел бы стать лягушкой, гусеницей, чем угодно, лишь бы спасти свою презренную жизнь.

Одним ударом сношу ему голову — липкая, живая кровь брызжет мне на ноги, глаза его белеют, клюв открывается и закрывается, а тело обретает вторую, дикую, непобедимую жизнь, отделяется от травы, подпрыгивает, кубарем катится к болоту... Я наношу ему еще два удара — мысленно: он мертв, незачем больше с ним возиться!

— Смотри, как он голову срезал! Точно бритвой! — удивляется Маргарета.— В палачи выйдешь...

Она сует индюка в кастрюлю с кипятком, зловоние ошпаренных перьев, помета, падали в одну секунду заглушает все другие запахи. Ипу, стоя у печки, смотрит на меня с упреком и качает большой круглой головой с редкими пепельно-белыми волосами.

— Поди вымойся, я поставил тебе в комнату лохань... и надень новый костюм,— говорит батюшка, искоса посматривая на меня.

Оглядываю себя: я весь покрыт кровью и навозом, кожа зудит, но я не выношу холодной воды, и, разумеется, никому не пришло в голову согреть для меня кувшин. А новый костюм вовсе не новый, он перешит из батюшкиной, моего зятя, рясы, и, надевая его, я чувствую себя другим человеком: мелочным, глупым, каким-то Лазарем, воскресшим из мертвых...

Вхожу в свою комнату, миновав переднюю, где пахнет брынзой и солеными огурцами, спальню и столовую, похожие на склеп. У меня почти темно, около печки — лохань и теплая вода. Сбрасываю на пол одежду. Я голый. Я красивый, сильный. У меня есть и немножко волос — курчавых, белокурых. Под мягкой, скверно пахнущей кожей играют тонкие, как у жеребца, мускулы. Я намыливаюсь, пена летает вокруг — здорово! — но вдруг мне становится холодно, а обожженная крапивой кожа отчаянно горит... «Бедняжка я...» — говорю я громко, и тогда с моей кровати доносится хихикающий голос Адины:

— Большой осел стоит голышом! Большойоселстоитголышом!

В белом платье, с книгой в руке, она лежит на моей постели. Она — дочь доктора Буну, ей пятнадцать лет, у нее длинные тонкие ноги, бедра, как у женщины, и я знаю, что она носит лифчик.

Парабеллум — на столе, я оставил его там, и никто не заметил. Весь мокрый, беру его и целюсь ей между глаз; она смеется, вскакивает с кровати, берет полотенце и начинает меня вытирать. Вытирает бесстыдно, я слышу ее легкое дыхание, в ее теле что-то поет, нет, не поет, а тихо звенит. Мы знаем друг друга с малых лет, она никогда не задавалась передо мной. Ребята в селе рассказывали мне о ней всякие гнусности: как в лесу, как на берегу Теуза, как со многими подряд... Она прижимается ко мне, целует в губы — она ела картофель по-французски,— зад у нее твердый, как камень. «Погоди,— шепчет она,— я подниму платье»,— и растягивается в постели, подтянув подол платья к лицу, тускло поблескивает ее гладкий живот, неумелыми пальцами она помогает мне и царапает меня, из столовой доносятся голоса, они что-то шепчут, непонятно что, очень быстро, прерывисто, как и мы. «Ну,— тихо лепечет она как ребенок,— ну же, ну...» Слышу звяканье бокалов и делаю то, что столько раз мечтал делать со всеми женщинами на свете.

9

Стол накрыли в столовой, это бывает только на рождество и на пасху: зеленоватые, на ножке, бокалы из дешевого хрусталя, новые приборы, сервиз с китайцами и китаянками, никелированная корзинка для

хлеба, которую Маргарета выдает за серебряную, бутылка пива, бутылка вина, бутылка цуйки, на буфете, похожем на безрогого носорога,— золотистый индюк, как это возможно, чтоб теперь от него шел такой аромат. Я в черном костюме, я легкий, грустный и хороший, жаль, что взял с собой пистолет, он меня гнетет, тянет вниз, как пушечное ядро. Шторы опущены, все керосиновые лампы горят и противно пахнут, сотрапезники с какой-то нетерпеливой враждебностью приглашают друг друга садиться. Священник в черной рясе, Маргарета натянула свою единственную пару шелковых чулок и все ощупывает подвязки, Клара смотрит на меня глазами огорченной коровы; только она знает, что произошло, она ревнива и страдает — пусть страдает, черт ее возьми, мы и десятью словами не обменялись с тех пор, как знакомы, а однажды она поцеловала меня и сунула кончик языка мне в ухо: «М-м-м, пахнешь медом, дьяволенок!»

Часы в кухне — их слышно и отсюда — бьют десять, приготовления затянулись, но есть мне не хочется.

— Дорогой,— неожиданно говорит батюшка, и я вижу, как его губы постепенно бледнеют, становясь похожими на двух улиток,— ступай пригласи своего друга, бач Тодора, к столу...

Я не уверен, хорошо ли расслышал, и потому не двигаюсь с места.

— Да ступай же, чего ты стоишь чучелом гороховым! — кричит Маргарета.— Душу он мне вымотал, доконает он меня,— жалуется она дамам.

— Скажи ему, что *мы все* просим его,— добавляет отец Иоан, выпивая одним духом стопку цуйки, и вдруг икает. Доктор Буну смеется, как дурак.

— Первая всегда горло дерет...

— Не миновать тебе цирроза,— замечает его жена буднично, словно говоря, что сейчас десять часов две минуты.

Я тихо, крадучись, направляюсь к летней кухне, скольжу вдоль стен, черный костюм делает меня похожим на ночь, я — черный архангел, бесшумно пронизывающий в плавном полете огромные пространства.

Ипу в углу, на коленях. Он молится, но, заметив меня, смущенно вскакивает; однажды я подстерег его и услышал его молитву, он беседует с богом, как человек с человеком, и в тот раз он рассказывал богу о птицах.

Я объясняю, зачем пришел, но он не двигается с места — раньше такого не было; Маргарета говорит, что ее наизнанку выворачивает при одном взгляде на него, и тогда батюшка укоризненно смотрит на нее и молчит. Ипу глубоко вздыхает, моет руки и идет за мной.

— Теперь вы совсем барчук,— говорит он, и мне больно от этих слов, как от незаслуженной пощечины: ведь Ипу прекрасно знает, что я слишком молод, чтобы поступать по-своему, что мне приходится одеваться так, как нравится другим.

Мы входим в столовую, и, словно задул северный ветер, все окаменевают в тех позах, в каких застал их наш приход,— с бокалами в руках или с куском во рту.

— Добрый вечер,— говорит Ипу.— Вот я пришел.— Батюшка спешно придвигает ему стул.

— Садись, бач Тодор, ведь ты, можно сказать, член нашей семьи.

Маргарета смотрит на дам, кладет руку на желудок, потом, смеясь и встряхивая мелкими овечьими кудряшками, наливает Ипу большую стопку цуйки и чокается с ним; сама она пьет ежевичный ликер из позолоченной рюмочки величиной с наперсток.

— Долгих тебе лет! — говорит она, и отец Иоан бросает на нее взгляд подлинного убийцы. Не знаю, что это с ним, чувствую, как он стучит ногой под рясой, точно жеребенок, которого мучают оводы.

— Дети пьют пиво! — говорит Клара и наливает нам с Адиной.

— И потом писают в постель,— громко и дольше, чем следует, хохочет доктор. Жена толкает его локтем. Он становится серьезным, что-то бормочет и встает. Все внимательно следят за ним. Они боятся, что он слишком пьян и растянется во весь рост? Но он, не пошатываясь, подходит к Ипу и сурово, властно говорит: — Покажи язык!

Ипу повинуется и широко открывает рот, похожий на влажную розовую дыру. Маргарета коротко хихикает, и опять батюшка, кажется, готов надавать ей пощечин.

— Хм,— говорит доктор. И ладонью бьет Ипу в солнечное сплетение. — Здесь не болит?

— Да вроде болит,— шепчет Ипу. Он испуган и смотрит по очереди на каждого, только не на меня, худо мне пришлось бы, если б он на меня взглянул.

— Дыши! Скажи: тридцать три... Дыши! Так... Еще! Теперь еще! Дыши! Глубже! Глубже не можешь! Ничего удивительного... Ложись на диван.— Доктор всей тяжестью давит ему на живот, Ипу чуть стонет, жалобно, как собачонка.

Мы, дети, пьем пиво и смотрим. Смотрят все, и в глазах священника словно блеснула надежда. У него перехватило дыхание, он чуть наклонился вперед, может, хочет помочь господину доктору?

— Да,— говорит Буну.— Что поделаешь...

— Но я ведь не калека? — спрашивает Ипу и смеется.

— Ну,— фамильярно говорит Маргарета,— прости меня господи, уж не хочешь ли ты быть таким, как двадцатилетний парень? Портится машина, тебе ведь пришлось немало перенести.

— Давайте сядем за стол,— говорит батюшка, не сводя глаз с Ипу.— Будем есть и пить, пока можем.

— Какая же, значит, у меня болезнь? — спрашивает Ипу. Я с любопытством разглядываю его. Он больше не похож на себя — старый-старый, перепуганный, безобразный.

— Ты весь прогнил! — смеется Маргарета и кладет ему на тарелку голову сома.— Все разврат, разврат, мы-то знаем, что за штучка ты был...

— Т-с-с,— шикает выведенный из себя батюшка. Он складывает руки, закрыв глаза, беззвучно произносит молитву, потом садится с таким видом, будто бросается в колодец, и начинает есть уху.

Я болтаю ложкой в тарелке.

— Ешь,— шепчет мне Адина,— ты тощий, цыпленок тонкокожий...

Слышно только, как все глотают, каждый на свой лад: Ипу — как том сом, которого он ест, Маргарета — как белая мышка, доктор — так же, как Ипу, да еще потягивает цуйку, остальные — точно вечерние тени.

— А теперь вино, винцо! — гнусаво запевает Мелиуцэ, когда Маргарета ставит на стол индюка. Он наливает вина Ипу, который все хочет спросить о чем-то доктора, но не осмеливается...

Я не могу есть, я насыщаюсь красками: индюк напоминает огромный каштан, огурцы кричаще-зеленые, свежие, я слышу, как они хрустят, гора картофельного пюре — ароматный желтоватый навоз, красное вино в бокалах дешевого хрусталя, рыжеватые червячки жареной картошки.

— Режу я! — говорит Мелиуцэ и вынимает свой охотничий нож, который носит у пояса в кожаном футляре. Он всегда ходит вооруженный, у него был и браунинг, но однажды, вернувшись из трактира, он застал жену в постели с молодым учителем, она вздыхала так, что было слышно на улице. Мелиуцэ хотел застрелить учителя, но Клара выхватила у него браунинг и бросила в колодец, а мужу закатила две пощечины.

Мелиуцэ — маленький, с обезьяньим личиком, но я расположен к

нему, мы с ним коллеги — он тоже писатель: в книгах записей примэрии он пишет красными чернилами роман «Приключения Буффало Билля». Роман непроходимо глуп, ни стиля, ни персонажей, но, должен признаться, нравится мне, и я с нетерпением жду, когда Мелиуцэ прочитает мне очередную главу — на каждой странице происходят невероятные события, раздаются выстрелы кольтов 45-го калибра, люди падают в пыль, хватаясь обеими руками за живот, и колотят по выжженной земле огромными шпорами. Нож вонзается в тело индюка, от него идет пар, у едоков текут слюнки, даже Ипу, повеселев, берет кусок и начинает его обсасывать. Все молчат. Батюшка пьет бокал за бокалом, я так и вижу, как наутро его рвет в лохань. Сдобные пироги. Торт. Вино.

Ипу раскраснелся, боюсь — он лопнет, обычно он ест очень мало: корку хлеба, рыбку — и потом сосет кусочек сахару, который приношу ему я.

Часы бьют одиннадцать. И вдруг мне становится страшно: такою и будет всегда, отныне и впредь, моя жизнь? Есть индюков и пить вино и делать с моей женой то, что я делал с Адиной? С этой минуты я начинаю терять Ипу: он так счастлив, просто сияет, глаза затуманены... И ничего тут не поделаешь.

— На доброе здоровье! — говорит доктор и чокается с Ипу.— На доброе здоровье, потому что именно оно нам и нужно.

— Благодарствуйте, господин доктор.— Ипу осушает бокал.

Керосиновые лампы слегка коптят, торт вкусный, мне он ужасно нравится, но проглотить его я не могу. Перекатываю во рту кусок, потом наклоняюсь, выплевываю на ковер и с величайшей злобой крепко растираю подметкой сандалии.

10

— Ну, давай же,— грубо говорит своему любимому супругу Маргарета, и все поворачиваются к ней.— Не видишь, у нас глаза слипаются? — Она тут же спохватывается и, испугавшись, начинает лебезить перед ним: наливает ему вина, касается его руки. Он сидит потупившись, потом подымает голову, глаза у него прояснились, стали большими и оживленными, таких я никогда у него не видел. И что самое удивительное: хотя он и ел, как прорва, а как будто похудел — остались кожа да кости.

— Дорогие мои друзья, дорогой бач Тодор... Великое несчастье поразило наше село. Убили немецкого солдата. Кто-то в поле перерезал ему серпом горло. Господин капитан Браун сегодня посетил меня. У нас был долгий разговор. Господин капитан Браун сообщил мне, что он не может допустить что-либо подобное. Что если бы он не был так хорошо принят нами, интеллигенцией села, ибо мы... Зачем нам путаться в политику? Мы — простые румыны и воздаем кесарю кесарево... Если, я говорю... то есть, он говорит, что если бы не был так хорошо принят, то сжег бы село. Потому что он не может терпеть, чтобы подчиненный ему солдат был убит вне окопов. Необходимо, сказал господин капитан, примерное наказание, иначе немецкие солдаты перестанут верить в своего командира, который позволяет убивать их серпами в поле и не принимает никаких мер. Их ждет долгий путь, трудные битвы в защиту своей страны... У них тоже есть право на это, не так ли? И он не может дозволить, чтоб случалось такое, как в нашем селе...

Никогда я не слышал, чтоб он говорил так плохо, обычно он вкладывает в слова что-то свое, что-то от иконы, которую сотворил из себя самого, и слова его, даже лживые, даже несправедливые, все-таки заставляют задумываться. Однако все слушали, недоуменно покачивая головами... «Как могло случиться подобное в нашем мирном селе?» Только

Маргарета все время зевала, и от усталости кожа у нее на лице начала свисать складками, как у индюков.

— Этого еще нам недоставало сейчас, когда дело идет к концу! — вздохнул писарь Мелиуцэ и украдкой выпил и свой бокал, и бокал Клары.

— Ну, не такие уж мирные у нас люди,— неожиданно раздался голос Ипу.— Каждое воскресенье парни пускают в ход ножи. *Из-за девушек!* — добавил он и тихо засмеялся.

— Прошу вас,— сказал батюшка.— Прошу... Господин капитан Браун сообщил мне, что завтра... к пяти часам ему нужен виновный.

Я потихоньку сунул руку в задний карман, мой друг с семью зарядами, да еще одним в стволе сразу ответил мне; он там, на месте, хорошо, что я никуда его не спрятал. Я попытался перехватить взгляд Ипу, мы-то знаем, что делать: этой ночью нападем на квартиру капитана и возьмем его в плен, спрячем куда-нибудь, а сами распустим слух, что он дезертировал. Наши недалеко. Я прислушался. Пушки молчат, я даже не заметил, с каких пор.

— Если до пяти часов виновный не явится, мы... все... я, моя жена, господин доктор с женой, господин писарь с женой, господин примарь со всей семьей — будем взяты как заложники... А в полдень расстреляны перед примэрией.

— Господи, спаси и помилуй,— изумленно сказал Ипу,— да ведь не вы же, ученые господа, перерезали ему глотку.— И снова стал клевать носом. Я поднялся и, перегнувшись через стол, наполнил его бокал.

— Я думаю, что... — вяло начала госпожа Клара, но Мелиуцэ заорал так, что все вздрогнули,— он никогда не орал, не знает даже, как это делается, а тут до того перепугался собственного голоса, что очки чуть не свалились ему в рот:

— Нечего тебе думать! Нечего тебе думать! Нечего! Нечего!

Ипу медленно, каплю за каплей, выпил свой бокал, словно допивая последнюю бутылку из колодца.

Батюшка помолчал.

— Господи, за что ты посылаешь нам такое испытание? — вздохнул он и, словно кто-то подбодрил его, рывком обернулся к Ипу. — Бач Тодор... Ты знаешь все село, знаешь все, что делается... Ничего не случается, чтобы ты об этом не знал, тебе знакомы все люди, ты знаешь, на что способен каждый... Ты...

В следующее мгновение вся старость, все годы, что тащил на своей спине Ипу, слетели с него, наполнив столовую множеством стоячих луж. Во рту Ипу заблестели белые, крепкие, как кремень, зубы, красноватое лицо загорело от солнца и ветра, отросли кудрявые черные волосы. Я и не знал, что у него глаза зеленые, такие же как у меня.

— Стало быть, вы хотите, чтобы *я* сказал, кто его зарезал? Чтоб я сказал: «Это он»? Ткнул ему пальцем в грудь, а потом пошел на рыбалку? И ел? И спал?

Вдруг Маргарета, обезумев, расшвыряла стоявшие перед ней тарелки и бокалы, ее глаза вылезли из орбит, стали круглыми, как мячи, а на губах выступила беловатая пена.

— Стало быть, ты хочешь, чтоб убили нас всех? За проступок одного? Убили нас всех? Меня? *Я бере-ме-е-е-енна!* — завизжала она и стала царапать лицо ногтями.— Я жду ребеночка... Он шевелится... Я хочу жить, хочу ощутить его губки на груди, хочу ребенка! Мой ребенок, ребеночек мой дорогой!

Доктор необычайно проворно вскочил и, дав ей две пощечины, помассировал шею. Писарь, у которого слезы потоком текли из-под очков, налил вина в бокал Ипу.

— Хочешь, чтоб барышня Адина осталась без родителей? Чтобы... этот мальчик,— отец Иоан ткнул меня в лоб, и там появилось красноё, огненное пятно,— стал бродягой, как ты сам? Нищим? Чтоб он жил чужой милостыней?

— Может быть, расстреляют и их,— кротко сказал доктор.— Они тоже входят в семью...

— По крайней мере, не придется им по миру идти,— заметила его жена.

— Я беременна! Я беременна! — опять закричала Маргарета и согнулась, прикрывая живот обеими руками.

Ипу снова постарел. Отпихнул от себя бокал.

— Хорошо. Я пойду и скажу, что убил его я.

11

Всеми порами, всеми фибрами, всем тем, что живет во мне воспоминанием, и всем тем, что ждет меня впереди, я слышу, как они вздохнули с облегчением. И хотя они сдерживали дыхание и побледнели от усилий не произнести ни звука — этот вздох заколебал пламя керосиновых ламп. Огромные тени заплясали по комнате, все встали, окружили Ипу, начали его целовать, хлопать по плечу. Маргарета схватила его большую, тяжелую, шершавую руку и липко, слюняво чмокнула ее, Мелиуцэ, не переставая плакать, налил во все бокалы вина, Ипу уговаривают выпить, священник, сложив руки, молитвенно шепчет что-то, потом тоже пьет. Теперь Ипу — камень, ломоть хлеба, ветка, он все смеется, качая круглой головой.

— Перестаньте, перестаньте...— Потом его вдруг одолевает жажда, он поднимает бокал и смотрит по очереди на каждого: — Долгих вам лет, дай вам бог счастья и здоровья.

— Все равно, бач Тодор,— говорит доктор,— долго ты не протянул бы... Печень — одни дырки... Э-э, по-моему, водочку ты и сейчас еще любишь! Сердце — мельница без воды, легкие — дымовая труба... Тебе и до весны не дотянуть, только намучаешься...

— Молчи, Тиби,— вмешивается госпожа Клара,— ты пьян. Ничего тебе не сделают,— обращается она к Ипу.— Не сделают тебе ничего. Ты — идиот...

— Да,— отвечает Ипу,— может, и так, я ведь не знаю...— Он оживился, то и дело чокается с кем-нибудь, только не со мной, он даже не смотрит в ту сторону, где сижу я, он красен, как свекла. Господин Мелиуцэ идет за новыми бутылками.

— Бач Тодор... Бач Тодор, дорогой мой,— плачет Маргарета.

— Можете называть меня Ипу,— говорит бач Тодор.— Я знаю, за глаза вы так меня называете...

— Почему тебя зовут Ипу? — спрашивает госпожа Клара и подает ему большой кусок торта.

— Не знаю.

— А что значит «Ипу»?

— Ничего. Потому-то мне и было досадно, потому-то я и злился... По-всякому меня люди звали, очень грубо: Загаженный, Рваная Кишка, Раскоряка... Я не сердился, понимал, что я им противен, что они гроша ломаного за меня не дадут. А я люблю, когда люди не скрывают свои мысли. Но ИПУ? Это ничего не значит, потому-то я и не терпел, чтоб меня так называли.

Он в два счета покончил с тортом, выпил вина. И фыркнул от смеха.

— Теперь на моей могиле напишите: *«ИПУ»*... И устройте мне могилу покрасивее.

— Ипу...— Отец Иоан встал, он качается, как тополь, и едва держится на ногах.— У тебя будет лучший памятник в селе. Клянусь богом. Мраморный...

— Большой белый крест...— начинает Маргарета.

— Черный,— веско говорит доктор.— Черный мрамор дороже.

— ...высотой в три метра... Золотыми буквами будет написано... что хочешь, Ипу...— Маргарета садится рядом с ним, берет его руку и водит ею по своему гладкому животу.— Слышишь его? И он будет носить тебе цветы, каждый день... И ты будешь радоваться.

— А на памятнике... Вызовем из города скульптора, он высечет твой портрет...

— Таким, как я был в молодости,— говорит бач Тодор и ударяет бокалом по столу. Ножка бокала разбивается.

— Ничего, ничего,— говорит Маргарета,— дайте ему другой бокал... Это хорошее вино, от него голова не болит, мы заплатили за него уйму денег.

— А вокруг — позолоченная ограда,— продолжает батюшка.

— Да, это бы неплохо,— кивает Ипу.— Чтоб козы не лазили.

— Черт бы побрал этих коз, все кладбище портят,— подхватывает госпожа Клара.

— Не верю я вам,— вдруг говорит бач Тодор,— не верю, но хорошо уж, что вы так говорите...

— Ипу! Ты меня обижаешь, так и знай! — хмурится отец Иоан, он тоже раскраснелся, а губы его стали сине-багровыми, столько собралось в них крови.— Ты меня обижаешь и сердишь, так и знай!

Ипу все качает головой, задумчиво улыбаясь.

— Хорошо! — важно произносит батюшка.— Господин писарь, вы здесь... Возьмите лист бумаги и пишите: протокол...

Писарь пишет все, что ему диктует отец Иоан: какой будет памятник, сколько метров высоты, барельеф с изображением бача Тодора в молодости, а внизу, золотыми буквами: *«ИПУ»*, ограда из кованого железа, позолоченная, цветы — петуньи, тюльпаны и сирень.

Из бумаги, из мелких, округлых буковок, составляющих гордость писаря Мелиуцэ, возникает посреди стола памятник; ива с серебряными листьями, ива, под которой мы вдвоем поймали большого сома, раскинула над Ипу свои свежие сережки...

Бач Тодор встает с бокалом в руке. Ему нравится памятник, он кланяется мраморному кресту, высеченному из камня своему лицу, такому, как в молодости.

— Большую честь вы мне оказали, господа... Потому как я, сколько жил, ничего не стоил... Я ведь земли не пахал. А не пахал потому, как у меня ее не было. Я... рыбкой зарабатывал грош-другой, да я не для денег, а удовольствия ради сидел на берегу Теуза.

— Если хочешь, Ипу, мы положим с тобой и удочки,— предлагает Маргарета.

— Это грех,— отвечает бач Тодор,— мы ведь не язычники.

— Я как будто проголодалась,— заявляет госпожа Клара,— давайте поедим еще индюка, он и холодный очень хорош. Грудка даже еще лучше.

Первому подносят бачу Тодору, некоторое время все молча едят.

— Значит... Как же это бывает? — вдруг спрашивает с набитым ртом бач Тодор.

— Что — как бывает? Когда? — недоумевает батюшка.

— Когда тебя убивают.

— А, ничего,— вмешивается доктор.— Во-первых: никакой боли. Болит меньше, чем царапина от гвоздя... Бах — и все... Будто вдруг засыпаешь, когда очень устал.... Никакой боли.

— Ну уж глупости! — сердится бач Тодор.— Вы не думайте, будто мы так-таки ничего и не знаем...

Он наваливается локтями на стол и кладет тяжелый подбородок на корявые ладони:

— Помилуй бог, знаем. В тысяча девятьсот семнадцатом в Добердо, когда я был на фронте в Италии... Наши поймали одного. Словака. Он дезертировал к итальянцам и дрался вместе с ними против нас. Должно, не нравилось ему у нас, или что там еще. Поймали его. Предатель родины, сами знаете... Ну, судили его и приговорили к смерти. Утром... тучи были, только в одном месте клочок неба виднелся, так, с тряпочку... Вывели нас еще с ночи. Построили в каре и привели словака.... Двое поддерживали его, на затылке волосы ему выбрили, чтоб веревка не скользила... Поставили на кухонную табуретку, и палач вышиб ее у него из-под ног... И он, бедняга словак, долго мучился, и текли у него сопли и пена изо рта, а глаза кровью налились... И все ногами дрыгал, и тянулся, чтоб достать до земли хоть кончиками башмаков, и язык висел у него до самой груди... И долго он мучился, ветер качал его то туда, то сюда, так что вы не говорите, будто это легко.

— Да, но ведь тебя никто и не повесит! — сердится доктор.— Тебя расстреляют.

— А! — сообразил бач Тодор.— Тогда — да... Пуля быстро свое дело делает. Только б они целились получше. Не стало бы им жалко, руки не задрожали бы.— Он помолчал.— Службу вы будете служить, батюшка?

— А ты хочешь другого священника? Мне было бы очень жаль,— огорчился мой зять.

— Нет, оборони бог, да, может, вы заняты...

— Ну что ты говоришь, Ипу?.. Придет все село, люди из окрестных мест, все будут чтить твой геройский поступок.

— И армия! Наша армия! — вскакивает Мелиуцэ, который не в состоянии усидеть на стуле.— Потому что через несколько дней она будет здесь...

— Самая красивая служба изо всех, какие отправлялись когда-либо, будет по тебе!

— Увидим,— говорит Ипу.

— Как же ты увидишь? Господи, прости меня, ведь ты...— смеется Маргарета.

— Я говорю, что хочу увидеть. Сделаем пробу. Теперь.

— Невозможно! — кричит мой зять.— Это было бы кощунством.

Маргарета под столом щиплет его за ногу.

— Хорошо,— соглашается священник.— Идем в церковь... Ипу, ступай вперед, открой дверь и зажги свечи.

12

Все свечи горят. Ипу распростерт на катафалке, обитом черной парчой. Маргарета накрыла его до самого подбородка трехцветным знаменем и стоит возле катафалка на коленях. Доктор, Мелиуцэ и госпожа Клара, у которых прекрасные голоса, стоят на левом клиросе. На правом — генералы, полковники, майоры, капитаны, лейтенанты, младшие лейтенанты с саблями наголо — для почета... Шесть солдат, грудь которых покрыта орденами, стоят впереди, держа знамя дивизии с золотым орлом на древке... Церковь набита битком, пахнет воском и долго пролежавшими в сундуках черными платьями. В слабых руках женщин — белые носовые платки с голубым кружевом, то одна, то другая утирают слезы.

Снаружи до самой околицы села стоит неисчислимая толпа, все молчат, хоть и слышится гул; немилосердно палит солнце, но никто не шелохнется, большинство стоит на коленях в уличной пыли, закрыв лицо ладонями, они рыдают, плечи их ходят ходуном. В солнечных лучах развеваются хоругви, святые на них мечут огненные блики в маленькие окна домов. Только дети — да что они понимают! — возятся в топких канавах вместе с золотистыми утятами. Бабка Фогмегоайа ждет своей очереди. Она не плачет. Никто не видел, чтоб она плакала по кому-нибудь из усопших, но ее голос и без слез терзает тебя, как плохо отточенная пила. Фогмегоайа стоит выпрямившись и держит за руку Катицу, сестру бача Тодора; Катица — кретинка, такой она родилась, с вывернутыми ногами и клохчущим голосом. Она не знает и семнадцати слов, но понимает все, потому что она старая, ей тридцать два года. Фогмегоайа повторяет про себя *«Последнюю хору»*, она споет ее тогда, когда комья земли, которые сперва бросают руками, а потом лопатой, загрохочут по гробу из черного дерева:

Скорбите, люди, и плачьте,
Не увидите вы больше Ипу...
Он по улицам больше не ходит,
В реке рыбу не ловит,
Птиц больше не ищет,
Не говорит уже с ними по-ихнему,
Не ходит больше по холму
С барчуком за собою.
Барчук любимый, милый,
Не жди больше меня на пороге!
Оставляю тебе мои удочки,
Чтоб ты ловил ими рыбу.
Когда поймаешь красивых рыбок,
Вспомни обо мне...

— С душами праведников, тех, кто жил когда-то, упокой, господи, и душу раба твоего, что ушел от нас в места света и зелени, где нет ни печали, ни воздыхания, и допусти его в рай, где блаженствуют праведники твои! — слышится, отдаваясь эхом в пустой церкви, глубокий голос отца Иоана.

— Господи, помилуй, господи, помилуй! Вечная память! — поют три голоса: доктора Буну, писаря Мелиуцэ и госпожи Клары.

— Вечная память, вечная память, вечная память!

— Взглянул я в могилы и увидел... Всю красоту нашу, созданную по образу и подобию твоему... Царь ли, воин ли?.. Богатый ли, бедный ли?.. Прах и пыль, суета сует и всяческая суета...

— Господу помолимся-яя! — Голос госпожи Клары взвивается вверх, парит над нами, словно черная, тучная, мягкая птица.

— Приидите воздать усопшему последнее целование! Наступил час плача и скорби!

Я делаю шаг вперед, слезы клокочут у меня в горле, но Адина дергает меня за руку:

— Ты рехнулся?

Отец Иоан поднимает руки.

— Скорбящая паства! Сегодня мы стоим, содрогаясь, перед земными останками того, кто был нашим любимым и уважаемым согражданином, Тодором Чупе. Один из безвестных героев нашего народа, он пожертвовал собой ради нас, принес себя в жертву, чтоб спасти наше село от огня и меча, подобно агнцу предал себя, чтоб другие сохранили жизнь, вели вперед, к процветанию, нашу страну. У него не было семьи, но мы, кто же мы? Мы все...

Рука Адины ощупывает мою руку.

— Можно, я прижмусь к тебе? Мне холодно.

Больше до меня не доходят речи моего зятя, все слова вдруг разламываются, буквы смешиваются, дерутся, обнимаются, им ни до чего нет дела. Он говорит еще долго, потом подходит к катафалку, целует бача Тодора в лоб и становится на колени.

Падают комья земли, они стучат, грохочут, могила наполняется.

— Да,— говорит бач Тодор и, кряхтя, с трудом поднимается.— Да.

Из церкви выходим по двое, бач Тодор где-то далеко впереди.

Отец Иоан запирает церковь, сует в карман рясы большой ржавый ключ, похожий на старый пистолет, подходит к жене и обнимает ее за плечи — под утро становится прохладно.

— Он был порядочный человек,— говорит госпожа Клара.

— Проповедь Ионикэ чудесная! Вдохновенная! — восторгается писарь.

— Ты хорошо запер дверь, когда мы уходили из дома? — спрашивает жена Буну, и муж что-то бормочет.

— Можешь приходить к нам каждый день,— шепчет мне Адина,— наверху, на чердаке в конюшне, есть сено, еще с прошлого года... А как па-а-ахнет! И мы будем... сколько захотим...

— Я вроде выпил бы стакан вина,— доносится голос бача Тодора.

13

Мы опять уселись по местам, еда уже простыла, от ламп по-прежнему тянет копотью. Во взглядах у всех что-то враждебное, недоуменное, только спокойный бач Тодор с тихой жадностью потягивает красное вино. Так как никто больше его не потчует, он наливает себе сам, разглядывает вино на свет лампы и пьет.

— Со мною — все,— внезапно говорит он.— А как с остальными?

— То есть, с кем это? — хмурится отец Иоан, с трудом поднимая посиневшие веки. Маргарета лежит на диване, открыв ноги,— будь я скотина, если она не делает это нарочно, если это не повадки женщин легкого поведения.

— С моими. С моей семьей.

— А что? —приподнимается на локте Маргарета, она не спала.— У тебя есть семья? Кто же это, прости меня господи!

— Моя супруга, Флоаря Тойа, по прозвищу Фогмегоайа! — важно говорит бач Тодор.

— Да ты же с ней развелся двадцать три года назад, забыл? — поблескивает очками Мелиуцэ.— В примэрии, в суде.

— В суде — да. В душе моей — нет. И сестра у меня есть, Катица, слабоумная. Есть еще двоюродный брат, Иоаникие, что вернулся с фронта в чахотке...

— Ну и что с того? Не понимаю.— Отец Иоан придвигается к нему вместе со стулом.

— Стало быть, остаются они безо всякой поддержки.

— Большой «поддержкой» ты для них был! — Моя сестра Маргарета вскакивает с дивана и яростно ищет туфли, которые сбросила, чтобы дать ногам отдохнуть.— Чем ты их поддерживал, Ипу? Не смеши нас, ведь все село знает.

— По-всякому поддерживал,— отвечает бач Тодор. Он вытянул губы трубочкой, только мне одному известно, что это означает,— он обижен, смертельно оскорблен, и теперь с ним будет очень трудно.— Не могу я оставить их в нищете.

— Не понимаю все-таки,— ерзает мой зять.— Конечно, мы обо всех о них позаботимся...

— Я хочу, чтоб они без меня с голоду не помирали! — говорит Ипу и наливает бокал писарю.— Ваше здоровье, господин писарь, весь-то вечер вы меня угощали...

— И чего же ты хочешь для них? Денег?

Ипу глубоко вздыхает, и опять только я знаю, что его охватило приятное волнение, как перед поединком с огромной рыбой.

— Землю,— отвечает он.— Хорошую землю.

— Он пьян,— говорит Маргарета, она позеленела, глаза у нее опять выкатились.

— Ипу, не будем сейчас...— начинает батюшка.

— Поговорим,— вмешивается писарь.

— Долго говорить не придется, потому как не успеешь оглянуться — а уж пять часов и немцы придут взять вас,— едва заметно усмехается бач Тодор.

Они забыли. Единственный раз в своей жизни они пережили — со мной такое случается каждую минуту — настоящее и будущее вместе, и будущая *смерть Ипу* оказалась в прошлом. Они забыли, бач Тодор отрезвил их, и я уверен, что каждый из них обливается потом от страха. Глаза у них стали с луковицу, руки задрожали.

— Будьте здоровы, много лет жизни,— говорит писарь и захлебывается вином.

— Землю,— повторяет бач Тодор.— Хорошую землю. И бумаги на нее по всей форме. Знаю, у господина писаря и печать при себе, потому как он без печати и без ножа не ходит.

Отец Иоан дергает Маргарету за руку, заставляя ее сесть рядом с собой, у обоих трясутся подбородки.

— Для моей жены, для Флоари. Два жугара в Косалэу. От господина священника.

— Да,— отвечает мой зять.

— Это лучшая наша земля! Мы с такими жертвами ее купили...— хнычет моя сестра.— С приходской сессии все собирали...

— Молчи,— говорит отец Иоан.— Господин Мелиуцэ, составляйте документы.

Госпожа Клара торопливо (я знаю, она хочет завоевать расположение бача Тодора, когда дойдет очередь до них) снимает перед писарем все со стола, ставит чернильницу, кладет ручку.

— Не испачкайте скатерть,— ноет Маргарета.

— *Дарственная на вечные времена!* — диктует бач Тодор.

Господин Мелиуцэ составляет документ, громко читает его, священник подписывает, писарь ставит печать.

— Ладно — говорит бач Тодор.— Теперь господин доктор...

— У нас земли нет,— почти весело откликается доктор.

— Деньги,— говорит бач Тодор.— Двадцать пять тысяч лей.

— Нет у нас таких денег... Дочка в лицее, это стоит уйму...

— Нечего сквалыжничать! — орет отец Иоан.— Он отдает за нас жизнь, а...

Господин писарь составляет второй документ. Закончив, поднимает униженный взгляд побитой собаки. Вот увидел бы его Буффало Билль, сразу пнул бы сапогом в спину.

— Для моего двоюродного брата Иоаникие, господин писарь... Один жугар...

— То есть как... он — один жугар, а мы... — набрасывается на него Маргарета, но бач Тодор не дает ей продолжать:

— У Иоаникие уже есть один, а господин писарь мне весь вечер вино наливал.

— Где? — спрашивает писарь.

— Да ведь у вас во многих местах есть! — смеется бач Тодор.— В Рэзаде.

Все.

Теперь все кончено. Старик собирает бумаги, подносит их к глазам— понятия не имею, умеет ли он читать,— кланяется в землю, кладет поклоны перед каждым.

— Счастливо оставаться, помоги вам господь, а меня пусть простит за все грехи, что я волею совершил или неволею. Я ухожу, через полчаса буду здесь, мы пойдем, и я повинюсь.

Тогда я встаю, вытягиваюсь, расту, мои волосы метут потолок, я в безграничной выси, только взгляд мой остается где-то внизу, пристывший к голубой круглой земле. Ипу кидается на меня как бешеный, трясет за плечо, ломает мне кости. И орет, словно потеряв рассудок:

— А ты? Тебе чего здесь надо? Разве это такие дела, чтоб детям их видеть? Чтоб детям их слышать?

— Бач Тодор,— говорю я очень медленно, и голос мой не похож на мой голос, он так силен, что я не знаю, откуда он идет, что за тайна кроется в нем, что за мощь. Ипу понимает, лицо его разглаживается, он смеется, глаза влажны.

— Да,— говорит он.— В последний раз.

Он садится на стул, кладет руки на колени. Я сажусь на другой стул в той же позе. Все недоумевают, но никто не осмеливается что-нибудь сделать, сейчас одно-единственное слово — и я уложу их на месте с дырой между глаз. Им страшно, они словно одеты в жестяные рубашки, пальцы у них оледенели.

— Ты Наполеон, Император французов, и говоришь...

— Я Царь,— нерешительно отвечает Ипу, он, кажется, тоже испугался.

— К черту Царя! — во все горло ору я.— Черт побери его и мать его... Кто знает о Царе? Кто теперь помнит этого несчастного вшивого царя? А Наполеона — все, вся Европа, и теперь и всегда... Ты — Наполеон Бонапарт и говоришь: «Я громил вас, как хотел и когда хотел, во всех сражениях! Ваши знамена влачились в прахе у моих ног! Аустерлиц! Иена! Маренго! Ваграм! Эйлау! Я истреблял вас огнем моей артиллерии под командой Даву! Моей кавалерией под командой Мюрата! А теперь вы стакнулись, все недотепы земного шара, но имя мое будет сиять в веках среди французского народа, который я так любил!»

— Да,— говорит Ипу,— *так я говорю.*

И прежде, чем я успеваю шевельнуться, он наклоняется, целует мне руки, потом поворачивается и уходит, точно призрак. Вслед ему гаснут лампы, одна за другой.

14

Мы все сидим в кухне, прижавшись друг к другу, точно стадо продрогших овец. Часы отбивают на своем латунном языке секунды и рассекают их ровно пополам.

Без четверти пять, утро помятое, как мокрая промокашка, серые куры купаются в холодной пыли, страшная стужа, потоки воды низвергаются со стен кухни к нашим ногам. Адина вышла за дверь, остальные — покойники, сам я блуждаю по бесцветному небу, слушаю свою водянистую кровь и шорох пакли, которую привык называть «мыслями».

Часы бьют, бьют, бьют, бьют; Маргарета, сидевшая на коленях у мужа, встает и говорит:

— Вы дураки, идиоты. Он посмеялся над нами, выжулил у нас бумаги и... поминай как звали! Попробуй отыщи его! И больше он не приде-е-ет! — пронзительно визжит она.

И тогда происходит нечто неожиданное: отец Иоан, вскочив, как козел, хватает ее за волосы, бьет кулаком по груди, по губам, она застигнута врасплох, падает на колени, я вижу, как бегут петли на ее шелковых чулках, точно трещины по разбитому стеклу. Какой-то миг она стоит на коленях, согнувшись, закрывая руками лицо. Но так или иначе, при всей ее подлости, она принадлежит к нашему роду, а люди из нашего рода никогда не терпели, чтоб их били и топтали ногами.

В следующее мгновение она распрямляется, глаза ее выходят из орбит, отстегнувшиеся чулки стекают по ногам, точно сухая тонкая кожица. Она вцепляется священнику в бороду, колотит его головой об угол стола, потом бежит к большому буфету, «в котором находится посуда, называемая глубокими тарелками, мелкими тарелками, маленькими тарелочками», берет старую тяжелую латунную ступку и изо всех сил швыряет ее мужу в грудь, тот охает, губы у него лопаются, и кровь наконец выливается, стекая на воротник рясы.

— Не смей меня бить, идиот! Почему ты бьешь меня? Ничтожество! Потому что ты ни на что не способен, вонючка? Что? Важничаешь, что женился на мне? Потому, что я была бедная? А теперь проматываешь состояние, которое я своими руками собрала, ведь у меня и чулок-то нет... Мои чулки...— скулит она, подтягивая и пристегивая их, бесстыдно обнажая ноги.— Погоди, вот выйдет наш брат из тюрьмы, я тебя на каторге сгною!.. Потому что вместо того, чтоб... как следует, ты кладешь меня под одеяло и поешь «Святая молодость» и плачешь! Почему ты бьешь меня, почему ты меня ударил, что такое я сказала, чтоб ты бил меня, ведь идиот, сельский дурачок, провел вас всех, и вы отдали ему самую лучшую землю, а теперь нас еще и расстреляют, потому что я не захотела спать с ним, с немцем, а ведь я и могла бы, я прямо обмирала, чуть он на меня взглянет! А ты меня бьешь, негодяй, глист!

— Сударыня,— говорит доктор, держась в стороне...— Сударыня...

— Поди ты к... пьяница! Почему он бьет меня, почему бьет? Что я сказала, чтоб он меня бил?

В дверях появляется Адина, плечи ее сгорблены, она посинела от бессонницы.

— Идет Ипу-у-у! — кричит она.— Со всей семейкой и с господином жандармским начальником...

Часы бьют пять, потом, исполнив свой долг, останавливаются, умирают, падают со стены и разбиваются вдребезги.

Мы выходим во двор.

Бач Тодор свежевыбрит, вымыт, он надел старый мундир *«K. und K.»* *, который никогда не показывал мне, мундир ему узок, живот выпирает; на ногах у него опинки и новые, сделанные из полотенца, портянки. За ним идет Флоаря, его жена, держа за руку идиотку Катицу, которая переваливается на ходу, обе они в черном, а за ними двоюродный брат Иоаникие в праздничном костюме, бледный, растерянный.

Вокруг них вертится, смеясь как одурелый, пьяный господин сержант Гочиман, на его груди нашиты серп и молот, вырезанные из толстого красного сукна.

Ипу и его семья шагают степенно, медленно, в руке у Фогмегоайи тонкая свеча из пчелиного воска, а сержант прыгает и пляшет — гоп-гоп.

— Господин священни-и-ик! Господин писа-а-арь! Госпожа... Немцы ушли из села-а-а, ушли-и-и! Этой ночью-ю-ю!

---

* Kaiserlich und Königlich *(нем.)* — императорский и королевский.

— Врешь,— говорит Ипу.— Как они могли уйти, пока не свершили суд и расправу?

— Ушли-и-и, и след простыл! Идут наши, и с ними идут товарищи!

— Господи боже, господи боже,— говорит отец Иоан и преклоняет колени посреди двора.— Благодарю тебя, отец небесный, благодарю за эту милость, которой мы не заслуживаем, ибо мы — черви на земле...

— Видишь, видишь,— подходит к нему Маргарета, и легким движением ерошит ему волосы на макушке,— видишь, я тебе говорила, что не надо расстраиваться, тратить столько денег... Разве я не говорила, ну, скажи сам, не говорила ли я... А ты меня бьешь, при людях, и я... Заставляешь меня говорить то, чего я, сам прекрасно знаешь, не думаю... Но ведь у меня тоже есть гордость женщины и учительницы...

— Ушли-и-и! — орет Гочиман, подбрасывая к небу засаленную фуражку.— Ни одного больше нет!

— Настоящее чудо,— говорит господин писарь.— А мы, как дураки...

15

И тогда Ипу начинает плакать.

Короткое, жалкое, еле слышное всхлипывание, а потом слезы текут по его лицу, словно снимая с него кожу... Он кусает кулаки, сует их в рот, плач звучит как предсмертное хрипенье в бездне, он топает ногами, колотит землю. Бабка Фогмегоайа со свечой в руке удивленно и насмешливо глядит на него. Катица дважды кричит, будто курица. Ипу захлебывается рыданиями, ему уже трудно дышать, голова его раздувается, точно красный шар, руки мокры от слез, струящихся по грубой льняной рубашке на землю, и земля их не принимает, она пресытилась... Она словно укрыта удушливыми волнами. Ипу отводит слезы изуродованными пальцами, но они все ткут и ткут на его лице мокрую паутину...

Отец Иоан глядит на него, ничего не понимая, а сердобольная Маргарета подходит к Ипу и кладет ему руку на плечо.

— Твоя жизнь спасена, бач Тодор, благодаря Иисусу и нашим молитвам.

Господин Гочиман объясняет нам:

— Он пьян, скотина, как стелька пьян, от него разит.

Госпожа Клара зевает всем своим существом: утро холодное, и ее тело требует утра холодного, свежего, острого. Доктор и его жена положили руки на плечи Адины.

И тогда я приговорил их всех к смерти.

СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ

ЗЕМЛЯ ПОД ЯБЛОНЯМИ

РАССКАЗ

Перевод с монгольского
Г. МАТВЕЕВОЙ

Взошло солнце и щедро осветило лес и степь. В горах солнечный свет еще резче подчеркивает очертания каменных глыб, взметнувшихся ввысь, головокружительные провалы пропастей, а вот в степи он разливается ровным потоком, принося умиротворение и душевное спокойствие.

Ясным осенним утром по дороге, ведущей от халхин-голской опытной станции к сопке Хамар, шла машина «ГАЗ-69». Кроме шофера Дугара в ней было еще два пассажира: девушка, агроном Цэвэлсурэн, и молодой парень, садовод Насан. Машина повернула на восток, и солнечные лучи яростно ударили в ветровое стекло, ослепив шофера. Дугар поспешно опустил щиток и процедил:

— Видать, жаркий будет нынче денек.

Лицо Цэвэлсурэн просияло:

— Мы с Насаном тоже так думаем!

«Вроде бы мы с ней об этом и не говорили!?» — удивился про себя Насан. С заднего сиденья ему хорошо видны были ее лицо, повернутое к нему вполоборота, мягкая прядь волос, выбивавшаяся из-за уха. Если бы не трудный характер, золотой она человек. Словно разгадав его мысли, Цэвэлсурэн еще раз улыбнулась и вовсе неожиданно произнесла:

— Давайте, Дугар, ненадолго остановимся тут.

— Слушаюсь, дарга *,— отозвался тот и выключил мотор.

Все трое вышли из машины. Трава еще не успела высохнуть и от обильной росы казалась не осенней, умирающей, а весенней, молодой, ярко-зеленой. Отыскав подсохший бугорок, Насан опустился на землю и продолжал наблюдать за девушкой. Широкоплечая и широкобедрая, она уже начала полнеть. Но у нее была высокая талия и прямые, длинные ноги. На стройной шее гордо посаженная красивая голова, черные густые волосы. Весь облик девушки дышал свежестью и здоровьем.

Цэвэлсурэн сделала движение, словно собиралась оглянуться, и Насан тотчас отвел глаза с таким видом, будто разглядывал лежавшую перед ним степь...

Когда-то здесь бушевала война. До сих пор еще видны остатки проволочных заграждений, а на восточном берегу Халхин-Гола — бесчисленные окопы, траншеи, блиндажи, ходы сообщений. Теперь все заросло травой, но зеленый покров не в силах скрыть страшные шрамы, обезобразившие лик земли. Здесь стояли японские войска в тысяча девятьсот тридцать девятом году. А вот там, где начиналась долина реки Этнэ,

* Начальник *(монг.)*.

были оборонительные линии советско-монгольских войск. Огромный танк, застывший на самой вершине сопки Баян-Цаган, казалось, олицетворяет неприступность этих позиций. Насану было известно, что этот танк — памятник советскому герою-танкисту Яковлеву и что на сопке еще немало могил, огороженных железной решеткой, или холмиков, на которых крестом лежат ветки.

И тут вдруг Насан увидел, что по полю идет Цэвэлсурэн, направляясь прямо к сопке, на которой возвышался памятник танкисту. Если б он мог заглянуть девушке в лицо, то, наверно, поразился бы происшедшей в ней перемене — на лице ее были написаны скорбь и печаль.

Впрочем, мысли Насана тоже нельзя было назвать веселыми. Как раз в этих местах летом тридцать девятого погиб его отец. Только вот неизвестно, где его могила. Летом того года мальчику Насану исполнилось всего семь лет. Они жили на границе — отец был начальником заставы. В памяти Насана сохранилось несколько страшных воспоминаний. Жаркий, душный день. Маленький Насан, как обычно, играет один в тени юрты, на заставе нет больше детей. Вдруг появилось несколько верховых, вооруженных винтовками. Это прискакали цирики*. Лошади у них в мыле. Один соскочил с коня и тут же повалился на землю, лицом вниз — вот до чего устал, на ногах даже не может держаться. Из юрты выбежал отец, в руках у него винтовка. Он посмотрел на сына и строгим голосом велел ему тотчас идти домой. И еще запомнилось: когда упавшего цирика стали поднимать, чтобы положить на спину, оказалось, вся гимнастерка у него залита кровью. Нет, видать, не от усталости упал солдат на землю... А потом ночью Насан проснулся и увидел плачущую мать,— слезы так и бежали по ее щекам.

«Что-нибудь случилось с папой?» — закричал он в испуге.

«Спи, сынок, ничего не случилось. Папа скоро вернется, привезет, как обещал, подарки: мне — новый чайник, а тебе — конфет».

И правда, отец скоро вернулся. Он посадил их с матерью в крытый грузовик. На минуту прижал к себе сына... На всю жизнь запомнился колючий отцовский подбородок да крепкий табачный запах. Машина долго ехала по ухабистой дороге. Где-то далеко громыхало, словно это был весенний гром. Вдруг совсем рядом сильно ударило, и по земле пополз белый дым. Машина, будто испугавшись, рванулась вперед, а потом повалилась в придорожную канаву...

— Насан, хочешь яблочка? — раздался голос Дугара, прервавший его мысли.

Он оглянулся и увидел шофера, который доставал из сумки яблоки. Не дождавшись ответа, Дугар выбрал самое красное, самое большое яблоко, подбросил его, поймал и с хрустом впился зубами в сочный плод. Покончив с яблоком, он обтер ладонью губы и сказал:

— Что ж ты тут сидишь? А Цэвэлсурэн ждала, что ты пройдешься вместе с ней.

Но Насан пропустил его слова мимо ушей, даже не поняв намека. Слишком он был поглощен думами о прошлом. А потом от воспоминаний детства тоненькая ниточка протянулась к настоящему. Тогда, в тысяча девятьсот тридцать девятом, он потерял отца. Известие о том, что начальник заставы пал на поле боя смертью храбрых, пришло уже в самом конце войны. Мать одна выводила его в люди. Несколько лет назад здоровье ее сильно пошатнулось. Пришлось переехать в город. А какая работа для скотовода в городе? Пришлось идти на курсы садоводов и переучиваться. Неожиданно для себя он полюбил свое новое дело. И когда началось освоение целинных земель на Халхин-Голе — тех самых, которые так обильно были политы кровью,— Насан вместе с группой

* Солдаты-конники *(монг.)*.

молодежи одним из первых приехал сюда и стал работать на халхин-голской опытной станции. По земле, изрытой снарядами и бомбами, проложили шоссе. И на берегах Халхин-Гола зацвели яблоневые сады. Белые домики-близнецы сбились в веселый поселок. Казалось, сама жизнь неудержимо рвется, прорастая прямо из земли... Цэвэлсурэн появилась на станции в прошлом году. Поговаривали, будто спокойную службу в министерстве сельского хозяйства она оставила неспроста — провинилась, вот и поехала на край света. Работником она была крепким, а вот характер у нее оказался трудным. С людьми не всегда ладила, от ее острого словца страдала не одна девчонка. Правда, когда надо было дело делать, тут ее будто подменяли: для своих товарищей находилось у нее и доброе слово, и ободряющий взгляд. Сперва девушка не понравилась Насану — он недолюбливал людей, чей характер не мог понять сразу. Но постепенно стал приглядываться к своенравной девушке, и она заинтересовала его. А потом... потом вдруг вспыхнуло чувство столь сильное и глубокое, что он даже страшился его. И как ни пытался он скрыть свою любовь, иной раз ему казалось, что Цэвэлсурэн обо всем догадывается. Вот и вчера, встретив Насана, она сказала совсем неожиданно:

— Завтра я еду на перевал за сопкой Хамар. Надо взять пробы земли. Может, поедешь со мной?

— Ну конечно,— тотчас согласился он, смущенно отворачиваясь, стараясь не выдать своей радости.— А меня отпустят с тобой?

— Я уже договорилась.

И вот они ехали теперь вместе...

— Давай, Насан, сходим за Цэвэлсурэн,— предложил Дугар. Парню, видно, надоела эта игра в молчанку.

Они нашли Цэвэлсурэн у халхин-голских могил. Лицо девушки выражало глубокое спокойствие, она была грустна и, видимо, погружена в собственные мысли.

— Тронемся дальше, дарга? — спросил шофер.

Она только печально вздохнула, улыбнулась ему в ответ и молча пошла к машине.

Весь остальной путь к сопке Хамар они ехали, не нарушая молчания, погруженные в свои мысли.

Машина остановилась на перевале. В лучах утреннего солнца сиял белый обелиск, установленный на братской могиле.

«Это ведь и моему отцу памятник»,— с гордостью и одновременно с грустью подумал Насан.

Из падей тянуло сладким, острым запахом увядающих трав, разогретых солнцем. Стоявшая рядом Цэвэлсурэн вздохнула:

— Понимаешь, Насан, счастливые мы с тобой люди: нам только приходится залечивать раны войны. Столько лет прошло с той поры, а раненая земля все помнит... Мы распашем всю эту многострадальную землю, засыплем окопы, сотрем с лица земли страшные следы войны. И потом вокруг этого обелиска посадим сад... Если бы я была садоводом, как ты, я обязательно построила бы домик здесь, в будущем саду, и жила бы в нем до самой смерти...

Неожиданно для себя Насан сказал:

— Я тоже так думаю. Надо жить здесь, где погиб мой отец в тридцать девятом.

— Мой отец ушел на войну совсем молодым — двадцати лет. Он тоже не вернулся отсюда... Пока мы не залечим раны земли, не зажить и раненому сердцу.

Они стояли рядом, касаясь плечом друг друга, и смотрели на ослепительно-белый обелиск, сияющий в лучах благодатного осеннего солнца.

БЕТТИ КОЛЛИНЗ

В медном котле

РОМАН

Перевод с английского
ВАЛЕНТИНА КОТКИНА
под редакцией
Р. ОБЛОНСКОЙ

Глава тридцатая

Боба уволили, когда эпидемия уже шла на убыль. Джерри и Нилс, отработав в ночной смене, пошли в клуб, чтобы подготовить специальный выпуск «Голоса рудокопа». Пока они были там, пришла телеграмма от Терри Лоусона из Брисбена, в которой говорилось, что их требование все еще не рассматривалось и дело, в сущности, стоит на месте. Они решили пойти в контору и передать телеграмму Бобу. Боб вышел к ним, они перекинулись несколькими словами и условились встретиться вечером. Когда он вернулся в контору, ему сказали, что его вызывают к инспектору по кадрам. Инспектор, не поднимая головы, сообщил, что его увольняют немедленно, и вручил Бобу листок для получения расчета.

Новость быстро облетела все конторы и рудник. Члены объединенного профсоюза машиностроителей решили немедленно прекратить работу. Боб уговаривал их подождать, пока Промышленный совет обсудит создавшееся положение.

— Компания все предусмотрела и, конечно, ожидает забастовки. Вы можете сыграть им на руку,— сказал он.

Но рабочие все равно прекратили работу и на коротком митинге у ворот рудника потребовали от Промышленного совета собраться и немедленно объявить всеобщую забастовку.

Наскоро собравшись после окончания дневной смены, Промышленный совет решил, что каждый профсоюз должен отдельно проголосовать, будет он поддерживать двадцатичетырехчасовую забастовку или нет.

Боб спокойно рассказал Брон о том, что с ним произошло. Она всеми силами постаралась скрыть свои чувства. Сейчас было не время для переживаний. Она должна была поддержать Боба, влить в него силы, которые ему еще понадобятся.

Окончание. Начало в № 7.

— Вот как оно получается, дружище,— сказал Боб.— Управление рудника старается представить дело так, будто спор идет из-за меня, а не из-за расценок. Они знают, что назревают волнения, и решили, очевидно, сначала повоевать, а уж потом уступить. И хотя они сумеют обмануть лишь немногих в Маунт-Айзе, им удастся запутать дело и напустить туману для всей остальной Австралии, а это может повлиять на отношение других профсоюзов к нашей борьбе. Но ты не волнуйся, на этот раз мы подготовились.

Все профсоюзы, в том числе и Австралийский рабочий союз, высказались за немедленную забастовку. Работы на руднике прекратились. На десять часов утра был назначен митинг на Треугольнике.

На митинг собралось около трех тысяч человек, пришли и жены рабочих. Присутствовали все члены Женского комитета, хотя многие были еще очень слабы после перенесенного гриппа. В толпе было так много женщин, что Боб решил заставить кого-нибудь из них выступить. Он открыл митинг и был избран председателем. Он рассказал о событиях, приведших к его увольнению, а потом подозвал Джулию и спросил, не хочет ли она что-нибудь сказать от имени женщин. Джулия не собиралась выступать, но сейчас, увидев, сколько собралось женщин, согласилась. Все последние месяцы Женский комитет работал в особенно трудных условиях. Кроме эпидемии гриппа, которая все еще свирепствовала в Маунт-Айзе, людей выматывала необычная даже для этих мест жара, а падающие расценки и решение не оставаться на сверхурочную работу создавали для каждой женщины дополнительные трудности. Все они, даже Брон, были поглощены своими житейскими заботами. И тем не менее десятки женщин с детьми пришли на митинг.

Джулия начала неуверенно, тщательно подбирая слова:

— В критические минуты моей жизни мне всегда хочется остановиться и подумать, что же со мной происходит, почему я веду себя так, а не иначе. Мне кажется, сейчас нам всем надо остановиться, всего на какую-нибудь минуту, и спросить, что с нами происходит.

Наступила мертвая тишина. Лицо Ника залилось краской.

— Я помню,— продолжала Джулия,— когда я приехала сюда, мне говорили: «В Маунт-Айзу приезжают, чтобы побыстрее сколотить деньжат, отложить определенную сумму и уехать». Поэтому, говорили они, люди здесь идут на компромисс с совестью, поступаются принципами. Они изнуряют себя сверхурочной работой, стараясь получить побольше, перегружают себя и своих жен, отказывают себе во всем, лишь бы достичь поставленной цели. Как бы ни поступала с ними администрация рудника, они никогда не поднимутся на борьбу за свои права. Я верила этому, и вы, наверно, тоже.

Она чуть улыбнулась.

— Но вот мы собрались здесь, и мы намерены бороться.

Толпа зашумела, послышались хриплые голоса. Кто-то крикнул:

— Здорово сказано!

Снова зазвучал голос Джулии, и снова наступила напряженная тишина.

— Я думаю, что администрация и держатели акций Маунт-Айзы просчитались, потому что если бы расценки были постоянными и если бы это давало нам хоть какую-то надежду кое-что скопить, мы не собрались бы здесь сегодня. Мужчины и дальше надрывались бы на работе, а женщины понуждали бы их к этому. Но теперь, я думаю, мужчины скажут: «Хватит!» И если вы скажете так, женщины будут рады. Мы будем рады, что вы перестанете работать все больше и больше, перестанете изнурять самих себя, перестанете обвинять нас, женщин, что мы плохие хозяйки и

не умеем обойтись фунтом там, где требуется два. Давайте скажем владельцам рудника: «Мы тоже люди. У нас тоже есть чувство собственного достоинства. Мы не рабы и не жены рабов».

Возгласы одобрения пронеслись над толпой рудокопов, женщины со слезами на глазах целовали мужчин. Боб по-медвежьи обнял Джулию.

Теперь у него была поддержка, а у рудокопов — вожак. Вожак, который вырос за месяцы и годы работы в Промышленном совете, в Рабочем клубе, за месяцы и годы изучения опыта борьбы, раздумий, усилий, вкладывавшихся в каждый номер «Голоса рудокопа». Боб знал рудник и его владельцев, их доходы и психологию. И он знал рабочих, потом и кровью которых рудник процветал.

Он встал и спросил рабочих, дают ли они Промышленному совету право вести переговоры от их имени. Поднялся лес рук, зазвучало многоголосое «Да!». Рабочие выбрали его председателем делегации.

А когда встал Тед Джонсон и предложил добавить к требованиям рабочих еще один пункт — о восстановлении на работе Боба Херста, снова послышались возгласы одобрения.

Ник в своем выступлении обратился к переселенцам. Он был в ударе. Когда он, точно дирижер огромного оркестра, поднимал руки вверх, толпа отвечала ему музыкой одобрительных возгласов.

Наконец митинг закончился, но никому не хотелось уходить домой. Люди потоком вливались в город, превратив этот день в своеобразный праздник. Семьи располагались на пикник в парке. Загорелые отцы семейств направлялись в магазины и возвращались оттуда, нагруженные лимонадом и пакетиками с рыбой и жареным картофелем.

Потом мужчины отправились в бары, а матери с детьми разошлись наконец по домам. Но в сознании этих детей забастовка запечатлелась как нечто торжественное и прекрасное.

Глава тридцать первая

Старенькая печатная машина грохотала и дребезжала, пока члены Промышленного совета, обливаясь потом, допечатывали в маленькой конторе последние номера «Голоса рудокопа». Измазанные краской, они складывали газетные листы в пачки, теша себя надеждой, что уж на этот раз печать не смажется.

Им изо всех сил помогал ирландец Пэдди. Его жена уехала, и он чувствовал себя совсем потерянным, хотя годами горько жаловался, что она сживает его со свету, стоит ему выпить лишку да возмечтать о милой сердцу Ирландии.

Нилс с тяжелым сердцем готовился к откровенному разговору с Молли. Они переехали на квартиру, а потом нагрянул грипп. Молли была не в состоянии встать, не могла даже сама налить себе стакан воды. Нилс работал в ночную смену, а днем убирал квартиру и присматривал за детьми. Брон и другие соседки, как могли, помогали ему. Но дети умудрялись снова переворачивать все вверх дном, и когда Молли наконец поправилась и снова встала на ноги, она возненавидела эту квартиру так же сильно, как когда-то свой жестяной дом. Роды приближались, и Молли думала только о том, как бы уехать из Маунт-Айзы. Сегодня Нилс обещал прийти домой пораньше и обсудить планы на будущее.

Нилс вытащил последний лист из печатной машины. Больше делать было нечего. Распространители газеты зайдут вечером и рано утром, и каждый возьмет положенные ему экземпляры. Хочешь не хочешь, пора было возвращаться домой.

Боб отправился в бар, чтобы прихватить несколько бутылок пива,

он был полон решимости поддержать Нилса и помочь ему выстоять против Молли. Конечно, она не очень-то обрадуется, увидев его и Пэдди, который настоял, чтобы его тоже взяли с собой.

До квартиры было недалеко, и они ехали на старенькой машине, усевшись вместе в кабину.

Боб втащил в комнату коробку с пивом, делая вид, будто не замечает, какое у Молли каменное выражение лица. Он достал стаканы, налил пива, уселся поудобнее и приготовился обрушить на присутствующих потоки своего красноречия, словно вечер этот ничем не отличался от любого другого за последние пять лет.

Но Молли была настроена решительно. Это что же — Нилс хочет увильнуть от разговора? Ну нет, не выйдет. Жаль только, что придется разговаривать на людях, раз он привел с собой своих дружков.

Боб попытался опередить Молли и стал рассказывать о положении на руднике и о том, что надо делать, если предстоит борьба.

— А нас здесь уже не будет,— сказала на это Молли.

— Послушай, Молли, но я не могу сейчас уехать,— твердо сказал Нилс.— Мы готовились к этому годами, не могу же я все бросить как раз тогда, когда в каждом из нас будет нужда.

— А как насчет Женского комитета? — улыбнувшись, спросил Боб.— Вы ведь всегда интересовались его работой.

— К черту Женский комитет,— решительно ответила Молли.— Нилс обещал, что мы уедем, как только продадим дом. А мы все еще торчим здесь. Кончится эта передряга, начнется другая, а потом еще какая-нибудь. А ребенок ждать не будет, он появится на свет в положенное время, его ведь ничто не остановит. Это вы понимаете? И здесь я рожать не буду.

— Ты пользуешься своим положением, чтобы поставить на своем,— сердито сказал Нилс.

— Не на своем, а на нашем. Мы ведь это вместе решили. В банке у нас достаточно денег, чтобы построить дом на побережье. А не за этим ли мы сюда приехали? Нет, мои дети не будут жить и расти здесь.

— Эх, Молли, это так на тебя не похоже,— сказал Нилс, смягчаясь.— Ты всегда была таким хорошим другом и настоящей помощницей. И не говори, что тебе нет дела до нашей борьбы.

— Если они соскучатся без тебя, пусть повесят на стене медную дощечку с твоим именем. Посмотрят и вспомнят.

— Послушай, Молли...— начал было Нилс.

Но она не выдержала и заплакала.

Боб и Пэдди тихонько вышли. Нилс сердито наблюдал, как его жена пускает в ход свое последнее оружие, но по мере того, как текли слезы, ее горе и раздражение исчезали, исчезала и ненависть к этому месту, отнявшему у нее молодость и любовь.

Она плакала, а Нилс в отчаянии смотрел на нее.

Наконец Молли затихла и стала ждать, каков будет выбор Нилса. Но у него даже в мыслях не было, что он может выбирать. Он обнял ее и крепко прижал к себе. Лицо его было спокойным и немного печальным, но ему жаль было не себя, а Молли.

Глава тридцать вторая

Солнце беспощадно било в глинистую землю. Порывы ветра поднимали вихри пыли со дворов и немощеных дорог, и она оседала унылым тусклым слоем на спинифексах и низкорослых эвкалиптах. А на западе труба медеплавильной печи неустанно изрыгала в светло-голу-

бое небо дым, и он повисал над руслом пересохшей реки и над всем городом.

Нилс решил наконец увезти Молли на побережье, но обещал вернуться в Маунт-Айзу, как только он понадобится. Женщины после обеда собрались к Молли — поговорить напоследок и помочь ей подготовиться к прощальному вечеру, который должен был состояться несколькими часами позже.

Джулия еле шла, одной рукой она толкала впереди себя коляску с Джонни, а в другой несла ведро с водой — оно все время ударялось об ее ногу, и тоненькие ручейки стекали по запыленной коже. Она вошла во двор Моллиного дома, оставила Джонни играть с детьми и с неожиданной легкостью внесла ведро через открытую входную дверь.

— Эй, Молли, где вы?

— Проходите сюда. Но я прямо не знаю, как напоить всех чаем, у нас весь день нет воды. Вот ужас, а?

Джулия кивнула, а потом показала, что она принесла.

— Ну какая же вы умница, Джулия!

Улыбка озарила лицо Молли, согнала следы усталости и волнений, сгладила морщины, залегшие вокруг рта.

— Идите обрадуйте всех, а я пока поставлю чайник. Хорошо, хоть электричество сегодня есть. Ни у кого из соседей тоже нет воды.

— Все готово. Идите сюда,— позвала она через несколько минут женщин.— Давайте выпьем чаю, пока он горячий. Ведь это в последний раз!

Женщины вошли в кухню, некоторые — с собственными чашками. Брон принесла блюдо свежих сдобных булочек с изюмом.

Джулия держала чашку, ожидая, когда в нее нальют крепкого горячего чая, и с улыбкой слушала, как расхваливали ее женщины, ставшие отныне ее друзьями.

Молли взяла сигарету из открытой пачки и закурила.

— Кто хочет закурить? Только что пережили эпидемию гриппа. У всех накопилось белье для стирки, так в конце недели не было электричества, а теперь воды. У меня не все выстирано, приходится увозить грязное. Просто ужас какой-то! — Она повернулась к Бронвин: — Как успехи сегодня?

Хотя завтра она уезжала, она ещё всеми нитями была связана с той борьбой, которая составляла неотъемлемую часть повседневной жизни женщин Маунт-Айзы.

Дело в том, что Брон вызвалась поговорить о воде с городскими властями. Она позвала с собой Джулию, и они отправились вдвоем.

— Все получилось как нельзя лучше. Прихожу я с Джулией в контору и вижу, этот самый Джексон юрк мимо нас в дверь. Вот я и сказала, что хочу говорить именно с ним, и знаю, что он у себя. По-моему, он прятался. Ну, конечно, пришлось ему выйти, и я рассказала ему все как есть и что мы об этом думаем.— Бронвин помолчала, и на ее маленьком личике мелькнула ехидная улыбка.— Я сказала ему, что прочитала в местной газете, как он вырастил у себя в Рудничном районе капусту и получил за нее приз. Еще бы — там у них воды хоть отбавляй. А потом взяла да и сказала, что́ сделаю с этой капустой, если у нас сегодня же вечером не будет воды.

— Не может быть, Бронвин!

— Конечно сказала. К концу разговора он слегка скис и пообещал вечером пустить воду.

С улицы донесся шум подъезжающей машины, шорох резиновых шин по гравию, и в дом ворвался неизбежный в таких случаях столб

пыли. Молли встала и снова включила электрический чайник, вылив в него из ведра последние капли воды. Через минуту в дверях появилась Корел Ансерл. Джулия уже слышала о ней. Она была женой рудокопа, работающего по контракту, и жила в новом доме, принадлежащем компании, в центре Рудничного района. Муж ее, Генри, зарабатывал большие деньги. Брон познакомилась с ней, когда помогала матерям, заболевшим гриппом. Корел ей понравилась.

Боб обрадовался, узнав о новой дружбе Бронвин.

— Эти люди теперь поддерживают нас, и без них нам не победить,— сказал он тогда.— Они главная сила не только на руднике, но и в городе. Мы не хотим ухудшения условий для рудокопов, работающих по контракту. Мы только хотим, чтоб и наши условия улучшились.

Сейчас волосы Корел влажными прядями обрамляли лицо. Глаза у нее были большие, голубые, и даже солнце Маунт-Айзы не смогло погасить их блеск, но возле них уже появились предательские морщинки, а в минуты задумчивости уголки ее пухлых красивых губ опускались, выдавая разочарование.

— Ладно, иди поиграй, малыш,— с облегчением сказала она маленькому сынишке, дергавшему ее за руку: ему не терпелось присоединиться к детям, которые в одних трусах резвились под палящим солнцем.

Корел с благодарностью приняла чашку чая и села на ящик, который подвинули ей поближе к двери. Обмахиваясь кружевным платочком, она воскликнула:

— Господи! До чего же жарко!

— Очень хорошо, что вы пришли,— сказала Молли.

Джулия вдруг почувствовала, что страшно устала, и прислонилась головой к стене. Вокруг женщины болтали, рассказывали разные истории, шутили — блаженные минуты, когда удавалось излить свою горечь. Все это были хорошие женщины, но, как и Джулия, они проклинали здешние места, и всем было нестерпимо горько оттого, что мужья жили по-иному. У мужей были товарищи по работе, они спасались бегством в бары, находили удовлетворение в мужской дружбе и постоянной борьбе с хозяевами. А женщины вели борьбу каждая в одиночку. Когда же им удавалось собраться вместе, вот как сегодня, они дружно возмущались мужчинами, этим городом, этим климатом. А столкнувшись с общей бедой, они сплачивались воедино и поддерживали друг друга.

Сейчас им предстояло пережить еще большие трудности, чем во время эпидемии. Повсюду в Маунт-Айзе мужья приносили домой безрадостные вести о переменах на руднике. Жены рабочих, переведенных из шахт к медеплавильным печам, стирали спецовки мужей, пропахшие дымом, и думали: сколько еще они выдержат?

Джулия прочитала в газетах, что главное управление рудника в Брисбене прибегло к обычной фальшивке насчет коммунистических агитаторов и весьма запутанно объясняло, почему снижены расценки и временно уволены рабочие. Но здесь, в Маунт-Айзе, все было ясно: с одной стороны — рудник, с другой — рабочие; наниматель в городе был один — рудничная администрация, и потому вся сила была в ее руках.

Джулия знала, что, когда будет нужно, женщины поддержат мужей. Даже те из них, думала она с тоской, у кого и любви-то больше не осталось.

Молли думала точно так же и чувствовала себя при этом едва ли не виноватой. Но ей уже было невмоготу. Здоровье ее и семейная жизнь, можно сказать, пошли прахом. Но что бы ни случилось с Маунт-Айзой, какая бы здесь ни развернулась борьба, она должна прежде всего позаботиться о будущем своих сыновей.

Женщины разошлись по домам, пообещав вернуться вместе с мужьями на прощальную вечеринку, когда сядет солнце и станет прохладнее.

Глава тридцать третья

У Молли собралось около тридцати человек. Они сидели на стульях, на ящиках и просто на полу, курили, пили, закусывали. Они пели:

Терять, друзья, мы вас не хотим,
Но знаем: уехать вам надо.

И говорили, что без них будет пусто. Все в этот прощальный вечер ненавидели проклятый город, но не хотели расставаться с друзьями.

Боб сидел в углу один и пил. Джерри улизнул на минутку, чтобы позвонить в больницу. Он не видел Рут с того вечера, когда на их глазах сгорел передвижной домик. Все это время, упрямо сжав губы, он ждал, что она передумает и придет к нему. Но она не приходила, и сегодня вечером он понял, что, вернее всего, не придет никогда. Не может быть, чтобы она не знала, что Молли и Нилс уезжают, и однако даже не подумала попрощаться с ними. Он был расстроен и, набирая номер больницы, злился и нервничал.

— Сестра Карвер? К сожалению, ее нет. Она уехала неделю назад.

— Вы хотите сказать, переехала из больницы?

— Я хочу сказать, что она уехала из Маунт-Айзы,— прозвучал лаконичный ответ.— Уехала совсем. Нет, адреса она не оставила.

Послышался щелчок, женщина повесила трубку.

Ему никто ничего не сказал. Да и кто бы мог сказать? Живет он замкнуто, своих дел ни с кем обычно не обсуждает, разве что иногда со Стивом. Лишь немногие могли знать, что его интересует кто-то из постоянно меняющегося больничного персонала.

Выйдя из телефонной будки, он постоял на улице, а потом зашагал обратно, к ярко освещенной квартире Молли. Рут уехала, не сказав ему ни слова, но это так похоже на нее. Не создана она для драматических сцен, уловок или ссор. Она подождала какое-то время, а потом, увидев, что он не одумался, взяла и уехала.

Джерри чувствовал себя разбитым и очень одиноким, отсутствующим взглядом смотрел он на такое знакомое небо. И вдруг он стал во всем винить город — винить за отсутствие красоты, за жестокость, жару, усталость, за все то, что лишает людей способности поступать решительно и добиваться счастья. Но он знал, что дело не только в городе, а и в нем самом, в его нежелании взять на себя ответственность, в его боязни оказаться связанным по рукам и ногам.

Он пошел дальше, чувствуя, как его все сильнее охватывает тоска по Рут. Он не думал, куда идет, ноги несли его сами.

Рут любит его. Может, она еще немного подождет, а потом напишет, сообщит, где она теперь; тем временем он, настрадавшись, уже посмотрит на все по-другому. Но нет, он сам в это не верил. С того вечера, когда сгорел передвижной домик, с вечера их бессмысленной ссоры, у него было достаточно времени, чтобы прийти к какому-то решению.

Гнев вспыхнул в нем, потом угас. Что толку теперь сердиться на нее или на себя. Он прошел по дорожке к дому Молли и вошел в наполненную шумом квартиру.

Когда он снова присоединился к компании, там говорили о политике. Нилс высказывался с таким жаром, спорил с такой страстью, какой в нем нельзя было и подозревать, когда он беседовал с друзьями,

сидя в беседке возле своего жестяного домика, потягивая пиво и отмахиваясь от летучих муравьев.

Около полуночи Ник сказал, что пойдет домой: нужно было отпустить соседку, которая смотрела за Джонни. Джулия и Брон решили остаться и помочь Молли навести порядок после вечеринки. Джерри дал Нилсу свою машину, чтобы отправить семью на вокзал, и Нилс обещал отвезти Джулию домой, как только они закончат все дела.

— Спасибо, дружок,— сказал Нилс Джулии, останавливая машину возле дома напротив гаража, где жили Джулия и Ник.— Вы редкая женщина.

— Скажите это Нику,— ответила Джулия с такой горечью, что Нилс был потрясен,— он думает иначе.

Она попыталась улыбнуться и протянула руку, чтобы открыть дверцу машины.

— Но все равно спасибо.

— Подождите минутку.— Он вытащил пачку сигарет и предложил ей.— Давайте покурим. И расскажите мне о своих невзгодах.

Лицо у него было доброе, и, сама не зная почему, Джулия взяла предложенную сигарету и наклонила голову к зажженной спичке, которую он закрывал ладонью от ветра.

— Ну, а теперь,— сказал Нилс мягко,— расскажите, что же у вас с Ником произошло? Я думал, раз вы теперь живете отдельно, у вас все хорошо. Брон ведь страх какая защитница женского равноправия.

— Нет, нет,— Джулия покачала головой,— Брон прелесть. Мы сами во всем виноваты. Мне кажется, я немножко похожа на Брон. И наверно, это я во всем виновата.

Он сел поудобнее, положил руку на спинку сиденья позади Джулии.

— Нет, Джулия, вы здесь ни при чем. Вы умница — и красивая.

Она засмеялась коротко и резко.

— Да разве, прожив здесь несколько месяцев, можно остаться красивой?

— Я однажды видел вас,— сказал он.

Слова эти ничего не сказали ей, он это понял. Очевидно, в ту ночь, когда он случайно зашел в дом и увидел ее при свете луны раздетой, она и в самом деле приняла его за Ника.

— Этот город плохо действует на нас обоих,— сказала она.— Ник, по-моему, снова становится таким, каким был давным-давно,— нетерпимым ко всему австралийскому и ко мне. Он делается все более деспотичным, требует от меня все больше и дает взамен все меньше. А я,— она вздохнула,— я каждый день понемногу сдаю свои позиции, делаю для него все больше, превращаюсь в его служанку и не прощаю этого ни себе, ни ему.

Нилс положил руку ей на плечо и крепко его сжал.

— Вы несчастливы?

— Да.

Он наклонился и поцеловал ее сначала нежно, потом со все нарастающей страстью, потому что мечта, которая много месяцев преследовала его, теперь становилась явью. Он целовал ее, и руки его были горячими. Она уперлась ему в грудь и оттолкнула его.

— Это ничему не поможет, Нилс.— Она поправила волосы, отвернула от него вспыхнувшее лицо.— Мы люди семейные и только глупостей наделаем. Но все же спасибо.

Она открыла дверцу машины, вышла на неровную дорожку и побежала по тропинке к своему гаражу. Войдя в дом, она почувствовала, что по лицу ее текут слезы.

Ник крепко спал.

Глава тридцать четвертая

Комиссия промышленного арбитража в Квинсленде, рассматривавшая требование профсоюзов о повышении расценок, решила выехать из Брисбена в Маунт-Айзу. Прежде чем вынести окончательное решение, она решила проверить условия работы в шахте и у медеплавильных печей.

Самолет с членами комиссии и представителями профсоюзов в Маунт-Айзе встречали и приветствовали полторы тысячи рабочих. Весь город был на ногах. Отвечая на приветствия взмахом руки, Терри Лоусон почувствовал, как в нем с новой силой вспыхнуло желание бороться и победить. Боб сказал ему:

— Теперь, дружище, мы будем бороться, пока не победим. На этот раз ребята действительно накалены, они настроены зло и решительно. Ты ведь знаешь этот город: если сейчас ничего не выйдет, потребуются годы, чтобы снова поднять их на борьбу.

— Само место сделало их такими, люди будут бунтовать, пока будут жить тут. Но сейчас они, конечно, здорово взвинчены, — заметил Терри.

Комиссия начала заседать в понедельник, обследование шахты было назначено на вторник.

Лишь несколько человек у медеплавильной печи, которые поддерживали огонь в топках во время забастовки, были оставлены на своих местах. Все остальные работы по добыче меди, свинца и серебра были прекращены. Шахту решили вычистить до блеска.

Раздосадованные и взбешенные рабочие мыли из шлангов стены шахты, выгребали густую грязь из сточных канав, прочищали уборные, приводили в порядок буфеты. Грязь и опасная для здоровья пыль, вызывавшая силикоз и смерть, были удалены из всех подземных штреков и штолен. Вся шахта так и блестела, что вовсе не походило на ее обычный вид. Электрики проложили новый кабель и развесили лампы, свет которых играл на цветных прожилках пород. Крепильщики устанавливали подпорки в тех местах, где были трещины или где нависала порода. Работы велись все медленнее и медленнее, но администрация достигла своей цели: шахта стала чистой и безопасной.

— Теперь остается только попрыскать ее духами,— зло ворчал Джерри.

Сам он смазывал колеса у электрического автокара, на котором обычно работал. Какой-то плотник уже починил пол в вагонетке — с незапамятных времен там не хватало одной доски.

Джерри был вне себя. Это проклятое место стало совершенно неузнаваемым. И члены комиссии, придя сюда на следующее утро, по глупости или по незнанию могут не понять, что после первого же взрыва вся шахта снова наполнится пылью, что через неделю сточные канавы будут снова забиты грязью, а существующая система контрактов заставит рабочих работать еще быстрее, вгрызаться в породу и добывать руду, а значит и богатство для тех, кому это богатство дороже жизней рабочих.

Под конец смены Джерри встал около Стива и вместе с другими рабочими стал мочиться на стены и в вычищенный водосточный желоб. Это был вызов, своего рода протест против несправедливости, вынуждавшей их чистить этот горький медный котел, в котором они работали.

Подскочил Боб-Быстроногий со шлангом.

— Хорошо же вы здесь устроились, сволочи. А ну, назад!

Джерри вместе с другими отскочил от упругой струи, со злостью стряхивая воду с одежды. И тут ему пришла в голову мысль. Есть толь-

ко один путь насолить компании: быть в шахте, когда придет комиссия, и рассказать ей всю правду.

Чем больше он обдумывал свою затею, тем реальнее она ему казалась. После окончания смены здесь уже не появится ни один рабочий. Пока шахту не проинспектируют, работы в ней не начнутся. Дневная смена закончит уборку и уйдет, так что руководители профсоюза ничего не узнают, пока он не осуществит задуманного.

Но он должен сдать свою каску и шахтерскую лампочку. Это сделает за него Стив, а он скажет Стиву, что у него срочные профсоюзные дела. В эти последние недели после отъезда Рут, когда борьба ширилась и недовольство росло, они еще больше сдружились со Стивом.

Стиву он сказал, что у него задание от профсоюза. Стив спросил, не может ли он чем-нибудь помочь, но Джерри знал, что должен сделать все один, на собственный страх и риск. Он не хотел, чтобы кто-то вдруг сгрусил посреди ночи.

Когда последняя клеть ушла наверх, она увезла вместе со Стивом и его каску. Джерри вышел из укрытия и прошел в буфет. Чай в чайнике еще не остыл. Он выпил полную кружку и съел остатки завтрака. Хорошо, что раньше он был слишком подавлен и ему кусок в глотку не шел. Теперь он чувствовал себя хорошо, и аппетит у него разыгрался.

Он поискал в шкафах остатки чего-нибудь съестного, но шкафы были вычищены так же тщательно, как и все остальное. Он свернул сигарету и устроился надолго.

Внезапно погас свет. О, черт! Об этом он и не подумал. Ведь ночной смены не будет, поэтому свет, ясное дело, выключили. Огромная яма, казалось, закрылась над ним навечно, и он остался здесь один, на глубине почти ста метров. Стояла кромешная тьма, мерцал лишь огонек его сигареты.

Джерри свернул рубашку, положил ее под голову вместо подушки, лег на деревянную скамью, закрыл глаза и, чтобы рассеять страх и не думать, что он может быть здесь погребен заживо, задавлен миллионами тонн породы среди слепящей тьмы, постарался вызвать в памяти образ Рут.

Какой же он дурак! Она была с ним, они любили друг друга, и он потерял ее только из-за того, что у него не хватило смелости посмотреть жизни в лицо, как это делают другие — те, кто любит и борется за своих будущих детей.

От страха по всему его телу забегали мурашки. В отчаянии он думал о Рут, пока не ощутил наконец рядом ее тепло, а кончиками пальцев — ее нежную кожу. Он чувствовал ее всем своим существом, вспоминал каждую подробность тех ночей, что они провели вместе.

Утрата Рут, щемящая пустота, которую он ощущал, были страшнее одиночества, в котором он оказался здесь, глубоко под землей. Он знал, что должен ее найти во что бы то ни стало, даже если ему придется сразиться со всеми директрисами всех больниц Квинсленда.

На следующее утро в девять часов главная администрация компании прибыла на шахту вместе с членами комиссии. Они показывали ее с гордостью, и на комиссию, как того и следовало ожидать, произвели впечатление и чистота, и яркий свет, и меры по охране труда, и разнообразие и мощность машин и оборудования. Один из членов комиссии громко восхищался расцветкой куска породы. Это была красная руда с зеленой окисью меди, с чуть заметным проблеском серебра. В эту минуту вышел из своего укрытия и предстал перед ними Джерри.

Он был грязный, спецовка, в которой он спал на скамье, была еще более мятой, чем обычно, на лице — щетина, волосы взлохмачены. Вид его ошеломил их, никто не мог вымолвить ни слова.

— Неужели вы способны вообразить, что какая-нибудь шахта в рабочем состоянии может быть такой чистой? — сказал он.— Администрация рудника прекрасно знает, что это не так. И я думаю, эта комиссия обследовала слишком много рудников, чтобы позволить так легко себя одурачить. Для того, чтобы привести шахту в такое состояние, как сейчас, трудилась целая смена рабочих. Теперь шахта похожа на домашнюю кухню, выставленную для продажи в магазине. Рабочие здесь умирают, они вдыхают пыль и свинец, у них гноятся и не заживают язвы, они ломают себе кости. Иногда все это приводит к гангрене. Мы работаем в пыли и грязи. Наша одежда пропитана пóтом, мы глохнем от шума!

Один из представителей администрации наконец обрел дар речи.

— Вы будете наказаны за нарушение порядка. Вы — коммунистический агитатор! — закричал он.— Это заговор! Почему вас оставили здесь? Чтобы чинить беспорядки?

— Никакого заговора тут нет,— огрызнулся Джерри.— Я сделал это по собственной воле. Мне до смерти осточертели эта ложь и мошенничество, этот обман, когда вы заставляете нас вычищать наши собственные навозные кучи!

Тут в разговор вмешался Дэвис:

— Вы пытаетесь воспрепятствовать справедливости, хотите повлиять на решение комиссии.

Джерри засмеялся.

— Во имя справедливости,— сказал он, обращаясь к членам комиссии,— я прошу вас спуститься сюда снова, когда мы будем работать, когда все здесь покроется пылью и грязью, когда оглушительно грохочут вентиляторы и отбойные молотки. Побудьте здесь, когда производят взрывы и отваливают породу, посмотрите, в каком хаосе каждая смена откатывает руду. Взгляните, в каких условиях рабочие трудятся в действительности!

С каким великим удовольствием главный управляющий рудника выгнал бы сейчас Джерри, выбросил бы его отсюда, как никому не нужную, отработанную деталь, но он знал не хуже самого Джерри, что не может этого сделать в присутствии комиссии.

Когда комиссия вышла из клети и снова очутилась на ярком солнце, ей было ясно, что здесь далеко не все обстоит благополучно, и администрация рудника вынуждена была согласиться с тем, чтобы комиссия снова спустилась в шахту во время работы ночной смены.

Корреспонденты и фоторепортеры, сновавшие у входа в шахту и ожидавшие комиссию, увидели, что вместе с ней появился какой-то рудокоп. Они толпой бросились к нему. И рассказанная им история, вместе с фотографией ликующего Джерри, появилась в вечерних газетах всей Австралии.

Галерея для публики в здании суда, находившегося в конце улицы Последней надежды, на следующий день была переполнена. Защитники интересов рабочих один за другим приводили факты и цифры в подтверждение того, что доходы компании растут, в то время как расценки падают. Папки Боба, откуда многие годы черпался материал для газеты «Голос рудокопа», тщательно просмотренные и приведенные в порядок, стали теперь грозным оружием.

Терри Лоусон говорил о финансировании правительством новой железной дороги и о дотациях на перевозки, получаемые рудником. А вот рабочие, приезжающие сюда, не получают никаких субсидий. Он

рассказал о нехватке жилья, заставляющей рабочих покупать землю и строить дома, которые они вряд ли смогут продать, когда захотят отсюда уехать.

После полудня в качестве свидетельницы была вызвана Брон. В этом здании они с Бобом купили свой участок земли, сюда же она приходила, чтобы воевать за воду и электричество. Брон чувствовала себя здесь как дома. Ее рыжие волосы были тщательно причесаны и блестели. Крепкая и маленькая, она стояла, выпрямившись, в новом ситцевом платье и рассказывала о жизни женщин в Маунт-Айзе.

Когда профсоюзы высказали все, что считали необходимым, слово было предоставлено адвокатам компании, и они выставили свои возражения. Затем комиссия сделала перерыв, предварительно объявив, что решение будет вынесено на следующей неделе.

В пятницу из поезда, прибывшего после полудня, выскочил Нилс. Он устроил Молли и детей, сделал взнос за дом в Кэрнсе, неподалеку от моря. Но находиться в стороне от борьбы он больше не мог.

Глава тридцать пятая

Медицинская сестра Рут Карвер закончила дежурство. Сегодня утром она помогала при родах. Малыш-абориген, как это всегда бывает, родился светлокожим — он потемнеет лишь на свету.

Мать почти не замечала ни врача, ни акушерки, она не спускала своих больших, мокрых от слез, обведенных кругами глаз с Рут — уж очень добрые и проворные руки были у этой молодой сестры. Именно в Рут, не помня себя от боли, вцепилась она в последние минуты перед появлением на свет ребенка. Рут показала ей чудесного мальчишку, который орал во всю силу легких, потом вымыла их обоих и передала ребенка в тонкие смуглые руки матери.

Рут шла по дороге к дому медсестер, вдыхая легкий запах олеандров, росших на возвышенности, где был расположен дом. Она сорвала несколько веточек с восковыми бутонами и понесла их к себе в комнату. Дома она сняла с головы косынку, бросила ее на кровать и вышла на балкон. Перед ней простиралось море, гладкое в полукруге бухты, грохочущее, все в белой пене у рифов. В воде отражались огни города, раскинувшегося вдоль шоссе, что шло по побережью. Рут часто хотелось, чтобы место это не было такой явной противоположностью Маунт-Айзе. Здесь было чересчур красиво. Наверно, нужно было бы сразу уехать из Квинсленда, поселиться в Мельбурне, поступить на работу в государственную больницу, окунуться с головой в работу и снова почувствовать интерес к жизни. Здесь же оставалось слишком много времени для раздумий.

Почти со злостью она вернулась в комнату и стала готовить кофе. Опять она лукавила сама с собой. Ей представлялось множество случаев забыть Джерри. Медсестры больницы после дежурств весело проводили время и с радостью взяли бы ее с собой. Раз или два она даже ходила с этими беззаботными девушками на танцы и вечеринки, но чувствовала себя там лишней, а на следующий день не могла вспомнить лиц мужчин, пытавшихся назначить ей свидание.

Сегодня вечером она острей обычного тосковала по Джерри и Маунт-Айзе. Он, наверно, спит в бараке на своей узкой кровати, думала она, или пошел куда-нибудь вместе с другими рабочими парнями, может быть, пьет, как там принято, спасаясь от жары и однообразия тамошней жизни.

Интересно, скучает ли по ней Джерри. Наверно, скучает. Он, наверр-

но, снова ушел в себя, снова стал тихим, застенчивым... Только любовь заставила его открыться ей.

Машинально она взяла в руки вечернюю газету, и вдруг с первой страницы на нее взглянул «тихий и застенчивый» Джерри. Его перепачканное лицо расплывалось в широкой улыбке.

Торопливо прочитала она статью, испытывая беспокойство за него, злость на то, что он пошел на такой риск, и одновременно поистине материнскую гордость. В конце статьи говорилось, что когда Джерри задали вопрос, чего же он хотел достичь своим поступком, он ответил: «Справедливости, я думаю... они теперь приведут инспекцию, когда мы будем работать. И если вы собираетесь написать об этом в газетах, то, может, упомянете, что мне бы очень хотелось, чтоб моя девушка вернулась ко мне».

Она лежала на кровати, держала газету в вытянутых руках и с улыбкой глядела на дорогое, так хорошо знакомое, перепачканное лицо. Тоска, болью сжимавшая сердце, прошла.

— Хорошо,— сказала она,— я вернусь. Но только сделай как надо — это будет лучше для нас обоих.

Глава тридцать шестая

Джерри поставил свою машину на стоянке у железнодорожной станции. В эти дни он улыбался чуть шире обычного. Ведь когда он вышел из шахты, члены Промышленного совета встретили его, как героя, а Терри Лоусон похлопал его по плечу и сказал: «Что ж, сынок, недаром говорят, в тихом омуте черти водятся».

А накануне участники встречи членов лейбористской партии даже встали и аплодировали ему стоя. Он улыбнулся и сказал: «А что я, собственно, такого сделал? Просто вовремя додумался до этого. Остался там, внизу,— вот и все. Думаю, что немногие из наших парней испугались бы темноты».

Но Стив заметил в Джерри какое-то ликование, которое не могло быть вызвано лишь успехом выполненного им дела. Он весь так и светился, хотя вроде бы совсем не прикасался к крепким напиткам, а лишь медленно потягивал пиво, подливая его из кувшина на столе.

Но когда к их столу подошла Корел и пригласила Стива и Джерри пообедать с ними на следующий день, Джерри сказал с нарочитой небрежностью, которая плохо ему удалась: «Завтра в Маунт-Айзу возвращается Рут, можно я приведу ее с собой?» Стив удивился этому больше всех и меньше всех был склонен поздравлять Джерри.

И вот теперь Джерри сидел в машине, курил одну сигарету за другой и прислушивался, не идет ли поезд. Он услышал шум состава задолго до того, как его стало видно. Поезд медленно подходил к длинному перрону. Джерри с грохотом захлопнул дверцу машины, отшвырнул сигарету и бегом пустился через дорогу. Он издали увидел Рут, беспокойно выглядывавшую из открытой двери вагона.

Он подбежал к ней, снял с подножки и сжал в объятиях. Слезы брызнули у нее из глаз и потекли по щекам. Они стояли, крепко обнявшись, поглощенные друг другом, ничего не слыша и не видя вокруг.

А вдоль всего перрона другие мужчины целовали своих жен, обнимали детишек, радуясь, что они снова вместе,— так всегда бывало, когда приходил этот поезд. Женщины приезжали к своим мужьям, чтобы начать долгую борьбу за жизнь и материальное благополучие. Это был обычный цикл жизни гиганта под названием Маунт-Айза.

Джерри снял с полки чемоданы Рут, и они направились к машине.

— Я заказал тебе комнату в «Сердженте», это хорошо?

— Все хорошо,— сказала она.

Они миновали Треугольник, спустились вниз по асфальтовой дороге, проехали по маленькому мосту над высохшим руслом реки и остановились неподалеку от отеля, на первом этаже которого находился бар. Рут заполнила регистрационный листок, они поднялись наверх и через веранду прошли в комнату с большими окнами, огромной кроватью, кувшином и тазом в углу.

Разговаривать они не могли. Они хотели лишь одного — чувствовать друг друга рядом, предаваться радости, которую давала им близость. Боль разлуки, многие недели одиночества — все отошло в прошлое.

Он запер дверь, дернул за шнур и опустил жалюзи. Стало темно. Они были одни в этом суматошном старом отеле, по-воскресному шумном от голосов подвыпивших посетителей и радостных восклицаний тех, кто только что приехал с поезда. Джерри и Рут ничего и никого не слышали... Слились воедино, взлетели над горами, пересекли пустыню, подставили грудь океану, сомкнулись в объятии со звездами и самим солнцем.

Теперь они отдыхали, и он говорил ей, какая она красивая, а она гладила его по щеке и слушала, радуясь тому, что принесла ему радость.

— Хочешь сигарету? — спросил он.— А водки?

— Ты что, хочешь позвать сюда официанта?

— Нет. У меня все с собой,— улыбнулся он и налил водку в стаканы, стоявшие рядом на столике.

Он поставил пепельницу на кровать, прямо на простыни, они пили обжигающую жидкость и смеялись, глядя друг на друга.

— Мы можем пожениться через три дня,— сказал он.

— Ты что, разбогател?

— Конечно. А ты разве нет? Ты и есть мое богатство, другого мне не надо. Я был настоящий дурак — глупый, напуганный и безрассудный дурак. Просто удивляюсь, как это ты ко мне вернулась.

— Правда? А я удивляюсь, как это я уехала.

Она рассказала ему о роженице-аборигенке и о малыше, которому помогла появиться на свет.

— У них почти ничего нет, Джерри. Ты ведь знаешь, как они живут. В их собственной стране их не считают за людей, отовсюду гонят, они ютятся на окраинах городов.

— Когда-нибудь мы все это изменим,— сказал он мягко. Он чувствовал себя великаном, способным искоренить все зло.— Но мы и теперь можем кое-чему у них поучиться. Можно всю жизнь ждать благополучия, но так ничего и не достигнуть. Нет, счастье — в самих людях. Нужно просто быть смелым, чтобы бороться за жизнь и иметь детей.

— А теперь и у нас может быть ребенок,— прошептала она.

— Мы назовем ее Рут... чужестранка.

— Мы здесь не чужестранцы,— возразила Рут,— мы у себя дома.

— Для меня это чужбина,— сказал он.— Я ведь родом из Норвегии. Но тебя я не хотел бы туда брать, Рут, ты не создана для льда и снега.

— Немного льда и снега сейчас было бы очень кстати.— Она с улыбкой повернулась на влажных простынях.

Солнце заливало всю веранду. Двери были заперты, и в комнате стало жарко и душно — только тонкий слой штукатурки над головой отделял ее от железной крыши.

— Прими душ,— сказал он.— А потом я отвезу тебя к Корел обедать. Мы с Генри заступаем на работу в пять.

Они поехали в Рудничный район и остановились на дорожке, ведущей к дому Корел.

Корел и Генри, а также Нилс со Стивом, который уже пришел из общежития, ждали их. Все проголодались и ели с волчьим аппетитом, а потом уселись в кружок на полу перед аппаратом для кондиционирования воздуха, пили пиво и разговаривали о событиях на руднике.

В три часа Стив поставил стакан и сказал:

— Не следует тебе идти сегодня на работу, Джерри. Я отработаю эту смену за тебя. Правда, там сегодня Боб-Быстроногий, но вряд ли он будет особенно возражать против подмены. Только надо спешить, чтобы застать его, он сейчас, наверно, в клубе.

Они поехали туда и застали сменного мастера за игрой в бильярд. С тех пор как Джерри остался в шахте, мастер здорово его невзлюбил, но отказать в замене у него не было оснований.

Он вытащил записную книжку, вырвал из нее листок и велел Джерри написать заявление.

— Смотри не опоздай, Уилсон,— сказал он Стиву и вернулся к игре.

Когда они вышли на улицу, Джерри сказал:

— Если мы поторопимся, то успеем еще показать Рут дома́ на Роттен-Роу.

Они свернули на широкую улицу и медленно поехали по ней. Здесь жила аристократия Маунт-Айзы — управляющий рудником, главный инженер и прочие. У каждого был особняк, один лучше другого. Тут были посажены кусты и пальмы, разбиты сады, полные тропических растений, которые росли здесь уже двадцать лет на обильно орошаемой почве.

На лужайках стояли опрыскиватели. А белый, утопающий в зелени дом генерального директора, казалось, был выстроен где-то совсем в другом месте, затем похищен и привезен в Маунт-Айзу. Они медленно проехали мимо Ранчо-Гранде, дома главного управляющего.

— Я бы никогда не поверила, если бы не увидела все это своими глазами,— сказала Рут, с удивлением оглядываясь назад, когда они миновали Роттен-Роу и направились обратно в рабочий район.

Стив и Генри взяли завтраки, которые приготовила им Корел, и скрылись в облаке черной глинистой пыли. Они переоделись, получили на пропускном пункте каски и вместе с толпой рабочих пошли ко входу в шахту. Клеть поднялась и, дрогнув, остановилась. Из нее вышли рабочие с перепачканными лицами, кое-кто задержался, чтобы поговорить со Стивом и Генри. Затем новая смена начала спуск.

Стив и Генри вошли в клеть, дверь с лязгом закрылась. Рабочие замолчали; пока клеть проходила то мимо освещенных штолен, то в стволе шахты, лица их попеременно то освещались, то погружались во тьму. Они опускались все медленнее и наконец на глубине восьмисот метров вышли из клети в штольню, в этот огромный туннель, разветвлявшийся на десяток отсеков и галерей, которые вгрызались в глубь земли за сотни метров от все еще ярко светившего солнца.

Боб-Быстроногий решил, что сегодня-то уж он заставит этих проходимцев пошевелиться. Еще не совсем осела пыль от взрывов, произведенных предыдущей сменой, а он уже торопил рабочих поскорее пройти в буфет и оставить там завтрак и орал на десятников, чтобы они пошевеливались и приступали к отгрузке руды.

Один за другим поспешно отъезжали электровозы, рабочие прыгали в отходившие уже вагонетки. У входов в туннель их ждали маленькие, работавшие на аккумуляторах электрокары. И вскоре повсюду уже трудились люди и машины.

Бригады бурильщиков расчистили завалы породы, оставшиеся после взрывов, и теперь закладывали в шурфы длинные провода, выискивали, нет ли где неразорвавшейся взрывчатки, и под большим давлением поливали из шлангов только что обнажившиеся плоскости забоя. Рудо-

копы лопатами отбрасывали породу и осколки камня туда, где к ним могли подойти механические грабли. Операторы, работавшие на машинах, подводили паровые совки к кучам отбитой породы, потом ловко разворачивали их и с грохотом сбрасывали груды породы в поджидавшие вагонетки.

Люди и машины работали все быстрее. Пот пятнами проступал на одежде рабочих, черные капли струились по изрезанным морщинами лицам. Ревели вентиляторы, грохотали нагруженные вагонетки, проезжая по неровным, кое-как проложенным рельсам, шуршала обрушиваемая порода, лязгал металл — это Стив и другие рабочие то и дело оттягивали рычаги, открывая днища вагонеток, и руда с шумом сваливалась на колосниковый грохот.

Боб-Быстроногий как одержимый метался взад и вперед, вскакивал на электрокары, отправлявшиеся в дальние отсеки, погонял рабочих, желая наверстать потерянное время и восполнить те часы и дни простоя, которые были вызваны запрещением сверхурочных работ и забастовкой.

Когда наступил обеденный перерыв, рабочие пошли перекусить. Развалясь и расслабив уставшие мышцы, сидели они за длинными столами, тела их зудели от пота и пыли, они с жадностью ели бутерброды и запивали их обжигающе горячим чаем.

Генри и Стив сидели рядом. Стив думал о Джерри, вспоминал, какие счастливые у него были глаза, когда он привез Рут в Рудничный район.

Сменный мастер подошел к дверям буфета, поглядывая на часы.

— Да, Уилсон, вот уж действительно дьявольскую штуку отмочил этот твой дружок. Взял да и остался под землей,— насмешливо сказал он.— А вы, наверно, его прямо героем считаете.

— И как это вы не пронюхали об этом раньше? — повернулся к нему Стив и взглянул на крепко сбитого мастера с нескрываемым презрением.

Работа снова закипела, сменный мастер зло подгонял рудокопов. Они разошлись по своим местам — превозмогая боль в мышцах и с нетерпением ожидая конца смены. Отбойные молотки глубоко врезались в породу, электрокары подвозили взрывчатку к месту будущих взрывов. Люди работали быстро, их длинные черные тени метались на блестящих стенах шахты.

К месту, где обычно работал Джерри, Стив отправился с целым поездом вагонеток, которые тащил электрокар. Сидя на второй вагонетке, он вдруг увидел, что ящик взрывчатки, лежавший в первой вагонетке и, видно, в спешке плохо закрепленный, начал сползать. Подпрыгивая от тряски, ящик сдвигался на край вагонетки и вот-вот готов был упасть, а Стива словно парализовало, и он не мог пошевельнуться.

Наконец Стив закричал что есть силы, но голос его потонул в страшном шуме. В отчаянии он рванулся вперед, надеясь подхватить ящик и втолкнуть обратно в вагонетку.

Но тут электрокар неожиданно дернулся, и ящик со взрывчаткой упал на рельсы. В ту секунду, когда передние колеса вагонетки Стива наехали на ящик, блеснула вспышка и раздался взрыв.

Вечером Джерри вез Рут обратно в гостиницу, как вдруг на весь город завыла рудничная сирена. Он услышал сирену и тут же повернул к руднику.

— Там моя смена,— задыхаясь от волнения, проговорил он.— Там Генри и Стив, большинство моих друзей. Это несчастный случай. Дорогая, ты будешь нужна. Можеть быть, там все очень плохо.

Санитары с носилками уже спустились вниз. Когда Джерри и Рут

выскочили из машины у входа в шахту, клеть как раз появилась на поверхности. Генри, весь в грязи, с перекошенным от горя лицом, выскочил из клети и с криком бросился им навстречу.

Джерри подхватил его, обнял за плечи и тряхнул, чтобы тот поскорее заговорил.

— Это Стив,— сказал Генри.— Бедняга Стив. Его разорвало на куски.

Рут схватила за руку санитара с носилками.

— Я медицинская сестра. Могу я чем-нибудь помочь?

— Ничем, сестра. Спасибо. С ранеными и контуженными мы управимся сами. Только один человек пострадал от самого взрыва, но ему уже никто не поможет. Не знаю, удастся ли собрать его останки, чтобы похоронить.

Рабочих волнами выносило из шахты — клеть поднималась, опускалась и снова поднималась, доставляя на поверхность все новых и новых людей. Почерневшие от пыли, неуклюжие в своей пропитанной потом, быстро сохнущей рабочей одежде, они собрались бурлящей толпой у входа в шахту — море гнева и ярости, протестующее против этой жестокой и нелепой смерти.

Члены Арбитражной комиссии заседали в Рабочем клубе. Теперь они мчались на машинах прямо через Треугольник и остановились, скрежеща тормозами, возле собравшейся толпы. Пока они прокладывали себе путь к шахте, из отрывочных фраз они узнали о том, что произошло.

Несколько прибежавших женщин с обезумевшими лицами искали своих мужей. Корел приехала на машине соседа и бросилась на грудь Генри. Она покрыла его грязное лицо поцелуями и слезами.

— Генри, дорогой, я думала, это случилось с тобой!

Наконец толпа стала расходиться.

Джерри отвез Рут в гостиницу и перед тем, как она поднялась к себе в комнату, они еще немножко посидели в машине.

— Ты ведь не будешь против, Рут, если я вернусь в общежитие? Я просто чувствую, что так надо.

Он обнял ее, притянул к себе, спрятал голову у нее на груди и, сжимая ее, в своем горе не замечал, что делает ей больно.

— Все счастливы, что это случилось не с ними,— сказал он.— Ты слышала, что говорила Корел и другие женщины? Они радовались, что их мужья невредимы. А ведь Стив погиб... вместо меня.

— Но это же несчастный случай,— утешала его Рут.— Ты просто сойдешь с ума, если станешь думать, как бы все было, окажись на месте Стива ты или кто-нибудь другой. Но мы его никогда не забудем. А если бы это случилось с тобой, я не перенесла бы этого, Джерри, я бросилась бы в шахту сама.

Он нежно поцеловал ее, открыл дверцу машины и помог ей выйти, а потом поехал к общежитию.

Он сидел в темноте в машине, сложив руки на руле, и глядел на дом, где они жили вместе со Стивом.

Копоть из трубы медеплавильной печи падала на землю, обволакивала его машину. Он сидел и плакал.

Глава тридцать седьмая

Рано утром Джеральд и Боб отправились в город — нужно было подготовить все к похоронам и закончить их поскорее из-за страшной жары, стоявшей в Маунт-Айзе. Из похоронного бюро они пошли в Арбитражную комиссию, которая заседала в тот день.

Боб кратко сообщил о несчастном случае на шахте, и заседание комиссии было отложено.

Через час длинная вереница машин отправилась из города на кладбище. Труба медеплавильной печи извергала едкий дым, было душно, знойно и безветренно, высоко-высоко в пустынном небе, распластав позолоченные солнцем крылья, парили ястребы.

Джерри и еще трое друзей Стива, работавших вместе с ним, несли почти невесомый гроб к могиле. Священник прочитал традиционную заупокойную молитву. Терри Лоусон произнес слова, которые рабочие говорят на похоронах своего товарища:

— В рабочем движении всего мира есть свои жертвы. Есть они и у нас, в Маунт-Айзе. Смерть Стива Уилсона теперь, на этом руднике, воочию показала и Арбитражной комиссии, и всему населению города, что работа на шахте грозит смертельной опасностью. Стив не первый, кто погиб здесь. Но своей смертью он заставил всех нас еще серьезнее осознать грозящую нам опасность Давайте же будем еще бдительнее охранять жизнь наших товарищей. Давайте и дальше расти и мужать в борьбе, как этого хотел наш молодой погибший друг, давайте же любить и охранять жизнь. Прощай, Стив Уилсон!

Уильям Дэвис от имени администрации рудника прислал венок из цветов красного жасмина и гибискуса. Все жители Рудничного района, у кого были садики, прислали цветы. Из Городского района прибыли букетики срезанных олеандров. Здесь же был небольшой венок из цветов пау-пау от Брон. Но большинству людей, пришедших на похороны, неоткуда было достать ни единого цветка, чтобы положить на могилу Стива.

Рут стояла с членами Женского комитета, все они плакали. Джерри и другие рудокопы, казавшиеся такими странными в темных костюмах и белых рубашках с черными галстуками, стояли мрачные, молчаливые в своем горе и гневе.

Когда гроб стали опускать в твердую бесплодную землю, раздался пронзительный вой рудничной сирены. В этот день никто не работал — ни в штреках огромного рудника, ни у медеплавильной печи, ни в конторах. Стив был бы удивлен и глубоко тронут, доведись ему увидеть, как с ним прощались.

Комиссия собралась снова и приступила к подготовке решения. В Маунт-Айзе все были убеждены в благополучном исходе. Из уст в уста шепотом передавались слова одного сведущего репортера — из тех, что появились в городе на прошлой неделе. Он узнал, якобы из достоверных источников, что расценки устанавливаются в десять фунтов и будет выработано новое положение о руднике, которое потом утвердит Промышленный совет.

Измученные напряженной борьбой против компании, борьбой хоть и короткой, но потребовавшей от каждого огромных сил, потрясенные смертью Стива и похоронами, рабочие Маунт-Айзы в тот вечер нагрянули в бары. Они стекались в город сотнями, заполнили все бары, толпились у дверей, много и горячо говорили обо всем, что накипело у них на сердце.

Глава тридцать восьмая

После похорон Ник отправился в бар. Джулия тоже почувствовала, что не в состоянии дольше оставаться наедине со своей болью. Джонни играл с соседскими ребятишками. Убедившись, что еще часа два-три он может обойтись без нее, Джулия пошла навестить Брон. А Брон, остав-

шись одна, тоже поняла, что не может сидеть сложа руки дома. Она вышла в садик и принялась поливать тыквы.

Когда пришла Джулия, она вскипятила чай, и они расположились на кухне.

— Чувствуете, как душно? — спросила Джулия, выглядывая через открытую дверь в жалкий дворик.

Пыль поднялась и вновь осела на редкие кустики травы. Унылые куры копошились и клевали что-то у дороги в редкой тени олеандров.

— А что за городом, Брон? Мне бы так хотелось посмотреть.

— Обыкновенная пустыня, дорогая. Разве вы не видели с самолета?

— Видела. Но мне хотелось бы посмотреть на нее отсюда, просто увидеть что-нибудь другое, кроме этой пыли, сорняков и дыма медеплавильной печи. А можно забраться на ту гору? — И она показала на бурые холмы, поднимавшиеся в конце улицы.— Брон, может, пойдем да и посмотрим, что́ там?

— Ну что ж, пошли.

И Брон начала убирать посуду.

Они шли по дороге, пока она не затерялась среди кустарника. Только слышались собственные шаги.

Потом они начали взбираться в гору. Идти было тяжело, рыхлые бурые камни громоздились друг на друга, и только изредка попадалось низкорослое дерево или куст. Слабый ветерок приятно охлаждал тело, солнце ласкало кожу. Единственными живыми существами были здесь маленькие ящерицы, мгновенно исчезавшие при их приближении.

Но чем труднее становился путь, тем сильнее хотелось Джулии добраться до вершины горы, взглянуть на мир за пределами их грязной, уродливой долины. Раза два они отдыхали и оглядывались на город — издали он казался совсем маленьким, его укрывала пелена пыли, а над нею возвышалась труба медеплавильной печи с неизменным флагом дыма.

— Посмотрите, — вдруг сказала Брон, — посмотрите туда, вниз. Людей больше не видно. Виден только рудник — это он натягивает поводья и заставляет нас плясать под свою дудку, он диктует нам, когда работать, когда спать и есть и сколько можно накопить денег.

Последние метры до вершины они преодолевали, помогая друг другу. Потом они сели на красновато-бурый камень, лежавший на самом гребне, и осмотрелись. Внизу, по ту сторону горы, на многие километры протянулась голая, бесцветная пустыня — налетавший изредка ветер поднимал и кружил по ней столбы пыли. Вдали вздымалась еще одна цепь гор, совсем таких же, как эти, и они сжимали Маунт-Айзу еще одним кольцом.

Джулия едва не разрыдалась.

Глава тридцать девятая

Пэдди сразу после похорон пошел в бар и весь остаток дня поглощал спиртное, стараясь забыть вопрошающий взгляд Стива, который в последнее время так часто останавливался на нем. Он вливал себе в горло обжигающую жидкость и заглатывал ее быстрыми, большими глотками.

Молча приветствовал он все новых и новых посетителей бара и в конце концов в их компании воспрял духом. В шуме их голосов и в непрерывном звоне монет, потоком низвергавшихся в кассу, ему послышались победные нотки.

— Предлагаю тост! — крикнул он. Сильный голос ирландца пере-

крыл шум бара. — За победу, которую мы сегодня одержали, и за отличного парня, который своею смертью помог нам в этом!

— За победу!

— За Стива. Благослови его бог!

— За нашу замечательную победу. Да, слава богу, мы победили, разве не так? Пойдем же скажем об этом в других барах.

Шумная компания рабочих вывалилась из бара «Айрин» и прямо со стаканами и бутылками направилась в бар Флойда.

— Мы победили. Мы победили, братья. Присоединяйтесь к нашему победному маршу!

Рабочие, хлынувшие из бара, сидевшие и стоявшие на улице возле него, встали в ряды. Переселенцы высыпали вслед за ними и выстроились в конце колонны. Все были веселы и смеялись. Какой-то грек вытащил носовой платок и стал им размахивать, многие последовали его примеру. Вскоре в конце процессии, свернувшей на Западную улицу к последнему бару — «Серджент», уже танцевали.

Тед Джонсон остановился в Рудничном районе в доме председателя местного отделения своего профсоюза. Преимущества этого дома состояли в том, что там было тихо, а кроме того, был телефон. В этот вечер Тед позвонил в Таунсвилл своей секретарше и попросил ее передать жене, что, очевидно, он скоро будет дома. Обычно он был более осторожен, но на этот раз ему казалось, что все уже действительно идет к концу. Даже Дэвис уехал из города, и вечерние газеты поместили сообщение о его внезапном отъезде из Маунт-Айзы в Брисбен.

«За это я бы его не упрекнул,— размышлял Тед. Через открытое окно со стороны города до него докатился шум. — Сегодня со здешними парнями не будет сладу».

Терри Лоусон тоже улетел в Брисбен вечерним самолетом. Тед подумал о том, что Дэвис и Лоусон, наверно, оказались в одном самолете, и снова принялся писать отчет.

Тед работал до тех пор, пока шум, доносившийся из города, не стал глуше, а потом наконец и совсем замолк. Но из соседних домов все еще слышались музыка и пение.

Отчет получался длинный: Тед боялся что-нибудь упустить. Он чувствовал, что за последние несколько недель здесь, в Маунт-Айзе, произошло нечто новое, и это новое предстояло понять и оценить.

Зазвонил телефон. Снимая трубку, Тед взглянул на часы. Была половина третьего ночи.

— Тед? Говорит Терри Лоусон. Только что закончилось заседание кабинета министров. Решено спешно принять поправку к закону об арбитраже. Сегодня она будет утверждена в парламенте. Согласно этой поправке Арбитражная комиссия лишена права устанавливать расценки. В дальнейшем расценки могут быть повышены лишь при согласии обеих сторон, то есть их нельзя будет повысить без согласия компании. За Арбитражной комиссией остается право в исключительных случаях снижать расценки — конечно, без согласия рудокопов...

— Но они не имеют права этого делать. Это же незаконно! — закричал Тед Джонсон.

— Они сами себе закон, дорогой мой. И прежде всего это значит, что сегодня нам не удастся провести наше решение через Арбитражную комиссию. Надо было мне сразу догадаться, что дело нечисто, когда я увидел в самолете этого проклятого Дэвиса. А как дела в Маунт-Айзе?

— Рабочие празднуют, они даже устроили марш победы.

— Надо, чтобы они снова взяли себя в руки, Тед. Похоже, что на этот раз борьба будет затяжной.

Тед вышел на улицу, приостановился, вглядываясь вдаль, туда, где возвышалась труба медеплавильной печи. Потом завел машину председателя местного отделения профсоюза, и на тихой улице мотор взревел неожиданно и оглушающе громко.

Было около трех часов ночи, когда он подъезжал к Городскому району.

Глава сороковая

Когда на следующее утро Арбитражная комиссия собралась на заседание, галерея для публики была переполнена, но люди все прибывали и, так как мест уже не было, стояли прямо на солнцепеке.

Тед и Боб всю вторую половину ночи ездили от одного дома к другому, будили рудокопов, посылали их в другие дома, просили рассказать там о случившемся, постепенно поднимали весь город.

Они видели, как наступил рассвет и небо в конце одной из улиц стало розовато-золотым. Потом они заехали к Брон позавтракать и насладились свежим домашним хлебом, который она испекла уже после того, как Боб уехал вместе с Тедом.

Лицо Теда, обычно спокойное, невозмутимое, теперь было озабоченно, чернота залегла под глазами. Брон сварила им крепкого кофе, не спрашивая, когда же они лягут спать.

Джерри вместе с членами профсоюзного комитета стоял у входа в шахту и останавливал рабочих дневной смены, которые еще не были извещены о случившемся. У клети, готовой к спуску в шахту, собралась толпа. Провели митинг, состоялось голосование, и рудокопы повернули к проходной, отдали обратно шахтерские каски, потом пошли в раздевалку и сняли спецодежду.

Рудокопы присоединились к бесконечному потоку машин и людей, направлявшихся в Маунт-Айзу по всем дорогам, которые, точно спицы колеса, сходились в центре, и город вдруг стал маленьким и тесным.

Машины ставили где попало, иногда в два ряда, если у обочин не было места, и вливались в непривычно тихую толпу, собравшуюся перед зданием суда.

Появился специальный уполномоченный Арбитражной комиссии и ее члены, в зале суда все встали. Послышалось шарканье ног, потом все стихло. В лучах солнечного света танцевали пылинки.

Специальный уполномоченный встал и откашлялся.

— Я должен объявить вам, что прошлой ночью правительство штата приняло поправку к закону об арбитраже, поправка эта лишает нашу комиссию права увеличивать расценки. Поэтому сейчас уже нет смысла зачитывать рекомендации, которые мы постарались сформулировать. Благодарю почтенных коллег, помогавших мне в работе, и объявляю заседание закрытым.

Люди на галерее для публики начали расходиться еще раньше, чем он сошел с трибуны. Полицейские, взявшись за руки, освободили для него проход и сдерживали напор разъяренной толпы, пока он не сел в машину. Его отвезли в аэропорт, куда никто не пришел его проводить.

В городе царил хаос. Окинув взглядом кричащую и жестикулирующую толпу, Тед сказал:

— Нужно провести митинг, организовать и повести за собой взбудораженных людей, а то они все разнесут здесь.

— Митинг надо устроить в городе,— Боб оглянулся, решая, стоит ли обращаться к людям прямо здесь, на виду у полиции.

Вдруг он увидел владельца кинотеатра — тот сидел за рулем своей машины и уже собрался уезжать.

— Эй, Брауни! — крикнул Боб, подбегая к машине. — Нам нужно место для митинга. Можно устроить его в кинотеатре?

— Черт возьми, конечно можно, Боб. Отлично. Скажи администратору, что я разрешил, и он вас впустит.

— Если не возражаешь, нам хотелось бы иметь какое-нибудь подтверждение. А то, сам понимаешь, плохо будет наше дело, если мы приведем туда толпу, а нас не пустят.

Владелец кинотеатра кивнул и написал несколько слов на своей визитной карточке.

— Вот теперь все будет в порядке. Но за все повреждения, Боб, отвечать придется тебе. Смотри, чтобы эти горячие головы не стали прыгать по стульям.

Боб сказал членам комитета действий и Промышленного совета, что ему удалось получить кинотеатр, и они смешались с толпой, призывая рабочих пойти на митинг.

— Пошли. Идем в кинотеатр. Все на митинг!

Призывы передавались из уст в уста, и вскоре толпа повернула обратно по улице Последней надежды, продвигаясь сначала по тротуарам, потом — по мостовой. Как в половодье, она затопила дорогу, увлекая за собой всех, кто попадался на пути, хлынула через двери в кинотеатр, разлилась между рядами, заполнила все помещение; те же, кому не хватило места, остались на улице.

Джулия и Бронвин, которым не удалось пробраться в помещение, протиснулись к боковому входу и стали стучать в дверь. К ним присоединилось около сорока женщин, и когда Нилс немного приоткрыл дверь, они потребовали, чтобы их впустили. Нилс с улыбкой отступил, а рабочие, сидевшие в первом ряду, церемонно поднялись и освободили им места.

Митинг продолжался два часа. Председателем был избран Боб. Он постарался дать возможность высказаться как можно большему числу присутствовавших. Мнения, как всегда, разделились:

— С правительством не очень-то поспоришь!

— Пустят в ход уголовный кодекс, и все!

— А мы что, рабы Маунт-Айзы?

— Так где же справедливость?

Потом выступили Тед, Боб и еще несколько руководителей местных отделений профсоюзов. Страсти немного улеглись, и участники митинга почти единогласно решили продолжать борьбу за повышение расценок и за восстановление на работе Боба. Они снова запретят сверхурочные работы, и оставшуюся часть дня будут бастовать в знак протеста против вмешательства правительства.

Женщины тоже голосовали. Первый ряд партера голосовал за продолжение борьбы. Они подняли руки, чтобы и их голоса были учтены при подсчете.

Когда рабочие вышли из кинотеатра, улицы все еще были запружены народом. Люди слушали выступления через усилители и голосовали вместе со всеми. И те и другие еще какое-то время продолжали обсуждать создавшееся положение, а потом двинулись в бары. Боб пошел в «Серджент» и договорился, чтобы в Рабочий клуб отправили несколько бочонков пива. Клуб был уже почти готов, через недельку-другую можно будет запросить лицензию на продажу здесь спиртных напитков. А сегодня вряд ли полиция будет вмешиваться в их дела.

Женщины отправились по домам.

— В последнее время все складывается так, что, видно, нам все-та-

ки придется уносить отсюда ноги, — жаловалась Брон. — Маунт-Айза катится к чертям.

Несмотря на состоявшийся митинг и на решение предпринять кое-какие действия, над городом, словно грозовая туча, нависла горькая, бессильная ярость.

Женщины, сидевшие дома в ожидании мужей и, как обычно, время от времени поднимавшие головы, чтобы взглянуть на трубу медеплавильной печи, первыми заметили, что из нее перестал валить дым. Труба, расписанная полосками, точно гигантская конфета, без своего яркого плюмажа из дыма казалась непривычно оголенной. Затаив дыхание ждали женщины, что дым покажется снова, но он не показывался, и, не в силах оставаться один на один со своей тревогой, они снова кинулись в город.

Джулия, второй раз за этот день катившая в город коляску с Джонни, встретила Брон у входа в Рабочий клуб. В клубе они увидели Ника, что-то быстро и взволнованно говорившего группе своих соотечественников. Он был явно в приподнятом настроении и радостно возбужден, словно только что выпил.

Он особенно шумно приветствовал женщин и обнял жену.

— Вот они, героини, женщины Маунт-Айзы, которые стоят плечом к плечу со своими мужьями!

Брон посмотрела на него уничтожающим взглядом.

— Спасибо. «Героини» пришли сказать вам, что труба медеплавильной печи больше не дымит. Наверно, загасили огонь в топках. Вы об этом знаете? А то, может, нам пойти поискать Боба?

— Знаем, сюда прибегал кто-то из обслуживающих печь рабочих, их отстранили от работы. Он сказал, что администрация рудника закрыла ворота.

— Локаут! О, господи! — Лицо Брон потемнело.

— Боб вместе с другими рабочими пошел туда.

— Да, на этот раз они взялись за дело всерьез, — заметил рудокопитальянец, стоявший неподалеку, — но мы поборемся с ними, а, Ник? Мы еще повоюем!

Глава сорок первая

Маунт-Айза походила на осажденный город. Продукты питания берегли, жестко экономили, они стали такой же драгоценностью, как боеприпасы во время осадной войны. Прошло два-три дня, и мужчины стали гораздо меньше выпивать; каждый шиллинг, оставленный в баре, мог понадобиться детям на питание.

К концу первой недели рудокопы, попавшие под локаут, обратились за пособием по безработице, но им было отказано. В газетах появилось фарисейское заявление правительства:

«Министерство социального обеспечения создано не для того, чтобы потворствовать анархии в промышленности. Рудокопы Маунт-Айзы бастуют — они забастовали независимо от локаута, объявленного компанией».

Рабочий клуб превратился в центр руководства всей стачечной деятельностью. Он был заставлен сколоченными наспех столами. Каждый состоял в каком-нибудь комитете. Тут находился штаб рыбаков, отправившихся за триста миль в залив Карпентария и приславших в город рыбу баррамунди, и охотников, снарядивших целую экспедицию на охоту и приславших в Маунт-Айзу мясо кенгуру, индюшачье и еще какое-то, очень напоминавшее говядину.

Безработные мастеровые орудовали молотками, навешивали окна и двери в клубе, провели водопровод и решили построить отдельный туалет для женщин. Плотники соорудили в клубе прекрасный бар и облицевали его полированным деревом. Профсоюз штата Виктория прислал в подарок Промышленному совету новую печатную машину.

За одним из столов в клубе раздавали талоны на получение продуктов в кредит; кредит этот устроил Промышленный совет, выдав владельцам магазинов необходимые гарантии. Во все концы страны были посланы представители, рассказывавшие о положении в Маунт-Айзе, и отовсюду стала поступать помощь — тысячи фунтов от рабочих других рудников, от матросов и докеров, от ремесленников и заводских рабочих.

Большую часть этих денег составляли однократные или многократные взносы, собранные со всех членов некоторых профсоюзов. Шахтеры Брокен-Хилла увидели в действиях рудокопов Маунт-Айзы повторение своей собственной борьбы, которую пришлось вести в двадцатых годах и которая длилась год, и они оказали наиболее значительную помощь.

Все газеты прислали в Маунт-Айзу своих корреспондентов, и один из них сравнил нынешнее событие со знаменитой забастовкой 1890 года, когда забастовщики и их семьи вынуждены были питаться лишь рыбой из внутриматериковых рек.

Время от времени мужчины уходили на неделю охотиться. Нилс уехал к Молли на побережье, а оттуда отправился в поездку по стране — рассказывать о положении в Маунт-Айзе, добывать средства осажденному городу. Джеральд организовал группу охотников, взял в качестве проводников нескольких аборигенов и уехал в прерии.

Вначале Бронвин, Джулия и другие женщины ходили по магазинам, собирая пожертвования, и им давали продукты бесплатно. Но после того, как Промышленный совет организовал выдачу талонов на получение продуктов в кредит, они поняли, что сбор пожертвований придется прекратить. Они обратились к другим женщинам, объяснили им сущность происходящей борьбы и заручились их поддержкой. Они организовали женщин в группы, которые встречались за вечерним чаем. Но все это были чисто женские дела.

Время шло, и люди стали сотнями уезжать из города, причем большинство клялось, что больше никогда сюда не вернется. Администрация рудника забеспокоилась. Она лишалась квалифицированных рабочих, а чтобы подготовить им замену, потребуются многие месяцы. Тем временем опубликовали балансовый отчет компании, и это только еще подлило масла в огонь. Оказалось, что доход компании за прошлый год составил шесть миллионов фунтов. Дэвис разъяснил, что рабочие получили от прибыли почти столько же, сколько и держатели акций, и что большая часть ее пошла на технические усовершенствования.

Бронвин же так объяснила это женщинам, которые пришли к ней на чай:

— Даже слепому видно, в чем тут дело. Если они вкладывают свои доходы в рудник, так ведь это же их собственность. Правильно? Значит, в чей же карман идет прибыль? Не в мой и не в ваш.

Глава сорок вторая

Ник снова остался без работы. В городе, где человек, попавший в черный список, не мог уже рассчитывать ни на какую работу, он за короткий срок сменил восемь мест.

Ник был хороший мастер, а его обаяние помогало ему уговорить

то одного, то другого мелкого подрядчика дать ему подработать. Но продолжалось это недолго: кто-нибудь непременно заглядывал к хозяину и намекал, что с ним могут расторгнуть контракт или задержать поставку стройматериалов,— и Ник снова оказывался за бортом.

Он мог бы, конечно, и не устраиваться на место — кому смастерить кухонный стол, кому шкафчик для посуды, но все это была работа по мелочам.

С тех пор как Ник купил участок и начал строить собственный дом, он ни разу не принимал участия в строительстве Рабочего клуба. Ему было от этого немного не по себе, но Боб его понимал и не был на него в претензии.

Каждую свободную минуту Ник, не жалея сил, трудился над своим домом, хотя надежд продать его становилось все меньше и меньше. В Маунт-Айзе было теперь сколько угодно пустых домов. Если он не сумеет продать дом, когда борьба закончится, ему, быть может, удастся сдать его в аренду, с тем чтобы арендатор вносил еженедельную плату в банк, и когда жизнь войдет в нормальную колею и дом наконец будет продан, его долг банку значительно уменьшится.

— Готовься к переезду, Джулия,— сказал Ник однажды вечером.— Я не собираюсь ждать, пока дом будет полностью закончен. Мы уже вполне можем в нем жить, а кроме того, это избавит нас от платы за гараж.

Один из друзей приехал на своем грузовике и помог им перебраться. Джулия разместила все в двух задних комнатах, водопровод был во дворе, а свет давала пока керосиновая лампа.

Ник работал как одержимый, стараясь побыстрее закончить внутреннюю отделку. Потом он провел в дом водопровод, подключил воду к туалету, к ванной, поставил блестящую новенькую раковину. Когда дом был почти полностью готов, он вместе с рыбаками уехал в залив Карпентария удить баррамунди.

Проводив его, Джулия наконец вздохнула полной грудью.

В эти последние несколько недель они оба чувствовали, что теряют над собой контроль. Жара не ослабевала, а их внутреннее напряжение с каждым днем росло.

Ник выбивался из сил, заканчивая дом, метался в поисках хоть какой-нибудь случайной работы, страдал от того, что исчезают последние деньги, чувствовал, что товарищеский долг обязывает его сейчас, во время забастовки, поступиться своими личными делами и быть вместе с другими переселенцами. Джулии же приходилось хозяйничать, воевать с беспорядком, с грязью — с опилками, стружками, пятнами краски, да и Джонни становился капризнее, ему нужно было уделять все больше внимания.

Из-за нехваток, трудностей и напряжения, которого требовала борьба с администрацией рудника, все плохо владели собой и готовы были в любую минуту сорваться.

И Джулия, и Ник хорошо понимали, что их браку грозит катастрофа, но было так много других забот, что они почти бессознательно пришли к молчаливому соглашению избегать новых страданий и не касаться пока своих личных проблем.

В тот день, когда к ним пришел Михаэль Димитрос, чтобы закончить проводку, установить счетчик у входной двери и подготовить все к тому, чтобы можно было включить электричество, Джулия пригласила на обед Фроссулу и жену Кона — гречанку Марию.

Вскоре после полудня все три женщины вышли из дома и остановились в тени внутреннего дворика посмотреть, как ловко управляется Михаэль с мотком проводов.

— Можете меня поздравить,— сказал Михаэль,— я обручился.

Джулия уже начала учить Фроссулу английскому языку и за это время сама немножко преуспела в греческом, так что теперь они могли довольно легко разговаривать, используя знакомые им слова обоих языков.

И Михаэлю Джулия ответила по-гречески:

— Поздравляю, Михаэль. Очень рада. Пэт — прелесть.

— О, это не Пэт,— небрежно ответил Михаэль,— я женюсь на гречанке.

— А как же Пэт? Мне казалось, она была так влюблена в вас. В прошлый раз, когда я видела вас вместе, вы были оба такие счастливые. Что же случилось?

— Ничего,— покровительственно, будто ребенку, ответил Михаэль и улыбнулся.— Мне она и сейчас нравится. Но если уж я решил жениться, то женюсь на гречанке.

Джулия взглянула на женщин, стоявших рядом, на Михаэля, спокойно продолжавшего работать, и лицо ее залила краска. Она вдруг почувствовала, как ее захлестывает горячая волна гнева, пульс ее учащенно забился.

— Но вы хоть знаете эту девушку? — спросила она по-гречески; ей хотелось, чтобы женщины тоже могли понять, чтобы они сами увидели, что он собирается сделать, и она напрягалась, подыскивая греческие слова.

— Она из Сиднея. Я знаю ее отца.

— Ее отца! Но женитесь-то вы не на отце! А что будет с вашей австралийской подружкой? Вы что ж, думаете, у вас нет перед ней никаких обязательств?

Михаэль пожал плечами.

Таких же взглядов придерживался и ее муж. Она так много ждала от него, и по сравнению с этими людьми он в самом деле ушел далеко вперед. Но до боли в сердце ощущала она тупую силу их традиций, бездонную глубину их отсталости.

Призвав на помощь все свои знания греческого языка, прибегая иногда к помощи словаря, если фраза совсем не получалась, она попыталась объяснить женщинам свое собственное отношение к жизни, рассказать о своем народе. Но она чувствовала себя шатко, как на непрочном мосту.

Из всей Австралии они видели лишь эту бесплодную, безмерно жаркую пустыню, из всех австралийских женщин знали лишь жительниц Дженнифер-стрит да еще Джулию. Они не понимали даже, что происходит в городе.

Джулия приготовила кофе. Они пили и расспрашивали Джулию, что же произошло. Теперь ей хотелось, чтобы здесь был Ник, он сумел бы им все объяснить живо и доходчиво. Но его не было, а просить Михаэля, чтобы он объяснил им, она не хотела. Не могла она доверить ему такое серьезное дело. Он не из тех людей, кто поддерживает борьбу рабочих. Было очень трудно, но она снова взяла в руки словарь, и теперь уже не расставалась с ним. Он придавал ей смелости, словно бы делился с нею своей магической силой. Медленно, старательно начала она объяснять, что означает локаут на руднике в Маунт-Айзе.

Глава сорок третья

Жара перевалила за сорок градусов и держалась на этом уровне. Было слишком жарко работать на строительстве клуба или собираться на улице, даже думать и то не было сил. В каждом поезде, отправляв-

шемся из города, половину пассажиров составляли рудокопы, холостые парни; они ехали в Кума, в Маунт-Льелл на Тасмании — пополнять армию безработных рудокопов и промышленных рабочих.

В семьях, дошедших до полной нищеты, велись бесконечные споры и разговоры, они длились до глубокой ночи и заканчивались чаще всего таким решением: матери и детям придется остаться в Маунт-Айзе, а отец поедет искать работу на побережье.

И все же настроение тех, кто оставался в Маунт-Айзе, было боевым. Они чувствовали, что им необходимо победить в борьбе с администрацией рудника, что на этот раз они не могут позволить себе оказаться побежденными, пойти на попятный, согласиться на расценки, которые не обеспечивают нормальных условий жизни.

— У нас не было ничего, когда мы сюда приехали,— говорили они,— и если у нас ничего не будет, когда мы уедем, значит мы немного потеряли. Но раз уж судьба забросила нас сюда, нужно попытать счастья, постараться, чтобы следующие несколько лет не пропали даром.

Рабочие надеялись, что им все-таки улыбнется счастье, и это помогало им сохранять единство. Пока у человека есть хоть малейшая надежда выиграть, он ни за что не сложит оружия.

Специальный уполномоченный Арбитражной комиссии дважды приезжал в Маунт-Айзу. Он хотел в принудительном порядке собрать совещание представителей профсоюзов и рудника, но оба раза из этого ничего не получалось. Сразу же начинались конфликты, потому что в комиссии по переговорам состоял Боб Херст, а компания отказывалась иметь дело с ним и с Промышленным советом, она не желала считаться с тем, что совет этот уже входит в Совет профсоюзов Квинсленда.

Австралийский рабочий союз не мог рассчитывать на успех переговоров, потому что его члены отказались пойти на какие-либо уступки и настаивали на полном удовлетворении всех своих требований, включая пункт о минимальных расценках в десять фунтов и о восстановлении на работе Боба Херста.

Уильям Дэвис тоже отказался пойти на компромисс. Рудник будет закрыт, заявил он, до тех пор, пока рабочие не откажутся от своих требований и не согласятся с новым законом.

— Закон и порядок должны быть незыблемы,— сказал он, покидая последнее совместное совещание администрации рудника и рабочих.— Мы не можем допустить, чтобы в промышленности действовал закон джунглей.

Только за одну неделю рабочие лишались ста тысяч фунтов, железные дороги штата теряли пятьдесят тысяч дохода, а компания не получала продукции, которая могла бы принести ей миллион фунтов прибыли. Но компания владела медью, а медь спокойно ждала своего часа в недрах земли. Многие владельцы магазинов в городе были на грани банкротства. Пано пришел к Нику, вернувшемуся из поездки за рыбой, и сказал, что его лавка больше держаться не может.

— Пока могли, мы давали продукты в кредит. Ты ведь знаешь, Ник, мы поддерживаем профсоюзы, мы такие же, как и все рабочие. Но если мы еще так потянем, то уедем не просто ни с чем, мы уедем разоренные, мы будем банкротами, с огромным долгом.

— Эх, дружище,— сказал Ник,— побудь с нами еще немного. Я уверен, они вот-вот уступят. Потерпи еще несколько дней.

Ник приехал домой усталый, потный, голодный. Джулия накрыла стол во внутреннем дворике — там было прохладнее. Ник рассказал ей, что Михаэль Димитрос уехал в Сидней встречать свою невесту. Она вспомнила, что Ник еще не знает о разговоре, который был у нее с Ми-

хаэлем в тот день, когда он делал им проводку, и тут же все ему пересказала.

Он слушал ее напряженно. Но когда она подошла к концу, Ник помрачнел. Резко отодвинув тарелку, он сказал:

— Иногда я чувствую, что нам так и не удастся перекинуть мост через пропасть, которая легла между нами.

Джулия почувствовала вдруг, как к горлу ее подкатывает комок, она совсем не ожидала такой реакции от Ника, своим рассказом она хотела лишь позабавить его. В последние месяцы они так часто ссорились, что чувство горечи стало для нее почти привычным.

Она возмущалась, когда он вечерами оставлял ее одну, потом стала даже радоваться, если он уходил — по крайней мере так было спокойнее. Все было лучше этих стычек.

— Ник, давай поговорим серьезно,— сказала она, тяжело вздохнув.

— Ну, что ты хочешь мне сказать?

— Что же с нами будет? — начала она мягко.— Мы ведь любили друг друга, Ник. Ты хотел меня изменить, и тебе это удалось. Но в душе я не могу принять наших теперешних отношений. В Сиднее ты больше походил на австралийца. Возможно, я тоже старалась изменить тебя. Но здесь...

— Фроссула счастлива, а у нее жизнь совсем не такая полная, как у тебя. Что с тобой происходит, Джулия? Если бы ты любила меня, тебе хотелось бы доставлять мне радость. И у тебя есть сын.

— Этого недостаточно. Я просто не могу примириться с этим неравноправием. Я ничего не имею против того, чтобы в чем-то уступать тебе, но только когда мне самой этого хочется, по доброй воле.

— О чем ты говоришь? Ты слишком романтична, думаешь, что медовый месяц может длиться вечно. Мы поженились, у нас семья, у меня своя работа, у тебя — своя. Ты сама отказалась от материальной независимости, когда бросила работу. Теперь я обеспечиваю семью, а ты ведешь хозяйство. Ты не говоришь мне спасибо, когда я плачу по счетам, почему же я должен благодарить тебя каждый раз, как ты приготовишь мне еду или выгладишь рубаху?

Она пошла, приготовила кофе, а когда вернулась, поставила свой стул так, чтобы видеть темнеющие горы.

— Ты получаешь деньги за свою работу, и время твоей работы обусловлено в контракте. А меня только кормят, и работе моей нет конца. Хозяин эксплуатирует тебя, а ты — меня.

— Ну вот, теперь тебя уже эксплуатируют,— сказал он.— Все, что ты делаешь для меня — подаешь ли мне белье, присматриваешь ли за Джонни, когда меня нет дома,— все тебя обижает. Ты все время ждешь, что же еще я попрошу тебя сделать.

— Долго ждать мне не приходится.— Она метнула на него возмущенный взгляд.— Ты только посмотри на мою жизнь.

— В твоей жизни нет ничего плохого,— закричал он, давая наконец волю ярости, которую он месяцами подавлял в себе.— Ты слишком много возомнила о себе. Ты, видите ли, австралийка, все тебе плохо, все тебе не так!

— Это неправда.

Невысказанное напряжение последних месяцев вырвалось теперь наружу. От гнева пот лил с них градом, капли его стекали по лицу Ника, его рубашка прилипла к спине. Платье на Джулии промокло на груди и у пояса, оно прилипало к ногам, в нем было неудобно сидеть. Она встала.

Комары роем налетели из кустов.

— Ненавижу я эту проклятую дыру, если хочешь знать!

Она резко повернулась и встала к нему лицом — в наступавшей

темноте глаза ее гневно сверкали, волосы растрепались. Электричества еще не было, приходилось ждать, пока городской электрик подключит линию на улице и проверит работу Михаэля внутри дома. Пора было зажигать лампу, но ни она, ни он не двинулись с места. Жара распалила их страсти, они уже не владели собой.

— Это твоя страна! — кричал Ник.

— Да, верно. И из всех прекрасных мест, которые есть в моей стране, тебе нужно было притащить меня именно сюда.

— Ты ведь хотела иметь дом! Верно?

— Но не настолько сильно. Это слишком дорогая цена.

Дрожащими руками она поднесла спичку к сигарете и стояла в дверях, глядя на пыльный двор, на темные пятна посаженных ею растений, на коробку недостроенного дома через дорогу, на жалкие эвкалипты, исчезавшие в сумраке.

— А как же здесь живут твои друзья? Взгляни, например, на Брон. У нее есть сила воли.

— По-твоему, у меня ее нет? Я ютилась в лачуге, жила без воды, готовила на примусе и неделю за неделей таскала по такой жаре еду для тебя и для твоих дружков.

— Но ты никогда не жила так, как жили они. И ты это хорошо знаешь.

— Но я ничуть не меньше страдала.

Теперь Ник встал, она смотрела ему прямо в лицо, и в глазах у нее стояли слезы гнева.

— Ты думаешь, что семейная жизнь Молли станет когда-нибудь такой, как прежде? Ты думаешь, она когда-нибудь забудет часы, которые Нилс провел в баре? Забудет бессмысленно растраченные годы, которые она прожила здесь, потому что он все не мог скопить денег? Часы, которые она потеряла, бегая по жаре и пыли в поисках Билла, потому что Нилс никак не удосуживался поставить забор?

— А Бронвин?

— У Брон нет детей. И она любит воевать. Этот город ей бросил вызов. Она научилась бороться и учила этому других, Брон — легенда. Наверно, это приятно — быть легендой.

— Но ты-то никогда ею не будешь,— он хлестнул ее словами, как плетью,— из тебя ничего не вышло, Джулия, ни друга, ни партнера, ни жены.

— Партнер! Ты не знаешь значения этого слова. Партнерство предполагает равенство.

— Опять за свое. Равенство! Только об этом ты и думаешь. А что такое любовь — не знаешь совсем.

— Зато гречанки, надо думать, это знают.

— Да.

— Тогда жаль, что ты не женился на одной из них.

— Может, еще и женюсь.

Она дала ему пощечину. В приступе гнева и отчаяния он тоже ее ударил. Она отлетела далеко, стукнулась о противоположную стену.

Никто из них не сказал ни слова. Лишь шумное дыхание Ника да рыдания Джулии нарушали тишину.

Он ни разу ее не тронул с той самой ночи, когда у нее была истерика в доме Брон. Большего унижения быть не могло. Джулия забыла, что сама вызвала его на это. Она лежала там, где упала, слезы потоком лились у нее из глаз, и она думала лишь о том, что он ее ударил.

Теперь ее брак ничуть не лучше самых несчастных браков, которые она здесь видела, когда мужья, избив жен, уходят в бар. В глубине души она была даже рада случившемуся. Теперь она сможет уйти.

Ник подошел к холодильнику, налил в стакан воды, выпил, снова налил и подал ей. Потом зажег лампу и подвинул к ней поближе. Огромный мотылек влетел через открытую дверь и начал кружиться вокруг лампы, отбрасывая на стены гигантские тени.

Джулия села на стул. Глаза у нее опухли, на одной щеке начал проступать синяк.

Крик гнева и отчаяния вырвался у Ника:

— Yinekai mou! Anathema mou cisai! Моя жена! Ты — мое проклятье!

По его лицу она поняла всю меру своего несчастья. Она начала жизнь с ним, полная любви к нему, поглощенная и удовлетворенная любовью. Но она любила его не настолько сильно, чтобы стать его придатком. И оттого, что раньше она любила его недостаточно сильно, теперь от ее любви не оставалось ничего.

Они смотрели друг на друга через огромную пропасть. Она знала, что уйдет от него, возьмет Джонни, его и свою одежду и уедет обратно в Сидней. У нее нет денег, денег нет во всей Маунт-Айзе, но Нику придется занять ей на дорогу у Пано, если они у него есть.

Она отвернулась, чтобы он не увидел на ее лице принятого ею решения. Она не хотела ему ничего говорить, пока они оба не успокоятся.

Он посмотрел на часы.

— Мне надо идти на собрание. Ты мне приготовишь белье? Я пойду приму душ.

Он потянулся — при свете лампы он казался особенно высоким и сильным. Согнув голые руки, так что набухли мускулы, он улыбнулся ей, даже и сейчас ожидая ее восхищенного взгляда. Она поднялась, сделав вид, будто не замечает его, и пошла за бельем.

Глава сорок четвертая

Бронвин заболела азиатским гриппом чуть ли не последней в Маунт-Айзе. Она первой вступила в борьбу с эпидемией, отважно ринулась на помощь все возрастающему числу больных женщин. Каждая новая атака гриппа была внезапна и губительна. Мать уже на другой день не в силах была присматривать за своими детьми и даже сама за собой.

Когда Бронвин в конце концов заболела, она была до предела измотана. Женщины, за которыми она ухаживала во время болезни, теперь одна за другой приходили, чтобы помочь ей.

Ради Боба она делала вид, что поправляется, но он чувствовал, что она больна. И когда он все же настоял, чтобы она легла в больницу, и она покорно согласилась, он испугался. Если Брон так сразу согласилась, значит дело плохо.

— У вас воспаление легких,— сказал врач,— и наихудшее, по-видимому, уже позади. Почему, черт возьми, вы не обратились ко мне раньше?

— Я очень боялась, думала, лучше уж подожду, пока полегчает,— сказала она, озорно ухмыльнувшись.

Она и врач давно знали друг друга и редко сходились во мнениях. Врач фыркнул и стал тщательно ее выслушивать.

— Вы ведь из Новой Зеландии? Здешний климат погубит вас, несмотря на всю вашу живучесть. Да, да, погода и этот ваш садик, на котором вы просто помешались.

Она сидела в кровати, обложенная подушками, страдая от бесчисленных уколов пенициллина, которыми терзали ее исхудавшее малень-

кое тело, и, несмотря на снотворное, не могла уснуть. Она беспокоилась за свой садик, волновалась, не погибли ли растения, и знала, что, если умрет, все их поглотит пустыня.

Боб прошел через старомодную больничную палату и увидел Брон — рыжие волосы на белом фоне подушек еще больше подчеркивали бледность ее измученного лица. При ярком свете голых ламп сразу бросались в глаза трещины в стенах, облупившаяся краска, убогость изношенных штор. Мысли его были заняты спором с администрацией рудника, он тревожился за Брон — и все-таки поймал себя на том, что думает о больнице: «Хорошо, что строится новая больница. Эта уже доживает свой век».

— Сегодня тебе пришло два письма,— сказал он и передал их Брон.

Одно письмо было от адвоката из Таунсвилла. Адвокат писал, что ей предлагают тысячу пятьсот фунтов при условии, что она откажется от своего иска и заберет из суда заявление. Адвокат советовал ей принять это предложение.

Второе письмо было от ее сестры из Новой Зеландии. Боб с нежностью следил, как она жадно глотала исписанные каракулями страницы. Он тронул ее хрупкую руку.

— Брон, я просто не знаю, что я буду делать, если с тобой что-нибудь случится. Брось все и уезжай домой. Я останусь в Маунт-Айзе, пока не кончится вся эта кутерьма, а потом приеду к тебе.

— А кто же будет следить за домом? Кто присмотрит за садиком?— со вздохом спросила она.

— Наверно, никто,— он улыбнулся.— Таких упорных, как ты, не так уж много. Ты победила пустыню, но она не примирилась с поражением, Брон. Если ты пробудешь в больнице три недели, она снова завладеет всем садом.

— Может, ты будешь поливать сад вместо меня, Боб?

— Ладно. Буду поливать каждый вечер, дорогая. Куплю земли, разбросаю ее и буду поливать, только чтобы ты согласилась уехать.

Бронвин посмотрела на его взволнованное лицо, поняла по его глазам, как сильно он тревожится за нее.

— Хорошо,— сказала она просто,— я буду рада.

Через неделю Брон вернулась на Дженнифер-стрит, она чувствовала себя лучше и опять принялась за работу. Боб заказал земли, одолжил у кого-то распылитель и по вечерам при свете газового фонаря красил дом.

Как только Брон немного окрепла, она сходила в город и купила материал на платья. Как-то раз, когда она шила «приданое» для поездки домой, к ним заглянул Джерри. Боб принес бутылку пива, они уселись на ящиках в свободной спальне, следя за быстрыми и уверенными движениями Брон, ловко управлявшейся с материалом и электрической швейной машинкой.

— Собираетесь в поездку, Брон? — спросил шутя Джерри.

— Да, Джерри. Я уезжаю.

— Господь с вами! — Он даже вскочил.— Вы нужны нам здесь!

Он в отчаянии посмотрел на Боба.

— Я и сама предпочла бы остаться здесь до окончания борьбы.— На осунувшемся лице Брон появилось слабое подобие прежней улыбки.— Но этот чертов доктор из больницы уверяет, что еще одно лето здесь не принесет мне добра.

Джерри не мог вымолвить ни слова.

— Может, вы с Рут захотите переехать к нам, Джерри? Вот займете эту спальню, пока мы оба еще здесь. И, конечно, ничего не надо платить, пока ворота рудника снова не откроются.

— Мы бы с удовольствием заняли эту комнату. Спасибо. Но вы-то не уедете, Боб? Вы же не можете уехать. А вы поправитесь и вернетесь, правда, Брон? Нам нужны лидеры.

— Я останусь, пока мы не выиграем этот бой, Джерри, а Брон уедет,— спокойно ответил Боб.— Она была на волосок от смерти. Я не хочу еще раз пережить такой же страх. Она едет домой. Она снова увидит снег. Ты ведь знаешь, Джерри, как все здесь делается. Мы, конечно, кое-чего добъемся, но мне в конце концов не сдобровать. Я буду бороться до тех пор, пока смогу. Никому не говори, но я уверен: нам ни за что не получить разрешения на клуб, хоть мы и отдали этому строительству столько лет, а значит я не смогу там работать. А о лидере не волнуйся. Когда дело будет худо и начнутся неприятности, рабочие непременно найдут кого-нибудь. Этим лидером можешь стать ты или кто-нибудь еще из рудокопов, но лидер непременно найдется.

Глава сорок пятая

Город казался почти вымершим, если не считать нескольких человек, сидевших в барах и медленно потягивающих пиво. Боб и кое-кто из деятелей профсоюза расположились в Рабочем клубе, тоже пили пиво и ждали.

Они ждали, когда кончится день, когда сядет солнце и станет прохладнее, ждали известий из Брисбена, где кабинет министров штата собрался на экстренное заседание.

На правительство штата со всех сторон сыпались требования вернуть рабочих на работу. Нажимала компания рудника, руководство железных дорог, пресса и федеральное правительство, так как необходимость покупать медь за границей ослабляла внешнеторговый баланс.

Тед Джонсон прошел через открытую дверь Рабочего клуба, держа в руке телеграмму.

— Вот, полюбуйтесь, они своего добились. Правительство обязало рабочих вернуться на работу, объявлено чрезвычайное положение и введено уголовное наказание для уклоняющихся. Возвращайся на работу или садись на шесть месяцев в тюрьму и плати штраф сто фунтов в день!

Он засмеялся. В тишине душного, почти пустого зала его смех прозвучал особенно резко.

— А как же с администрацией рудника? — спросил Боб.— На них тоже налагают взыскания?

— Конечно. Им придется открыть ворота рудника и впустить рабочих.

Стул, на котором, откинувшись, сидел Боб, вдруг затрещал, передние ножки подкосились и упали.

— А как же расценки? Как наши требования? Об этом что-нибудь сказано?

Тед громко прочитал последние слова длинной телеграммы: «Никаких изменений существующего положения».

Воздух огласился проклятиями.

— Это у них не пройдет! Они не смогут упрятать в тюрьму весь город! — спокойно сказал один из рудокопов.

— Вот это боевой дух! — Тед улыбнулся говорившему.— Может быть, до этого и не дойдет. Сегодня вечером мы организуем массовый митинг. Я свяжусь с представителями Австралийского рабочего союза, и мы сделаем еще одну попытку поговорить с администрацией. Обо всем доложим на митинге. Боб, может, тебе снова удастся получить кинотеатр, сеансы-то ведь все равно пришлось отменить?

Представитель Австралийского рабочего союза Джек Биллингс сидел в тесной комнате профсоюза, здесь было так же нестерпимо жарко, как и в тени на улице,— больше сорока градусов. Он довольно охотно расстался со стулом, на котором сидел, и поехал с Тедом в контору рудника. Дэвис был в конторе, и Тед понял, что он их ждал. Их провели в большой прохладный кабинет и предложили выпить.

— Вы, конечно, уже слышали новость,— сказал Дэвис.— Мы надеемся, что рабочие проявят благоразумие и вернутся на работу,— выбирать ведь им не приходится.

Тед кивнул.

— Возможно, они и вернутся на работу, хотя я слышал, как кто-то высказал мысль, что всех в тюрьму не посадишь. Но разве вам в качестве рабочей силы нужны рабы, мистер Дэвис? Есть ли у вас хоть какая-то надежда вернуть квалифицированных рабочих, уехавших из города, если расценки и условия работы останутся прежними? Вы, конечно, представляете себе, в каком положении окажется руководство рудника, если работы будут вестись не на полную силу.

— Вы что же, угрожаете, Джонсон? Если так, то...

— Нет, просто я немного психолог. Думаю, что теперь я начинаю понимать ваших рабочих. Они хотят, чтобы была установлена минимальная расценка в десять фунтов.

Наступила тишина. Дэвис весь напрягся.

— Ну, а если мы предложим компромисс — скажем, восемь фунтов?

— И Херст будет восстановлен на работе? — быстро спросил Тед.

— Нет! — вспылил Дэвис.— Я не хочу держать на руднике этого агитатора.

— Так, значит, восемь фунтов,— сказал представитель Австралийского рабочего союза в раздумье.

— И признание Промышленного совета? — настаивал Тед.

Биллингс сказал:

— Мой профсоюз не связан с рабочими советами. Они не являются нашими представителями.

— Ну, хорошо, тогда признайте, что они представляют цеховые профсоюзы. Они присоединились к Совету профсоюзов Квинсленда и пользуются большой поддержкой рабочих.

— Хорошо,— сказал взбешенный Дэвис.— Не будем спорить. Признать цеховые профсоюзы? Хорошо!

— А новое законоположение о руднике? Как с этим вопросом, мистер Дэвис?

— Насколько я понимаю, вы, господа, сейчас просто-напросто маневрируете, но предупреждаю вас: не зарывайтесь. Мы готовы пойти на кое-какие уступки, очень важные, ради того, чтобы рабочие снова приступили к работе и рудник заработал на полную мощность. Мы понимаем, что должны будем предложить что-то, ради чего квалифицированным рабочим, уехавшим из города, имело бы смысл вернуться. Правда, мы оснащаем рудник новыми машинами, и нам теперь потребуется меньше рабочих. Но если дело зайдет в тупик и представители ваших профсоюзов окажутся настолько неразумными, что бросят вызов правительству и не захотят приступить к работе, мы вообще закроем рудник. Вы, очевидно, можете себе представить, что́ это будет означать для всех, кто сделал ставку на Маунт-Айзу,— для предпринимателей, для семей, покупающих здесь дома, для каждого жителя города.

Наступила мертвая тишина. Каждый из присутствующих знал, что иностранные владельцы рудника могут пойти на то, чтобы закрыть рудник. Уже и теперь медь ввозилась по сильно вздутым ценам, частично

с рудников, принадлежащих американцам. Таким образом, основные держатели акций рудника Маунт-Айзы потеряли бы много меньше, чем Австралия и население Маунт-Айзы.

Дэвис встал..

— Я хочу, чтобы вам все было ясно. Если рабочие будут и в дальнейшем действовать по наущению агитаторов и если, в частности, они будут настаивать на восстановлении Херста, они потеряют все.

Джек Биллингс смотрел в окно. За окном он видел центральный вход на рудник, большое темное колесо вентиляционного устройства, которое безжизненно поблескивало в лучах заходящего солнца. В небе кружил ястреб, готовый в любую минуту броситься на какую-нибудь живую тварь и разорвать ее на куски.

Дэвис сказал:

— Утром я встану у проходной, посмотрю, как рабочие будут спускаться в шахту. Соглашение, к которому мы пришли, будет передано в письменном виде регистратору Арбитражной комиссии. А теперь, если разрешите... Эту махину запустить не так-то просто, надо еще многое сделать.

Тед и Биллингс вышли из конторы и направились к машине. Жаркий воздух полыхнул им в лицо. Они поехали обратно в город, в Рабочий клуб.

Вечером в кинотеатре состоялся массовый митинг. Собрался почти весь город. Председательствовал Боб, и хотя он старался не думать о своей судьбе и быть объективным, на его лице временами проглядывала горечь обиды.

Биллингс и Тед рассказали собравшимся о встрече с управляющим компании. Биллингс убеждал рабочих вернуться на работу, говорил, что у них и в самом деле нет выбора. Тед сказал:

— Вы приняли решение бороться, и только вы сами можете решить, что делать теперь. Но иногда целесообразнее отступить, чтобы немного погодя начать борьбу снова.

Рудокопы закричали, что хотят выслушать Боба Херста.

— Кое-кто помнит,— начал Боб медленно,— когда Ника Спайроса уволили за политическую деятельность, они прибегли к той же тактике, пригрозили, что, если возникнут беспорядки, строительство будет остановлено. Теперь они угрожают закрыть рудник и превратить Маунт-Айзу в мертвый город. Я думаю, что и тогда и теперь они не просто запугивали. Поэтому мне остается сказать то же, что сказали в свое время Ник и два других плотника: «Я не хочу, чтобы кто-либо, и тем более весь город, жертвовал собой ради меня». Вы знаете, что моя жена была больна. Мне придется увезти ее отсюда, из этой жары. И хотя в случае необходимости она могла бы уехать одна, я думаю, настало время мне позаботиться о ней. Остаться мне или уехать — это зависит, конечно, от вас. Но вы знаете, как складывается жизнь у руководителей рабочего движения в Маунт-Айзе. Вот уже больше двадцати лет администрация рудника так или иначе избавляется от них. Но это всем нам урок, горький урок. Правительство поддерживает компанию, которой руководят иностранцы, а нам наносит предательский удар в спину. Как нация, мы не можем допустить, чтобы иностранцы контролировали наши рудные богатства.

Зал разразился криками одобрения и сожаления. Но по лицам, по голосам было ясно, что после речи Боба всем стало легче. Он повернул дело так, что они могли не чувствовать себя предателями, бросающими товарища на произвол судьбы.

К микрофону подошел Терри Лоусон и под гром аплодисментов сказал, что только солидарность рабочих помогла им добиться повышения расценок. Он сказал, что до тех пор, пока рабочие Маунт-Айзы бу-

дут мириться с преследованиями и увольнениями своих лидеров, в Маунт-Айзе будут только очень хорошие лидеры. Они должны быть хорошими, потому что за такое дело берутся только герои. Но придет день, когда рабочие Маунт-Айзы сумеют постоять и за своих лидеров.

— Друзья мои, извлеките из этой борьбы урок, потому что, решившись на борьбу, ваши лидеры посеяли семена будущего.

Больше говорить было нечего. Боб начал голосовать за возвращение на работу. Предложение было принято, хотя наиболее упорные голосовали против.

Со знанием дела, шумно и при этом в кредит Маунт-Айза начала пить. Когда же наконец бары закрылись, по улицам потянулись длинные вереницы мужчин с коробками пива на плечах.

Несколько коробок было доставлено и в Рабочий клуб. Около полуночи полицейский сержант просунул голову в дверь.

— Лучше закрывайтесь, Херст,— сказал он.— Ваше прошение об открытии клуба отклонено, вы разве не знаете? Ну, ничего. Здесь можно устроить большой склад.

— Они как пить дать постараются это сделать,— заплетающимся языком сказал Пэдди, подпиравший стену.— Они постараются закрыть наш клуб, парень, и выгнать тебя из города.

Боб выглядел помолодевшим и спокойным. Несколько недель без пива пошли ему на пользу. Он чувствовал, что напряжение проходит, каждый мускул его тела отдыхал, будто после тяжелой работы.

— Обо мне не волнуйся, Пэдди,— улыбнулся Боб.

Ник был у Пано. Почти все греки, живущие в Городском районе, собрались здесь. Они танцевали под аккомпанемент базуки, на которой играл старый рудокоп. Пили пиво из бочонка и ели австралийскую пищу, потому что не было времени приготовить вкусные греческие блюда.

— Теперь у тебя будет много денег,— сказала Фроссула мужу.— Я хочу стиральную машину.

Ник улыбнулся. Некоторые идеи Джулии уже восприняли его соотечественницы, возможно, со временем они будут и думать совсем как она. Ник стоял поодаль, в сторонке.

«Джулия слишком нетерпима,— размышлял он,— но ее легко разгадать. Она твердо, шаг за шагом идет по намеченному пути и не понимает, как можно повернуть обратно».

В эту минуту он услышал музыку. Какая-то женщина с улыбкой поманила его. Он широко раскинул руки и пошел танцевать.

Ни у кого в Маунт-Айзе в этот день не было времени взглянуть на небо, и первый раскат грома застал весь город врасплох. Звезды скрылись, луна серебрила края быстро несущихся туч. Упали первые крупные капли дождя и, шипя, превратились в пар на трубе медеплавильной печи, горячей от вновь зажженного в топках огня.

Дождь лил сплошным потоком, растекался по выжженной солнцем земле, барабанил по крышам. Ветер выдергивал из земли спинифекс и рывками гнал его по грязным незастроенным участкам.

Джонни, спавший в кровати Бронвин, куда его положили в этот вечер, проснулся и заплакал. Рут вошла к нему, чуть опередив Джулию. Едва они подошли, он перестал плакать, сел и стал слушать. Ударил гром, дождь вдруг полил сильнее, застучал в окно, и Джонни засмеялся. Джулия взяла его на руки, крепко прижала к себе.

— Посмотрите-ка на него, он совсем не испугался, а ведь он, можно сказать, никогда не слыхал грома и даже дождя не видел.

Она снова уложила его, пошла закрывать окна, и последние ее сомнения исчезли, смытые дождем. Ее жизнь с Ником не удалась. Быть может, виной тому Маунт-Айза. Но у них есть Джонни, полуавстралиец-

полугрек. Он будет тем мостом, который ей самой так и не удалось перекинуть между ними.

Джерри и Боб вернулись домой. Джерри наклонился, чтобы поцеловать жену. И когда он поднял голову, лицо Рут сияло.

Джулия посмотрела на них, и у нее перехватило дыхание. Они жили теперь в той самой комнате, где она жила с Ником. С потолка свешивалось изобретение Брон — сетка от комаров, которую Рут должна была подтыкать вокруг кровати.

Утром глазам людей предстал новый мир. Ведра и старые железные банки были полны воды. Там, где раньше было русло пересохшего ручья, бурным потоком текла река. Из-за низкорослого кустарника у подножия горы выглядывали маленькие деревца. Большущая ящерица, похожая на толстого золотого дракона, приползла из пустыни, а лягушки у ручья закатили настоящий концерт.

Солнце жгло землю, день обещал быть жарким и душным. Там и тут, на всем плоскогорье из домов, гаражей, жалких хибарок, лачуг и рваных палаток рабочие дневной смены отправлялись добывать медь и свинец для владельцев рудника, женщины, сжав губы, принимались убирать грязь, которую принес ураган.

Но это был уже другой день, он приближал их к зелени деревьев, к опьяняющему запаху моря, к большим красивым домам, к тротуарам, к людям, ко всему прекрасному, что произрастает из пота и крови, пролитых здесь, в Маунт-Айзе.

Цензура и роман о рабочем классе

В Австралии, как очевидно, и во многих других странах, политическая система такова, что ей необходимо заботиться о самосохранении. Большинство законов призвано поддерживать статус-кво в стране. И на писателей и издателей, связанных с литературой о рабочем классе, оказывают особый нажим, чтобы они не посмели нарушить эти законы.

Австралия — страна высокоразвитой промышленности, страна, где многие годы существуют боевые профсоюзы, так что можно было бы написать тысячи романов о рабочем классе. И, вероятно, многие мужчины и женщины охотно выступили бы в этом жанре литературы. Но у них не хватает для этого образования. Люди же, получившие гуманитарное образование, если и идут затем в промышленность, то только на административные должности.

И вот создалось такое положение, когда люди, владеющие фактами, «чувствующие» производство и испытавшие на своей шкуре всю тяжесть жизни рабочего, не способны изложить свои мысли так, чтобы их можно было опубликовать. Огромная область жизни — жизнь промышленных рабочих — остается сферой деятельности журналистов, романисты же, как правило, пишут о чем-нибудь другом.

Но даже когда писатель берется за такую тему, он наталкивается в дальнейшем на трудно преодолимый барьер.

Если симпатии писателя на стороне правящего класса, он пишет книгу о хозяевах или историю промышленной компании и навлекает тем самым на себя гнев профсоюзов. Если же его симпатии совсем другого рода и он пишет книгу о рабочих, то на него обрушивается немилость предпринимателей.

Один из основных законов, поддерживающих статус-кво в стране, закон о клевете в печати. В различных штатах Австралии этот закон толкуют по-разному. Если в Штате Квинсленд писатель попробует написать книгу о положении рабочих, он попадет, с точки зрения любого нормального человека, в весьма странное положение, ибо чем больше правды ляжет в основу его романа, тем с большими неприятностями он столкнется.

До того, как в 1957 году я переехала в Маунт-Айзу, этот городок был для меня легендой. Эта легенда подогревалась рассказами знакомых об огромных богатствах Маунт-Айзы, ожидающих рабочих рук, и восторженными письмами мужа, который, как и все перебравшиеся туда, старался перетащить за собою семью.

Целый год я находилась в самой гуще жизни этого промышленного городка и наблюдала за всем глазами рабочего, трудящегося на шахтах, глазами жены этого рабочего, которая, обливаясь потом, вынуждена жить в жарком, душном временном домишке, глазами босоногих ребятишек этого рабочего, бегающих среди спинифекса и колючих кустарников. Я знала, что́ переживают люди, подвергшиеся преследованиям за свои убеждения или действия, потому что мы сами все это пережили.

Я знала, что́ могут сделать женщины друг для друга и как они себя поведут в этом отдаленном рабочем городке, если кому-нибудь вдруг случится заболеть, или его одолеет тоска, или он попадет в беду, потому что сама была одной из них и мы так или иначе помогали друг другу.

Я много видела и много перечувствовала. Это и заставило меня взяться за роман о рабочем классе. Я вдруг поняла, что у меня есть основа для такого романа и что я могу его написать, не передергивая фактов и ничего не выдумывая. Сама Маунт-Айза внесла ясность в мои взгляды. Все мы жили в домах, принадлежащих шахте или оплачиваемых шахтой. Все мы были по уши в долгах у владельцев магазинов, принадлежащих шахте. Даже церковь — и та тесно связана с компанией.

Для женщины, не имеющей за плечами большого литературного опыта, не сталкивавшейся раньше с жизнью промышленных рабочих, такая тема была просто находкой для пробы сил. Но, кроме того, меня неудержимо влекло рассказать о жизни рабочих Маунт-Айзы.

В течение пяти лет я пять раз переписывала роман. И каждый раз получала отказ от издателей. В каждом варианте их что-то не устраивало. Поправки в двух последних вариантах сводились в основном к тому, чтобы по возможности приблизить действие к сегодняшнему дню, и в конце концов роман стал охватывать некий вымышленный период в один год, хотя в нем изображены события 1957—1961 годов.

Заглавие книги тоже неоднократно менялось за эти пять лет. В конце концов роман был назван «В медном котле» — название символическое, потому что, как говорит один из героев книги, Маунт-Айза — это котел, в котором не только плавят металл, но и переплавляют людей.

Поначалу, пытаясь, с одной стороны, не погрешить против правды, а с другой, облегчить свою задачу, я назвала место действия Маунт-Ирэна. Небольшая уловка, но она дала мне возможность писать без страха, показать жизнь такой, какой я ее сама наблюдала.

Но мой издатель сказал, что эта уловка не пройдет. И, конечно, он был прав. Он заявил, что следует печатать лишь такие вещи, которые при проверке нельзя назвать клеветой. И, несомненно, он снова оказался прав. Роман был прочитан в правительственном совете по печати, где отметили страницы, подлежащие изъятию. За это им еще следовало уплатить соответствующую сумму. Затем книгу передали редактору с выразительной просьбой: «Выбросить все, что может быть расценено как клевета в печати». В результате из книги изъяли более четырех печатных листов. И конечно же, книга оказалась в какой-то степени выхолощенной.

Роман вышел в свет в марте 1966 года, через год после его одобрения. Эта задержка получилась из-за того, что издателю никак не удавалось найти типографию.

В конце концов роман был отпечатан в газетной типографии, которая уже сталкивалась с пресловутым законом о клевете в печати. Здесь пришлось внести в книгу еще кое-какие коррективы.

И вот настал день 22 марта 1966, когда книга наконец увидела свет. В этот день был устроен торжественный вечер, все мои друзья, подбадривавшие меня и помогавшие мне эти долгие шесть лет, собрались, чтобы отпраздновать победу. Издатель книги сказал в тот день: «Этой победой автор обязан своему упорству».

В Брисбене профессор-историк на другом торжественном вечере поднялся и поздравил моего издателя, высоко оценив его честность и смелость. Что последовало за всем этим — история совсем иного рода.

Я обнаружила, что закон о клевете в печати, путы предварительной цензуры, которые, как цепями, сжимают автора и издателя, могут быть обойдены на радио и на телевидении.

И вот, почти одновременно с выходом книги, я начала систематически выступать по радио и телевидению с рассказами о жизни Маунт-Айзы. Шесть раз я выступала перед телекамерой в так называемых «живых» программах, которые передавались без предварительной записи на пленку.

Меня снова пригласили в Маунт-Айзу и, когда я приехала, устроили встречу, как герою. Корреспонденты осаждали меня буквально на каждом шагу. Я снова и снова говорила о своем глубоком убеждении, что в боях между рабочими и предпринимателями можно и нужно обходиться без кровопролития. Рабочие, проделавшие тысячи миль для того, чтобы, рискуя всем, скопить денег, не бастуют просто так — они бастуют лишь в том случае, если поставлены в невыносимые условия. Я убеждена, что, когда рабочие, доведенные до отчаяния невыносимыми условиями жизни, поднимаются в конце концов на борьбу, вся ответственность за последствия ложится на предпринимателей.

Австралии нужны книги о рабочем классе. Тем, кто возьмется за написание такой книги, я говорю: «Смелее вперед! Называйте место действия ваших романов вымышленным именем Маунт-Ирэна или по-иному, если это облегчит вашу задачу. Но когда придет время назвать вещи своими именами и когда несмотря на закон о клевете в печати и на предварительную цензуру ваш роман все-таки выйдет в свет, знайте, что вас ждут люди, массы людей, которые тянутся к вам через радио и телевизоры, тысячи людей, которым нужна ваша книга».

Со дня выхода романа в свет прошло уже два года, а меня по-прежнему приглашают рассказывать и о романе, и о Маунт-Айзе. Весь тираж книги полностью распродан.

Значит, моя тяжелая работа, усталость и огорчения были не напрасны, и, может быть, настанет день, когда я снова решусь предпринять что-нибудь подобное!

АВТОР

Литературное наследие

ЛИРИКА ПОЛЯ ВЕРЛЕНА

К 125-летию со дня рождения

Когда критики хотят привести пример непереводимости лирической поэзии, они обычно ссылаются на Верлена: можно с известной полнотой воспроизвести на другом языке стихотворное повествование, имеющее сюжет, реальных персонажей, приметы внешнего мира. У Верлена этого нет. Его музыкальные миниатюры воссоздают внутреннюю жизнь, которая во французской поэзии никогда еще не была передана с такой силой,— в ее непрерывном движении, самом процессе ее вечного становления и логически необъяснимых, непредсказуемых метаморфозах. «В его всегда меланхолических и звучащих глубокой тоской стихах,— писал М. Горький,— был ясно слышен вопль отчаяния, боль чуткой и нежной души, которая жаждет света, жаждет чистоты, жаждет бога и не находит, хочет любить людей и не может».

Казалось бы, герой Верлена живет вне общества и истории — впрочем, такое впечатление обманчиво: лирический мир Верлена — это душевная жизнь современника Коммуны, ее гибели, человека глухой поры 70—90-х годов. Казалось бы, даже природы в поэзии Верлена нет, хотя чуть ли не каждое его стихотворение — пейзаж. Осень, о которой так охотно пишет Верлен, это не столько время года и увядания, сколько метафора усталости, старения, обреченности, близящейся смерти. Ветер, порывы которого так часты в лирических миниатюрах Верлена, не столько пригибает к земле реальные кусты и рвет с деревьев листву, сколько символизирует всевластный Рок, грозящий гибелью беззащитным осенним листьям. Сумерки, сгущающиеся над землей во множестве Верленовых стихов,— образ зыбкости горестного бытия, угасающей мысли, тающих воспоминаний. Лес, в котором так любит блуждать поэт, это не столько реальные дубы и ели, сколько угрызения его совести, думы о прошлом, материализованные мечты и разочарования. Бескрайние, покрытые снегом равнины — тоска, угнетающая его душу. Душа — таково место действия почти всех стихотворений Верлена. Нередко в них и не отличишь, где кончается внешний мир и начинается внутренний. Для Верлена необыкновенно характерно раннее стихотворение «Воспоминание о тайне сумерек» (1866), которое в дословном переводе гласит:

«Воспоминание вместе с Сумерками алеет и трепещет на ярком горизонте Надежды, объятом пламенем, который все удаляется и ширится наподобие загадочной изгороди, где множество цветов — георгины, лилии, тюльпаны, лютики,— вьется вокруг решетки...»

Это — пейзаж? Конечно, ведь здесь написан сумеречный мир, заход солнца, пламенеющее небо, ограда, увитая цветами... В то же время это и никакой не пейзаж, потому что горизонт здесь особый, «горизонт Надежды, объятый пламенем», а Сумерки идут в паре с Воспоминанием, и оба существительных пишутся с заглавной буквы, так что даже эта орфографическая особенность придает им символический смысл. Здесь немало вещественных, предельно конкретных слов — названия цветов, решетка... Но конкретность эта обманчива — ведь действие все равно протекает в сознании поэта, и, как знать, может быть, нет и не было никаких тюльпанов и лилий, решетки и горизонта, а реальны только тоска по былому, ощущение неуловимости минувшего, невосстановимости его. Все верленовские «реалии» сливаются в музыкальном движении стиха, каждое слово становится нотой, звучащей в аккорде и в отдельности неразличимой.

Вот поэт бредет над грустными кувшинками, освещенными багрянцем заката, бредет, «печаль свою сопровождая», и перед ним встает «туман, как призрак самого отчаянья, и жалобой его казались диких уток пересвисты» («Сентиментальная прогулка», 1866, перевод А. Эфрон). Вот поэт в лесу, и здесь, «издерганный вконец, терзаемый толпой неясных угрызений», он ощущает себя трусом, содрогающимся от ужаса при виде «сборища теней», окружающих его.

А лепет родников, что в чаще колобродят,
Подобен голосам собравшихся убийц.

(«В лесу», 1865, перевод А. Эфрон)

Все эти верленовские мотивы получают наиболее совершенное воплощение в знаменитых «Песнях без слов». Здесь взаимопроникновение душевной жизни и природы, воображения и реальности, иронии и трагизма, точного слова и растворяющего его контуры музыкального напева, прошлого и настоящего достигает высшей точки. Пейзаж окончательно размыт, растворен в трепете переживания, он есть — и его нет, он далек и от аллегорической определенности, и от сочности метафорических уподоблений, он многомыслен и бесконечно зыбок.

В 1924 году Маяковский в одном из парижских кафе повстречался с призраком Верлена, умершего за три десятилетия до того. Маяковский рассказал о разговоре, в ходе которого русский поэт рассказал загробной тени своего французского собрата:

Я раньше
вас
почти не читал,
а нынче —
вышло из моды,—
и рад бы прочесть —
не поймешь ни черта:
по-русски дрянь
переводы *.

Маяковский не точно информировал своего собеседника. Верлена в России любили и порой переводили не так уж скверно. На фоне множества дурных виршей на верленовские темы выделялись переводы Иннокентия Анненского и Валерия Брюсова: оба они сделали немало для того, чтобы стихи французского лирика зазвучали по-русски, и по тому времени их переводы были иногда даже и хороши; но они создавались до прихода Блока в русскую поэзию, а именно Блок открыл в русском языке и стихе такие возможности, какие были необходимы для перевода Верлена.

Последнее издание Верлена вышло у нас в начале 20-х годов — то были переводы Федора Сологуба, которые Блок назвал «благоуханными». Позднее публиковались отдельные стихотворения, переведенные Б. Пастернаком, В. Левиком, Э. Линецкой. Мы вновь обращаемся к Верлену, обогащенные лирическим опытом поэзии XX века; к новому открытию Верлена нас подготовили Блок и Есенин, Ахматова и Пастернак. Многое из того, что несколько десятилетий назад казалось непереводимым, теперь начинает жить в русском стихе.

Не нужно искать в публикуемой ниже подборке полной цельности: ее не было и у самого Верлена, ее тем более не может быть у разных переводчиков, по-разному переживающих лирику Верлена. Сам Верлен видел высшую цельность не в единстве тона и слога, а в интенсивности лирического чувства.

Во французской литературе роль Верлена исключительная. Вместе с его предшественником Бодлером и современником Рембо он оказался у истоков новой поэзии, и поныне его лирика по чистоте, непосредственности, искренности не имеет равных во французском языке; впрочем, среди пишущих и на других языках мало кто может соперничать с этим лириком, в котором Анатоль Франс видел «самого оригинального, самого грешного и самого мистичного, самого сложного и самого простого, самого смятенного, самого безумного, но уж конечно и самого вдохновенного и самого подлинного из современных поэтов».

Е. ЭТКИНД

■ ■ ■

В размытой синеве неярко и нещедро
Сияет солнца свет; похожи на костры
Кусты осенних роз в тугих объятьях ветра,
И воздух чист и свеж, как поцелуй сестры.

Покинув свой престол в нетронутом эфире,
Природа, в доброте и прелести своей,
Склонилась над людьми, мятежнейшими в мире,
Изменчивейшими из всех ее детей,

Чтобы каймой плаща — куском самой вселенной —
Пот отереть со лбов, угрюмых, как свинец,
Чтобы вдохнуть покой души своей нетленной
В разброд и суету забывчивых сердец.

* Парижские стихи «Верлен и Сезанн».

Сегодня, наконец, мы на земле как дома.
От зол и от обид освобождает нас
Все, что открылось нам в просторах окоема.
Уймемся. Помолчим. Настал раздумья час.

■ ■ ■

Как волны цвета сердолика,
Ограды бороздят туман;
Зеленый свежий океан
Благоухает земляникой.

Взмах крыльев мельниц и ветвей
Прозрачен, их рисунок тонок;
Им длинноногий жеребенок
Под стать подвижностью своей.

В ленивой томности воскресной
Плывут стада овец; они
Кудрявым облакам сродни
Своею кротостью небесной...

Недавно колокольный звон
Пронесся звуковой спиралью
Над млечной, дремлющею далью
И замер, ею поглощен.

Карусель

За кругом круг упряжки коней,
За другом друг сто тысяч кругов...
Под вой гобоя, под визг рожков
Крутись, вертись, кружись веселей!
Пока хозяин с хозяйкой чинно
Гуляют за городом по парку,
На карусели солдат кухарку
Катает — видный собой мужчина.
Кружитесь, кони, услада слуг,
Под крик кларнета: покуда с вас
Зеваки круглых не сводят глаз,
Карманник не покладает рук.
Когда слоняешься ты с толпою,
В затылке гулко, в желудке сладко,
Не то что славно, не так чтоб гадко,
А шатко-валко, как с перепою.
Кружитесь, кони, не зная троп,
Ни вкуса сена, ни жала шпор...
Пусть вас уносит во весь опор
Ваш вечно круглый шальной галоп!
Еще быстрее! Голубку скоро
Захочет голубь от карусели
Отвлечь: другое пойдет веселье
Без госпожи и ее надзора.
Кружитесь, кони! Плащ темный свой
Усеял звездами небосклон;
Уже уходят она и он,
Кружитесь под барабанный бой!

■ ■ ■

Под ветром ежатся, как дети,
Ракит кладбищенских кусты
В белесом леденящем свете.

Скрипят сосновые кресты —
Могил печальные обновы.
Кричат, как заткнутые рты.

Текут, безмолвны и суровы,
Рекою траура и слез
Родители, сироты, вдовы.

По кругу и наперекос,
Под содрогания рыданий
Плутают меж бумажных роз.

Трудны тропинки расставаний!
Летят, беснуясь, облака,
Свивая небо в рог бараний.

Как угрызенье, как тоска,
Живых терзает дрожь озноба,
А мертвым стужа — на века.

Неласкова земли утроба!
Забвенье, память ли нужна
Им, стынущим под крышкой гроба?

Хоть бы скорей пришла весна
И с нею щебет, и цветенье,
И жаркая голубизна!

Приди, о чудо обновленья,
И расколдуй сады, леса
От зимнего оцепененья!

Пусть солнце полнит небеса,
Пусть над тоскою беспредельной
Погостов жизни голоса
Звучат подобно колыбельной.

Перевод А. ЭФРОН

Осенняя песня

Вскрики
Осенней скрипки —
Ветра долгие стоны...
Душу берет в тиски
Песня тоски
Монотонной.

Дробный,
Зовущий, ровный
Звук наполняет уши...
Бой
Часов гробовой —
Слез внезапных удушье.

С пеньем
Глухим, осенним,
Закружив до упада,
Обняла, точно смерть,
Круговерть
Листопада.

Наваждение

Пробегает мышь,
Черная на сером в час вечерний.
Пробегает мышь,
Серая на черни.

Колокол гудит.
На покой пора тюремной братье!
Колокол гудит.
Спите, бога ради.

Все печали прочь.
Вновь во сне к любимым прикоснитесь.
Все печали прочь —
Радости приснитесь!

Полная луна.
Храп клокочет у соседа в глотке.
Полная луна
Прямо на решетке.

Облака ползут —
Будто сажа в печке оседает.
Облака ползут.
Погляди, светает!

Пробегает мышь,
Розовая на дорожке синей.
Пробегает мышь.
Подымайтесь, свиньи!

Перевод А ЯКОБСОНА

■ ■ ■

То розоваты, то зелены
Под фонарями белесыми
Пляшут холмы и расселины,
В беге сливаясь с откосами.

В золоте дали глубокие
Тускло горят багряницами.
Два деревца кособокие
Хохлятся сирыми птицами.

И провожающий с мукою
Эти приметы осенние,
Я мои беды баюкаю
Под монотонное пение.

■ ■ ■

За утренней мглою
Сквозят пустыри
Печалью былою
Вечерней зари.
Печалью былою

До края полны
Вечерней зарею
Рожденные сны.
Не зная возврата,
Нездешние сны,
Они, как закаты
Песчаной страны,
Уходят куда-то
И гаснут впотьмах,
Печальней заката
В песчаных холмах.

Ночной мираж

Стемнело. Льет. За сизой пеленой
На мутном небе готикой сквозной
Чернеет город, сумерками скраден.
Пустырь. Под горбылями перекладин,
Ордой ворон расклеваны дотла,
Танцуют жигу щуплые тела,
Которым волк обгладывает ноги.
Кругом лишь дикий терн, да у дороги
Щетинится на жиже восковой
Чертополох. И движется конвой:
Ведут босых и бледных несказанно
Троих людей — и двести протазанов,
Как бороной потемки бороздя,
Скрестили зубья с копьями дождя.

■ ■ ■

Далекий рог печалится в бору,
Как сирота, выплакивая горе,
И глохнет, отрыдав, на косогоре —
Лишь отголоски стонут на ветру.

Душа волчонка плачет в этом хоре
И затихает только ввечеру —
И плач торопит робкую игру
Больного солнца, гаснущего вскоре.

А вот и хлопья первые летят
И корпией ложатся на закат,
Чтобы унять нездешние печали,

И словно вздох осенней тишины
Завороженный воздух — так нежны
Вечерней мглой обласканные дали.

■ ■ ■

Над прошлогоднею травой
Гуляет ветер вихревой,
И снег на солнце и ветру,
Звеня, смерзается в кору.

Но крепнет дух лесов и льдов,
Поет простор на сто ладов,
И в дымных селах день за днем
Все веселей горят огнем
Колокола и флюгера.
Пора, душа моя, пора!
О, как чудесно одному
Брести в редеющем дыму!
В дорогу! Что глядеть назад!
Остыл очаг — остался чад.
Весна сурова, но сладка
И вся — как весть издалека,
Что миновали холода
И бог терпенья и труда
Нас не забыл. Так помолись —
И в путь. Надежды заждались!

■ ■ ■

Луна багряная проглянула слегка,
Заводит марево причудливые пляски
Над сонной пустошью, кричит лягушка в ряске,
И пробегает дрожь по тени тростника,

Свернулись лилии холодными клубками,
Прямые тополя слились в одну черту
И цепью призраков уходят в темноту,
Искрятся заросли росой и светляками,

Сова бесшумная плывет неслышно прочь,
Глухими крыльями волнуя темный воздух;
И вот зенит уже в затеплившихся звездах.
Венера светлая встает, и это — Ночь.

Перевод А. ГЕЛЕСКУЛА

И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ

ОДИН ГОД

Заметки о современном румынском романе

I

О чем пойдет речь? О последних произведениях или о путях развития и новых тенденциях в румынской прозе?

Не будучи ни профессиональным критиком, ни ученым и не претендуя на теоретические обобщения, я хотел бы все же обратить внимание на важные процессы, начавшиеся в румынской литературе за последнее время. Я заранее отдаю себе отчет, что в журнальной статье сравнительно трудно будет вскрыть их сущность и значение. Но мне кажется, что можно сделать следующее: заинтересовать читателя последними новинками румынской прозы, показать, что речь идет об интересных и заслуживающих внимания романах, о появлении новых талантов, овладевших изобразительными средствами современной художественной прозы.

Следует прямо сказать, что наша информация о румынской литературе нередко сводилась к трафаретным оценкам и славословию. Поскольку литература, как и вся общественная жизнь Румынии, развивалась под знаком строительства социализма, хотелось сообщать в первую очередь о достижениях наших друзей. В печати появилось немало деликатных заметок и рецензий, расхваливавших слабые книги, переведенные на русский язык, и это, естественно, подрывало интерес вдумчивого читателя к румынским литературным новинкам. Надо сказать, что в Бухаресте, я сталкивался с точно таким же явлением, когда речь заходила о современной советской литературе. Самым большим врагом всякой литературы является не критика, не объективная оценка ее достижений и недостатков, а наивное славословие, попытка уйти от сложностей литературного процесса и от борьбы, вне которой не рождается ничего нового и подлинно ценного.

Повторяю: в журнальной статье вряд ли можно нарисовать всю картину развития литературы страны, имеющей большую историю и свои традиции. Потому я буду говорить только о немногих книгах, а именно о романах 1968 года. Процесс развития разных литературных жанров редко происходит равномерно. И раньше в румынской прозе встречались интересные и даже выдающиеся произведения. Достаточно вспомнить послевоенные книги Михаила Садовяну, роман «Морометы» Марина Преды, некоторые книги Захарии Станку и Джео Богзы. Но в предыдущие годы считалось, что в Румынии впереди все же идет поэзия. В последнее время румынские критики все чаще говорят о размахе и углублении опыта новой румынской прозы. 1968 год даже был назван «годом романа», настолько очевидными стали его успехи, настолько убедительными по своей художественной силе обобщения оказались книги этого года.

Даже простое перечисление романов и повестей, вышедших в свет за последний год, говорит о многом. В этом списке мы находим имена широко известных романистов, таких как Захария Станку и Марин Преда. Есть в этом списке и новые имена. Но наиболее интересными оказались произведения писателей, которые уже печатались и раньше, однако в последних книгах они как бы сделали качественный скачок и поразили читателя своим талантом и большим мастерством. Таковы, например, Фэнуш Нягу, Николае Бребан, Ал. Ивасюк. Писатели они разные, и трудно предположить, что все трое пришли к новым достижениям в одно время только лишь в силу

внутренней логики развития своего таланта. Не последнюю роль, по-видимому, сыграли новые требования, предъявляемые читателями. Годы размышлений, самоанализа, борьбы — все сыграло свою роль в появлении серьезных и сложных произведений последнего времени.

II

Итак, румынский роман 1968 года. Из множества книг, вышедших в этом году, мы выбрали только те, которые вызвали живой отклик у читателей и получили признание критиков.

Литература отражает жизнь, действительность. Но мы давно знаем, что законы отражения не так просты, как это казалось некоторым литераторам, и что любая книга весьма сложно повторяет мир действительности. Было время, когда румынские прозаики, причем отнюдь не самые бездарные, считали возможным писать «злободневные» книги, вовсе не отражающие то, что происходило в реальной жизни. Злободневность, конечно, хорошая вещь. Плохо, когда она упрощается и вульгаризируется.

В румынской прозе последних лет все реже появляются произведения, сознательно приукрашивающие образы сегодняшнего дня. И все больше становится удельный вес таких книг, в которых автор пишет о самом себе и о других, стремясь отразить и выразить весь свой жизненный опыт и понять переживаемое им время.

Злободневен в хорошем понимании этого слова Захария Станку. Вот уже много лет как Станку публикует романы и повести, составляющие по сути дела *одну* книгу, единый роман-исповедь, в котором рассказ главного героя Дарие о своей нелегкой и богатой событиями жизни соединен с повествованием о жизни румынского общества на протяжении целой эпохи. Станку — писатель, поражающий широтой изображаемого им мира, глубиной анализа жизни Румынии.

В 1968 году Захария Станку опубликовал две книги: «Табор» и «Как я тебя любил». Работоспособность этого писателя давно известна, ее можно было бы объяснить стремлением изобразить мир, который его сформировал, показать свое развитие, свою сложную судьбу; но в последние годы выяснилось, что живое ощущение своего «я», которое лежит в основе автобиографической серии, далеко не единственная движущая сила его творчества. Автобиографический импульс сочетается у Станку со способностью эпически отразить свое время. Станку отвлекается от главной задачи, которую он как будто себе поставил, и попутно с книгами, представляющими собой развернутые эпизоды его *главной* автобиографической книги, появляются произведения, в основу которых положен отнюдь не только собственный сокровенный опыт.

Таков роман «Табор», где повествуется о событиях, происходивших во время второй мировой войны.

Свою творческую деятельность Захария Станку начал еще в конце двадцатых и в начале тридцатых годов, когда бациллы итальянского фашизма и немецкого национал-социализма в симбиозе с шовинизмом, выросшим на румынской почве, родили новый своеобразный «штамм», вселившийся в старых фашистов типа А. Ч. Кузы и железногвардейца Кодряну. В автобиографических романах Захарии Станку сотни страниц посвящены румынскому фашизму, его воздействию на политические нравы Румынии. Работу эту автор, по-видимому, не считает законченной и дополняет ее почти в каждой книге, посвященной тому времени. Роман «Табор» как раз и является одним из таких дополнений, в нем рассказывается о горькой судьбе цыган в годы второй мировой войны.

Известно, что гитлеровцы намеревались уничтожить цыган в первую очередь, наряду с евреями, прежде чем приступить к искоренению и ограничению численности других народов. Румынские лакеи Гитлера из правительства Антонеску пытались решить «цыганскую проблему» своими средствами: кочующие по Румынии таборы получили приказ отправиться в разрушенные войной восточные районы страны, где голод и холод должны были сделать то, что оказалось не под силу аппарату Гиммлера. Роман Захарии Станку — это рассказ о горестной эпопее одного цыганского табора.

Границы романа четко определены жизнью кочующего табора. Война врывается в этот замкнутый мир, существующий по своим неписаным законам, как стихийное бедствие, смысл которого «темнолицым людям» непонятен. Беда, обрушившаяся на целое человеческое сообщество, бессмысленная жестокость войны, которая становится особенно очевидной, когда она захватывает судьбы людей, ничего не знающих о событиях, приведших к катастрофе,— все это отражено в романе с большой глубиной. Но и слабые стороны романа, как мне кажется, тоже вызваны идеей потока, захватывающего судьбы людей, стремлением автора подчеркнуть «невинность» цыган, далеких от цивилизации и жестокой борьбы, сопутствующей жизни оседлых и культурных народов. Попав в тяжелые условия, табор гибнет; прежде чем это происходит, люди, живущие по примитивным, но справедливым законам, дичают. Романист, пожалуй, слишком увлекся подробным описанием драк, поножовщины, изнасилований, животной жизни своих героев, их наивностью и неведением, их соленым, примитивным языком. Роман «Табор» раскрывает новые грани писательского таланта Захарии Станку, хотя я должен признаться, что в творчестве этого самобытного художника, создающего свои книги на основе огромного жизненного опыта, меня больше всего привлекают те из них, в которых лиризм, исповедь, автобиография сочетаются с достоверными деталями быта, с описанием социальной атмосферы и раскрытием общественных проблем, определивших историческое развитие Румынии на протяжении последнего полувека,

III

Захария Станку, как никто другой, помогает нам понять *корни* новой социалистической Румынии; один из его лучших романов, пока еще не доведенный до конца, хотя уже опубликовано *пять* томов, символически так и называется — «Горькие корни». Но как раскрывается в румынском романе день сегодняшний? Не преобладают ли в современной румынской прозе повествования о прошлом, о бурных годах войны или о том крутом повороте, который произошел сразу же после ее окончания?

Я не стану утверждать, что современный румынский роман дает всеобъемлющую картину сегодняшней жизни со всеми ее сложностями и противоречиями, достижениями и недостатками. Достаточно вспомнить богатые традиции румынского *социального* романа, чтобы прийти к убеждению, что в этой области румынским прозаикам осталось еще многое сделать. И тем не менее следует признать, что все реже появляются в румынской литературе невыразительные, банальные, напыщенные книги, в которых жизнь подменена наивной благополучной схемой. Мастера славословия, в сущности, люди равнодушные, они лишены любви к своему делу, не говоря уже о том, что они совершенно беспомощны, когда нужно отвечать перед серьезными, вдумчивыми читателями и решать сложные вопросы, выдвигаемые современным этапом развития общества.

Стоит нам вглядеться повнимательнее в тот мир, который рисуют наиболее интересные книги, появившиеся в Румынии в 1968 году, и мы увидим, что стремление к постижению новых социальных отношений присуще в той или иной степени всем румынским прозаикам. Однако нельзя сказать, что эта тенденция осуществляется в полную меру. Мешает этому модное теперь в Румынии тяготение к аллегоричности, символике, иррациональному в духовном мире героев. Даже писатели-реалисты, умеющие сильно, глубоко и правдиво изображать жизнь, создавать запоминающиеся характеры, почему-то все еще считают нужным намекать и на «символическое значение» описываемых ими событий. Но к этому вопросу нам еще придется вернуться.

Известный румынский писатель Марин Преда — один из тех, кто стремится понять закономерности развития социалистических отношений в румынских условиях. Последний роман Преды «Чужой», опубликованный в 1968 году и отмеченный премией журнала «Вяца ромыняскэ», интересен не только поставленными в нем проблемами, но и глубоким нравственным чувством автора, его стремлением исследовать область духа, морали, перейти от описания действительности к анализу. Поскольку я уже писал об этой книге *, ограничусь здесь лишь одним замечанием.

Марин Преда, пожалуй, в меньшей степени, чем другие, отдает дань попыткам изобразить подсознательные мотивы человеческих действий. Но говоря о сложных общественных явлениях, Преда, как и большинство современных румынских прозаиков, все же останавливается на полпути. Героев Преды мучает беспокойство, они заняты длительными и постоянными поисками смысла своей жизни и всего того, что происходит в окружающей их действительности, идея устройства справедливого общества для них — личная потребность, но итоги их размышлений весьма неопределенны и расплывчаты. В романе «Чужой» звучит горечь за судьбу его главного героя Сурупэчану, оказавшегося «чужаком» и в городе, который он строил, и в своей семье. Сурупэчану покидает семью и город, писатель снова бросает его в бесконечный океан добра и зла; и хотя герой преодолевает свое отчаяние и готов начать жизнь сначала, конец романа звучит скептически. Автор ничего не утверждает определенно, вопросы, поставленные в книге, заданы читателю, по-видимому, только для того, чтобы они вечно оставались вопросами.

Заявив, что стремление изобразить и понять развитие сегодняшних социальных отношений — одна из новых тенденций современной румынской прозы, мы не исключаем и писателей, увлекающихся сложной современной формой, внутренним монологом и другими приемами, которые мешают иногда пониманию и восприятию произведения. Содержание и тех румынских романов, которые на первый взгляд кажутся интересными лишь своими поисками в области формы, на самом деле также отражает жизненные явления сегодняшней социальной действительности Румынии и помогает лучше понять ее нынешний этап развития.

Хорошим примером этого является последний роман писателя Ал. Ивасюка «Интервал», опубликованный в 1968 году и получивший премию журнала «Ромыния литерарэ». Роман читать нелегко, в нем внутренние монологи двух главных героев — Ольги и Илие — чередуются с их реальным диалогом, время настоящее, в котором ведется повествование, легко переходит во время прошедшее, а воспоминания, в свою очередь, незаметно становятся воспоминаниями о воспоминаниях. Можно подумать, что автор и редактор задались целью сделать книгу нечитабельной, они не потрудились отметить переход от одного эпизода к другому хотя бы типографскими значками, чтобы у читателя не возникало ощущения, будто он внезапно провалился в колодец; читатель должен проявить немало терпения, прежде чем он поймет, в каком «пласте» романа он находится.

И все же роман Ал. Ивасюка — интереснейшее произведение, свидетельствующее о большом и оригинальном таланте автора, о зорком и глубоком постижении психологии личности и массовой психологии современ-

* См. «Иностранную литературу» № 2 за 1969 год.

ников. В этом романе, который на первый взгляд кажется таким камерным, отдельные сцены полны глубокого социального значения.

Парадокс заключается в том, что книга Ал. Ивасюка преподносит читателю в нарочито усложненной форме внутреннего монолога и «потока сознания» своих героев рассказ о реальном мире, где главную роль играют отнюдь не подсознательные мотивы, а социальное бытие.

В романе Ал. Ивасюка умная, впечатлительная Ольга, женщина с обнаженной душой, пытается понять, что произошло в одну трагическую для нее ночь 1952 года, когда студенческое собрание, созванное для выявления врагов нового общественного строя, внезапно причислило и ее к этой категории и единодушно постановило исключить из коллектива. Самую резкую и несправедливую речь о ней произнес тогда Илие Киндиш, юноша, которого Ольга считала своим близким другом. И вот с той поры прошло двенадцать лет. Ольга, потеряв мужа, погибшего в результате несчастного случая, неожиданно снова встречает Илие. За эти годы ее бывший коллега стал преподавателем истории в университете, подающим большие надежды молодым ученым, занятым оригинальными историческими исследованиями. Илие приглашает Ольгу совершить с ним путешествие в горы, по местам, где они уже когда-то бывали вместе. Илие настаивает на поездке, потому что чувствует необходимость объясниться с Ольгой и оправдаться за произнесенную им речь. Ольга, со своей стороны, соглашается ехать, потому что она испытала на том собрании потрясение, которое навсегда осталось в ее душе, и она хочет понять Илие.

Так начинается эта странная, полная внутреннего драматизма экскурсия двух очень разных, но связанных общими воспоминаниями людей. Мысли и воспоминания Ольги и Илие, их попытка понять друг друга составляют содержание романа. Автор, пользуясь в основном внутренним монологом, раскрывает их духовную жизнь *изнутри* и делает это с реалистической убедительностью, хотя далеко не все страницы книги написаны с одинаковой силой; иногда чувство меры изменяет автору, и он излишне усложняет повествование несущественными деталями и многозначительными отступлениями.

В сущности, Илие и теперь не считает себя виновным за свою клеветническую речь на студенческом собрании, он даже пытается убедить Ольгу, что поступил тогда правильно, иначе и нельзя было поступить: ее все равно уже невозможно было спасти, поэтому следовало думать о себе, не давать повода разгоряченной массе искать новые жертвы. Илие убежден, что кто идет против своего времени, тот погибает; нет никакого смысла противиться действительности, ее правилам и канонам. Свою философию Илие излагает весьма туманно, подкрепляя ее, однако, историческими фактами, документами и различными эпизодами, рисующими жизнь людей в далеком прошлом. Внутренний монолог Илие, в котором он пытается оправдаться перед самим собой, вспоминая отрывки из писем, найденных им в исторических архивах, написан с огромной впечатляющей силой. Ал. Ивасюк рисует нам, в сущности, историю духовной *болезни* молодого себялюбца, живущего двойной жизнью. Глубоким социальным значением полон и рассказ Илие о странной судьбе политика, архитектора и художника начала XVIII века Кримковича, который по своим способностям мог бы сравняться с могучими талантами Возрождения, но не добился успеха ни в одном из своих начинаний, потому что, как объясняет историк, Кримкович шел против своего времени. Однако исторические примеры Илие, за которые он цепляется, чтобы оправдать себя, оказывают обратное действие на Ольгу. Слушая его рассуждения, она вспоминает своего мужа Петру, тоже много размышлявшего о детерминизме и свободе воли и мучавшегося вопросами личной ответственности за свое поведение в бурные военные годы, когда ему пришлось убить офицера, командира своей части, заподозренного в том, что он собирается перейти на сторону врага. Петру много видел и после войны, когда был на партийной работе в одном из районов, жестоко пострадавшем от засухи. Душевное успокоение Петру нашел в своей профессии — он стал архитектором. А Илие Киндиш искал в своей профессии историка лишь новые аргументы для своего приспособленчества.

Кто же, в сущности, был Петру и чем он отличался от Илие? Что изменилось в самой Ольге за истекшие годы? Кто был ее отец, отказавшийся от научной карьеры и превратившийся в вежливого обывателя, который находит утешение в чтении книг?

Из всего этого сложного лабиринта философских и психологических вопросов, из переплетения воспоминаний о рассказах Петру и объяснений Илие, из длинной цепи противоречивых мыслей и чувств, из порывов и сомнений самой Ольги в конце книги возникает нечто похожее на синтез, некая центральная идея, которую Ольга выражает следующими словами, обращенными к Илие:

«Слава богу, я, наконец, поняла разницу. Как пуст мир, в котором ты живешь! Огромное пустое пространство, лишенное предметов, заселенное лишь ускользающими тенями; наблюдение за тем, как они исчезают, по-видимому, и составляет твою единственную радость. Какой кошмарный мир, где все, что побеждает, тем самым доказывает свою правоту, и всякое зло оправдано. (...) Кто-то — у него, несомненно, был опыт — сказал, что абсолютная свобода, когда все возможно и все возможное реально (...),— ад. Может быть, это так. Но каким адом стал бы и твой мир, мир абсолютной необходимости, в котором все вещи, даже те, которые находятся в развитии, уже мертвы. Какой чудовищный мир, какой чудовищный мир! Все оправдано. Даже преступление, понимаешь? Эсэсовский офицер, хоть он не был достаточно утонченным, но и он, наверно, аплодировал бы

твоим идеям. Ведь он имел дело у газовых печей с живыми людьми, которые не принадлежат к тому, что гитлеровцы называли «расой господ», и следовательно, они просто не существовали, он убивал мертвецов. А что может быть легче, чем убивать тени? Это все равно что стрелять из револьвера по экрану кинематографа, когда показывают фильм. Рискуешь лишь уплатой штрафа за повреждение экрана. Но мир богат, да, это, очевидно, так, и потому его можно определить лишь во взаимосвязях, в диалектической борьбе между необходимостью и свободой. Несколько претенциозно сказано, но думаю, что дело только в этом. Я не знаю, как это выразить, но я убеждена, что мы живем в необычайно богатом мире, во всяком случае я предпочитаю жить в таком мире, даже если в нем найдется место и для Кримковича и для тебя. Ты не стал неудачником лишь потому, что ты вообще не способен что-нибудь начать, тебе не хватает импульса... Ну, а теперь, поскольку каждый из нас уже произнес свою тираду, уйдем отсюда, вернемся в долину. Когда ты вспомнишь о самом тяжелом своем грехе, совершенном не ради собственного блага, а вопреки ему, тогда у тебя появится шанс стать другим. Возможность совершить ошибку и боязнь этого всегда дает что-то новое...»

Несмотря на тревогу, несмотря на беспокойные вопросы, в книге есть и прекрасные эпические страницы, и пластические образы. Великолепны по глубине психологического анализа эпизоды романа, где повествуется о послевоенной засухе, когда росли суеверия и измученные голодом люди готовы были признать любого пророка (Ивасюк рассказывает, как таким пророком стала помешанная старая дева, которую ее собственные приверженцы в конце концов убивают). Пожалуй, только в румынском классическом романе «Восстание» Ливиу Ребряну можно найти психологические детали, которые могут сравниться по своей силе и убедительности с описаниями деревни и крестьян в книге «Интервал».

Ал. Ивасюк бесспорно — один из самых интересных румынских прозаиков, несмотря на излишне усложненную форму и символику, ослабляющие художественное и социальное значение его произведения.

IV

«Интервал» — не единственный современный румынский роман, в котором одновременно с поисками новой формы звучат серьезные социальные мотивы. Но бывает и другое: тема переносится писателем из сферы социальной в сферу «чистой» психологии, а точнее говоря, психопатологии, которая вряд ли поддается художественному анализу. И возникают произведения, в которых талант автора отдан описанию сложности и противоречивости больной души, книги, говорящие о зыбкости внутренней жизни героев.

Любопытно с этой точки зрения посмотреть новый роман Николае Бребана «Больные животные», получивший восторженные отзывы в румынской печати и премию Союза писателей.

«Больные животные» — интересная книга. Знакомясь с ней, внимательный читатель несомненно подумает о том, что ее автор много раз перечитывал Достоевского. Муки раздвоенной личности, темные и загадочные стороны человеческой души, борьба между реальностью и фантазией, между добром и злом, нравственная чистота наивной больной души, психология преступника, действующего под влиянием «идеи»,— все эти мотивы, знакомые нам из великих романов Достоевского, можно найти и в книге Николае Бребана. Разумеется, я далек от мысли обвинить автора в заимствовании. Но вчитываясь в его книгу, оценивая ее сильные и слабые стороны, нельзя не подумать о том, что всякая попытка вдохнуть жизнь в схему, не согретую нравственной страстью и не выражающую реальную действительность, обречена на неуспех.

Изобразительный талант Н. Бребана бесспорен. Его писательская техника основана на опыте и достижениях современной прозы. Н. Бребан — проницательный психолог. К тому же он лирик. И он очень образованный человек, он в курсе социальных и идейных проблем, волнующих сейчас человечество. Сюжет романа «Больные животные» умело построен, книга читается с интересом, она держит читателя в напряжении до последней страницы. В ней есть и интереснейшие наблюдения, оригинальные мысли о человеке и жизни общества. Но нет в этом романе ясно обозначенной темы. И нет в нем определенного отношения автора к своим героям. Книга хорошо отделана, исполнена ума, и все же она не волнует. Эффектных приемов в ней больше, чем нравственного чувства.

Румынские критики много писали о романе Николае Бребана. Они писали о раздвоенности героев, о том, что некоторые персонажи дополняют друг друга, а другие взаимозаменяемы. Говорилось о том, что действительность в этом романе носит «магический» характер, а драмы — «метафизический». Писалось и о том, что «Больные животные», в сущности,— два романа в одном: детектив и роман об условиях человеческого существования. И кого только не вспоминали критики, анализируя роман: Достоевского и Маринетти, Хейдеггера, Кьеркегора, Франца Кафку, Эжена Ионеско и даже Отто Вейнингера, автора исследования «Пол и характер», пользовавшегося известностью в начале века. Но критики не обратили внимания на отсутствие у Н. Бребана какой-либо центральной идеи, хотя и называли его книгу «интеллектуальным» романом. Мало говорилось и о склонности автора увести повествование в сферу психопатологии и попытке изобразить сумасшествие как клиническое явление.

И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ
ОДИН ГОД

Сюжет романа выдержан в традициях детектива. В промышленном городке, расположенном в глухой горной местности, совершается загадочное убийство: на местной фабрике убит рабочий. Подозрение падает на его врага, другого рабочего, которого арестовывают, хотя у следственных органов нет доказательств, что убил именно он. Вскоре, однако, происходит новое убийство. На этот раз жертва — молодой человек, еще не кончивший школу, личность с сомнительной репутацией, картежник и любитель легкой жизни. А по прошествии нескольких дней жертвой таинственного убийцы пал еще один рабочий, Криницкий — странный человек, проповедник, читающий по вечерам рабочим из своего общежития Библию и собравший вокруг себя небольшую группу религиозных фанатиков.

Естественно, что три убийства, случившиеся в маленьком городке, вызывают панику. Никто больше не уверен в своей безопасности. Следственные органы теряются в догадках. У прокурора и следователей есть основания подозревать очень многих, потому что у всех персонажей, так или иначе причастных к убитым, в жизни и поведении есть нечто неизвестное, вызывающее подозрение. Вот мачеха убитого школьника Ирина — женщина, одетая всегда в черное, ведущая непонятную, в чем-то даже и таинственную жизнь. В нее влюблены студент Титус и некто Гашпар, приезжий человек, неизвестно зачем пожаловавший в захолустный городок и избегающий его жителей. Даже «святой» человек Криницкий не совсем ясен следователям, возможно, что и он как-то причастен к загадочным убийствам. Словом, автор построил сюжет по всем правилам детективного романа, исход которого невозможно предугадать. Приезжий следователь из центра, полковник милиции Воштинару, действующий грубыми и непозволительными средствами, идет по ложному пути и оказывается в тупике. Намного умнее и проницательнее полковника простой старшина Матеяш, которого устранили от следствия за его наивность и фантазии. Но именно Матеяш в конце концов разоблачает убийцу. Им оказывается один из адептов Криницкого, фанатик Милоя, в сущности психопат-параноик.

Однако все это лишь сюжетная канва «первой» книги. «Второй» роман важнее первого. Его основу образует внутренняя жизнь персонажей, их сложные отношения, противоречивость и болезнь душ, приводящие к драме. «Больные животные» у Николае Бребана — это люди. Почти все люди, о которых идет речь в романе, хотя болезнь у каждого своя, особая.

Самым цельным художественным образом в романе является образ Криницкого, который из страха перед своей силой и вспыльчивостью приходит к мысли о необходимости обуздать животное начало в своей природе. Именно Криницкий, несмотря на все свои наивные проповеди и религиозность, наиболее *человечный* образ романа, обаятельный и добрый, одержимый великой скорбью за людей, готовый жертвовать всем ради облегчения участи тех, кого терзают внешние обстоятельства, слабости, пороки или болезнь их собственной души. «В наше время,— говорит Криницкий,— плохо то, что люди стыдятся творить добро, хотя они и знают, что это такое. Но никто не остерегается причинять зло, никто даже не пытается его отсрочить, что уже было бы некоторой заслугой, потому что в наши дни злом гордятся». В своем рвении приносить добро людям Криницкий доходит до того, что отрицает благородство своих действий и искренне считает себя эгоистичнее других.

«Не благодари меня,—говорит он больному Паулю, за которым трогательно ухаживал,— я сделал это не для тебя, а для себя самого... Я не проповедник, не пророк и не исцелитель. Я всего-навсего человек более одинокий, чем другие, я хочу сказать, что не удостоился даже иметь семью, жену и растить детей... А ведь я сильный человек и мог бы воспитать больше детей, чем другие».

Образ Пауля, душевно больного, но очень чистого, восторженного человека, который невольно становится свидетелем жутких убийств, наделен странным обаянием. Он живет в мире фантазии и беспочвенных грез, его чувства отражают реальность не так, как у нормальных людей, он видит то, чего нет в действительности, и способен узреть вещи, которые не замечают обычные люди. Пауль лишен способности мыслить логически, но «разве не может быть мышления, способного существовать вне логики?» — спрашивает автор. «Не является ли обыденная логика предрассудком, разделяемым всеми? В этом смысле Пауль был человеком, начисто лишенным предрассудков, и тут ему сильно помогала его слабая память, настолько слабая, что она казалась несуществующей или во всяком случае весьма капризной и веселой». Слово «веселой» здесь не случайно — больной Пауль бывает веселым и счастливым. С точки зрения пошлого здравого смысла он ненормальный, чудак, но в нем есть и черты прекрасного человека. Он наивен, чужд всяким эгоистическим страстям, способен на неожиданные рефлексии и глубокие наблюдения. Задумавшись о смерти, он внезапно говорит: «Неужели это странное и больное животное—человек—не способно ни на какие действия, если сразу же не может извлечь из них конкретной, немедленной пользы? Неужели мы должны извлекать выгоду даже из мучительной мысли о нашем собственном исчезновении, о нашей собственной казни?» Этот человек, кажущийся всем жалким и смешным, поражает иногда окружающих своей наблюдательностью и невозмутимостью мудреца.

В сущности, Пауль, несмотря на свою болезнь, единственный *счастливый* человек в романе «Больные животные». Он носит в своей душе не только страдание, но и великую любовь к миру, он ребенок, устами которого иногда глаголет истина, он чист и чуток, болезнь сочетается в нем с поэтическим видением мира, со стремлением слиться с природой, раствориться в ней. «Он шел быст-

ро и счастливо озирался вокруг на большие белые камни, на сочную шелестящую зелень, и на одно, два, три мгновенья вдруг почувствовал себя очень важным, потому что все кругом, все эти *существа* — трава, деревья, воздух, камни,— все они были беспомощны и слабее его». Эти слова из эпилога книги дают ключ к пониманию образа Пауля.

Что можно сказать о других героях романа? Каждый из них чем-то интересен, но автор, движимый идеей «больных животных», придает, к сожалению, слишком большое значение болезненным чертам их психологии. Вот, например, Ирина — единственный женский образ романа. Это красивая, но глубоко несчастная женщина, одержимая навязчивой идеей, что она приносит всем несчастье. «Я несчастное создание,— говорит Ирина,— проклятое создание... Всю жизнь я приносила беды окружающим... Моя так называемая красота — гнусная приманка». Эта идея становится движущим началом в развитии судьбы Ирины. Автор, рассказывая об ее сложных отношениях с влюбленными в нее студентом Титусом и Гашпаром (таинственным персонажем, играющим роль марионетки для усложнения интриги), впадает в натурализм, нарушает художественную правду повествования. Подлинного трагизма судьбы Ирины мы не ощущаем. Читатель романа «Больные животные», хорошо знакомый с Достоевским, возможно, вспомнит Настасью Филипповну. Тема красоты, поруганной и оскверненной, красоты, не совместимой с властью денег, трагизм беззащитной и вместе с тем бунтующей красоты Настасьи Филипповны — как все это наполнено жизненным значением и правдой искусства.

Я далек от мысли сравнивать образы Достоевского с персонажами Николае Бребана и ставить в укор последнему, что он не повторяет автора «Идиота» и «Преступления и наказания». Но поскольку все румынские критики в своих статьях о «Больных животных» вспоминали Достоевского, важно здесь, как мне кажется, рассеять недоразумение. Рецензент одного румынского журнала, например, утверждал: «У Достоевского, которого Николае Бребан хорошо усвоил, писатель научился бросать ослепительный свет на теневые стороны человеческой души». Однако автор «Преступления и наказания» велик отнюдь не потому только, что он бросал свет на теневые стороны человеческой души. Достоевский не был клиницистом, занятым патологией ради патологии. Им двигала тревога, боль и тоска за людей, за «униженных и оскорбленных». Почти во всех его произведениях есть суровая правда о жизни людей в денежном обществе. Даже раздвоенность, терзавшая Достоевского, была раздвоенностью *ищущего* художника и мыслителя, поставившего в своих книгах коренные вопросы человеческого бытия. Мы уже говорили о том, что в романе Бребана отсутствует такое «усвоение» Достоевского. «В поэзии нужна страсть,— писал Достоевский,— нужна *ваша* идея, и непременно указующий перст, страстно поднятый. Безразличное же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное — ничего не значит». Поэтому, хотя Николае Бребан и старается описать теневые стороны души своих персонажей, хотя герои романа и мучаются и стоят на грани безумия — читатель не испытывает никакого серьезного чувства. Слабости романа объясняются не отсутствием таланта у автора. Отсутствует ясное представление о том, что хорошо и что плохо, отсутствует страсть и *своя* идея. К данному случаю вполне применимы слова Толстого: «...в поразительности, в эффекте новизны, неожиданности контраста, в ужасности нет передаваемого чувства, а есть только воздействие на нервы».

Справедливости ради следует отметить, что как только Николае Бребан отходит от увлечения психопатологией и рисует людей, свободных от болезненных комплексов, его герои становятся жизненнее. Более того, читая сцену допроса Ирины следователем Вошгинару, мы переносимся из сферы психопатологической в сферу *социальную*. Полковник Вошгинару самодур, одержимый жаждой власти и упивающийся своими полномочиями. Писатель, создавший этот образ, явно готов осудить всякий фанатизм и несправедливость. Некоторые рецензенты попытались перенести *свет*, бросаемый автором на характер и психологию Вошгинару, на других персонажей романа и заверить читателя, *что воля к власти* и есть первопричина болезни «больных животных». Для этого, по-моему, нет оснований.

V

Не претендуя на полный обзор современного румынского романа, я тем более воздержусь от установления какой бы то ни было иерархии талантов. Марина Преду, Захарию Станку, Ал. Ивасюка и других современных прозаиков, которых я здесь не упоминал, нельзя классифицировать, поставить по какому-то ранжиру. Но, независимо от этого, следует сказать: последняя книга Фэнуша Нягу «Ангел возвестил» * свидетельствует о таком непосредственно-глубинном таланте, от нее веет такой могучей свежестью, что хочется выделить эту книгу, обратить внимание на ее автора. В романе Фэнуша Нягу есть десятки удивительных страниц.

Всякая попытка пересказать содержание этой книги обречена на неудачу, потому что сила ее не в сюжетных ходах, а в пластичности образов, в богатстве красок, в объемности, цельности и реальности того удивительного мира, который рисует автор. Географически можно указать его границы — Дунайская дельта в районе города

* См. о ней рецензию К. Ковальджи в «Иностранной литературе» № 5 за 1969 год.

Брэила, дунайские плавни и ерики, дунайские острова и степь этого района. Здесь издавна живут сильные люди, в их характерах есть что-то от буйного изобилия дельты. Но природа, увы, для этих людей — совсем не добрая стихия, социальные условия существования превратили жизнь на берегах Дуная в мучительную и постоянную погоню за призрачным счастьем. Автор рассказывает десятки историй, происходивших в этих местах накануне и во время второй мировой войны, потом сразу же после ее окончания, когда произошел резкий исторический поворот в судьбах Румынии. Вот жители одного села, вынужденные переехать на новое местожительство в Добруджу, потому что местный помещик купил самолет и решил устроить на своих полях аэродром. Вот Ион Мохряну — главный герой романа, из-за решения самодура-помещика мальчик остается без отца (его убивают по дороге в Добруджу). Став взрослым, Ион пытается отомстить человеку, непосредственно виновному в смерти отца, но месть не состоялась — виновный неожиданно умирает. Вот Ке Андрей — один из переселенцев, колоритнейшая фигура, юмор Кола Брюньона сочетается у него с темпераментом авантюриста и буйством человека, выросшего в традициях знаменитого дунайского бандита Теренте. А вот кулак и стяжатель Павел Берекет, проглатывающий обесцененные бумажные деньги, которые достались ему во время войны, и умирающий от заворота кишок на свалке.

Уменье Фэнуша Нягу скупыми штрихами, иногда двумя-тремя фразами дать портрет человека и рассказать о его судьбе, удивительная сочность красок, точность, с которой даны в романе быт, жизнь,— во всем этом есть что-то органически связанное с природой того мира, который изображает автор. Жизнь сочится в дельте из каждого клочка земли. Жизнь со всеми ее красками и противоречиями, с ее трагедиями и смешной суетой предстает перед нами с изумительной яркостью на страницах книги Фэнуша Нягу. В дунайской дельте можно увидеть все краски, дарованные миру; мутная и плодоносная вода дунайских каналов питает и жизнь и смерть, она одновременно и сок и яд. Читая книгу Фэнуша Нягу, испытываешь сходное ощущение жизненного изобилия, на страницах романа отражены чувства, мысли и грезы жителей дельты.

В критических статьях о романе Фэнуша Нягу, появившихся в Румынии, множество раз упоминается *о силе рока, свободе и судьбе,* о законах и даже *ритмах* судьбы. Надо сказать, что автор дал критикам некоторые основания заняться туманными и абстрактными рассуждениями о злой силе рока. Почему книга называется «Ангел возвестил»? О чем «возвещает» ангел — о рождении или смерти? Хотел ли автор сказать, что судьба его героев предначертана? Об этом можно гадать и спорить. Можно утверждать, что в книге Фэнуша Нягу есть некий скрытый *экзистенциальный* смысл. Можно доказывать, что автор выражает свое чувство благоговения перед всесильностью судьбы, определяющей жизнь человека.

Но не лучше ли будет отбросить все эти глубокомысленные рассуждения и увидеть в книге Фэнуша Нягу то, что в ней действительно есть, то, что не скрыто за ширмой символов, то, что ощущает каждый читатель, не разбирающийся в тонкостях экзистенциализма,— жизнь, поразительное жизненное изобилие, разнообразные, законченные, изумительно яркие и впечатляющие пластические образы?

Фэнуш Нягу — художник-ваятель, он глубоко любит людей, он любит все, что живет, все, что растет; его картина жизни дельты, его рассказ об удивительно разнообразных судьбах и характерах людей его родного края волнует зрение и сердце, беспокоит ум, заряжает читателей глубоким чувством, свойственным автору,— чувством веры в жизнь, несмотря на все ее гримасы, превратности и жестокости.

Нужно ли в конце этой статьи снова повторить, что она не претендует на критический анализ всей современной румынской прозы, всех ее достижений, всех недостатков, всех произведений, появившихся даже в одном только 1968 году? Пытаясь ограничить тему этих заметок, автор отдает себе отчет, что он не исчерпал ее: даже только в одном 1968 году появились и другие романы и повести, для которых в этой статье уже не нашлось места. Обстоятельность и полнота обзора литературных явлений — отличное качество, но плодотворен и отбор, осуществленный по определенному принципу — выделение произведений, бросающих свет на основные тенденции. Руководствуясь таким принципом, я и писал эту статью.

Е. АМБАРЦУМОВ

ОСТОРОЖНО: ПРОГРЕСС!

«...прогресс в вырождении...»

Авраам Линкольн — Джошуа Спиду, 24 августа 1855 г.

«...Хочется дать в морду прогрессу — нахальная, циничная у него морда».

М. Горький. «Жизнь Клима Самгина»

1

Приведенные цитаты могут вызвать вполне законное раздражение, даже негодование и тем навести на запоздалую мысль, что не всякий афоризм уместен. Однако эти высказывания вышли из-под пера авторов, которые не просто понимали свое время, мастерски разбирались в анатомии и физиологии своего общественного окружения, но и обладали редким даром социологического предвидения, предощущения будущего, свойственным только большим мыслителям. Уже потому к этим словам стоит прислушаться, чтобы выяснить причину, породившую их.

Радужный взгляд на вещи, столь естественный для общества, переживающего взлет, нередко не выдерживал столкновения с сюрпризами времени. Маркиз де Кондорсе, более известный как математик и философ, даже когда якобинцы бросили его в тюрьму, надеялся, что «накладки», допущенные великой революцией, будут исправлены. Ибо написанный им незадолго до ареста «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» объявлял бесконечное совершенствование человека единственным содержанием истории. Однако самому автору «Эскиза» пришлось, едва окончив свой труд, принять яд, чтобы избежать гильотины. Учитель его Вольтер не был столь склонен к иллюзиям: как бы предвидя судьбу своего духовного наследника, он заставил неуемного оптимиста Панглоса воскликнуть «Все к лучшему в этом лучшем из миров» в неподходящей обстановке — перед тем как сесть на кол.

Лишь мудрейших из мудрых собственный опыт и социальные катаклизмы побуждали избегать односторонности и видеть в будущем не только легко предсказуемый свет. За дифирамбом Фауста человеческим деяниям следует зловещая сцена положения во гроб. Кто же торжествует — зубоскалящие лемуры или великий преобразователь природы? Смысл — в прогрессе или в его иллюзорности? Гёте не без лукавства уклонился от ответа на этот вопрос, предоставив широкие возможности для умозаключений комментаторов и критиков.

Конечно же, безоговорочный оптимист, которому всякий путь вперед кажется прямым, а всякая цель — достижимой в ближайшем будущем, всегда привлекательнее осторожного скептика, а тем более — пессимиста. Ибо первый подкупает своей уверенностью, тогда как последний раздражает сомнениями. И тем не менее оптимизм далеко не всегда оказывался свидетельством силы и остроты интеллектуального анализа. Когда Лейбниц формулировал «всеобщий закон прогресса», вряд ли он мог предвидеть, до какого наивно-напыщенного самомнения, если не лицемерия, довольно скоро дойдут его эпигоны — глашатаи этого закона.

Известен такой, например, исторический курьез. После февральской революции 1848 года во Франции Луи Блан, ставший в буржуазном Временном правительстве министром-социалистом (или, как иронически выражался Маркс, первосвященником социалистической синагоги), возымел идею назвать свой департамент «министерством прогресса». Ему, видимо, мнилось, что это сакраментальное слово может быть неким сезамом для решения любых проблем. По

не зависящим от Луи Блана причинам идея столь прямого афиширования прогресса провалилась. Дельцы-буржуа, захватившие реальную власть, судя по всему, считали неудобным или чересчур уж вызывающим готовить июньский расстрел рабочих под вывеской Прогресса. Неудивительно, что компания интеллектуальных слепцов, подобных Луи Блану, пусть даже обуреваемых лучшими побуждениями, не привлекала подлинных мыслителей, осознававших противоречивость истории. Фурье, сумрачно глядевший вокруг себя, заметил однажды: «Строй цивилизации становится все более отвратительным с приближением его крушения». Но поскольку идея прогресса была все же для Фурье слишком привлекательной, он предпринял поиски ее воплощения в мире собственного воображения, создав не только фаланстеры, но и антиакул и антитигров. Вслед за Фурье плохой каламбурист сказал бы, что прогресс возможен лишь в антимире.

Эпоха алчного и расчетливого грюндерства быстро развеяла романтические иллюзии à la Луи Блан. Даже откровенно буржуазным мыслителям безоговорочная апология прогресса начинала казаться неуместной. Потому-то они и ухватились за придуманное английской писательницей Мэри Энн Эванс словечко «мелиоризм», что дословно означало — улучшение. Вряд ли оно было более убедительным, чем мужской псевдоним писательницы — Джордж Эллиот. И все же этим словцом объясняли все — и взлеты, и падения. К тому же оно создавало приятную возможность закрыть глаза на предвидение крушения капиталистического мира, сформулированное основоположниками марксизма.

Однако, когда человеконенавистнический буржуазный «прогресс» явил миру свое отталкивающее обличье в натуральную величину, когда на его алтарь были принесены двадцать миллионов погибших в первую мировую войну, гогда и «мелиоризм» стал выглядеть кощунством. Пессимизм и скепсис — траурные мелодии похорон прошлой цивилизации — звучали теперь куда пристойнее бесстыдно-бравурного гимна Прогрессу, восседавшему на троне истории в виде медноголового Молоха, забрызганного человеческой кровью, но зато без устали переплавляющего достижения науки и культуры во все золото мира.

Прежде идея прогресса ощущалась чем-то вроде человеческих крыльев; теперь историк Нибур говорит о ее «бремени» для человека, которого она не поднимает, а пригибает к земле. Бертран Рассел с грустью замечал, что современный человек, несмотря на свою науку и технику, ни на шаг не поднялся в моральном отношении над пещерным жителем. Соотечественники английского философа вспоминают слова Роберта Бьюкенена, который писал стихи о

Роде людском, заковывающем
Свое тело в цепи
И называющем их — Свободой
И каждое их новое звено —
Прогрессом.

Будучи не в состоянии оторваться от трагической (впрочем, нередко и фарсовой) картины распада того, что казалось устойчивым и стремящимся к совершенству, того, что они отождествляли с мировой культурой, иные гуманисты Запада поначалу не могли или не хотели замечать, как из грязи и мук встает новое общество, создатели которого вносили вклад в дело прогресса сооружением не воздушных замков, а реального здания, которое, естественно, строилось не за один день и начиналось не с яркой облицовки, а с грубого фундамента. К тому же почти не смолкавшая канонада больших войн и боев местного масштаба мешала уловить целесообразность и разум в поступи истории.

Когда вторая мировая война закончилась разгромом фашизма, это многим казалось гарантией прогресса в его первичном, солнечно-светлом — паскалевском,— значении. Однако эхом последних залпов отозвались не одни лишь салюты в честь Победы, но и атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки. Оказывалось, что человечество, убыстряя свой бег на последних секундах стометровки между 1-м и 2000-м годом, оснащаясь точнейшей и сложнейшей аппаратурой, обретает такую силу, что пределы его возможностей расширяются — вплоть до самоубийства. Оно уподобляется ученику чародея, вызвавшему к жизни силы, с которыми он не в состоянии справиться. Оно решило задачи, казавшиеся неразрешимыми, «потолок» его ощущений и свершений достиг фантастической высоты — оно вняло «и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье». Но при всем этом оно оставалось рабом мифов и фетишей, набор которых только возрос и которым оно само придало угрожающую мощь. В «темные времена» средневековья власть суеверия по крайней мере не рационализировала «акт веры» — аутодафе — и предпочитала индивидуальные костры для еретиков, между тем как XX век освещен не только зарницами революций, но и пламенем многоместных адских печей. Швейцарский инженер Густав Эйхельберг, которому принадлежит сравнение истории человечества с марафонским бегом, вынужден был заметить, что в конце пути марафонцев встречают не одни лишь радио- и телевизионные репортеры, но и зловещее грибовидное облако.

Было от чего прийти в отчаяние, проникнуться мизантропией. Даже Эйнштейн, сама деятельность которого должна была заставить завзятых скептиков отбросить неверие в прогресс, признался однажды, что, если бы ему пришлось начать жизнь сначала, он стал бы водопроводчиком.

Любопытный симптом: из философской литературы на страницы популярных западных журналов перекочевало слово «эсхатология», обозначающее учение об апокалипсическом конце мира, о последнем его дне и грядущем возмездии. Эсхатологические настроения стали модой не только в профессорских дискуссиях, но и в светских салонах.

Послевоенный экономический подъем, снабдив «человека с улицы» домашними техническими рабами — от автомашины до транзисторного приемника,—опьянил многих былых критиков капитализма, возродив веру во всевластие прогресса. Но более внимательные наблюдатели очень скоро стали замечать, что пресловутое «общество изобилия» оборачивается духовной скудостью, насыщенность вещами и их культ — эрозией моральных ценностей и что известное материальное благосостояние покупается слишком дорогой ценой утраты независимости и свободы, ценой отчуждения собственной личности. С другой стороны, превращение такого «изобилия» в феномен массовой цивилизации только оттеняло нищету и прозябание жителей социальных гетто, оказавшихся волею капитала и статистики на обочине столбового пути.

Когда Фурье наделял умозрительное будущее общество — гармонизм, по его терминологии,— таким, казавшимся ему венцом блаженства, атрибутом, как «океан-лимонад», даже этот напиток был роскошью для «человека с улицы». Сегодня в мире потребляется океан кока-колы, но это еще не гарантирует ощущения полной удовлетворенности.

Кока-кола — незначительнейшее из новшеств. Но и выход в космос, которым отмечен XX век, не снимает традиционных проблем. «Бесспорно, мы в конечном счете хорошо познакомимся с ближними звездами, с непосредственным окружением Земли. Люди высадятся на Луне, посетят Марс, подобно тому как они уже взобрались на вершины Гималаев. Но не для того ли, чтобы мы обнаружили после дорогостоящего усилия, что все это в конце концов мало что меняет в условиях человеческого существования?» — встревоженно спрашивает католический священник и публицист Дюбарль. Известно, что в последние годы католическое духовенство стало всерьез интересоваться чаяниями «человека с улицы».

Переделка окружающей среды рождает новую по существу науку — экологию человека, но ее проблемы упираются в социологию — науку об общественных отношениях. Пока эти отношения не изменятся, иначе говоря, пока буржуазное «общество взаимного недоверия» не перестанет быть таковым, человек будет оставаться в прочном плену массового отчуждения. Норберт Винер, создатель кибернетики, не был революционером, но слова его подводят к ощущению необходимости коренного переворота: «Мы — рабы наших технических улучшений... Мы столь радикально изменили нашу среду, что теперь, для того чтобы существовать в этой среде, мы должны изменить себя».

Что же это — всегдашнее, свойственное человеку брюзжание об издержках и бессмысленности прогресса? Или — тревожное свидетельство тканевой несовместимости, которое демонстрирует западная цивилизация?

2

Этим ощущением беспокойства, неудовлетворенности и разочарования, этими вечными и в то же время как нельзя более современными «мировыми проблемами» проникнут новый роман итальянского писателя Марио Помилио «Компромисс». Роман этот, хотя и написан с бесспорным профессионализмом и вкусом, не относится к числу литературных шедевров. И все же он выдержал на сегодняшний день в Италии, где писатели жалуются на потерю интереса читателей к художественной литературе, несколько изданий. Успех объясняется тем, что Помилио самим сюжетом задел читателей за живое, посыпал солью их, как оказалось, незажившие раны, дал широкой аудитории возможность ощутить в романе свое, пережитое, а зачастую и переживаемое. Ибо «Компромисс» — социально-политический роман, быть может, единственный жанр романа, который на Западе еще котируется.

Помилио написал историю современного левого «интеллектуала» Марко Берарди, учителя гимназии в провинциальном городе Терамо. Но Берарди не только преподает, он одновременно и занимается политической деятельностью — возглавляет местную организацию социалистической партии. С этим «совместительством» и связаны все неприятности, происходящие с героем, и в конечном счете его крах.

Действие романа начинается в 1948 году, в пасмурный ноябрьский день. (Вообще персонажи живут в строго определенной, «документальной» обстановке, переживают вполне реальные события недавней итальянской истории.) На одной из площадей Терамо проходит митинг, организованный Народным фронтом — блоком левых сил, в который тогда вместе с компартией входили и социалисты. От их имени уже выступил Берарди, а сейчас он слушает речь своего товарища-соперника, руководителя здешних коммунистов. Тягостное уныние обуревает героя — то ли от формально звучащих лозунгов, то ли от проливного дождя, то ли от малочисленности присутствующих...

Не один Берарди поддался тогда пессимистическим настроениям. Истинная причина была слишком серьезна: 18 апреля, за полгода до митинга, Народный фронт, вопреки надеждам его лидеров, потерпел серьезное поражение на парламентских выборах. На долгие годы оказалось закрепленным правление буржуазных партий (с того момента и по сей день христианско-демократическая партия будет беспрерывно руководить всеми итальянскими правительствами, создав себе фактическую монополию власти) и отстранение левых партий от руководства страной. За 18 апреля последуют покушение на Тольятти и вступление Италии вместе с еще 11 странами в Североатлантический блок, несмотря на рез-

кие протесты левых; схватки крестьян и помещиков за землю; жесточайшие, вплоть до убийств, репрессии против левых активистов. Отголосками этих событий полон роман Помилио.

Для левых, для участников антифашистского движения Сопротивления, среди которых был и наш герой, это годы поражений и разочарований, проникнутые ощущением непрерывно сжимающегося кольца... Впрочем, это нетрудно понять. Когда проигрываются сражения, о легкости настроения не приходится говорить. Но, может быть, проиграна и война в целом?

Самое прискорбное, что народ, интересы которого отстаивали антифашисты, как будто смирился и потерял вкус к политике. Да, конечно, бывают и забастовки, и демонстрации, но они уже не вызывают всеобщего подъема, и жару от них не больше, чем от тлеющих углей в догоревшем костре.

И Берарди размышляет о судьбе своего поколения: «Оно дерзко возомнило и до недавнего времени верило, что ему уготовано своего рода «свидание с историей»; теперь крах своих несбывшихся надежд оно переживает жестоко, как безответную любовь... Было время, когда мы чувствовали себя сердцем города, его пульсом; на какое-то мгновенье нам показалось, что мы заразили его своим энтузиазмом, возродили к жизни. А теперь эта публика нас игнорирует, словно мы совершаем что-то непристойное. И мы ничего не можем поделать! Они одержали верх, оказались сильнее нас».

«Они» — это благомыслящие, мещане, которые запрятались в щели во время революции Сопротивления, а теперь торжествуют победу порядка, победу бездумного благополучия над высокими идеалами.

Состояние душевного вакуума, горькое ощущение безрезультатно затраченных сил вызвано у героев Помилио неудавшейся, выродившейся революцией. Ибо хотя движение Сопротивления одержало победу над фашизмом, конечная его цель — коренной социальный переворот — осталась неосуществленной. Произошла, как выражаются итальянские историки, реставрация диктатуры буржуазии, причем не только в Италии, но и во Франции, Бельгии и других западноевропейских странах, где совсем еще недавно приверженцы социализма и демократии, казалось, оседлали события.

Вот как сказано в романе об одном из его персонажей: «Поверив в скорое наступление новой эры, за торжество которой он сражался самоотверженно, вплоть до полного забвения личных интересов, и увидев, что она отдаляется на неопределенный срок или даже, как он интуитивно угадывал, будет совсем не такой, какой она рисовалась ему в мечтах, он вдруг почувствовал себя человеком без будущего, выбитым из седла».

И это не специфически итальянское явление. Точно так же выбитыми из седла оказались герои «Мандаринов» Симоны де Бовуар, романа, во многом близкого по настроению к «Компромиссу», но, в отличие от последнего, блестяще очертившего спираль судьбы, действий и настроений *элиты* французской левой интеллигенции. Через полосу разочарований и апатии проходят и персонажи «Красной площади» Пьера Куртада, писателя, который лично очень остро переживал неудачи и горести своего поколения.

Нельзя сказать, что такие горькие ощущения являются незавидной привилегией западных интеллектуалов, которые, пройдя в той или иной форме через «революцию Сопротивления», оказались неожиданно для себя в тупике. Чем-то они напоминают героев антинэповской струи в советской литературе 20-х годов, хотя бы Василия Алексеевича Буженинова из «Голубых городов» Алексея Толстого, которого с его утопсоциализмом, выражаясь словами автора, живо переезжают колесами мещанства.

«Среда заела»... Помнится, эту формулу, написанную по-русски, но латинскими буквами, пришлось встретить в одном серьезном американском литературно-социологическом исследовании. Видимо, лучше, чем по-русски, не скажешь. Среда заела Буженинова, Николая Курбова и многих других известных литературных героев и неизвестных реальных людей.

«Заела среда» и Марко Берарди. По пустяковой причине, из-за уязвленного самолюбия, отходит он от своей партии и в конце концов порывает со всеми левыми. Одновременно развертывается его роман с Амелией Де Ритис, дочерью крупного землевладельца и сенатора от христианско-демократической партии. Сам Де Ритис прямо-таки гипнотизирует Берарди своей энергией и искренней самоуверенностью, в результате чего новый член семьи Де Ритисов — роман с Амелией увенчивается браком — пытается делать карьеру через клерикальные круги, не останавливаясь перед предательством бывших товарищей.

И все же Растиньяка из Берарди не получается — он для этого слишком слабоволен и непоследователен. С карьерой что-то не клеится, разлаживается и его семейная жизнь. Амелия теряет всякое уважение к человеку, отказавшемуся от своих убеждений. К тому же у нее рождается мертвый ребенок. И Берарди влачит жалкое существование в раскошной вилле Де Ритисов. С горечью вспоминает он о былых временах, задавая себе остающийся без ответа вопрос:

«В чем же наша ошибка?! Что мы упустили? Почему не оправдали возлагавшихся на нас надежд, оказались без идеалов, без нравственной опоры, не способными придать своему существованию цель, наполнить его содержанием?»

Ощущение одиночества — его постоянный спутник. «Оно — как мохнатый зверь в берлоге, вздрагивающий во сне и переворачивающийся с бока на бок. Точнее говоря, это не просто сознание одиночества, а какое-то другое чувство, в котором я теряюсь еще до того, как постигаю целиком. Например, мысль о том, что человек с годами угасает, нищает духом, порывы его слабнут, чувства оскудевают, и постепенно жизнь за-

гоняет его во мрак, как пойманного зверя загоняют в клетку».

Мутные волны самоуничижения захлестывают монологи Берарди. Он грешит и кается, грешит и кается, будто вкушая сладостную тяжесть добровольно наложенных вериг. Американский социолог Эрик Фромм остроумно определил эти распространенные на Западе черты как «мазохистский облик», когда человек теряет сам себя, порывая с собственным волеизъявлением и отказываясь от «бремени решения».

Действие последних страниц романа развертывается лет через пятнадцать после главных событий, примерно в наше время или чуть раньше. Жизнь вокруг героя бьет ключом, все куда-то спешат, заняты по горло делами, а в свободное время обсуждают, какая марка автомашины предпочтительнее. Это — результат так называемого итальянского «экономического чуда».

Но от этого чуда всет ледяным ветром, вымораживающим былые идеалы. Герой романа и сам неприкаян и ощущает пустоту и разобщенность в других. Автор, ставя точки над «i», в предварении прямо объясняет смысл своего романа тем, что он хотел показать «кризис идеалов», охвативший итальянское (да только ли итальянское?) общество.

Можно судьбу Берарди воспринять в сугубо личном плане — как духовное угасание человека, оказавшегося не способным противостоять событиям. Но можно и иначе — как общественное явление, когда революция поглощается противостоящим ей обществом, хотя и «надломленным», но способным ее переварить и усвоить. Иначе говоря, история Марко Берарди — это рассказ о том, как казавшийся столь определенным общественный прогресс оборачивается человеческим регрессом, превращаясь в нечто противоположное и отталкивающее.

Так неужели все это неизбежно и должны, как мираж, растаять, не родившись, голубые города? Неужели горячие идеалы любой революции, победившей или побежденной, непременно превращаются в золу да сажу?

Но отложим пока что ответ на этот риторический вопрос и попытаемся сначала выяснить, нет ли золы да сажи в душах кое у кого из тех, кто становится в позу глашатаев и поборников этих идеалов.

И у Берарди, и у многих его духовных собратьев в иных странах бросается в глаза безудержный эгоцентризм. (В этой связи монолог главного героя как форма романа, избранная автором, кажется как нельзя более естественным.) Предосудительны не сами по себе интерес и симпатия к собственной личности, а то, что они сопровождаются интересом и симпатией к другим лишь до той поры, пока собственная личность находится на вершине благополучия. Стоит положению измениться, и все окружающие выглядят в глазах вчерашнего героя в черном свете. Будучи «вождями» крупного или местного, как Берарди, масштаба, такие политические эгоцентрики могут казаться на своем месте; едва они слетают с насиженных высот и демонстрируют всю мелочность своей натуры, приходится диву даваться, как только они удерживались наверху.

Неустойчивость карьеры обусловлена неустойчивостью личности. Берарди, судя по роману, не был во время Сопротивления трусом. Но оказывается, что для борьбы в тусклой повседневности нужен куда больший героизм, собранность духа, целеустремленность, чем для борьбы на подъеме, «чем с клинком наголо пролететь в атаку» («Голубые города»). Ибо в порыве, на взлете трудно отклониться — с такой силой и быстротой несут человека бурно меняющиеся события; а когда путь прогресса начинает петлять, укатанное шоссе сменяется тропинкой, усеянной кочками, которую то и дело пересекают манящие своими искушениями ответвления,— тогда целеустремленность ослабевает, героизм выдыхается и сменяется конформизмом.

Героизм оказывается поверхностным, потому что он не был подкреплен внутренней — истинной — целеустремленностью. Берарди — надо отдать ему должное — стремился к идеалу, но без чувства ответственности за него. Он не отдавал себе отчета в том, что «голубые города» придется строить на грубой, земной почве. Не то чтобы он не любил народ — несправедливости его задевают, но он относится к нижестоящим с брезгливой снисходительностью, презирая их за невежество, хотя они же выдвинули его в политические лидеры. Умозрительность, а следовательно, неискренность идеала привели к тому, что он не выдерживает первого сколько-нибудь серьезного столкновения с действительностью. «Любовь к свободе,—признается Берарди,—проявлялась у меня в страстном, сугубо интеллектуальном увлечении спорами, идеями в чистом виде».

Эти слова вслед за Берарди могли бы повторить многие западные «интеллектуалы», которых политические разочарования отбрасывали то в одну, то в другую сторону. Такая вот, пусть благородная, неустойчивость, кстати говоря, и способствовала тому, что революция Сопротивления выдохлась, выродилась, «вернулась на круги своя»: слишком по-разному понимали свободу разные люди, на время сплотившиеся под знаменем антифашизма.

Прогресс, оказывается, связан не только с социальным окружением, но и с внутренней стойкостью его проводника — каждой отдельной личности.

Горький окрестил людей, подобных Берарди, героями на час. Приходится отметить, что хотя со времени появления «Жизни Клима Самгина», где употребляется это выражение, прошло не одно десятилетие, тип героя на час ничуть не постарел. Всего год назад воинственные, брызжущие энер-

---

гией молодые люди смело возглавляли баррикадные бои против парижской полиции — а сейчас некоторые из них с удовольствием приняли на себя роли хорошо оплачиваемых теле- и кинозвезд, успешно вписав свой тотальный антиконформизм в как нельзя более конформистские средства массовой информации буржуазного общества. Последнее достаточно гибко для того, чтобы безбоязненно идти на такую «интеграцию» — в конечном счете она используется как лучший аргумент для подтверждения существующей «свободы и демократии».

Любопытно наблюдать, как Берарди от бурного, может быть, даже крайнего радикализма спускается по ступенькам компромиссов прямо в стан вчерашнего врага. Вот он, посопротивлявшись для вида, идет на исповедь и причастие как бы под давлением Де Ритиса, а на самом деле — бездумно погружаясь в трясину собственной натуры. «Есть своя прелесть в том, чтобы покорять ся чужой воле, укрываясь за недомолвками, угадывать, чего от тебя хотят, но не подавать вида, чтобы, вплоть до появления полной ясности, оставлять за собой право решать хоть так, хоть этак». Традиционный религиозный катарсис оказывается последней степенью моральной деградации. Целование руки епископа — с великолепным сарказмом написанная сцена — как бы ставит точку в истории грехопадения Берарди.

«Епископ медленно протянул мне руку, я пожал ее. Рука была мягкая, но требовательная. На какую-то долю секунды я сделал над собой усилие, напрягся... Но наклониться оказалось проще, чем я думал, и даже приятно, потому что вслед за этим, распрямляясь, я почувствовал облегчение и смог сказать себе: «Ну вот, с этим тоже покончено»...

«Домой я возвращался почему-то умиротворенным, почему-то под обаянием этой встречи, хотя отчетливо понимал ее слащавую двусмысленность. Ничего особенного не случилось, а если б даже и случилось, то самое страшное было позади».

Земский доктор и либерал Самгин-старший говаривал: «Компромисс — необходимое условие цивилизации». Действительно, эта — самгинская — цивилизация несет на себе несмываемый след компромисса как печать ничтожности и вырождения. Эта цивилизация, развивающая — не приходится отрицать — науку и технику, культуру и искусство, полагает компромисс гарантией благополучия, в котором она и усматривает подлинный прогресс. Три десятилетия назад рыцари компромисса выдали агрессору Испанию и Чехословакию, и один из этих рыцарей, Леон Блюм, после очередного, без боя, отступления перед фашизмом заявлял: «У меня смешанное ощущение трусливого облегчения и стыда».

Вот и приходится художникам, наблюдающим за самгинской цивилизацией, ищущим в ней «душу живу», с разочарованием отворачиваться от нее и с ностальгией обращаться к давно позабытой старине, когда

...Вера была — знамя!
Раскольничий поп с костра
Протягивал сквозь пламя
Мятежные два перста,
Пел, на костре скорчась.
Слушай, сегодняшний, ты!
Где же твоя гордость?
Где же твои персты?

3

Сегодняшние рыцари компромисса далеко обогнали своего старшего брата, синьора Берарди, на этом скользком, но завлекательном пути. Им начисто чужд «мазохистский комплекс». Они, пожалуй, только посмеются над «самокритикой» Берарди и запрезирают его за то, что он не сумел извлечь достаточных выгод из своего компромисса с власть предержащими. Уж они-то не упустят своего! И в то же время они с удовольствием и с гордостью вспомнят о каком-нибудь своем «геройстве на час», считая его нестареющим свидетельством о прогрессивности, при случае куда как остро заклеймят своих хозяев, которым им приходится служить, впрочем, сделав это так, чтобы до тех не дошло. Ну, а если и дойдет — тоже не страшно: хозяева придают значение делам и умеют пропустить мимо ушей пустые, незначащие слова. Самое же главное будет достигнуто: рыцари компромисса продемонстрируют свою независимость.

В романе есть характерная деталь: Берарди, войдя в семью Де Ритиса и уступив этому буржуазному искусителю не душу — волю, в то же время, чтобы продемонстрировать собственную независимость, читает в его присутствии левые газеты. «Это с лихвой,— говорит герой,— покрывало мою дневную норму «принципиальности». Впрочем, тестя ему обмануть не удается. Тот и не думает включать зятя в число своих политических противников, а, напротив, начинает относиться к нему с плохо скрытым презрением, чего он раньше себе не позволил бы. Сегодня собратья Берарди тоже читают прогрессивные издания, однако это не меняет их реального положения в обществе.

Но если Берарди приводит к губительному компромиссу его внутренняя неустойчивость, нетвердость убеждений, слабость характера (роман, кстати говоря, показывает, что индивидуальная или общественная психология имеет в политической борьбе иной раз не меньшее значение, чем экономические интересы), то применительно к ним, к сегодняшним рыцарям компромисса, уже не приходится говорить о каких-либо убеждениях. У них убеждения формируются в зависимости от высоты оплаты. Власть предержащие действовали на Берарди «искусом благожелательности», на них же действуют «искусом выгоды».

Рыцари компромисса оправдывают свое поведение тем, что их действия устраняют некоторые «переборы» хозяев. С этим нельзя не согласиться. Но не лучше было бы, если бы власть предержащие представали в своем первозданном виде, в качестве «голых королей»? Когда рыцари компромисса исполняют при этих голых ко-

ролях роль ловких портняжек, то не убеждают ли они зрителей в благопристойности королей, в их полной и респектабельной «одетости»? И если они говорят, что тем способствуют прогрессу, то — не самгинскому ли прогрессу, не самгинской ли цивилизации?

Пусть к Берарди относится и не все сказанное — его грехопадение по крайней мере сопровождается внутренними терзаниями. Но поскольку таковое все-таки произошло, поскольку он оказался «героем на час», ему ли сетовать на утрату идеалов рядовыми его согражданами? Впрочем, Берарди не только «верх», но и «низ», не только «герой», но и «толпа», не только ведущий, но и ведомый.

В социальном плане переориентация героя «Компромисса» слева направо отражает действительно происходивший после войны в Италии процесс восстановления и реорганизации классовых отношений господства и подчинения. Крупная буржуазия, сохранившая в своих руках экономическую и политическую власть, должна была, если она хотела ее упрочить, «излечить» средние слои — основную массу населения — от «опасного микроба» антифашистского Сопротивления. Победа христианских демократов на выборах 18 апреля 1948 г. была достигнута потому, что средние слои отказали левым партиям в поддержке. В этом смысле очень символичным представляется избрание Терамо как места действия романа. Это — *средний*, не слишком маленький, но и не слишком крупный, город *Средней* Италии, расположенный в зоне со *средним* развитием экономики, довольно близко от Рима, но в то же время достаточно далеко, так как путь в столицу преграждают Аппенины. Одним словом, типичная провинция, которая в конечном счете и решает исход выборов.

Выдающийся итальянский марксист Антонио Грамши видел в классовой гегемонии буржуазии не одну лишь диктатуру, не одно прямое насилие, но и элемент «согласия» с этой диктатурой со стороны угнетаемых, которое достигается насилием косвенным, через многообразные каналы экономического, политического, духовного воздействия, через сложную совокупность институтов, называемую «гражданским обществом». Иначе диктатура не сможет существовать сколько-нибудь длительное время. Берарди, как и многие ему подобные, в конечном счете дает это свое «согласие».

18 апреля 1948 года, да и аналогичные поражения левых сил в других странах, были для этих сил тяжелым разочарованием, но в то же время и породили требование видеть реальность, как она есть.

Да, средние слои — ненадежная опора, особенно когда борьба требует повседневных жертв. Пример — все тот же Берарди. Но только поведя за собой средние слои, левые силы могут рассчитывать на победу. И поэтому коммунистам приходится работать с такими, как Берарди, стараясь воспитывать в них гражданственность и мужество «не на час», преодолевать засасывающую людей гнетущую атмосферу провинциальной повседневности.

Но, думается, даже и социальный смысл романа был бы неправомерно сужен, если понимать его как проблему средних слоев. В конечном счете за двумя этими словами — «средние слои» — кроются такие разнообразные явления, как ремесленники и служащие, крестьяне и интеллигенция.

Что же такое Берарди? Интеллигент? Неосмотрительно отвечать на этот вопрос просто утвердительно. Если понимать под интеллигенцией созидателей культуры, слой, обобщающий и развивающий человеческий опыт,— а такое понимание наиболее распространено среди социологов,— то к герою «Компромисса» это никак не относится. В нем начисто отсутствует творческое начало. Он занимается в лучшем случае сохранением и распространением достижений традиционной культуры, которые во многом превратились в общие места. Его скорее надо отнести к *квазиинтеллигенции,* которая унаследовала от подлинной интеллигенции все ее недостатки в уродливо увеличенном виде, растеряв ее достоинства. Представителей квазиинтеллигенции легко спутать с подлинной интеллигенцией, поскольку первые получили, возможно, не меньшее, чем последние, образование; их внешне роднят формы и средства общения (скажем, и те, и другие могут проводить досуг не за игрой в кости, а за спорами о поп-арте и «новом романе»). Но различает их совершенно противоположная шкала ценностей. Для квазиинтеллигенции, которую в чистом виде воплощает современная бюрократия, конечной целью является она сама, сохранение ее самодовлеющего существования. Так же и для Берарди окружающее общество хорошо лишь постольку, поскольку оно является условием его, Берарди, благополучного существования. Между тем подлинная интеллигенция видит свою задачу и объективно действует в направлении критического преобразования существующего мира, обновления и пересмотра существующей, традиционной культуры.

Различие принципиальное. И тем не менее квазиинтеллигенция, не будучи в состоянии ничего создать (физическое бесплодие Берарди обретает здесь значимость символа), принимает благоговейную дань уважения со стороны «менее культурной» части общества.

Социологи Томас и Знанецкий предложили однажды следующее разделение людей по социально-психологическим типам: богема, филистер, творческий человек. Берарди, бесспорно, относится ко второму типу.

Но в то же время это — не тупой, ограниченный стяжатель. Есть у героя «Компромисса» черта, хорошо знакомая читателю по многим героям русской литературы,— рефлексия и критицизм. Черта эта в принципе может импонировать, поскольку подлинный разум не может не сомневаться.

Маркс недаром считал своим девизом: «Подвергай все сомнению». Сомнение разоблачает фетиши, не дает живой мысли окостенеть в веру. Но сомнение плодотворно, лишь когда помножено на целеустремленность. Этот множитель начисто отсутствует у Берарди. У него, как сказал Шекспир, «румянец воли побледнел под гнетом размышлений». Сомнение, возведенное в абсолют, у него не просто бесплодно: оно подводит его к компромиссу с противной стороны и в конце концов к самоликвидации как личности. Но предоставим слово самому Берарди.

«...Передо мной отчетливо встает вся моя жизнь, встает как нечто такое, что по-настоящему так и не осуществилось, не состоялось. Я сам ее загубил, не последовал призванию, лишил увлечений, свободы. И мне вспомнилась фраза, которую я раньше произносил с такой гордостью и которая сейчас звучит совершенно иначе, даже чуть издевательски: «Подумай, как это прекрасно: внимать тысяче истин и отвергать их одну за другой, чтобы быть снова готовым внимать другим истинам». И это все? Другого ответа нет? Покуда во мне живет это сознание так и не обретенной истины, участь моя до нелепости напоминает участь моего не родившегося, никем не виденного, никем не любимого ребенка: жизнь без цели, без назначения, без конечной перспективы, без видимой необходимости».

Имея в виду именно такие печальные последствия филистерских колебаний и сомнений, Ленин, повторяя слова Горького, клеймил «хрупкость и жалостную шаткость» мещанской души. Судьба героя «Компромисса» предупреждает о жизненной важности твердого и окончательного выбора. Иначе и ты, как Берарди, не сможешь ответить на простой вопрос: «На чьей ты стороне?»

Рефлексия Берарди нашла отражение в речевой характеристике главного героя, да и вообще во всем языковом строе романа. Многословие, велеречивость, монотонность повествования Помилио — отнюдь не свидетельство просчетов стиля, а адекватное отражение провинциализма, внутренней пустоты и импотенции героя. В конце концов подобная манера письма в чем-то характерна и для «Жизни Клима Самгина». Подобный стиль связан с ключом «двойной иронии», в котором Помилио написал свой роман: проничен не только «герой на час» по отношению к окружающей его «толпе» персонажей, но и автор по отношению к своему герою.

Бездеятельность, апатия, леность мысли Берарди являются подлинной причиной его рефлексии и скепсиса. В этой связи образ героя романа и его эволюция приобретают социальную, даже социально-политическую значимость. В 1956 году в Италии произошло событие, предопределившее кардинальное изменение в партийно-политической структуре страны: социалистическая партия, более 20 лет поддерживавшая теснейший союз с коммунистами, порвала соглашение о единстве действий с ИКП, а несколькими годами позже вступила в правительственную коалицию, став главным партнером христианских демократов. Эта коалиция, действующая под знаменем буржуазно-реформистской политики, существует и по сей день. Причины поворота были самые различные — не только международного, но и внутреннего порядка,— и здесь не место их всесторонне анализировать. Важно, однако, сказать о том аргументе, который приводился на 32-м съезде социалистической партии, состоявшемся в феврале 1957 года, в обоснование поворота. Смысл аргумента заключался примерно в следующем.

— Мы, социалисты, искренне боролись вместе с коммунистами за то, чтобы Сопротивление переросло в победоносную демократическую, а затем и социалистическую революцию. Не наша вина, что этой цели не удалось достичь, но продолжать бороться за нее нет смысла. Ибо народ Италии, в том числе и рабочий класс, *устал* от этой борьбы. Поскольку христианско-демократическая партия сохраняет за собой власть в стране и нет перспектив, что ее удастся отстранить от власти, надо пойти с ней на соглашение. Конечно, раз она того требует, придется поступиться союзом с коммунистами, но зато, войдя в правительство, социалисты получат тем самым доступ в «комнату с кнопками» и постараются использовать это в интересах трудящихся.

В романе об «усталости» окружающих то и дело говорит Берарди, которого автор, видимо, не случайно ввел в социалистическую партию. «Я,— признается герой,— счел для себя делом чести вступить в марксистскую партию... Но в порядке компромисса выбрал не ИКП, а ИСП — мысленно оставил себе лазейку, с помощью которой надеялся сохранить в неприкосновенности строй мыслей просвещенного либерала...» (Правда, он, вышел и из ИСП, но, думается, сейчас вполне мог бы вернуться обратно, поскольку партия совершила то же грехопадение, что и герой романа.) Но этими разговорами Берарди лишь пытается оправдать свои поступки, да и то безуспешно, поскольку он отлично отдает себе отчет в том, что стал всего лишь жалкой тенью своего тестя, христианско-демократического сановника. И в этом смысле сцена, когда Берарди вглядывается в свои отражения в бесчисленных зеркалах дома Де Ритисов, приобретает прямо-таки символическое значение.

В реальной итальянской жизни на «усталость» рабочего класса после 1956 года постоянно ссылался лидер социалистической партии Ненни, ставший вице-премьером, а затем министром иностранных дел буржуазного кабинета. Вскоре после его вхождения в правительство распространенный еженедельник «Эспрессо» опубликовал интервью с Ненни, в котором нарисовал удручающий портрет растерянного и разочарованного человека, с горечью вспоминающего о былой политической борьбе с правительством и, несмотря на роскошный кабинет, отдающего себе отчет в том, что в «комнату с кнопками» он так и не попал. Перекличка ситуаций «бедных родственников» —

Ненни и Берарди — прямо-таки напрашивается.

Впрочем, аргументация «усталостью» не была безосновательна. Духовная усталость — естественное состояние западного общества. В современной американской социологии — а ведь США как наиболее развитая страна Запада в основных направлениях эволюции социальной структуры как бы предваряют завтрашний путь других, менее развитых капиталистических стран — для характеристики преобладающего общественного настроения обиходным давно уже стало слово «аномия», заимствованное у французского социолога Дюркгейма, которое он сам разъяснял как «разлаженность», «выбитость из колеи» (dérèglement). Американские ученые вкладывают в него более определенное общественное содержание, говоря о распаде социальных идеалов, «сознании бесполезности человеческой жизни, пустоты, безнадежности, отсутствия чего-либо, во что можно верить и чему можно быть преданным».

Эмиль Дюркгейм замечал также: «Усталость порождает разочарование». К этим ощущениям не осталась невосприимчивой известная часть рабочего класса и еще в большей степени — мелкобуржуазные слои. (Кстати, для социалистов характерно — и не в одной только Италии,— что они являются в первую очередь партией низших слоев служащих. Во Франции, например, большая часть активистов социалистической партии всегда вербовалась из точно таких же учителей и профессоров лицеев, которых воплощает наш знакомый Берарди, а ее бессменный лидер Ги Молле в прошлом — и на это французские политические комментаторы обычно ссылаются, как на типический факт — был лицейским учителем английского языка.)

Усталость и аномия — один из симптомов вырождения западной цивилизации, столь парадоксально и в то же время естественно соседствующий с бурным расцветом науки и техники. Популярнейший английский историк Арнольд Тойнби, построивший целую концепцию «надлома» цивилизации, предшествующего ее гибели, отметил, что надлом этот происходит в обстановке внешнего расцвета.

Однако феномен «усталости» — не только чисто социальный, но и социально-психологический. Эволюция героя «Компромисса» наводит на мысль о том, что реформизм, реформистские настроения, как и утрата революционности, могут порождаться не одним лишь нажимом — экономическим и политическим — буржуазии. Роль здесь играют и определенные свойства характера — неустойчивость, отсутствие целеустремленности и твердости, которые, впрочем, в свою очередь в большой степени определяются социальной средой. Не секрет, что такого рода предрасположение характерно в гораздо большей степени для социалистических партий, даже когда они, как в свое время ИСП, провозглашают революционную ориентацию, чем для компартий, хотя и последние от него не застрахованы. Происходит это, в частности, потому, что при возможности выбора партийной принадлежности, в условиях политического плюрализма, компартия отпугивает своими твердыми организационными принципами изрядное число тех, пусть искренних, демократов, которые сами ощущают свою внутреннюю неустойчивость и хотели бы зарезервировать для себя — на всякий случай — возможность поворотов в ту или другую сторону.

4

Поставив перед собой задачу — обрисовать духовное состояние современного итальянского общества, автор романа, естественно, должен был как-то охарактеризовать место компартии в этой картине. Ибо Итальянская коммунистическая партия — не просто вторая (по величине и значению) общенациональная и первая оппозиционная политическая партия, но еще и наиболее влиятельная сила в итальянской культурной жизни. Нелепо было бы требовать от Помилио точного отражения роли ИКП в обществе — он писатель, а не политический обозреватель (тем более что по причине, которая станет понятна ниже, его ирония и сарказм затрагивают не одного лишь главного героя); но поскольку, как говаривал Райт Миллз, современный роман читается как хорошо написанная социологическая монография, постольку можно попытаться вычленить из «Компромисса» его мысли о коммунистическом движении в Италии, прокорректировав их фактами и цифрами.

После 18 апреля 1948 г. компартия, как и итальянские левые силы в целом, пережила особенно трудные годы, годы накала «холодной войны» и антикоммунистической истерии. Партии приходилось вести пропаганду своих целей, нередко наталкиваясь, даже в привычной рабочей аудитории, на враждебность и — что, может быть, еще хуже — на безразличие, на отказ от борьбы, желание умыть руки и заниматься только личным благополучием. У многих партийных активистов, во время Сопротивления считавших, что революция «ждет за углом», такие настроения вызывали горькое ощущение напрасной траты сил. И все же эти активисты, стиснув зубы, продолжали свою повседневную работу, даже когда она им казалась сизифовым трудом. В этих обстоятельствах, как говорил горьковский Кутузов, «с героями на час... надобно проститься, потому что необходим героизм на всю жизнь, героизм чернорабочего, мастерового революции».

Однако в конечном счете ни одно усилие в борьбе не остается безрезультатным. Если бы Марио Помилио не опустил так рано занавес над действием своего романа, он должен был бы сказать, что кризис левых оказался кризисом роста, что период упадка рабочего движения сменился небывалым

подъемом и что молодое поколение трудящихся, поначалу самоустранявшееся от классовой борьбы и интересовавшееся как будто одними лишь марками машин, неожиданно включилось в эту борьбу со страстью, ошеломившей героев вчерашнего дня. Своим воинствующим антиконформизмом, пусть не чуждым крайностей, молодежь с лихвой искупает конформистские грехи старших братьев, таких как Марко Берарди. Но зато и презирает их — с немалым, впрочем, основанием.

Помилио увидел в современности лишь эрозию былых идеалов и торжество бездумного стяжательства. Взгляд односторонний, а потому — неверный. Ибо облик сегодняшнего Запада характеризует не только расцвет неокапитализма, но и новый подъем левых сил. В Италии, несмотря на переход социалистической партии в правительственный лагерь, за коммунистов и левых социалистов (которые отвергли изменение курса и выделились из соцпартии, создав новую «социалистическую партию пролетарского единства») голосует теперь, так же как и до 1948 года, добрая треть итальянского избирательного корпуса. Аномия оказывается, таким образом, не единственной характеристикой массового сознания. «Человек с улицы» политизируется, пробуждается его интерес к общественным делам. Чем иначе можно объяснить, что постоянно растет число участвующих в парламентских выборах и что на последних таких выборах (1968 г.), давших компартии свыше 8 миллионов голосов, к избирательным урнам явилось — факт небывалый для Запада — около 90 процентов взрослого населения. Проигранные битвы преждевременно было считать поражением в войне.

Это не значит, что путь вперед начисто выпрямлен, что сглажены все ухабы и что не может быть попятных движений. «Человеку с улицы» нелепо сетовать на экономический подъем, но столь привлекательно выглядящие плоды его имеют одурманивающий привкус, содержащийся в них наркотик приспособленчества и оппортунизма дает себя знать, если не выработан стойкий иммунитет. С другой стороны, когда влиятельная политическая партия провозглашает своей целью социалистическую революцию и революция эта все дальше отодвигается в будущее, пусть по достаточно основательным причинам,— это не может не вызвать нетерпеливого раздражения у тех или иных левых группировок, тем более когда это раздражение подогревается обвинениями в «реформизме» по адресу компартии со стороны вольных или невольных адептов маоизма.

Идеологи и практики «неоканитализма» тоже не упускают случая, чтобы использовать изменения в обстановке для дискредитации коммунистов. В этом смысле особенно поучителен финский пример. В Финляндии вот уже два года в правительстве, совместно с буржуазной партией центра и социал-демократами, участвует компартия. Для оздоровления экономического положения правительству пришлось предпринять некоторые непопулярные в массах финансовые мероприятия. Буржуазия, с одной стороны, крайне «левые», с другой, свалили всю ответственность за эти мероприятия на компартию, которая в результате не досчиталась на последних муниципальных выборах едва ли не четверти своих сторонников.

И Итальянскую компартию не миновали упреки в «оппортунизме». Они шли и от некоторых членов партии, поскольку до возникновения левосоциалистической партии ИКП впитывала в себя, среди прочего, и крайне «левые» настроения и их носителей (показателен в этой связи «неукротимый экстремизм» одного из персонажей романа), но особенно со стороны только что вступившего в жизнь поколения. Эта коллизия отразилась во взрыве студенческого движения в 1968 году, эпицентр которого был в соседней Франции. Однако ИКП оказалась достаточно мудрой, чтобы не отвергнуть с порога искреннюю, хотя во многом и «ультралевую», критику со стороны молодежи; напротив, партия попыталась — и небезуспешно — найти с молодежью общий язык, выработать программный эквивалент ее неоформленным и даже неосознанным устремлениям. С этой целью в коммунистической печати, на всякого рода собраниях и конференциях была завязана дискуссия о перспективах и программе левого движения, продолжающаяся и по сей день, дискуссия, которая своей «раскованностью», свободным столкновением разных и самых неожиданных точек зрения, наконец, своей многоплановостью опровергает создаваемое романом Помилио ощущение застоя и бесперспективности в лагере итальянских левых сил. Впрочем, это не значит, что компартия застрахована от влияния окружающей ее буржуазной среды. С другой стороны, общие и частные успехи могут способствовать развитию самоуверенного и назидательного провинциализма, никак не помогающего продвижению по общему революционному руслу.

Конечно, встречаются и среди коммунистов люди со взглядами застывшими и узкими; гротескные образы таких коммунистов, нарисованные Помилио, возможно, имеют какую-то реальную основу. Но здесь, как нигде, важно чувство меры, которое писателю явно изменяет. Ибо отнюдь не такие люди определяют внутреннюю жизнь левого движения. Помилио, возможно, и не столь навязчиво, как профессиональные идеологи-антикоммунисты, здесь как бы претендует на разоблачение косности и догматизма. Однако именно коммунисты обратили первыми внимание на эту опасную сторону жизни политических партий. В Италии не кто иной, как Грамши, показал, какую опасность означало бы для политической партии превращение ее руководителей в «элиту наоборот», в «инвалидный авангард», в нечто бездумно-тупое, ограниченное и «хвостоголовое», а демократического централизма — в централизм бюрократический.

Но в то же время наивно было бы считать, что политическая партия, если она

хочет быть боеспособной, может строить свою внутреннюю жизнь по образцу Александрийской школы философов. Абсолютизация сомнения и дискуссии противоречит социальному действию. Современный человек — а он не может не быть «политическим человеком»,— отбрасывая рамки группового или общественного поведения, попадает в вакуум, в котором существовать невозможно. Немного будет тогда стоить критика таким человеком, пусть обоснованная, его группы или его общества. Впрочем, бесперспективность этой ситуации видит и сам Помилио: осуждая тупую дисциплину как форму интеллектуального рабства, он в то же время обнаруживает, что, оставшись один, человек теряет всякую ценность.

Вновь и вновь предается Берарди тягостным сетованиям после своего неосмотрительного разрыва с левыми. «Четыре года я прожил в состоянии радостного подъема: просыпаясь поутру, знал, что день мой будет насыщен, что я кому-то или чему-то нужен. Отныне все переменилось: я впал в апатию, на душе было пусто и, лицемеря перед самим собой, я горько сетовал: «Кому ты нужен? Куда ты годишься? Что путного сделал? На что способен?» И с горечью мечтает о несбыточном: «...Будь я в партии, имей я возможность греться от одного огня со всеми...» Да, для слишком многих разрыв с левым движением оказался гибельным.

Из книги можно вынести впечатление, что коммунисты придерживаются «религиозного» представления о марксизме, рассматривая его как катехизис, чуждый каких-либо нерешенных проблем и безотказно годный при всех ситуациях. Нельзя утверждать, что такие случаи не имеют места: нередко «политический человек» бывает склонен создавать себе иллюзию решения проблем. Однако же в тезисах ИКП к ее X съезду говорилось, что марксизм «не является замкнутой в себе системой», он должен «воспринимать» — разумеется, творчески перерабатывая—«самое ценное и интересное, что может встретиться в других научных и художественных концепциях».

И если у Помилио коммунисты и их единомышленники выглядят убогими, примитивными и жалкими, то это никак не вяжется с творческим порывом, энергией и смелостью смотреть вещам в глаза, характерными для Грамши и Тольятти, которые стремились воспитать свою партию в таком именно духе.

Такое понимание левизны, прогресса — понимание их сложности и уважение к различиям во мнениях у стремящихся к единой цели — и обеспечило в Италии новые победы левых сил, а на будущее — еще более благоприятную перспективу. Совсем недавно, в начале июля нынешнего года, большинство ЦК социалистической партии проголосовало за пересмотр партийной политики в сторону налаживания дружественных отношений с коммунистами. Это привело к взрыву недовольства со стороны правого крыла, которое объявило о своем выходе из партии и воссоздало традиционную социал-демократическую партию. Раскол социалистической партии вынудил министров-социалистов, в том числе и Ненни, подать в отставку. Возникший правительственный кризис необычайно обострил партийно-политические противоречия и настоятельнее, чем когда-либо за последние два десятилетия, поставил вопрос о сдвиге страны влево. С другой стороны, сдвиг влево происходит и в католических кругах, то есть вокруг и внутри той самой христианско-демократической партии, которая осуществляет руководство страной от имени и в интересах монополистической буржуазии. Но об этом следует сказать несколько подробнее.

В романе Помилио католичество с полным основанием противопоставлено левому лагерю. Оно является средоточием власти, скрытой от глаз непосвященных, как невидимая часть айсберга, но ощутимо внушительной. Из потрясений войны и Сопротивления оно как будто вышло еще укрепившимся, и сцена поклонения местных нобилей епископу олицетворяет эту вековую мощь. Наглядное воплощение ее — мастерски написанный образ Де Ритиса, у которого мертвая хватка сочетается с внешней мягкостью обхождения. Железная рука в бархатной перчатке. Безвозвратно остались позади времена пап Пиев, при которых для управления паствой достаточно было анафем и инвектив. Многократно возросло силовое поле противостоящего церкви магнита — социализма. Для воздействия на колеблющихся между двумя магнитами нужны тонкие методы убеждения. Иначе распадется буржуазное «гражданское общество» и гегемония буржуазии сведется к грубому насилию, а это может быть опасно для нее самой. Примером таких тонких методов оказывается ловля заблудшей души учителя Берарди: Де Ритис играет на его антиконформизме, на его благородном нежелании быть пешкой в чужих руках — и успешно затягивает его в сеть противоположной системы, где этот антиконформизм лишь облегчает использование его искусными манипуляторами, делающими вид, что уважают его независимость; но следует несколько ловких ходов, и от самоуверенного индивидуализма Берарди остается одна оболочка.

И в то же время было бы непростительным упрощением свести веяния современности в католицизме лишь к смене тактических приемов. Католицизм — это не один только Де Ритис или его прототипы из числа христианско-демократических руководителей. С понтификатом Иоанна XXIII в католичестве произошла необратимая переоценка ценностей, давно подготовлявшаяся прогрессивной католической культурой и массовым демократическим движением. Энциклики Иоанна XXIII, особенно его предсмертная «Pacem in terris», осуждавшие и атомную войну, и бесчело-

---

Е. АМБАРЦУМОВ
ОСТОРОЖНО: ПРОГРЕСС!

вечную эксплуатацию человека человеком, внесли в официальную католическую догму элементы нового, какими бы антикоммунистическими и антисоциалистическими выпадами они ни были сбалансированы. В результате внутри католицизма нарастает раздирающее его противоречие — между поборниками реакционного католического «интегрализма» и сторонниками гуманистической морали, не приемлющими человеконенавистнический буржуазный Прогресс в образе Молоха. Среди этих католиков-гуманистов можно назвать Джакомо Манцу, Федерико Феллини, Джорджо Ла Пира, а теперь — и Марио Помилио. Ибо автор романа «Компромисс» считается в Италии одним из наиболее характерных представителей течения, которое так и называется — «католичсские писатели» и которое поглощено проблемой морального конфликта между «внутренним долгом», идеалами человеческой личности и бездушием или безысходностью окружающего общества. В своем протесте против этой безысходности «католический писатель» Помилио не останавливается и перед осуждением матери-церкви. Смелость Помилио делает ему честь. Он, к счастью, не придерживается опасного афоризма: «плохая или хорошая — моя страна» (или церковь — что то же самое), служащего оправданием предательства и подлости. Он — сын церкви, но в смысле верности заветам первоначального христианства, верности тому, что Маркс называл *«человеческой основой* христианства», и поэтому католические прототипы Де Ритиса наверняка считают его еретиком. В наших же глазах это его аттестует самым лучшим образом.

Судя по авторскому настрою и скрытой, но ощутимой тенденциозности романа «Компромисс», Марио Помилио принадлежит к числу «социалистов чувства», о которых — на примере Э. Синклера — писал в свое время Ленин. «Социалисты чувства» отвергают капитализм прежде всего потому, что он означает распад человеческой личности, и выступают за такую перестройку общества, которая обеспечила бы возрождение, воссоединение этой личности. Если поставить эту цель во главу угла, бросается в глаза, что она не противоречит сути коммунизма, которая резюмирована в «Коммунистическом манифесте»: «Свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».

Поскольку «этический социализм» католических деятелей культуры отражает глубокую трещину в буржуазном «гражданском обществе» и расщепление самого лагеря власти, поскольку, с другой стороны, он становится знаменем для католически настроенных масс, эволюционирующих к научному социализму, это явление привлекает все более пристальное и сочувственное внимание со стороны коммунистов. «На данном историческом этапе,— заявил на XI съезде ИКП ее генеральный секретарь Луиджи Лонго,— христианское сознание склонно вступать в противоречие и конфликт с условиями свойственной капиталистическому обществу эксплуатации, ограничения свободы и достоинства человеческой личности, и благодаря этому христианское сознание становится доступным влиянию социалистических идей».

Впрочем, эти потенции современного религиозного сознания, эта его «готовность» воспринять социализм не снимают того безысходного пессимизма, который так откровенно и тягостно проявляется в финале «Компромисса». Что же делать? Брезгливо отрешиться от всего суетного? Но не приведет ли это в конечном счете к жалкой судьбе Берарди?

О том, насколько зловеща и непривлекательна политика, политическая жизнь на Западе, написано немало романов, эссе, социологических трактатов. И все же поддаться аномии, укрыться в нору аполитичности означало бы предпринять какое-то духовное самооскопление, добровольно отказаться от того, что, несмотря на многочисленные разочарования, в конечном счете дает человеку неподдельное удовлетворение.

Ибо опасности и издержки Прогресса, к счастью, не единственная его характеристика. Пусть прав Лев Толстой, считавший прогресс всего лишь логарифмом времени. Но ведь и время-то в конечном счете есть равнодействующая человеческих усилий.

Отрешиться от вечного вопроса «зачем» невозможно — это было бы противно человеческой натуре. Но и пассивное ожидание ответа противоестественно и бессмысленно. «Im Anfang war die Tat» *. Наверно, действие и есть лучший рецепт от той распространенной болезни, которой страдает Марко Берарди.

---

* Вначале было дело (Гёте).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

За рубежом

Из работ современных румынских художников

Брэдуц Ковалиу. Юность.

Ион Георгиу. Лес зимой.

Корнелиу Баба. Арлекин.

Александру Чукуренку. Мать.

Георге Шару. Осень.

Я. ЗАСУРСКИЙ

БЕСТСЕЛЛЕРЫ И ПОЛИТИКА

В представлении советских читателей американская литература связана с именами классиков американского романтизма — Уошингтона Ирвинга, Джеймса Фенимора Купера, Эдгара По, Германа Мелвилла, Натаниела Готорна, страстной аболиционистки Бичер Стоу, великих мастеров Уолта Уитмена и Марка Твена, корифеев реалистической школы американского романа XX века Джека Лондона, Теодора Драйзера, Эптона Синклера, Синклера Льюиса, Эрнеста Хемингуэя, Джона Стейнбека, Уильяма Фолкнера.

Но если мы обратимся к реальностям жизни США, то выяснится, что в глазах массового американского читателя отечественную литературу представляют совсем другие люди. Любопытные в этом отношении материалы были опубликованы американским журналом «Тайм»*. В списке—двадцать пять художественных произведений, которые имели наибольшие тиражи в Америке; первое место занимает роман достаточно посредственной писательницы Грейс Метальес «Пейтон-Плейс», который был издан самым большим в Америке тиражом. За 12 лет его купили 9 млн. 919 тыс. 785 американцев. В этот же список входит и другой ее роман — «Возвращение в Пейтон-Плейс». Чаще других упоминается Микки Спиллейн: семь его детективных романов входят в число самых читаемых в Соединенных Штатах Америки книг. В то же время среди этих двадцати пяти произведений нет книг ни Эрнеста Хемингуэя, ни Джона Стейнбека, ни Уильяма Фолкнера, ни Синклера Льюиса, ни Теодора Драйзера, ни Эптона Синклера, ни Джека Лондона, и даже наиболее известные романы этих писателей имеют тираж в 5—8 раз меньший, чем книги Грейс Метальес или Микки Спиллейна.

Два последних десятилетия в развитии американской литературы выдвинули немало интересных имен. Драматурги Артур Миллер и Теннесси Уильямс, романисты Джером Сэлинджер и Джон Апдайк, поэты Аллен Гинзберг, Грегори Корсо, Лоренс Ферлингетти далеко не исчерпывают список примечательных фигур, вошедших за эти годы в литературу. Но издается в США огромными тиражами литература совсем иного рода. Критик «Нью-Йорк таймс бук ревью» с унынием констатировал, что в списке бестселлеров «редко появлялась такая жалкая коллекция названий» * беллетристических произведений.

Таким образом, если в оценке американской литературы исходить из того, что читают американцы, то реальная картина американской литературной жизни предстанет в весьма мрачном виде.

С развитием научно-технической революции в Соединенных Штатах Америки появилась возможность сделать книгу достаточно доступной. Дешевые издания заполонили американский книжный рынок. Эти предметы массового духовного потребления, упакованные в яркие, практичные обложки из бумаги с синтетическим покрытием, можно купить в газетном киоске, на железнодорожной станции, в аэропорту, в универсальном магазине. В отделах самообслуживания наряду с расфасованными крупами, сахаром, консервами и прочими продуктами лежат и книги — американские социологи подсчитали, что наибольшим досугом для чтения располагают сейчас домашние хозяйки.

* "Time", Febr., 2, 1968.

* "New York Times book review", May, 1, 1966.

Американская буржуазная печать приравнивает производство дешевых книг чуть ли не к «культурной революции». Многие журналисты и социологи говорят даже о «революции книг в бумажных переплетах», но более вдумчивые, проницательные литераторы сетуют, подобно писателю Райту Моррису, на то, что так называемая культурная революция в США превращается в революцию, обращенную против культуры.

Конечно, миллионные тиражи книг бульварных писателей обусловлены прежде всего низким уровнем читательских интересов, умелой и ловко рассчитанной игрой на низменных инстинктах и побуждениях, развитию и распространению которых бульварная литература в свою очередь в немалой степени способствует.

Послевоенное «похолодание» в политическом климате США, наступление маккартизма и реакции губительно сказались и на литературе. Еще в ноябре 1948 года со страниц журнала американских дельцов «Форчун» литературный критик Джон Чемберлен потребовал, чтобы писатели отказались от критики бизнесменов и давали бы «перспективу, которая показывала бы и сравнительную честность большинства бизнесменов». Дело не ограничилось журнальными статьями; в последнее время в определение литературной политики стали вмешиваться американские президенты. Представ перед прибывшими в Белый дом деятелями литературы и искусства, Линдон Джонсон откровенно заявил: «Ваше искусство не является политическим оружием, однако значительная часть того, что вы делаете, носит явно выраженный политический характер».

Стремление американских президентов воздействовать на литературу далеко не у всех американских писателей нашло поддержку: Уильям Фолкнер отказался явиться в Вашингтон на прием, устроенный президентом Кеннеди, а поэт Роберт Лоуэлл, несмотря на приглашение президента Джонсона, не принял участие в фестивале искусств в Белом доме 14 июня 1965 года, мотивируя свой отказ несогласием с агрессивной внешней политикой США.

Но влияния конформизма не смогли избежать многие видные писатели, и даже такие признанные литературные светила, как Эптон Синклер и Джон Стейнбек, для творчества которых оно имело губительные последствия. В этой или иной степени буржуазно-охранительные тенденции могут быть прослежены и в послевоенных произведениях многих других, подчас весьма талантливых литераторов, не нашедших в себе сил противиться натиску реакции. Такие писатели, как Слоун Уилсон, Герман Вук, Джеймс Гоулд Коззенс, каждый на свой лад, пытались живописать добродетели современной Америки — ее бизнесменов, военных, деловых людей и порою снисходительно журили их, списывая их недостатки за счет свойственных всему человечеству пороков. За внешней респектабельностью этих отнюдь не бесталанных писателей, способных создавать и значительные произведения литературы, скрывалась довольно тонко замаскированная, а иногда и весьма прозрачная апологетика американского образа жизни.

В эти же годы в США стала широко издаваться беллетристика, откровенно пропагандирующая внешнюю и внутреннюю политику правящих кругов США и рассчитанная на самые разные слои американского населения. Эта литература получила повсеместное распространение в стране вследствие хорошо налаженной рекламы. Подобная литература всегда имела большой успех в США — достаточно напомнить о таком писателе XIX века, как Горацио Элджер, но особенно заметное место заняла она на книжном рынке в 40-е, 50-е, 60-е годы XX века. Эту тенденцию в развитии американской литературы последних десятилетий довольно точно передает название книги Максуэлла Гейсмара, изданной в 1958 году: «Современные американцы — от бунта к конформизму».

Среди авторов массовой апологетической литературы существует и своеобразное разделение труда: одни прославляют американскую государственную машину, другие специализируются на похождениях секретных агентов, третьи — на сплетнях, скандалах и порнографии, но всех их объединяет стремление защищать социальные устои США.

Можно было бы наметить несколько направлений этой массовой беллетристики, рассчитанной на эксплуатацию низких вкусов разных категорий читателей.

Прежде всего, так называемые политические романы, которых сейчас в США выходит великое множество, они пишутся на злобу дня и откровенно защищают политику правящих кругов Америки.

Издатели бульварной литературы в США, стремясь не отставать от последних внешнеполитических установок государственного департамента, спешат выбросить на книжный рынок романы, оправдывающие и прославляющие войну во Вьетнаме. В 1965 году журналист Робин Мур выпустил роман «Зеленые береты», посвященный действиям так называемых специальных войск США во Вьетнаме. Роман получил благословение высших гражданских и военных чинов Вашингтона, которым Мур выносит в предисловии к книге благодарность. Описания жестоких расправ, учиняемых американцами и их союзниками во Вьетнаме, были в этой книге настолько откровенны и циничны, что привели даже в некоторое смущение официальных представителей министерства обороны США. «Зажигательный роман-бомба о новом типе солдата в войне нового типа» — гласит рекламный лозунг от издателей на обложке этой книги, которая заканчивается действительно поджигательским антикоммунистическим заклинанием: «Как кончится война во Вьетнаме, никто не знает, но что бы ни случилось, солдаты специальных войск будут продолжать воевать с коммунизмом и завоевывать друзей для Америки в слаборазвитых странах, которые стали объектом коммунистической экспансии».

Осенью 1966 года появился новый роман

о войне во Вьетнаме. Брайан Гарфилд озаглавил его «Последний мост»; по ходу развития сюжета действующие на его страницах американские вояки должны взорвать мост на территории Демократической Республики Вьетнам. Тем временем два других издательства поторопились сообщить о выходе из печати новых боевиков на ту же тему и впопыхах дали им одинаковые заглавия — «Вьетнамская медсестра». Дэлла Филд (издательство «ЭВОН», 1966) и Сьюзен Робертс (издательство «Эйс», 1966) живописуют в книгах под этим названием амурные похождения своих героинь, обслуживающих американское воинство во Вьетнаме. У Дэллы Филд «Натали была нужна многим мужчинам, но ей был нужен ни на кого не похожий мужчина в зеленом берете» (то есть из специальных войск, занимающихся особо грязными операциями по уничтожению вьетнамских патриотов); героиня же Сьюзен Робертс менее взыскательна: «добровольный боец за свободу, она стала пленницей любви». Лишенные какой-либо художественной ценности, подобные книги, однако, в гораздо большей степени характеризуют уровень литературной продукции и читательских вкусов в США, чем это кажется на первый взгляд.

Шумно рекламировала буржуазная американская печать объемистую тетралогию Аллена Друри, состоящую из романов «По совету и с согласия» (1959), «Оттенок разногласия» (1962), «Тот, кто честен» (1966), «Сохранить и защитить» (1968), в течение длительного времени входивших в список бестселлеров и даже открывавших его. Предпоследняя часть тетралогии вышла в свет осенью 1966 года и уже через несколько недель, в октябре 1966 года, попала в список бестселлеров. По первому роману Друри была сделана пьеса, поставленная на Бродвее, и снят фильм. Словом, романы Аллена Друри удостоились всех возможных знаков внимания со стороны тех, кто пытается определить литературные вкусы рядового американца.

Роман посвящен в высшей степени актуальной политической проблеме — советско-американским отношениям. Президент США, желая вступить в переговоры с Советским Союзом, опережающим США в освоении космоса, решил назначить на пост государственного секретаря некоего Леффингуэлла, выступающего за проведение более гибкой внешней политики. Решение президента должен утвердить сенат. Рассмотрению этого дела в сенате и посвящен роман.

Зная все детали работы американского конгресса (Друри больше пятнадцати лет в качестве корреспондента газеты давал отчеты о работе сената), автор умело вкрапливает в повествование разоблачительные детали, правда, весьма умеренного свойства, не идущие дальше намеков на влияние личных симпатий и антипатий сенаторов на решение важных государственных проблем.

У всех героев романа есть свои слабости — и у президента, и у сенатора, и у Леффингуэлла, и у его противников. Акцентируя эти слабости в характере героев, определяющих политику Соединенных Штатов, Друри стремится «очеловечить» их — ни что-де, человеческое им не чуждо,— стремится перенести акцент с их общественного облика на взятые вне этих общественных функций личные качества. Друри ловко распределяет свет и тени в портретах своих героев, и в результате оказывается, что наиболее высокими моральными качествами в романе наделены те, кто требует проведения жесткой политики по отношению к Советскому Союзу,— сенаторы Кули, Андерсон, Нокс; те же лица, которые пытаются ратовать за изменение внешнеполитического курса, представлены в романе как люди, лишенные моральных устоев,— президент ради того, чтобы добиться назначения своего сторонника Леффингуэлла, добывает данные, компрометирующие сенатора Андерсона, и толкает его на самоубийство; сенатор Ван Аккерман, выступающий за улучшение отношений с СССР, окарикатурен автором и представлен в виде демагога, чуть ли не копирующего бесноватого Джозефа Маккарти; наконец, Леффингуэлл, выступающий против военной истерии, оказывается лжецом — он скрывает прежние свои связи с левыми.

Шестьсот страниц убористого шрифта в книге крупного формата Друри посвящает доказательству тезиса об аморальности тех, кто выступает за мирное сосуществование с Советским Союзом. Поэтому даже само изречение сенатора Ван Аккермана, призывающего к переговорам с СССР, облечено в форму афоризма, оскорбительного, с точки зрения Друри, для американского народа: «Некоторые говорят — это значит пресмыкаться перед Москвой. Я говорю, что скорее буду пресмыкаться перед Москвой, чем погибну от бомбы». И ему отвечает другой сенатор — Ричардсон, выражающий шовинистические идеи автора и его симпатии к «превентивной» войне: «Я скорее погибну, стоя и воюя за то, во что я верю, чем буду ползать и ползать, уступать и уступать, пока ничего не останется».

Друри признает успехи СССР в освоении космоса, но понадобилось ему это признание лишь для запугивания американского обывателя мнимой советской угрозой. Устами сенатора Мансона Друри утверждает, что у Америки не осталось выбора — можно выбирать «между войной и смертью сейчас или компромиссом и смертью потом».

Рассмотрение в сенате дела Леффингуэлла заканчивается поражением президента — сенат большинством голосов отвергает кандидатуру Леффингуэлла. От огорчения президент, не отличавшийся крепким здоровьем, умирает. Его, по мнению Друри, постигла справедливая кара за попытку улучшить отношения с СССР; пост президента занимает сторонник близкого сердцу автора даллесовского курса внешней политики. Американские торговцы смертью могут спать спокойно — даже если президент попытается спа-

сти их от кошмаров атомной войны, сенат не позволит ему этого сделать.

Роман Друри открыто восхваляет американскую государственную машину — об этом говорит и предпосланное роману посвящение: «Выдающимся и способным джентльменам, благодаря опыту, примеру и даже причудам которых эта книга была задумана и написана: сенату Соединенных Штатов».

Следующий роман Друри «Оттенок разногласия» (1962) развивает ту же сюжетную линию — вице-президент занимает президентское кресло после смерти своего предшественника и восстанавливает в полной мере прежний даллесовский курс балансирования на грани войны.

В этом романе Друри много места уделяет деятельности ООН и проблеме развивающихся государств. Он создает карикатурный образ африканского лидера, борющегося за независимость своей страны. А попытки нового государственного секретаря повлиять на настроения дипломатов из освободившихся от колониального ига стран Африки он издевательски называет «раздариванием бус туземцам». Роман проникнут откровенным недоброжелательством по отношению к африканским, азиатским и латиноамериканским народам.

С октября 1966 года в списке бестселлеров числился роман Аллена Друри «Тот, кто честен». «Это книга, которая приглашает своих читателей солидаризироваться с теми, кого большинство из нас считает Плохими Парнями, Кровавым Братством Ястребов. И так быстро, с таким реализмом и ловкостью состряпана воображаемая история ближайшего будущего, что автор почти добивается успеха»,— так характеризовал эту книгу американский журналист Николас Сэмстаг *.

В романе, выход которого в свет в сентябре 1966 года был приурочен к предвыборной кампании в США, Друри в неприглядном виде изображает противников агрессивного курса американской политики во Вьетнаме. Он обрушивает свой гнев в первую очередь на журналистов, критикующих правительственный курс, он рисует кошмарную картину заговора прессы, радио и телевидения против американского президента. Друри вкладывает даже в уста одного из журналистов призыв убить президента, при этом он не жалеет красок, чтобы запугать своих американских читателей, заставить их поверить в то, что опасность будущему благосостоянию Соединенных Штатов исходит именно со стороны либерально настроенных людей, голубей, как их в отличие от ястребов — сторонников агрессивного курса — называют в США. Недаром крайне реакционный еженедельник «Тайм» назвал роман Друри «захватывающим чтением» и горячо рекомендовал своим читателям.

Тетралогия Друри написана языком заурядного газетного комментатора, наполнена шаблонными фразами, сравнениями, эпитетами, об этом не могли умолчать даже благожелательно по отношению к Друри настроенные рецензенты.

Псевдореалистическими приемами Друри пытается сфабриковать фальшивку и выдать ее за копию действительности, не брезгуя при этом заимствованием не только приемов, но и лозунгов и понятий.

Это подделка под реализм, но достаточно ловко сделанная, чтобы привлечь не искушенного в литературных тонкостях читателя, это псевдореализм, который не менее опасен, чем многие другие «измы» современного буржуазного американского искусства, ибо он отравляет сознание массового читателя антикоммунистическими идеями.

Николас Сэмстаг уподобляет роман Друри «Тот, кто честен» работам немецких историков о второй мировой войне, написанным с нацистских позиций; разницу он видит лишь в том, что Друри дезориентирует своих читателей не относительно прошлого, а относительно ближайшего будущего.

Романы Друри преподносились американскому читателю под видом литературы респектабельной, с претензией на серьезность. На менее взыскательную аудиторию рассчитана другая разновидность апологетической беллетристики — современный политический детективный роман, который активно способствует развитию шпиономании и ненависти к «красным». Читатели этих романов живут впечатлением, будто в США и в других странах существует постоянная опасность со стороны «коммунистических агентов», от которых их надежно защищают американская разведка, ЦРУ и всякого рода секретные агенты ФБР. По большей части это продукция писателей-роботов; издается, к примеру, серия романов без автора о «магистре убийств — американском разведчике Нике Картере».

Особенно шумную известность приобрел один из родоначальников этого вида книжной продукции, автор десятков откровенно бульварных романов о похождениях американских сыщиков и специальных агентов Микки Спиллейн. За два десятилетия семь его романов (первый из них появился в 1947 году) разошлись тиражом свыше 34 миллионов экземпляров. Ни один другой писатель не имел такого коммерческого успеха в США.

Злейшие враги Микки Спиллейна и его героя Майка Хэммера — коммунисты, либералы и слюнтяи, боящиеся «красных». Слюнтяйство чуждо Майку Хэммеру, да и сама его фамилия многозначительна — Хэммер в переводе на русский язык означает «молоток»,— Майк Хэммер взывает к расправе над коммунистами, сенатор Джозеф Маккарти ему кажется излишне либеральным.

В 1965 году Микки Спиллейн напомнил о своем существовании, издав после некоторого перерыва роман «День револьверов» в массовой серии карманного формата «Новой американской Библиотеки мировой литературы». Как и прежние девять книг, «День револьверов» — детектив, прославляющий

* "Saturday review", Nov., 5, 1966.

американского секретного агента. Спиллейн распрощался с частным сыщиком Майком Хэммером, что же до нового героя, то его трудно охарактеризовать точнее, чем это сделали издатели книги. «Познакомьтесь с новым супергероем контрразведки — сексуальным, смертоносным Тайгером Манном... Он — мастер шпионажа и наемный убийца...» — так зазывает читателя яркая обложка боевика, снабженная, само собой разумеется, изображением обнаженной красотки с револьвером в руках.

Конкуренция со стороны таких учеников и последователей Микки Спиллейна, как англичанин Ян Флеминг с его международным «агентом 007» Джеймсом Бондом, видимо, и заставила Микки Спиллейна модернизировать своего героя. В отличие от Майка Хэммера, на которого просветление находило только после продолжительного запоя, Тайгер Манн, вылавливая шпионов, покоряя блондинок и брюнеток, убивая свои жертвы из револьвера или голыми руками, пытается подвести под свой «супергероизм» теоретическую базу.

Больше всего Тайгера беспокоит избыток в США либералов и коммунистов, которым, как ему кажется, потворствует к тому же американское правительство, он клянется памятью «пионеров, очистивших страну от враждебных индейцев», и призывает заменить дипломатию пулями. Ведь «пуля,— глубокомысленно размышляет он,— на пути в чьи-нибудь кишки не знает никакого страха и движется слишком быстро, чтобы ее могли остановить».

Несмотря на грозное имя — Тайгер Манн в переводе с английского звучит как человек-тигр, нечто вроде тигрочеловека,— супергерой Микки Спиллейна напуган до крайности обилием красных шпионов, они буквально ему мерещатся под каждой кроватью, и он из страха даже спит на подоконнике. Больше всего Тайгера пугают, естественно, коммунисты, но само слово «демократия» кажется ему предосудительным, а американский конгресс — сборищем опасных радикалов. Изрекая афоризм «бедность защищает коммунизм, деньги могут защитить капитализм», он обращается к тем, кто в Америке этими деньгами обладает, и проводит при этом любопытные параллели: «Подобно тому, как Гитлер имел за собой промышленный капитал, так и за нами стоят финансовые верхи». Он только сожалеет, что им еще не удалось достигнуть масштабов деятельности Гитлера.

Раздувая шпиономанию, антикоммунистическую и антисоветскую истерию, Микки Спиллейн пользуется откровенными и грубыми приемами фашистской литературы. Его супергерой, повторяющий доводы Голдуотера, генерала Уокера, бэрчистов, сконструирован по рецептам и Маккарти, и Геббельса.

Книги Микки Спиллейна ставит вне литературы их художественное убожество, и если о них приходится говорить и писать, то только потому, что именно такие издания распространяются в США наибольшими тиражами. Факты говорят, что они широко читаются в США, причем наибольший спрос на них наблюдается в американской армии. Как сообщает журнал «Лайф» *, некий сержант военно-воздушных сил США во время войны в Корее специально летал в Японию за очередным боевиком Микки Спиллейна. Представительница командования воинских частей, расквартированных в Стилуотере, штат Оклахома, прислала издателям Микки Спиллейна такое письмо: «Еще! еще! еще! Микки Спиллейн — один из лучших романистов всех времен!»

Свой антикоммунизм Микки Спиллейн наиболее точно выразил, по его собственным словам, в романе «Одной одинокой ночью»: «Убивайте их налево и направо, покажите им, что мы не так слабы в конце концов. Убивайте, убивайте, убивайте, убивайте, убивайте!» Звериный антикоммунизм Микки Спиллейна и делает его книги желанным чтивом для распространения среди воинов американской армии, и не только среди них. Он отбрасывает тот камуфляж, с помощью которого пытается прикрыть свой антикоммунизм и антисоветизм Аллен Друри. Он откровенно пропагандирует убийство, садизм, насилие, уничтожение коммунистов и им сочувствующих. При этом его книги широко распространяются не только в США, вы можете купить их в разных странах: на аэродроме в Париже, и в книжном магазине в Бейруте. Для арабской аудитории он написал «Торговцев смертью» (1966), где рассказывается, как тот же Тайгер спасает арабского нефтяного короля опять-таки от козней красных. Подобные книги создаются не только для внутреннего употребления, но и на экспорт. На мировом рынке массовой беллетристической продукции существует своеобразное разделение труда — Англия и Америка поставляют детективы для всего мира, а «легкое чтение», рассчитанное на интеллигентов и снобов, поставляет Франция. И в этом международном разделении труда наиболее «грязную» работу выполняют американские литераторы.

Особую разновидность бульварной беллетристики США составляет «бытовой» роман. Эти массовые литературные изделия, рассчитанные по большей части на женскую читательскую аудиторию, пользуются в США большим спросом. К их числу можно отнести книгу писательницы Жаклин Сьюзанн «Долина кукол» (1966), возглавлявшую больше десяти месяцев список американских бестселлеров. Популярность этому роману придали подробные описания приключений киноактрис, которые с большей или меньшей долей успеха совращают и совращаются сами, что же до литературных достоинств этой книги, то, по словам критика Мартина Льюиса, проза Ж. Сьюзанн приведет в восторг лишь коллекционеров литературных курьезов.

* "Life", June, 23, 1952.

Я. ЗАСУРСКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕРЫ И ПОЛИТИКА

К «бытовому» роману можно отнести и уже упоминавшиеся книги Грейс Метальес «Пейтон-Плейс» и «Возвращение в Пейтон-Плейс». Хотя со времени издания этих книг прошло немало лет — первый роман был издан в 1956 году, второй в 1959,— они до сих пор остаются в списках бестселлеров. Содержание их, несмотря на обширные размеры книг, весьма точно может быть передано одной фразой — это сплетни о жизни обитателей американского провинциального городка, сдобренные основательной порцией подсмотренных в замочную скважину подробностей их семейной и внесемейной жизни. Два изнасилования, четыре соблазнения, две беременности незамужних девушек, два аборта и убийство насильника его жертвой — так деловито перечисляла американская критика достоинства романа «Пейтон-Плейс». Вполне возможно, что именно эти моменты способствовали успеху книги, но не только в них дело — в романах Грейс Метальес поэтизируется буржуазная Америка.

Городок Пейтон-Плейс, в котором происходит действие, невелик — его население, как пунктуально сообщает автор, 3 675 человек. Всеми делами в нем заправляет городская элита, расположившаяся на центральной улице Честнат-стрит,— местный промышленник Лесли Хэрингтон, президент местного банка Декстер Хамфри, владелец городской газеты Сет Басуэлл и другие состоятельные граждане. Метальес с большим почтением пишет об этих людях, ведь они «обеспечивали работой Пейтон-Плейс. Они заботились о его нуждах, выясняли его юридические дела, формировали его мышление и тратили его деньги. Эти люди знали о городе и его людях больше, чем кто-либо еще». Отношения города и его хозяев обрисованы в весьма идиллических тонах. Апологетический характер творчества Грейс Метальес еще откровеннее выявляется во втором ее романе «Возвращение в Пейтон-Плейс», где рассказывается о карьере героини прежнего романа в Голливуде. Молодую писательницу Аллисон Маккензи предупреждают об отвратительной атмосфере, царящей в Голливуде, но, приехав, писательница после первых разочарований убеждается, что Голливуд совсем не так уж плох. Оправданию нравов и порядков буржуазной Америки служит и развитие основной сюжетной линии первого романа — героиня его Аллисон Маккензи пишет роман о своем родном городе Пейтон-Плейс, в этой книге главное место занимают как раз подробности жизни его обитателей, что вполне соответствует ее творческой программе, как и программе самой Грейс Метальес.

Детальное рассмотрение интимных отношений героев и составляет вариант «правды жизни» в понимании Грейс Метальес. С точки зрения сексуальных инстинктов она пытается уравнять отцов города и их паству, в сексе она видит главное проявление человечности, и неслучайно, стремясь придать привлекательные черты одному из отцов города — адвокату Партриджу, Метальес пишет о его несчастливой семейной жизни и объясняет неудачную его женитьбу материальными тяготами юношеских лет: он, оказывается, был беден в студенческие годы и теперь, повзрослев, «иногда подумывал, а женился ли бы он с такой поспешностью, если бы мог в студенческие годы позволить себе посещать дома дурной репутации, о которых с энтузиазмом говорили его однокашники. Он был уверен, что в этом случае не женился бы».

Усилия подобных писателей оплачиваются весьма высоко. «Писатель может заработать на одной книге или пьесе столько, что ему хватит на всю жизнь. В этом смысл той денежной революции, которая создает новый класс писателей-миллионеров в Америке»,— писал вышеупомянутый Т. Джеймс. К его статье были приложены справки о наиболее богатых молодых писателях, среди них нет ни одного сколько-нибудь серьезного художника.

Суть дела состоит в том, что правящие круги США в наши дни не жалеют денег на оплату трудов тех писателей, которые защищают и прославляют в различных формах американский образ жизни. Ради этого идет спекуляция на сексе и мещанстве, как у Грейс Метальес, на сексе и садизме, как у Микки Спиллейна, на сексе и политике, как у Аллена Друри, и какая дата указана на обложке такого романа — 1966 («Последний мост» Брайана Гарфилда) или 1962 («Охотники за девушкой» Микки Спиллейна),— не так уж важно. Эти подделки под литературу читаются миллионами американцев, они активно влияют на их сознание, отравляют его антикоммунистической пропагандой. Без них нельзя составить представление о духовной жизни современной Америки.

Грейс Метальес так охарактеризовала однажды свое творчество: «Если я дрянная писательница — чертовски много народу обладает дрянным вкусом». Здесь «воспитательная» роль подобной массовой литературной продукции выявлена достаточно наглядно — апеллируя к самым низменным инстинктам, литература их поощряет.

В последние годы появилась новая разновидность бульварной литературы, которая рассчитана уже на более взыскательную публику, чем домашние хозяйки, и потому упакована в модернистские футляры. Это так называемый «аванкитч», что в русском переводе буквально означает «авангардистская халтура». В качестве примера такой продукции можно привести роман «Канди» Терри Сазерна (написан в соавторстве с Мейзеном Хоффенбергом), имевший скандальную известность. Роман претендует на то, чтобы следовать за Вольтером, отсюда и имя героини Канди по аналогии с Кандидом (слово это обозначает конфетку). Канди — студентка, она оказывается вовлеченной в необычайные происшествия, которые переносят ее из одной страны в другую, подобно Кандиду Вольтера. Но рассказывает книга о жизни девицы, которая пытается сначала совратить своего дядю, потом другого своего родственника; ее похождения описаны очень подробно, детально, хотя и

с элементами иронии и даже пародии на бульварную и эротическую литературу. Но ирония тонет в потоках порнографии: роман «Канди» по откровенности описания соответствующих сцен превосходит многие другие книги и даже был запрещен за порнографию в США; его опубликовали сначала в 1958 году в Париже на английском языке, и только через шесть лет он был разрешен к изданию в США. Роман рассчитан на иную аудиторию, чем книги Друри, Спиллейна, Грейс Метальес, но и он нашел успех у весьма широкого круга читателей—для тех, кто не уловил иронии писателя, остается порнография. Бульварная литература ныне обогатила арсенал своих литературных средств штампами, заимствованными у модернистской литературы, но штампы не перестали от этого быть штампами.

В американской буржуазно-охранительной литературе подделки под реализм, модернистский ширпотреб и полицейский детектив, причудливо переплетаясь, образуют ветви мощной литературной промышленности; ее продукция бывает разного качества, но при всех ее оттенках и разновидностях она всегда стереотипна и шаблонна в своей апологии буржуазной Америки и в своем антикоммунизме, в проповеди ненависти и насилия.

ПУБЛИЦИСТИКА

СТАДС ТЁРКЕЛ

УЛИЦА РАЗДЕЛЕНИЯ: АМЕРИКА

Книга американского журналиста Стадса Тёркела «Улица Разделения: Америка» — редкое и любопытное издание. В ней воспроизведены подлинные голоса рядовых американцев конца шестидесятых годов — без «переозвучивания». Читатель увидит в книге Тёркела документальные портреты чикагцев без ретуши.

Насколько мне подсказывает шестилетний опыт корреспондентской работы в Соединенных Штатах, собеседники Стадса Тёркела говорили искренне, без утайки. Их рассказы — как исповеди. Именно так говорят «средние американцы», когда идут на откровенность. Именно так они сердятся. Так горюют. Так возмущаются. Так шутят. Так мечтают.

Словом, перед нами живой человеческий документ о настроениях современных американцев разных социальных слоев и различных воззрений.

Чтобы создать сборник американских исповедей, нужно репортерское уменье и терпение. Стадс Тёркел не очень многословен, когда рассказывает, как собирал свои интервью. Из его отрывочных замечаний догадываешься, что автору книги пришлось затратить много усилий и времени, дабы услышать человеческую исповедь перед микрофоном. Тёркелу помогла многолетняя сноровка радиожурналиста. Он сумел войти в доверие разных людей — хороших и скверных, вызвать их на откровенность и заставить забыть о вертящихся дисках магнитофона.

Успешные интервью чередовались с неудачами. Тёркел признает, что зачастую его потчевали «клише». Достаточно сказать, что свыше ста магнитофонных записей он не счел возможным (или нужным) включить в книгу.

Немаловажной заслугой Тёркела мне представляется то, что, не в пример многим своим коллегам-соотечественникам, он не избрал легкий путь погони за сенсационными интервью с «уникальными» людьми. Мимоходом автор замечает, что он умышленно обошел стороной такие «яркие» заведения, как «Гологрудое а-го-го», где выступают обнаженные до пояса девицы. Он искал типичных представителей тех слоев и течений, которые типичны для Соединенных Штатов нашего времени. И нашел.

При всем различии индивидуальностей герои книги Тёркела — типичные американцы. Каждый из них основными своими чертами похож на тысячи и порой миллионы своих соотечественников. Этому сходству ничуть не мешает — более того, помогает — то обстоятельство, что все беседы, записанные в книге «Улица Разделения: Америка», велись в одном городе — Чикаго и что все говорившие — чикагцы.

Чикаго — один из крупнейших центров Среднего Запада, а Средний Запад недаром называют сердцевиной Америки. Здесь сходятся Восток и Запад, Север и Юг страны, и не только в географическом смысле. На Среднем Западе как бы подводится знаменатель общественным настроениям различных районов страны.

Маститые американские обозреватели не раз замечали, что, когда им хочется «пощупать политический пульс нации», они первым делом отправляются на Средний Запад.

Побывав во многих районах страны, я не обнаружил более представительного американского города, чем Чикаго. Здесь действительно подводится знаменатель основным американским проблемам — политическим, экономическим, социальным, культурным, моральным. Тут встретились многие Америки — реакционная и демократическая, черная и белая, трудовая и монополистическая, самодовольная и трагическая, ястребиная и миролюбивая.

После первых дней знакомства с Чикаго я записал: «Много разных Чикаго в городе Чикаго». Сейчас, узнав этот центр «американизма» получше, я бы сказал: много разных Америк в Чикаго.

Печатается в сокращении.

Я посмотрел на эти разноликие Америки чикагских улиц. В квалифицированных гидах не было недостатка. Еще в Москве меня пригласил быть своим гостем сам хозяин «величайшей газеты мира» «Чикаго трибюн», и его подчиненные, превозмогая неприязнь и подозрение к «красному» (газета сокрушает «красных» в каждом номере), добросовестно выполняли обещание босса — показывали фасад Чикаго. Знакомые мастера рекламного дела ввели меня в мир финансов и большого бизнеса. Были и другие «гиды»: на стареньком «фордике» подъезжал к отелю моложавый энергичный старик по имени Грегори, человек прогрессивных взглядов, и мы отправлялись на Хэймаркет, где родился Первомай, в пролетарские районы города.

Чаще же всего я выходил из отеля один и брел куда глаза глядят — по красивым фешенебельным кварталам вдоль озера Мичиган, по университетскому городку-парку, по трущобам «старого города», по негритянским гетто.

Проходил я и по Division Street, название которой Стадс Тёркел поставил в заголовок своей книги. Автор оговорился, что он употребляет это название как метафору. Он прав: в Чикаго куда больше «улиц Разделения», чем та малопримечательная стрит, которая разделяет северную часть города и «даунтаун» — центр. Я наталкивался на «улицы Разделения» в самых различных местах города. Это они отделяют гангстерский квартал от фешенебельной стрит, эти самые невидимые «улицы Разделения» обособляют белые кварталы от черных, где живут своей горькой жизнью неулыбчивые обитатели негритянского гетто...

И вот я опять пересекаю «улицу Разделения» и, изумленный, останавливаюсь перед двумя новехонькими вавилонскими башнями. Два небоскреба-цилиндра ввинчены в небо. Чикагские острословы никак не могут угомониться, придумывая комические названия башням: початки кукурузы, солонка, перечница и т. д. В голосе администратора жилых «кукурузных початков» — извиняющиеся нотки:

— Архитектор сделал попытку реабилитировать Чикаго.

Я понял смысл его слов, когда перешел очередную «улицу Разделения» и очутился на «Скид роу» («Ряд поскользнувшихся»), где живут белые люмпены, когда-то «поскользнувшиеся» в жизни и угодившие на дно общества.

Истерзанные здания-развалюхи. Закопченные, обшарпанные стены. Битый асфальт тротуаров. Потрепанные люди-тени слоняются вокруг да около, дышат в лица прохожим винным перегаром. На углу питейное заведение. Оттуда, покачиваясь, выходит женщина с невидящими глазами. Сколько ей лет — непонятно. Фигура девичья, а лицо изборождено старушечьими морщинами. Она наверняка останется до смерти по эту, трущобную сторону «улицы Разделения»...

По обе стороны бесчисленных Division Street обитают разноликие жители Чикаго из книги Стадса Тёркела. Стопроцентные англо-саксы и негры, пуэрториканцы и иммигранты из Европы, бизнесмены и рабочие, полицейские и уголовники, студенты и домохозяйки, мракобесы и люди думающие... Я видел немало чикагцев, разительно похожих на собеседников Тёркела, не раз слышал схожие рассказы...

С. ВИШНЕВСКИЙ

ОТ АВТОРА

Эта книга — отнюдь не научный обзор. И она вовсе не является попыткой сделать исчерпывающие выводы — радостные или печальные — относительно Чикаго или какого-нибудь другого американского города. Она не содержит ни оптимистических восторгов, ни пессимистического скепсиса. Просто один человек, вооруженный магнитофоном и гонимый бесом любопытства, целый год бродил по городу то там, то тут, пытаясь узнать мысли ничем не примечательных людей — их мысли о себе, о прошлом и настоящем, о городе, об обществе и о мире в целом.

Насколько я себя помню, мое отношение к Чикаго всегда было двойственным. (Мне было десять, когда я приехал сюда, а сейчас мне пятьдесят четыре.)

Я бродил в поисках обнаженной мысли города, не пользуясь каким-либо определенным методом или приемами. Я знал, что мой поиск приведет меня и в пригороды, и в центр города, и на окраины, сведет с людьми богатыми, бедными, среднего достатка. Каждому есть что сказать о городской жизни в двадцатом веке. Это относится и к мойщику окон, совсем недавно попавшему в класс обеспеченных, и к двум агентам рекламного агентства, один из которых так же горячо любит свою работу, как другой ее ненавидит; и к замученному маляру-домовладельцу, который видит залог своей респектабельности в том, что в его районе может поселиться не всякий, и к жене бывшего юрисконсульта с Уолл-стрит, которая рискует своей респектабельностью, добиваясь интеграции своего района; к существующей на пособие матери-одиночке, которая ищет красоту жизни, и к хорошо зарабатывающему сталевару, для которого красота жизни потеряна; к шоферу такси, который в поисках утраченной мужественности вступает в общество Джона Берча, и к школьной учительнице, сохранившей свою человечность; к супружеской паре из Аппалачей, которая чего-то добилась в большом городе, и к мастеру с завода автомобильных кузовов, который ничего не желает добиваться; к слепой женщине, которая видит, и к зрячей девушке, которая не видит; к тем, кто плывет по течению, и к тем, кто плывет против него.

Люси Джефферсон, 52 года

Живет в одном из муниципальных домов Роберта Брукса на Нир Вест-сайд. Квартира прилично обставлена, в духовке пеклись пироги, повсюду лежали книги.

Мне не нравятся все эти пособия. Я ни от кого цента не взяла бы. Я не собираюсь растить моих детей на пособие. С какой стати? В Америке достаточно денег, чтобы я могла вырастить своих детей. Сейчас одному семнадцать, а другому — двадцать один год. И я никогда никаких подачек не принимала. Как бы я тогда научила своих детей понимать, какое это удовольствие — чего-то добиться? Вы знаете, что будет, если я приму этот чек? Каждая моя трата уже будет оговорена — мы даже не сможем, скажем, поехать в зоопарк, потому что надо платить за проезд.

Те гроши, которые мы зарабатываем, мы приносим домой и говорим:

— Ладно, в эту получку деньгами будет распоряжаться Мелвин, а в ту — Корин.

— Ну, так что мы теперь сделаем, мама? Надо платить за квартиру? — говорят они.

— Нет, на этот раз платить не будем,— говорю я.

— Ну, так пойдем посмотрим какое-нибудь ревю?

А я скажу:

— Да, на этот раз можно и сходить. Встретимся в городе, когда я кончу работать.

А после работы я зайду в магазин купить фунт какой-нибудь дешевой карамельной смеси. Я встречусь с ними у входа. Значит, из этой получки истрачено пять долларов с лишним. Мы можем себе это позволить раз в два три месяца. Или еще реже. У меня всегда есть корзинка, посуда и все прочее для пикников. Все это очень нужно — чтобы дети бывали повсюду и видели, что происходит на свете.

Я проработала в больнице Уэсли около одиннадцати лет — санитаркой в кабинете физиотерапии. Я работала неполный рабочий день, а вечером училась в школе медицинских сестер. Одна женщина относилась ко мне с большой симпатией. Она мне все говорила. «Люси, почему бы тебе не получать пособие, пока не кончишь школу? Брось ты эту свою гордость». Может быть, я и не совсем еще понимала, про какую гордость она говорила, но только я бросила учиться. Знаете ведь сколько накручено вокруг этого — вот, наверное, почему бросила... Шумиха разговоры о деградации негров, понимаете?..

Черт, мы бедны, как церковные крысы. Мы каждый день считаем гроши, только нам это нипочем. Когда я получаю деньги, мы точно знаем, что мы будем есть следующие две недели. Я покупаю то, что идет по распродаже. Вот сегодня у нас на обед свиные ребра. И прекрасно. Свиные ребра с кислой капустой. Если говядина дешева, то мы иногда жарим и бифштексы. Но все длинные две недели мы знаем, какое мясо мы будем есть. Ну, и к нему еще что-нибудь — у нас в доме есть картошка, и рис, и замороженные овощи. Вот уже и целый обед. Так что, если уж кто знает о бедности, так это я. *(Смеется.)*

Больница где я работала, очень модная. Там лечатся те, у кого есть деньги. Мне было очень интересно. Как одеваются! Я для развлечения представляла, какой бы я была в такой роли. Ну, конечно, я продолжала читать, так сказать, для самообразования...

Все называют тебя только по имени — студенты... ну, абсолютно все. Видите ли, в этом есть своя линия, чтобы негры знали свое место. Но я-то из тех негров, которые научились противоречить, потому что я читаю такие вещи, как «Американская дилемма» *, и повсюду хожу с какой-нибудь книгой. Я им по-всякому шла наперекор. Я их почти терроризировала.

Знаете, стоило мне войти в лифт, и начиналось: «Что ты читаешь? Что ты читаешь? Что ты читаешь?» *(Смеется.)*. И мне это начало нравиться. Я страшно веселилась. Я наводила на них ужас.

ЧЕГО ЖЕ ОНИ БОЯТСЯ?

Дело вот в чем — это же разбивает стандартные представления вроде того, что все негры невежественны, что они не хотят читать — этого не хотят делать, того не хотят и палец о палец ради себя не ударят. А когда они видят, что ты-то хочешь и делаешь... Понимаете? Их не столько негры тревожат, сколько они сами. А когда я по-настоящему хочу побить их, знаете, что я делаю? Я просто смотрю на них, не сводя глаз. Они так и ежатся от страха. *(Смеется.)*

Я теперь убедилась, что негритянка может сделать все, что захочет, если у нее хватит выдержки.

Чего я больше всего жду? Ребенка моей дочери. Это будет ее первый. Замуж она вышла неудачно. Я хочу, чтобы она кончила колледж. Ей это будет нужно, чтобы помочь своему ребенку, чтобы воспитать его. Мне только и остается один интерес — чтобы был внук, чтобы я ему помогала. Разве не здорово? Знаете, я смогу сделать так, чтобы он захотел заниматься живописью, музыкой, литературой — всем тем, что освободит его душу.

Давайте посмотрим правде в лицо. Важны знания. И чувства. Видите ли, есть такая вещь, как настрой чувств. Один дружелюбен, другой враждебен. И если у тебя этого нет, детка, то все — ты мертв.

Джен Пауэрс, 24 года

Работает в редакции журнала, популярного у молодежи, далекой от политики. Работа легкая и хорошо оплачивается. Она из рабочей семьи и изредка навещает мать и двух младших братьев. Снимает квартиру в новых домах на Нир Норт-сайд, где квартирная плата довольно высока. Помолвлена со Стивеном, студентом-медиком.

Я не замечаю, что творится в мире. Мне все это давно надоело. Я даже не знаю, что

* "The American Dilemma. The Negro Problem and the Modern Democracy".

я чувствую. Я всегда вежлива и приветлива, но люди что-то во мне замечают. Не знаю, может быть, они мне не нравятся. Может быть, я считаю себя выше их. Не могу сказать, что есть кто-то, кого бы я любила или уважала. Происходящие в мире события меня не волнуют. Мне просто не интересно. Мне безразлично. Конечно, я должна бы интересоваться — это просто ужасно. *(Смеется.)*

Вьетнам? Нехорошо, правда? *(Негромко смеется.)* Я видела фильм про Вьетнам, там показывали настоящие бои. Все выглядело очень нелепо — какое-то сборище детей. Было как-то неловко смотреть — люди по-настоящему стреляли, кричали. Я видела Вьетнам — один раз посмотрела на карте. Вьетнам будет меня беспокоить, если моего брата призовут в армию. А больше никак.

Мой интерес в жизни — это я сама. Нехорошо, конечно. Я жалею, что мне не хочется читать газет. Если я узнаю что-нибудь, то только от других людей.

Я надеюсь, жизнь у меня сложится хорошо. Выйти замуж за преуспевающего человека. Хайленд-парк *, двое детей. Хотя не могу сказать, что очень люблю детей. Сидишь в комнате, и вдруг вбегают пятеро ребятишек, и все бросаются к какой-нибудь другой женщине, а не ко мне. И собаки тоже.

Ближайшие два-три года меня очень беспокоят. Вот я трачу столько времени и чувств на мои отношения со Стивеном — и вдруг из этого ничего не выйдет! Это было бы ужасно! Просто не знаю, как я тогда буду жить. Скорее всего найду кого-нибудь еще и буду так же счастлива.

Меня ничто не трогает. Удивляюсь, почему это так. Атомная бомба меня не беспокоит. Газет я не читаю. От меня ведь ничего не зависит, вот я и не беспокоюсь! Сейчас самое главное это Стивен и я. Весь остальной мир пусть хоть провалится в тартарары.

На месте бога я бы создала мир, где было бы много таких, как я. *(Смеется.)* Нет, нет, я бы оставила его таким, какой он есть. Без войны не обойтись — войны были во все века,—по-видимому, из них все извлекают какое-то удовольствие. Если бы у человечества отняли войны, было бы скучно. Все стало бы однообразным.

Мне нравится дом, в котором я живу. Очень нравится. Когда я езжу навещать мать, то от людей в автобусе меня тошнит. Людей на Мичиган-стрит ** я уважаю больше. Родной дом вызывает у меня отвращение.

Конечно, очень жалко, что я не нравлюсь неграм и не нравлюсь детям и что собаки никогда ко мне не ластятся.

Рита Баскари, 25 лет

*Учительница. После работы собирала подписи под петицией о помиловании Поля Крампа *. Стояла на углу Вест-сайда, недалеко от окружной тюрьмы.*

Простояв около двух часов, я уже могла определить, кто подпишет петицию, а кто — нет. Здесь как на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Приходят родители, у которых дети попали в беду, и те, кого освободили. И каждый раз оказывалось, что рады, что горды подписать петицию бывали бедные люди, те, кто попал в беду, чьи дети попали в беду.

Я подходила к тем, кто стоял на автобусной остановке, и обращалась к ним. Сначала они говорили: «Что? Вы хотите, чтобы я подписал? Да кто я такой? Какое значение будет иметь моя подпись?»

«Очень большое». Тут объяснишь им, что каждая фамилия имеет большое значение. И они подписывали. А некоторые женщины даже начинали плакать и спрашивали:

«Вы думаете, от этого будет какой-нибудь прок?»

И мы отвечали:

«Надеемся, что да».

Отказывались подписывать те, кто был одет получше, государственные служащие. И они глядели с такой официальной холодностью, с таким возмущением, мол, чего вы добиваетесь? Что вы хотите доказать?

Я как-то была с экскурсией в окружной тюрьме, и когда мы увидели женщин... знаете, женщины там помещаются в общей камере. Их было около ста — лежали, причесывали друг друга, играли в карты. Я тогда сказала: «Это самое ужасное, что мне довелось видеть». А остальные заспорили: «А чего вы хотите, Рита? Чтобы их выпустили и все им позволяли? Это же проститутки, наркоманки. Их лучше держать взаперти».

Такое же отношение я часто встречала и на улице. Бедные обычно говорили: «Не убивайте этого человека». Я убедилась, что чаще всего бедные умеют прощать. А вот высоконравственные, обеспеченные разучились. Где-то на пути вверх они потеряли эту способность. Словно Поль Крамп, сидя в тюрьме, чем-то им угрожает, и они должны поддерживать существующее положение. Не рубите сук, на котором сидите.

Зато другие! С какой гордостью некоторые ставили свою фамилию. Многие из них были молодые ребята — из уличных шаек. У них такой вид, что люди переходят на другую сторону, лишь бы обойти их стороной. Но даже они превращались в детей, когда ставили свою подпись. С такой гордостью, с таким достоинством.

Мы, человек сорок, ходили к тюрьме про-

* Хайленд-парк — фешенебельный пригород Чикаго.

** Мичиган-стрит — одна из главных улиц Чикаго, где расположены банки, отели, дорогие магазины, конторы авиакомпаний.

* Поль Крамп был приговорен к смерти за убийство. В течение девяти лет находился в числе смертников. Просьба о помиловании основывалась на том, что во время пребывания в тюрьме он стал другим человеком. Среди просивших о помиловании был начальник окружной тюрьмы. Смертный приговор был заменен пожизненным заключением. *(Прим. автора.)*

тестовать против казни Джеймса Дьюкса *. Мы образовали очень дисциплинированные и, я бы сказала, полные достоинства пикеты. Мы ходили парами взад и вперед, очень спокойно Почти не разговаривали друг с другом. Напротив нас на другой стороне улицы около двухсот людей сидело в машинах с открытыми дверцами, с пивом и бутербродами, включенными радиоприемниками, изрыгавшими рок-н-ролл. Они просидели там весь вечер и часто выкрикивали насмешки по нашему адресу.

Я ходила в паре со студентом из Северо-Западного университета, который всегда участвует в протестах против смертной казни. Он сказал мне, что эти люди являются при каждой казни. В любой холод, сказал он — на этот раз был теплый августовский вечер.— в любой холод здесь собирается примерно такое же число людей. По его мнению, они приезжают посмотреть, как в тюрьме померкнет свет — но это неверно: ведь стул подключен совсем к другой электросети.

Они ждут до тех пор, пока санитарная машина не увозит тело. Кажется, здесь действует тот же инстинкт, который в Древнем Риме приводил людей в Колизей. Но ведь это же происходит сейчас, здесь, в нашем обществе. Начальник тюрьмы Джонсон рассказывал, что ему звонят по телефону и просят билеты. Если бы эти билеты продавались, то, я уверена, каждый раз был бы аншлаг.

Это было так омерзительно. Я пикетировала вместе с пацифистами и священниками, и по контрасту с их спокойной сдержанностью поведение людей на той стороне улицы казалось каким-то кошмаром. Когда настало время казни, мы все повернулись к тюрьме и смолкли. А шум по ту сторону улицы стал еще оглушительней. Они все включили радио, чтобы не пропустить сообщение. И по мере того как наше молчание становилось все более глубоким, шум на другой стороне продолжал нарастать.

Когда по радио объявили, что он казнен, на той стороне улицы началось настоящее ликование. Наконец-то кончено! О, это замечательно! Особенно из-за нас. Для них это была победа, понимаете? Замечательная победа над какими-то ненормальными, которые устроили здесь демонстрацию на другой стороне улицы. Ну, что? Много толку вышло из вашей демонстрации? На вас никто и внимания не обращает!

На следующий день я прочитала в газете отчеркнутый Дьюксом очень сильный абзац, кажется, из Сократа — его речи перед смертью. Он отметил этот абзац, чтобы показать свои чувства в тот момент. И вот такого человека казнили.

Возникает ужасное чувство, сумеем ли мы проломить эту стену? Удастся ли нам когда-нибудь объяснить людям? Возможно ли победить стремление карать, свойственное людям Ведь это до некоторой степени создает у них ощущение собственной безопасности. А вы хотите сказать, что нам надо научиться прощать. А они продолжают стоять там. Я видела электрический стул и представляю эту картину... возникает ощущение ужасного бессилия. Остается только молиться. И молишься. Молишься за человеческую душу. Начальник тюрьмы говорил, что они умирают, исполненные какой-то благодати. Собственно говоря, их смерть — не трагедия. Настоящая трагедия — это люди на той стороне улицы.

Кид Фэраоу, 37 лет

Он стоял около своей сосисочной на одной из улиц Норт-сайда. Он глядел в небо. «Думаете, будет дождь?» — спросил я. «Да нет, смотрю вон на те многоэтажные дома,— ответил он,— были бы они моими!» Во время разговора угостил меня тремя пятидесятицентовыми сигарами.

Люди вроде меня — это самое ядро улицы. А те, кто поселился тут недавно,— новички, пришедшие на все готовенькое, и они не знают ни района, ни чем он дышит. Я прожил в Чикаго всю свою жизнь, здесь родился и здесь вырос. Мой отец играл на бирже, иногда успешно, а большей частью нет. А я бывший профессиональный боксер.

Школу я не кончил и считаю, что ничего не потерял. В школе ничему не научишься. Если чего и наберешься, то только на стороне. Вот парень ходит в школу, кем он хочет стать? Врачом? Юристом? А это самые крупные воры в нашем обществе. Один законно крадет, а другой законно убивает. Дерут, сколько хотят, а дядю Сэма обжуливают и не выплачивают, что ему положено*. Таких, как я, они хотели бы упрятать за решетку. Потому что я из принципа посвятил себя одному занятию: отбирать деньги у неквалифицированных дилетантов, которые зарабатывают их с помощью блата. Вот этим я и занимаюсь, и тут я специалист. Я не тружусь в поте лица. И поклялся никогда больше не вкалывать. На улице целый миллион людей, которые только и ждут, чтобы их обобрали,— их и следует обирать, и их обязательно оберут.

У меня и у моих братьев одинаковая философия. Мы ставим капкан и хватаем тех, кто в него попадется. Это все люди биологически либо физически неприспособленные. Они верят тому, что читают в газетах, и все они читают романы, и все напуганы. Мы продаем две вещи: мы продаем страх, и мы даем им уверенность, какой они никогда в жизни не знали. И забираем у них то, что они имеют. И они отдают с охотой и готовностью.

Откуда у них эти деньги? Унаследовали? Женились на дочке босса? Какие у них для этого качества? Сейчас в Америке только полпроцента обладают нужными качествами. Вот, например, вы приходите в большой универсальный магазин и говорите, что же-

* Джеймс Дьюкс, осужденный за убийство, был в эту ночь казнен на электрическом стуле. *(Прим. автора.)*

* Уклоняются от уплаты налогов. *(Прим. перев.)*

лаете обменять шляпу. Вам говорят, подождите минутку, мы направим вас к такому-то. Такой-то посылает вас на второй этаж, а у него нет права решать. Пока вы обменяете шляпу, пройдет весь день. У кого сейчас право решать? Кого бы вы могли назвать? Некого назвать.

Во время депрессии, когда я был мальчишкой и развивал бешеную деятельность: продавал газеты, чистил ботинки, расставлял кегли, воровал пустые бутылки из-под лимонада за Лейк-Шор-драйв,— вот тогда кто-то всем заправлял. А теперь таких не существует. Не хватает нужных качеств.

Мой отец работал на общественных работах. Мы жили на пособие. Я помню, как мы с братишкой ходили получать ботинки по государственным купонам. Помню, как я воровал еду — таскал домой апельсины и картошку. Для таких, как я, ничего лучше и быть не могло. То есть я хочу сказать, что мне это очень нравилось. Именно этого и требует система — тут-то ты понимаешь, что требуется и как взяться за дело. Без денег ты — бродяга в парке, ты — ничто. Кто ты такой? Что является мерилом в нашей системе? Он — человек с деньгами, уважай его. А бродяга? На его долю — «с наилучшими пожеланиями...» А если это женщина? Она предлагает тебе свой товар. Если у тебя есть деньги, ты ей дашь что-нибудь сверх необходимого. А тот лоботряс, который все получил от своего папочки, к черту его. Отбери их у него. Так или эдак — мы должны ощипать этого парня, забрать у него деньги...

Как я выживаю? Я живу в Белден-Стратфорде, каждый год покупаю новую машину, трижды в неделю хожу в турецкую баню, делаю маникюр, педикюр. Откуда я беру деньги? Я закона не нарушаю. Если ты воруешь, то попадешь в тюрьму, раз-два — и ты за решеткой. А на улице полно людей, у которых есть деньги, и они не знают, что с ними делать. Как я отбираю деньги у таких людей? Я применяю теорию Фрейда, дай ему бог здоровья.

Моя репутация — это что-то удивительное. Люди говорят, что ты, ну, прямо Железный Том или Пит Пистолет. В газетах про меня писали и хорошо — как про боксера,— и плохо. Люди верят тому, что они читают. Ну и не мешайте им думать так, как они думают. Мой брат недавно попал в одну переделку. Его фотография была на первых страницах всех газет. Его показывали по телевидению. Он насмерть перепугался. Я ему говорю: «Дурак, ты на этом заработаешь черт знает сколько». Через неделю он приходит и говорит: «А знаешь, я нажил четырнадцать тысяч». «Так удвой их. Люди хотят кому-нибудь помогать, особенно железным ребятам. Ты им нужен. Они верят тому, что читают. Мы-то знаем, что ты не виновен, но давай брать от них, что можно»,— и мы взяли. Он был знаменитостью. А знаменитостям они поклоняются. Железный Том и Пит Пистолет. Это их кумиры. А кто еще? Актеришка-гомосексуалист, который пудрит свою рожу? Какие у него на это права? Сейчас вся страна руководствуется физиономиями. Если у тебя вывеска привлекательная, она откроет тебе дверь. А мне входа нет. На что я могу рассчитывать? На свои руки. Я ими и пользуюсь.

Все насмерть напуганы, потому что смотрят по телевизору всю эту чепуху. Железных ребят и в помине нет. Все переумерли. Ну, а эти люди все равно приходят, скажем, в Старый город, где я провожу время по вечерам, когда закрываю это свое заведение. Мы слывем железными ребятами, хотя на самом-то деле это не так. Только им об этом знать незачем. Раз верят, пусть верят. Потому что мы хотим забрать их деньги — и не грабить их, нет, а только помочь им добиться своего. Скажем, этот парень, который покончил с собой в Аризоне,— ну, Макдональд из Зенита. Почему мне не попался кто-нибудь вроде него! Мы часто про это говорили. У него не было чувства уверенности. Психиатры не могли его вылечить, но мы бы уж его вылечили. Мы бы его слегка закалили. Придали бы ему мужества, которого у него никогда не было. У него был комплекс неполноценности — как там у Фрейда? Распавшаяся семья. Мы бы уж ему объяснили, что сделать с такими деньгами.

Почему, собственно, нам и не забирать у них деньги? Вполне законно — с помощью полусилы. Полусила — великая вещь, если уметь ею пользоваться, но, конечно, она тебя и убить может. Ты внушаешь им страх, который идет им на пользу. Я работаю по контрактам, как деловые люди. Только это устный контракт. Если они хотят заключить со мной контракт, значит, у них какая-то неприятность. Если надо действовать мне самому, я действую. Если нет, я передоверяю его кому-нибудь еще. Пример. Обычно они запутываются в долгах. Или им кто-нибудь должен. Или они слишком увлекаются женщинами. Кто-то отбивает их девчонку. Изменяет жена. Самые разные случаи. Они боятся, все напуганы. Я даю им уверенность, безопасность. Если изменяет жена, я отшиваю парня, с которым она крутит. Если там какие-то денежные расчеты, кто-то его преследует, я того отгоняю. Понятно? В результате этот парень у меня в долгу. Самая большая ошибка его жизни. Ему было бы лучше расплатиться, потому что теперь он у меня на крючке до конца своих дней. Я постоянно буду его ощипывать. И уж не оставлю его. Вы представления не имеете, сколько у нас в стране ни в чем не уверенных людей. Все кого-нибудь боятся. Один — одного, а другой — другого.

А ВЫ БОИТЕСЬ ЧЕГО-НИБУДЬ?

Абсолютно ничего не боюсь. А ведь наше общество — опасное общество. Людям нравится причинять боль себе подобным. Почему в Индианополис * на автогонки съезжа-

* В Индианополисе, штат Индиана, находится крупнейший в мире автотрек, где проводятся автомобильные гонки самых различных видов. *(Прим. перев.)*

СТАДС ТЁРКЕЛ
УЛИЦА РАЗДЕЛЕНИЯ· АМЕРИКА

ется двести, триста тысяч человек? Поглядеть, как какие-то людишки гоняют автомобили? Какого черта, конечно нет. Они едут смотреть, как люди погибают. Если человеческий мозг может поднять в небо самолет, почему он не может вас убить? Так им и пользуются, чтобы убивать. Вон они все разгуливают по улицам: убийцы, педерасты, эксгибиционисты, несовершеннолетние хулиганы,— их всех надо гнать бейсбольной битой. Мы и гоним — люди вроде меня. Мы считаем, что нравственность надо оберегать. Мы гоним эту братию.

Мы не хотим, чтобы они толклись здесь. Они нам не нравятся. Я должен оградить от них моих племянниц и племянников. Закон лишен нужных качеств. Закон охраняет всех этих дилетантов и дегенератов.

Если бы я был диктатором, я бы истребил всех дегенератов. Я бы их резал. Возьмите большинство так называемых образованных людей. На что они пригодны? Оставьте их на три четверти часа в Линкольн-парке, и придется посылать мальчишку-бойскаута, чтобы вывести их оттуда. Сами они не сумеют найти дорогу обратно. Как человек выживает при капиталистической системе? Скажем, вы проработали двенадцать лет на одном месте, а потом вас выгнали. Что вы будете делать? А такие, как я, выживают. Если, не дай бог, будет пожар, потоп, атомная бомба, мы-то выживем.

КАКИМ ОБРАЗОМ?

Дворняжка и породистая собака. Породистая собака, перебегая улицу, попадает под машину, разве не так? А дворняжка — нет. У нее хватит ума увернуться от машины.

СОБАКА? ДВОРНЯЖКА?

Ладно, можете считать меня собакой... Мы должны смотреть правде в глаза, такие как я. Как Сэм Джианкана Момо *. Его посадили. Отняли у него права. Это несправедливо. Не соответствует американской системе. Просто возмутительно, как его посадили без всякой причины. Он из тех же, что и я. Многие из них мне не слишком по вкусу, потому что они пристрастны к своим землякам. Все то же величие и падение Римской империи. Улица с односторонним движением не может выжить. Он справедлив в денежных расчетах. И не забывал своих. Тем, кто выходил из тюрьмы, он помогал, добывал для них деньги, устраивал. Вот у него были все необходимые качества. Его убрал Мартин Лютер Кинг. А какой от него самого толк?

Негр в Америке теперь не только имеет все — теперь он подбирается к нашим белым женщинам. Нынешних женщин как будто тянет на темную кожу. У меня две племянницы. Вот я и тревожусь. Вот какой-нибудь цветной...— а ведь я человек без предрассудков,— приедет такой парень в большой город, выпрямит себе волосы. Плечи у них широкие, костюмы прекрасные, и вид образованный. Большинство девчонок, которые предпочитают темную кожу, они не из больших городов. А так — из Огайо, Айовы, Индианы, из каких-нибудь там городишек.

Небось к ветеранам войны, к инвалидам, валяющимся по госпиталям, они не пойдут, не приласкают их, не поблагодарят. Чепуха! А как насчет американского солдата, который уехал за океан воевать? Который вернулся и не может найти работу из-за автоматизации? Ему ничего не положено. Он — бездельник. А как насчет простого человека, который трудился не покладая рук, без всякого образования и вот вырастил детей, послал своих ребят воевать? Он уже доживает последние годы. Цена его дома поднимается до тридцати пяти тысяч долларов, он ложится спать, уверенный в будущем. А утром рядом поселяется негр, и дом его уже стоит только семнадцать тысяч. Они губят все, где бы они ни появились. В воздухе пахнет беспорядками, разрешите мне вам сказать. Когда и как они произойдут, я не знаю. Кто их организует... но они непременно будут.

Самые лучшие соседи — это японцы. Никогда не повышают голоса. Их дома безукоризненны. Покажите-ка японца на улице после десяти часов вечера. Вы когда-нибудь видели, чтобы японца арестовали? А пьяного японца вы видели? А беременную незамужнюю японку? Нет, конечно. У них любовь у семейного очага. Ну, а негры — это животные. Никакой любви у семейного очага. Ему мало вытеснить белого, он еще хочет и тут быть с ним на равных. Они задумали план дальнего прицела — через смешанные браки просветлить свою кожу.

МНЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО ВЫ ВОСХИЩАЕТЕСЬ АГРЕССИВНОСТЬЮ?

Да, но со мной вы силой ничего не сделаете. Я — капиталист, им придется со мной драться, а оставаться побежденным я не собираюсь. Таких, как я, уважающих закон, немало. Правда, моя система, возможно, устарела. В начале века я мог бы выйти в большие люди. А сейчас со всеми этими законами и постановлениями Верховного суда у меня нет никаких шансов. Родись я на сорок лет раньше, я наверняка стал бы мультимиллионером. Я бы выстрелил, как выстрелил Рокфеллер *, когда у его конкурента забил нефтяной фонтан. Он сажал их за решетку. Обо всех них написано в истории. А Джон Астор ** с его ловушками, с его мехами? Он не церемонился. Вот так работает система. А что остается? Новые законы только не дают человеку развернуться, уничтожают инициативу. Наши враги называют нас капиталистами, но мы не капиталисты.

Капитализм в идеале — это когда любой бездомный бродяга может придумать что-то такое или просто силой отвоевать себе место под солнцем, подняться на любую, ка-

* По слухам, глава синдиката гангстеров. *(Прим. автора.)*

* Рокфеллер, Джон Дэвисон (1839—1937) — американский нефтяной магнат. *(Прим. перев.)*

** Астор, Джон Джекоб (1763—1848) — торговец мехами, родоначальник династии миллионеров. *(Прим. перев.)*

кую он хочет, ступень, вплоть до самого верха.

ДАЖЕ ЕСЛИ ЕМУ ПРИДЕТСЯ НАСТУПАТЬ НА ДРУГИХ?

Он должен наступать. А что ему еще делать? В нашем обществе иначе нельзя. Другого пути нет. Люди вас задавят, убьют.

Для меня самое главное — помогать тем, кому нужна помощь. Деньгами, если они у меня есть, или любым другим путем. И я помогаю. Перед богом и судом клянусь, это так.

ВЫ ВЕРИТЕ В БОГА?

На самом деле нет. Я убежденный агностик. Кем был Иисус Христос? Он был отличный, я бы сказал, аферист. Он научился в Индии гипнозу. Когда он смотался из Израиля, они хотели ему вставить перо, потому что из-за него началась вся эта чепуха и беспорядки. Он говорил, что он сын божий. Теперь его бы не убили. Его поместили бы под психиатрический надзор, потому что бедняжке это было просто необходимо. Когда он накормил толпу рыбой, он просто загипнотизировал с десяток людей. Они и начали про это рассказывать. Кого он накормил? Кого он вылечил от проказы? Он гипнотизировал людей. Они вставали и шли. И добился того, что в тридцать два года его прикончили. Не мог держать свою пасть закрытой. Вы знаете, что Понтий Пилат предложил ему удобный выход? Он сказал ему: «Послушай, Иисус, ты прекрасный парень. Удалился бы ты в пустыню, бросил бы эту чепуху и жил бы себе потихоньку. Хватит тебе устраивать беспорядки». Но этот человек хотел, чтобы его убили. Ну, Пилат ему и сказал: «Раз ты хочешь, чтоб тебя убили, то мне требуется вздернуть двух преступников. Да будет так». Ударил рукой по столу, и они его вздернули. Он был подстрекатель.

То же и с Мартином Лютером Кингом. Спросили мнение нашего великого президента Гарри Трумэна, и он сказал, что этот человек — чистой воды возмутитель спокойствия. Точка. Я всегда считал, что Трумэн замечательный человек. Потому что он в капиталистической системе политики поднялся от нуля до гиганта. Так действует и наша система. Начиная от Дейли, который сейчас у власти, от Келли и Нэша, которые были до него, от двух ирландцев Хинки Динка и Банного Джона * — это были гиганты, создававшие города. Они создали нашу страну. Они выбирают президентов. Все эти ребята проложили себе дорогу локтями. Вот какие ребята нужны нашей стране. Кому нужны образованные бездельники?..

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВЫ ВОСХИЩАЕТЕСЬ ГАРРИ ТРУМЭНОМ И МОМО ДЖИАНКАНОЙ?

И Дейли — это самый замечательный мэр в истории Чикаго. Человек, посвятивший себя городу. Он берет свое жалованье и сидит дома, обдумывая, как что-нибудь сделать для города. Он был ловок, да и умен, а к тому же ему везло — хотя все нужные качества у него есть. Большинство его конкурентов поумирали, и он знал, когда следует захватить власть. Я за него на все сто процентов. Когда у меня восемь лет назад умерла мать, я получил от него телеграмму с соболезнованием. Это вот настоящее смирение. Мэр второго крупнейшего города величайшей страны в мире посылает телеграмму соболезнования бывшему боксеру, человеку, не окончившему средней школы, и с таким занятием, как мое,— черт побери, это вещь!

ОН БЫЛ ЗНАКОМ С ВАМИ ИЛИ С ВАШЕЙ МАТЕРЬЮ?

Конечно нет. Наверно, эту мысль ему подал мой друг Терри Бойл. Во всяком случае, я в душе демократ. Я выбираю меньшее из двух зол. Посмотрите на Чикаго. Новые многоэтажные дома, новые дороги и так далее. Знающие люди мне говорили, что эту реконструкцию города контролирует небольшая группа владельцев недвижимости. Я верю в уничтожение трущоб, но это не тот способ. Из всех этих улучшений они извлекут для себя прибыль и поделят ее между собой. Они предназначают на снос только то, что им выгодно, и строят вот эти многоэтажные дома. Они все делают законным путем. Хотел бы я быть на их месте.

У меня есть одна любимая песенка. Я никогда ее не забываю: «Человек, имеющий мечту, сильный человек. Потому что мечта создает человека, делает его тем, кем он хочет стать». В этом мире вы можете стать кем угодно, только мечтайте дояго и упрямо.

Джордж Дроссос, 66 лет

Он сидит возле окна в небольшой греческой кондитерской на Фар Вест-сайд. Он кажется таким же чужим здесь, как наша хозяйка — пожилая женщина. Они — старожилы греческого района Чикаго, который был снесен при расширении Иллинойсского университета.

Он прожил в этом районе около Халстед-стрит почти пятьдесят лет. Он был директором и столпом «школы Сократа», известной как греческая школа, хотя там преподавался и английский язык. Ушел на пенсию, но школьный совет уговорил его проработать еще пять лет, и сейчас он преподает языки и историю в одной из городских школ.

Теперь мы живем здесь, но это совсем не то, что было там. Мы, греки, больше всего

* Кафлан, по кличке Банный Джон, и Майкл Кенна, по кличке Хинки Динк, с 1892 г в течение почти пятидесяти лет были хозяевами Первого района Чикаго. Это был знаменитый район притонов. Ежегодный бал Первого района был гвоздем сезона, гостями были проститутки, сводники, хозяйки домов терпимости, политические и общественные деятели — все знаменитости того времени. Этот бал приносил Банному Джону и Хинки Динку не только моральную, но и материальную выгоду. Но услуги, конечно, были взаимными — широкое поле деятельности весь год напролет. *(Прим. автора.)*

на свете любим nostos. Nostos — это чувство, которое вы испытываете, когда возвращаетесь на родину. Греки лелеяли его тысячелетиями. «Ностальгия» — производное от этого слова. Боль, которую вы чувствуете, потому что не можете вернуться. По-гречески все, что приятно, сладко, имеет хороший вкус, мы называем nostimo. Это несет в себе частицу nostos.

И когда мы, греки, поселились в том районе Чикаго, который мы назвали «греческим», мы чувствовали, что мы у себя на родине. Мы собирались вместе — культурные центры, клубы... Особенно интеллигенция. Мы собирались — мы называли наши собрания «Академия»,— мы разговаривали, обсуждали все, начиная от политики и философии и кончая чем угодно там, на Халстед-стрит.

А здесь нет такого места, где мы могли бы собраться. Мы распылены. Два раза в неделю я хожу на Халстед-стрит — вечером во вторник и в пятницу, чтобы встретиться там со старыми друзьями. Теперь мы встречаемся в кафе. Потом мы идем в какой-нибудь ресторан, вместе едим и чувствуем себя как в прежние времена. Но теперь это не то, что прежде,— теперь это все в миниатюре.

Если бы они сделали так, как мы планировали — я был членом совета по планированию вместе со Скала и другими *,— большинство греков поселилось бы там, а теперь они распылены по всему городу.

Я вовсе не хотел ехать в Америку. Я слышал о том, как сюда приезжали люди без образования и какие они переносили невзгоды. Для меня это было совсем не подходящее место, но я решил, что это будет интересное приключение. И еще — ради моих родных, которые бежали от турок. Им нужен был кормилец. Вот я и приехал сюда.

Когда я начал преподавать в американской средней школе, я понял, что уже больше не вернусь в Грецию. Слишком поздно. Вы знаете, это катастрофа — уехать из страны, где ты родился... Здесь ты чужой, а если вернешься назад, то будешь чужим и там. Таким образом становишься человеком без родины.

Чего я хотел бы? Я хотел бы, чтобы во всем мире был мир, и чтобы в моей родной деревне не было турок, и я мог бы поехать туда и вспомнить былые дни, когда я был ребенком и был счастлив. Потому что теперь, куда бы вы ни поехали, вы не испытываете спокойствия.

Больше всего я ищу nostos. Но его я уже никогда не испытаю — только во сне. Я бываю счастлив, когда мне снятся такие сны.

Лаки Миллер, 19 лет

Он всю жизнь живет в одном районе. Он нелюдим и до последнего времени много бродил по улицам города, часто проходя за день по пятнадцать миль: «Эти длинные прогулки были для меня наслаждением». Сейчас учится в колледже, а по вечерам работает в большом продовольственном магазине.

Я говорю прямо как старик. Когда я был моложе — когда мне было четыре или пять лет,— все казалось прекрасным, и зла в мире не существовало. Я помню, мне все казалось, что к западу от Халстед-стрит — мы жили к востоку от нее — находится рай. Мне казалось, что если пойти в том направлении, то улицы будут становиться все чудеснее и чудеснее.

О том, что там было на самом деле, я узнал гораздо позже. Я обнаружил, что та сторона ничем особенным от нашей не отличается. Я часто думал: а как выглядит остальная часть города? Я тогда этого не знал.

Город поразительно красив, в то же время он уродлив. Может быть, именно уродство делает его таким прекрасным: в каждом уродстве скрыта красота. Я говорю понятно? Краснобаи из Торговой палаты любят употреблять выражение «теневые стороны», говоря о чем-нибудь уродливом. Очень часто внешний вид бывает отвратителен, люди живут в нищете, но многие районы имеют свой собственный колорит, свою собственную жизнь. Я не хочу сказать, что такие условия следует сохранять, но люди там производят впечатление более живых, чем в других районах. Так мне казалось, когда я бродил по городу.

Одно из лучших моих воспоминаний — это бакалейщик Крис. Это был такой добродушный старик. Ему, наверно, было за семьдесят — маленький старичок с копной белых волос и в очках без оправы. Каждый раз, когда он меня видел, он подбрасывал меня высоко к потолку. Мне особенно нравилось дергать шнурки ламп дневного света в его лавке. И потом у него была старая трехцветная кошка, которую звали Хелен.

Теперь таких бакалейщиков почти не осталось. А те, кто есть, какие-то подавленные. В них нет жизни. Большинство независимых лавочек сегодня не имеют почти никакого оборота. В результате их владельцы работают всю неделю, включая воскресенье, по восемнадцать часов в день. Они измучены, вымотаны, выжаты как лимон. Им приходится все время работать, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Вот в них и не осталось никакой жизни, никакой бодрости духа.

А у Криса в его бакалейной лавке — мне тогда было года четыре — был помощник, молодой парень по имени Буби. Он любил гоняться за мной по магазину с метелкой из перьев, которой он смахивал пыль. Ему это очень нравилось. И мне тоже.

Сейчас я работаю в большом продовольственном магазине. И если какая-нибудь мать приведет с собой своего малыша, а я вздумаю гоняться за ним с метелкой в руках, мне, по всей вероятности, сделают выговор. Ведь это огромное безликое предприятие, и мы там для того, чтобы выжимать

* Имеется в виду комитет, образованный жителями этого района для составления плана реконструкции района Гаррисон-Халстед. Городские власти не приняли этот план во внимание. *(Прим. автора.)*

из нас как можно больше работы. Конечно, нам хорошо платят, это я отрицать не буду. Но вот времени для такой приветливости у нас нет. Если покупательница спрашивает, где найти нужный ей товар, ты отвечаешь, и на этом все кончается. Она идет своей дорогой. Для разговоров нет времени. Теперь вообще все становится безликим и безличным.

Билли Джо Гейтвуд, 19 лет

Приехал в Чикаго два года назад из маленького городка на востоке Кентукки с населением в 2500 человек. Через год приехали его мать и отчим — мистер и миссис Термен Паркер. Он один из пятнадцати детей (в живых осталось четырнадцать). У матери двадцать один внук. Проучившись год в средней школе, пошел работать. Сейчас работает конторщиком.

*Все трое сидят у окна, выходящего на улицу, где поселились другие бывшие жители района Аппалачей *. На продавленной тахте у противоположной стены сидит его худенькая восемнадцатилетняя невестка с детским личиком и качает на коленях веселого младенца.*

Они приехали в Чикаго, потому что «шахты выработались». Держатся застенчиво и слишком вежливо, но радушно.

Чикаго — хорошее место, здесь можно заработать на жизнь. Нам здесь гораздо лучше, чем дома. У меня есть все, что я хочу. У меня есть мама, есть отчим, одиннадцать братьев и две сестрички. Я каждый день работаю и получаю хорошие деньги. Ем вдоволь. Чего еще человеку надо! Пока у меня есть работа, я знаю, что все будет хорошо. Пожалуй только, в Чикаго слишком много алкоголиков и слишком много молодых ребят околачивается на улицах.

Конечно, им ничего другого не остается. У них нет матери, которая бы прибрала в доме и приготовила поесть к их приходу. Так что после работы они слоняются по городу и спускают за вечер пару долларов.

У меня есть друзья, но они ничем таким не занимаются. Мы куда-нибудь вместе ходим, самое позднее до девяти-десяти часов. Смотрим кино или ходим играть в шары.

Я всегда стараюсь уважать старших, но на улице я слышал, как ребята моего возраста отзываются о людях, которые намного старше их. Ничего хорошего в этом нет. У нас дома редко находится такой, кто не уважал бы своего отца и мать и вообще стариков. А вот попав сюда, некоторые начинают много о себе воображать.

Как-то по улице шел старик калека, а они сорвали с него шапку и начали ее подбрасывать. Так нельзя поступать со старыми людьми.

Они здесь предоставлены самим себе. По вечерам уходят, пьют пиво и, по-моему, стараются слишком быстро взрослеть. Со мной тоже такое было. Когда я ушел из школы, я считал, что знаю не меньше других и могу выполнять мужскую работу. Теперь я жалею, что не учился, потому что сейчас, куда ни придешь, первым делом спрашивают, а какое у тебя образование.

Они тут слишком рано воображают себя взрослыми. Вот как я. Ну, они и сбиваются в уличные шайки. Я знаю пять-шесть ребят из одного города, и, когда одного из них бьют, они все помогают друг другу. Это у них получается само собой.

Дома мы собирались по четыре-пять человек и шли в кино. А просто так вместе не болтались. Мы больше оставались дома, а вот если ходили на рыбалку, на охоту или купаться, тогда мы собирались большими компаниями. Но и только.

Иногда на работе я слышу, как говорят, что надо бы взять автоматы и перестрелять на улицах всех хулиганов или посадить их в тюрьму. Это не выход. По-моему, у них должно быть больше развлечений, чем сейчас. Ну, можно пойти поиграть в шары, а там надуться пивом. Надоедает все время делать одно и то же. Я по себе знаю: мне надоедает все время играть в шары, или купаться, или ходить одному в кино. Для ребят моего возраста и кино не так уж интересно. Ну, посмотришь одну картину раздругой. А дальше что?

Вот если бы можно было пойти куда-нибудь поплавать зимой. Или в тир. Я знаю по себе, мне нравится стрелять. Если бы у нас был хоть маленький тир, можно было бы пойти пострелять немного — это дает хорошую разрядку. Меня сейчас больше всего беспокоит одно: я работаю девять часов в день, и, когда прихожу домой, во мне както все напряжено, и я иногда не знаю, как спустить пары. Это меня больше всего тревожит.

Цветные меня не беспокоят. Они мне никогда ничего плохого не делали, и я им тоже. Если бы тут их было много, не знаю, сумел бы я с ними свыкнуться. Я никогда с ними ничего общего не имел. Говорят, в нашем квартале поселилась одна цветная семья. Пока они остаются на одной стороне улицы, а я на другой, мне все равно — пусть живут.

ПРЕДПОЛОЖИМ, ОНИ ОКАЖУТСЯ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ?

(Смеется). Ну, наверно, мы будем вести себя по-христиански и как-нибудь уживемся.

Миссис Паркер вставляет: «И на тех, и на других будет светить ведь одно и то же солнце, не правда ли?»

Если что-нибудь случится во Вьетнаме, скорее всего, мне придется идти. Они, наверно, тоже там будут. Так же как и наши. Сейчас я часто мечтаю, что вот я поступаю на военную службу и делаю карьеру. Конечно, я буду ждать, пока меня не призовут.

О Вьетнаме я думаю довольно часто. За-

* Аппалачи — горный массив на северо-востоке США, известный своими залежами каменного угля. В последние годы запасы угля оказались выработанными, что привело к массовому закрытию шахт и резкому обнищанию населения этого района, вынужденного переселяться в другие районы страны. *(Прим. перев.)*

глядываю в газеты или слушаю, что об этом говорят по радио. Насчет того, чтобы отправиться туда и там погибнуть, то, по-моему, каждый — грешник ли он или хороший христианин — помнит о Последнем суде. Вот я и думаю: если он во Вьетнаме, так это его долг. Погибнуть там.

Термен Паркер, лет пятидесяти пяти

Худой, в очках, говорит негромко, медленно, как будто ему редко приходится это делать.

Вот мальчика призовут на военную службу, а он идет и кого-то убивает. Как это будет в глазах господних? По-моему, тот, кто его призвал, кто его заставил убивать, тот и должен будет отвечать за него на Страшном суде. За то, что насильно отправил его туда и заставил убивать.

Миссис Термен Паркер, пятьдесят с лишним лет

*Она сидит в качалке. Глава семьи, удивительно похожая на мамашу Джоуд *. Голос как у молодой девушки.*

Мы с мистером Паркером мало где бывали. Чикаго я довольна, но дома, на Юге, мне нравилось больше. Не нравится мне все это чикагское хулиганье. Я всегда боюсь, что ребята выйдут на улицу и попадут в беду. У нас дома редко бывает такое, что творится здесь. Наверно, это потому, что здесь слишком много людей. Ведь такое множество народу.

Я привыкла рано вставать, возиться на огороде, здесь мне этого не хватает. Готовиться к лету — я по этому больше всего скучаю. С моими детьми я могу жить в любом месте. Здесь, в Чикаго, со мной четверо. Они разбрелись по всему свету. Там, дома, осталась только одна из невесток. Все поразъехались. Я пишу домой письма, поддерживаю связь. А здесь у меня мало знакомых, очень мало. Здесь много людей из наших мест, иногда я с ними вижусь.

Как-нибудь собираюсь проехать через всю страну на большом грузовике. Не за рулем, конечно. Пассажиркой. Я бы села рядом с шофером. Это моя мечта. Я бы сама хотела быть шофером такого грузовика. Но теперь я уже для этого слишком стара. Когда я была девчонкой, мне хотелось быть медицинской сестрой. Мне и сейчас хотелось бы — да лет уж много. Я рано вышла замуж, еще и школы не кончила. Тут все мечты и кончились.

Цветных у нас дома было не очень много. Я все время спорю об этом с одним из моих сыновей. Я ничего не имею против тех, которые борются за гражданские права. У меня сыновья все время в армии — то один, то другой. И цветные тоже служат в армии и сражаются за нас, и я считаю, что они должны иметь такие же права, как и мы. Они идут сражаться и умирают рядом с нашими сыновьями. Значит, здесь надо их поддержать.

Конечно, иногда они безобразничают. Ведут себя так, как нам не нравится. Но все же, если им приходится сражаться вместе с нашими ребятами, я считаю, что они должны иметь такие же права. Им приходится умирать, так же как и нашим. У них у каждого тоже есть мать, и она любит своих детей, как я люблю своих, хотя она черная, а я — белая. Я так к этому отношусь. Не знаю, как к этому относятся другие.

Но я считаю, что лучше, чтобы они были сами по себе. Вовсе не надо вместе учиться. Я к этому не привыкла, потому что там, дома, у них свои школы, а у нас — свои. Их школа такая же хорошая, даже лучше. Хотя это как-то чудно. Одни наши соседи переехали в Индиану, и дети были очень против, чтобы ходить в одну школу с цветными. Но им пришлось к этому привыкнуть. А когда они привыкли, они уже не возражали. Наверно, это все дело привычки.

В Западной Виргинии я знала несколько цветных семей. Они все были ничего. И самая моя лучшая соседка была цветная. Она всегда ухаживала за мной, когда я болела... Я к ней то и дело забегала. Мы постоянно виделись.

Но молодежь — цветные и белые — и те и другие, я просто не могу вам сказать. Они сами не знают, куда они идут. Живут слишком весело, слишком опасно. Они, наверно, считают, что им ничего не страшно. Не знаю, что с ними такое.

Мир погряз в грехах. Наверно, скоро наступит конец света. И это будет скоро, потому что то многое, о чем предсказано в Библии, уже сбывается. А об атомной бомбе я совсем не думаю. Чему быть, того не миновать. Просто не надо из-за нее тревожиться. Один сын у меня сейчас в Корее. Я так считаю, нет смысла волноваться, я все равно ничего сделать не могу.

Я думаю, что со временем ее все-таки бросят. Я-то до этого не доживу, но Билли Джо, может, и увидит *(ее внук визжит от восторга — его бросили в объятия его дяди Билли Джо)*. А дети, ну что ж, им придется страдать так же, как и всем. Если наступит конец света и они не будут готовы, им придется молиться об искуплении. Человек ведь рождается не затем, чтобы жить, а затем, чтобы умереть. Мы все вместе и каждый в отдельности рождены, чтобы умереть. Конечно, мне хотелось бы, чтобы он жил в мирном мире и чтобы эта война кончилась. Чтобы наши ребята не уезжали в другие страны и их там не убивали. Ни за что ни про что.

Генри Лоренс, 53 года

Район Мид-Норт, примыкающий к району богемы — Старому городу. Деревянный дом в два этажа с мансардой. Наружная лестница — крутая и деревянная. В квартире идет ремонт. С началом разговора телевизор, по которому передавали бейсбол, выключили. «Мы все равно не смотрели». В клетке—яванская рисовка, на полках комплекты томов «Знание» и «Великие книги Западного мира».

* Одно из главных действующих лиц романа Дж. Стейнбека «Гроздья гнева» *(Прим. перев.)*

У него было нелегкое детство — их, детей, в семье было тринадцать. В двенадцать лет он бросил школу и пошел работать. Работал на строительстве, в литейной, строил шоссе — «по десять часов в сутки под палящим солнцем размахивал шестнадцатифунтовой кувалдой». Был плотником, а теперь малярничает.

Мы живем в этом районе двадцать лет. Сначала это был старый немецкий район, и люди жили тут десятилетиями. Я говорю о тех, кто прожил здесь тридцать, а то и шестьдесят лет. Потом после войны сюда повалил народ из Европы. Здешняя жизнь была им совсем непривычна, и они все, как сумасшедшие, гнались за легкой наживой. Ну, и они быстро заметили нехватку жилья.

Так, одна семья купила дом, в котором мы жили, за 6500 долларов, а вскоре они уже просили за него двадцать четыре тысячи долларов. И продали, кажется, за двадцать тысяч. За последние двадцать лет здесь добрых сорок процентов домов переходило из рук в руки по четыре, а то и по шесть раз. Потом вдруг тут начали селиться совсем другие люди—художники, доктора, адвокаты, скульпторы. Так что, видите, мы прошли целый путь от самых низов до верхушки. Только низам теперь здешние дома не по карману.

В нашем квартале у нас у всех есть кое-что общее. Каждый старается что-то сделать со своим домом, старается по мере сил не отставать. Когда у вас с соседом есть что-то общее, вы уж стараетесь узнать его получше. Неизвестных людей тут нет. Я знаю почти всех. Когда кто-нибудь собирается продавать дом, сразу находится с десяток покупателей. И снова тут будет что-то постоянное. Я этому рад, потому что и я тут участвую. Я приветствую эту перемену.

Город изменился к лучшему. Но знаете, я теперь уже не знаю, что к лучшему, а что к худшему. Понимаете? Некоторые традиции прошлого мне жаль. Чикаго и раньше был большим городом, и все же был похож на маленький провинциальный городок. Каждый район был как бы сам по себе. Люди общались между собой, приходили в гости родственники, у вас было больше друзей, вы больше разговаривали, больше узнавали друг друга. Понимаете, что я хочу сказать? Теперь этого больше нет. Раньше было больше музыки, домашней музыки. Вы могли куда в большей мере развивать свои способности. Мы в нашем квартале знали всех и каждого.

А теперь в семьях почти ничего не происходит. Много лет назад, когда мы были еще детьми, в субботние вечера и в воскресенья мы обязательно ходили куда-нибудь в гости или к нам кто-нибудь приходил. Играли в карты, устраивали пикники, разговаривали. Больше читали. Других развлечений раньше ведь не было. Теперь этого нет.

Мы обычно сидим дома, смотрим телевизор. Три-четыре года назад мы так к нему пристрастились, что оторваться не могли. Вдруг в один прекрасный день он сломался. Так, знаете, мы буквально заболели. Не знали, что делать. Впали в совершенное отчаяние. Кричали друг на друга. Ссорились. И тут поняли, что вдруг как будто что-то от нас ушло. Как будто... не знаю что. Что-то умерло. Что же делать? Где найти мастера? Придет ли он вовремя? Эта была настоящая трагедия.

ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА У ВАС ЕЩЕ НЕ БЫЛО ТЕЛЕВИЗОРА?

Ничего особенного. Жена играла на гитаре, а я на гармонике. Мы играли, пели. Вместо того чтобы, как теперь, ложиться спать в час или в два ночи, мы ложились в половине десятого или в половине одиннадцатого. Часа три мы лежали и просто разговаривали. Мы очень хорошо узнали друг друга. А потом, как появился телевизор, я с ней ни разу больше по душам не разговаривал.

А мальчики росли уже с ним. Как ни странно, мне кажется, телевизор им особого вреда не принес. Они, по крайней мере, знают, что мир не кончается на другой стороне улицы. Понимаете, что я хочу сказать? Они многое видят. Видят такие вещи, о которых мы и представления не имели. Они начинают говорить...

Я пытался понять моих сыновей. Я вижу, что они не гении. Не только мои сыновья, но и я, правда, Хейзел? Тогда я спросил себя, что же дальше? Ну, ладно, дверь в колледж открыта. Так я и сказал своим ребятам: идите в колледж. Если с колледжем не выйдет, все равно в школе вы поработали честно. Ну, и подберите себе какую-нибудь специальность.

Откровенно говоря, если бы они поступили так, и они сами, и их будущие семьи были бы лучше обеспечены. Я считаю, что колледжи слишком переоценивают. Сужу по собственному опыту. Скажем, тридцать пять — сорок лет назад, если мальчик мог сказать, что он окончил среднюю школу, так он выделялся в толпе на целую голову. Вы согласны? А теперь...

Не так давно человек, доставляющий на дом хлеб, сказал мне, что у них освобождается место шофера на таком грузовичке, но требуется диплом колледжа. Он становится таким обычным. По сути дела, колледж сейчас начинает означать то, что прежде означала средняя школа, и ничего больше.

Нет, нет, я не тоскую по прошлому. В значительной мере оно было трудным и тяжелым...

Для меня сейчас самый главный вопрос — сколько еще я смогу жить здесь спокойно, в этом районе. Сколько это сможет продолжаться? У меня какой-то инстинктивный страх, не знаю почему, что вот-вот наступит конец. Я чувствую себя очень неспокойно, живя в большом городе. По целому ряду причин я... меня страшит мысль, что я и моя семья в один прекрасный день попадем в кровавую баню. Ведь так и будет. Любой способный думать человек видит это. А ес-

---

СТАДС ТЕРКЕЛ
УЛИЦА РАЗДЕЛЕНИЯ: АМЕРИКА

ли он этого не понимает, то, значит, он не слышит и не видит того, что происходит. Отношения белых и черных. Мы не решили этой проблемы, и я даже не представляю, каким может быть ее решение. Ведь люди думают так же, как они и раньше думали.

К неграм я отношусь так: стараюсь не ставить перед собой вопрос, равны они мне или нет. Я этого не знаю, и они этого не знают. Я признаю: я — человек и он — человек. Но я не могу сказать негру: «Ты мне равен». Потому что некоторые — равны, а некоторые — нет. Средний негр не равен, я не утверждаю, что он никогда не станет таким же, как я, или не сможет когда-нибудь меня превзойти. Мой отец приехал сюда из Европы семилетним мальчишкой. Он не умел ни читать, ни писать по-американски... то есть по-английски. У него не было здесь никаких родственников, кроме двоюродного брата, который находился почти в таком же бедственном положении, как и он сам. Однако он выбился. Образования он не получил. И больших денег не нажил. Но он меня многому научил, и в частности тому, что важно, не сколько вы зарабатываете и не как вы эти деньги зарабатываете, а важно, что вы с ними делаете. И вот здесь-то негр и оказывается не очень толковым. Потому что средний негр, когда он получает какую-то определенную сумму, он мог бы потратить эти деньги на свое образование — нет, средний негр думает, какой величины машину он купит, сколько напялит на себя одежды и сможет ли на эти деньги приобрести еще и пару бриллиантов.

Сегодня я боюсь негров. В общем и целом, негр сейчас символизирует насилие. Мне кажется, что речь идет уже не о гражданских правах. Вопрос теперь стоит иначе. Сейчас средний негр думает о мести. Не сомневайтесь. Они хотят, чтобы я расплачивался за то, что с ними сделали мои прапрапрапредки. А ведь я в этом совершенно не виноват. Но возьмите даже так называемых хороших негров. Они по природе слишком робки, и мы думаем поэтому, что их поведение соответствует их чувствам. Но вы были бы потрясены, если бы смогли заглянуть в их сердца — у скольких из них оно полно местью.

В нашем квартале мы об этом постоянно говорим. В том плане, как мы можем это предотвратить. Что мы можем сделать? Но во всем, что говорится, чувствуется безнадежность. Это легко заметить. Такое чувство, как будто бы нас продали. Как будто бы правительство нас продало.

Я пытался разобраться в этом, и я вижу, что негры рвутся вперед только потому, что за ними стоит сила — воинствующая сила правительства. Только поэтому они смогут сделать этот рывок. Я собираюсь ворваться в ваш дом, но смогу сделать это только благодаря тому что за моей спиной стоит человек, достаточно сильный, чтобы выломать вашу дверь. Вы стоящего за мной человека боитесь. А я сам, хотя и войду, выиграю немного, не правда ли?

Вот одна странность — белые со всех сторон кричат, что мы перед неграми в долгу, объясняют, какое зло мы им причинили в прошлом, и делают все, что в их силах, чтобы искупить это прошлое, все исправить и наладить. Но, поверьте, каждый из них прикидывает, а сколько у меня денег? Смогу ли я куда-нибудь перебраться, если негр поселится рядом со мной? Куда подальше от него я смогу уехать?

Поглядите, каково их экономическое положение, насколько далеко они живут от негров, и вы можете сразу решить, кто будет громче и горячее всех выступать в защиту негров. Чем дальше он от них находится и чем больше у него денег, тем горячее он будет отстаивать негров и их права. Но пусть только он почувствует у себя на затылке дыхание негра!

Я боюсь, что может появиться какой-то человек. Я не знаю, кто он будет и что. Но кто-то должен появиться и стать во главе. Как и что, я не знаю. Голдуотер, если им повезет. У них был такой шанс, была такая возможность, но они отказались от Голдуотера. Он говорил так, словно это я сам говорю. Кто-нибудь вроде Голдуотера — это было бы прекрасно. Но я боюсь, что это будет кто-то из близких к обществу Джона Берча. Сегодня это осуждается, а завтра может стать нашей религией.

Об обществе Джона Берча можно многое сказать и в его пользу и против него. Они не во всем так уж ошибаются. Ведь и такой убийца, как Гитлер, кое в чем не ошибался. Но ведь правоты ему безусловно не хватало, верно?

Вы не представляете, как легко это может случиться. Как легко! Для этого достаточно возбудить в людях соответствующие чувства. И тогда разуму приходит конец. Потому что одновременно и чувствовать и рассуждать невозможно, ведь правда?

Может быть, греховно говорить так, не знаю.

А спросите среднего белого, что он думает об интеграции, о том, равен ли ему негр? Он был бы рад крикнуть: «НЕТ!» Но он тут же спохватится, ведь он христианин. В глубине души он хорошо знает, что он не верит, что негр ему равен, но христианское воспитание принуждает его сказать «да». Он кривит душой, говоря «да», но когда-нибудь ему придется посмотреть правде в глаза. Мы на своем веку вообще не найдем ответа на этот вопрос.

Я родился в старой католической семье и оставался католиком до тридцати лет. А потом некоторые вещи оказались неприемлемыми, и я отошел от католичества. Возможно, я поплачусь за это спасением души. Не знаю.

Мир должен был бы на какое-то время запретить христианство. Просто убрать это учение на полку, дать ему отдохнуть. Оставьте бога и христианство в покое и научите человека, что он живет в мире, который ему принадлежит, и что он получает от мира только то, что он сам в него вкладывает. Научите человека, что он должен стоять на тех двух ногах, которые ему дал

Творец, а не делать из бога третью ногу или третью руку: «О Господи, сделай за меня то, что я сам не могу сделать. Помоги мне, о Господи!»

Религия в течение многих и многих лет мешала неграм идти вперед. Негра учили петь хвалу Господу. И у него осталось ощущение, что каковы бы ни были его недостатки, Господь их компенсирует. Как и таланты, которые он зарывает в землю. Но бог не разрешит за него его проблемы.

Та польза, которую, может быть, приносила религия, уравновешивалась тем, что она мешала человеку идти вперед. На мой взгляд, самый великий грех был сотворен самой религией. Во-первых, она вселяла в человека страх. А страх — самый большой убийца. Он не всегда полностью убивает, но он затормаживает человека. Чуть повернешься и уже слышишь, что жить надо в страхе божьем. Как силен гнев Господа, как он велик, как он карает — око за око и тому подобное. А потом тут же, не переводя дыхания, говорят, что бог — это любовь. Я не могу примирить эти две вещи, для меня они несовместимы. Вы понимаете, что я хочу сказать?

Говорят о всемогуществе бога. Он — все сущее на небесах, и на земле — он все сущее. И тут же мне говорят о дьяволе. Однако если бог—это все сущее, то ничто не может существовать вне бога. Тогда куда же поместить дьявола? Где он — в боге? Я не могу осознать дьявола как часть бога. Следовательно, бог заключает в себе и дьявола? Я не способен верить в подобное... А вы?

Человек — раб привычек. Он получает что-то, ему это нравится, он этим дорожит, и он не хочет с этим расстаться. Иногда он готов ценой жизни защищать то, что не хочет отдавать, хотя на самом деле это, возможно, не стоит и выеденного яйца. Надо уметь отказываться от некоторых устаревших идей. Потому что если что-то должно жить, то надо дать чему-то и умереть. Я хочу сказать, что жизнь без смерти невозможна.

ВЧЕРА БЫЛА СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА, ЗАВТРА ПАСХА. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО БЫ ПРОИЗОШЛО С ИИСУСОМ ХРИСТОМ, ЕСЛИ БЫ ЗАВТРА ОН ВЕРНУЛСЯ НА ЗЕМЛЮ?

Если бы Иисус Христос завтра вернулся на землю и средний человек увидел бы его на улице, он указал бы на него пальцем и завопил: «Эй ты, паршивый бродяга, убирайся отсюда в Старый город! Мог бы побриться и помыться и не ходить в таком грязном тряпье!» Я думаю, его распяли бы, да еще осудив, как безумца. В этом я убежден.

Барбара Хейс, около сорока лет

*Квартира номер 1510. Входная дверь выходит на балкон, который опоясывает каждый этаж здания. Один из самых больших муниципальных массивов * — массив Роберта Тейлора. Находится в южной части Стейт-стрит. Мы в кухне трехкомнатной квартиры *. Из-за двери слышно хныканье ребенка. «Самая маленькая,— говорит миссис Хейс,— ее положили спать». Малыш лет четырех-пяти пристально наблюдает за нами.*

*У нее восемь человек детей—четыре мальчика и четыре девочки, в том числе двое близнецов. Старшему шестнадцать лет, младший — еще грудной младенец. Недавно разошлась с мужем и получает пособие **. Приехала в Чикаго в 1954 году и все эти годы жила в муниципальных домах.*

В Карбондейле, где она родилась, посещала Южноиллинойский университет. Отец был шахтером, «когда еще были шахты». Мать — учительница. Она была первой в истории университета негритянкой — капитаном болельщиков на спортивных университетских соревнованиях, помогала издавать газету, играла в университетском оркестре. «Мои товарищи всегда посвящали меня в свои дела, несмотря на то, что они приехали из настоящих южных городов». Бабушка одной ее белой подруги воспротивилась, когда та захотела пригласить Барбару к себе на каникулы. «Ты не чувствуй себя виноватой,— сказала я ей,— у моей бабушки точно такие же предрассудки, как и у твоей». «Но я хочу с тобой дружить»,— ответила она. «И я с тобой».

Примерно два часа дня. Квартира погружена в полумрак, потому что электричество отключено. К счастью, аккумулятор моего магнитофона полностью заряжен.

Они сказали, что я опаздываю платить, а когда вы не платите вовремя, вас заносят в черный список. И они просто не присылают второго предупреждения. Сначала посылают счет, потом сразу — последнее предупреждение. У меня отключили в первый раз. Так что сегодня мы в темноте.

А ЕСЛИ ДЕТИ ЗАХОТЯТ ПОЧИТАТЬ?

Не смогут ни читать, ни смотреть телевизор. Не могут слушать радио. Если б у нас не было наручных часов, мы бы не знали, который час, потому что у нас электрические часы.

ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ ТРИ ЧАСА БУДЕТ СОВЕРШЕННО ТЕМНО. ЧТО ТОГДА?

Зажжем свечу. При свече и поужинаем. Перед тем как стемнеет, дети приберут у себя в комнате, переоденутся и приготовят одежду для школы. Вот и все. А потом мы, наверно, посидим здесь.

---

* Муниципальные дома — уродливые многоэтажные дома-коробки, строящиеся на средства муниципалитетов по программе ликвидации трущоб. В основном населены беднотой, живущей на пособие. *(Прим. перев.)*

* В тексте «шестикомнатной». По американским стандартам в число комнат квартиры входит кухня, ванная и передняя. *(Прим. перев.)*

** АДС—(aid to dependent chiIdren)--вид пособия, выдаваемого одиноким матерям на содержание детей. Очень часто для получения матерью права на пособие муж оставляет семью. Размер пособия часто бывает больше, чем может заработать не имеющий квалификации отец семейства. *(Прим. перев.)*

...Я люблю детей и всегда считала, что матери должны уметь многое понимать. Я хотела быть социологом — ведь у людей так много всяких трудностей, и им нужен кто-то, кто бы их выслушивал, поговорил с ними, помог бы им. Все страшно заняты. Ни у кого нет времени, чтобы послушать. У каждого свои собственные заботы.

В автобусе, например, очень легко завязать разговор. Не надо даже ничего говорить. Просто смотри на них сочувственно, и люди начнут рассказывать тебе про то, что сделал начальник или еще кто-нибудь на работе, что сказал домохозяин, или пожалуются на цены, если возвращаются с распродажи. Люди хотят поговорить, и для этого им вовсе не надо вас знать.

Что касается муниципальных домов, то мне кажется, что это не совсем подходящее место для детей. Они не могут устраивать шумных игр, не имеют совершенно никакой свободы. Они не могут делать того, что делали бы в маленьком городке. Не могут полежать на траве, лазить по деревьям...

Звонит телефон. Это первый из многочисленных звонков за время нашего разговора.

Это звонила женщина из другого здания. Она живет в квартире 5200. Я председатель совета жильцов всего нашего дома. Она спрашивала меня о курсах кассирш. Молочная компания Джо Луиса предлагает организовать такие курсы, если мы найдем желающих. Я сказала им, что за этим дело не станет. Женщины в этих домах все хотели бы работать. Некоторые думают, что люди, живущие на пособие, не хотят работать. Но если у вас трое-четверо детей и вы их любите, вы не можете уйти на работу, оставив их без присмотра. Люди соглашаются, берут твои деньги, обещают присмотреть за детьми, а потом иногда обманывают. Я говорила примерно с тридцатью желающими поступить на эти курсы. Но ведь когда нанимаешься на работу, всюду спрашивают: где вы в последний раз работали и долго ли? Если вы последние шесть или семь лет не работали, кто вас возьмет? *(Дри-и-нь!)* Извините меня...

Ее только что уволило Чикагское управление жилыми домами. Она была уборщицей. У них там очень крутой начальник и требует от служащих беспрекословного повиновения, право начальство или нет. Безработных много. Большая часть строительных рабочих то и дело сидит без работы. Это сезонная работа. У тех, кто работает на почте или в магазинах, положение более прочное.

Люди, которые здесь живут, хотят чем-то заниматься. В прошлом году мы развели огород — семь акров. Выращивали овощи и цветы. Очень многие эти овощи даже консервировали. Мне кажется, это им нравилось, потому что большинство тут ведь родом с Юга. Они работали на фермах, и этот огород помогал им вспомнить молодость.

Мне не нравятся тейлоровские дома. Живут здесь тесно, а для организации досуга почти ничего не делается. С кем может ребенок поговорить дома? У матери, кроме него, есть другие дети. Если в семье есть отец, он или работает, или получает пособие, и тогда настроение у него обычно скверное. Ну, и дети только раздражают. А ребенок спрашивает: «Мама, что это?» А она отвечает: «Не знаю, не приставай. Иди лучше поиграй». И отсылает их на балкон или на улицу.

Детей гонят на улицу. Поэтому они бьют стекла, ломают, портят, дерутся — все что угодно, лишь бы на них обратили внимание. Вот так появляются вожаки шаек. Каждый хочет признания. Добивается его так, как может.

С некоторыми подростками нет никакого сладу. Когда мы что-нибудь устраиваем, я всегда прошу этих ребят следить за порядком — чтобы никто не хулиганил. Ну, а поскольку главные заводилы — это они сами, то раз уж они присматривают за остальными, мне беспокоиться нечего. А им это очень нравится. И они тебя уважают. Как-то вечером я пошла на занятия, а они внизу безобразничали. Вдруг один из них говорит: «Эй, вы, тише! Миссис Хейс идет». Только я прошла, как они принялись за прежнее. Но по крайней мере они дали мне пройти. *(Смеется.)* Вот этим-то ребятам я и скажу: «Мне нужна ваша помощь».

Детей гонят на общий балкон — в мяч не играйте, на роликах не катайтесь, не шумите под чужими окнами. Они идут вниз. На скамейках не сидите — вам здесь нечего делать. Кто-нибудь что-нибудь бросит — нечего там болтаться перед домом. Так что же им остается делать? Раз с ними совсем не считаются, они отвечают тем же. Вот если бы им было чем заняться...

Люди зде ь так быстро меняются, одни приезжают, а другие уезжают. В этой тесноте вы... да что же! Вам хочется отгородиться от других. Люди не знают своих соседей. Не знают, какие они. Многие очень подозрительно ко всему относятся. Может быть, им тягостны условия, в которых они живут. Большинство получает пособие, и тут много всякого жульничества. Так что они держатся особняком и не опасаются, что все это может выйти наружу.

Лифты в доме очень часто портятся. Сегодня один, кажется, все-таки действует. В полдень он может работать, а в два часа уже выйдет из строя. Он может застрять в три часа ночи, и вас разбудит сигнальный звонок. Застревают и взрослые и дети. Некоторые очень пугаются. Подростки умеют портить лифт. Они превращают это в игру. Подстерегают ребенка, который боится застрять, и нарочно останавливают лифт.

Мне часто приходится подниматься пешком на пятнадцатый этаж. Когда я только поселилась в этом доме, я ходила пешком просто для упражнения. А теперь — только когда я вынуждена. Это не очень приятно. Никогда не знаешь, на что наткнешься на лестнице. Бродяги с улицы. Лестница ведь не запирается. Люди спят на ступеньках, играют в карты, напиваются. Просто нельзя представить, с чем ты можешь там столк-

нуться. Свет может гореть, а может и не гореть. Но ведь тебе все равно надо подняться по лестнице.

А ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ ЗАБОЛЕЕТ И НАДО ВЫЗВАТЬ ВРАЧА, А ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ?

Так и будут болеть. Приходится сводить больных вниз по лестнице. А если кому-нибудь будет по-настоящему плохо, то, наверно, так и умрет. Я часто думаю, что если будет пожар *, а лифт не работает? У нас в Тейлоре был пожар, и двое ребятишек погибли, потому что лифт не работал.

Говорят, что ребята балуются с лифтами, а взрослые нарочно их ломают. Но если дело в этом, то управление должно принять какие-то меры. Поставить лифтеров, что ли. Они имеют в штате и слесарей, и электриков, и других специалистов. Разве это не обойдется им дешевле? А уж жильцам это будет намного удобнее.

Управление домами ни в чем не идет нам навстречу. Наш совет уговорил родителей, и они согласились дежурить в лифтах днем, если управление даст штатного лифтера на вечер и на ночь. Две недели мы так и делали. А еще говорят, что на ребят нет никакой управы. Это неправда. После того как мы подежурили всего неделю, все ребята стали садиться в лифт на первом этаже, а не бежали, как раньше, по лестнице до третьего. Теперь все они выстраивались и ждали своей очереди на первом этаже. Не проходило и пятнадцати минут, как все школьники уже были у себя дома. Получалось очень хорошо.

Ребята привыкли к тому, что в лифтах дежурят родители — они лучше себя вели, не безобразничали. Они садились в лифт, не прикасались к кнопкам. Называли этаж, который им нужен. Не визжали и не нажимали на все кнопки лифта подряд, как они сейчас делают. Управление домами не возражало. Они просто ничем нам не помогли. Им все равно.

Мы провели собрание, чтобы решить, как поддерживать чистоту на балконах. Ребята все бросают на пол — остатки еды, бумагу и т. д. Балконы никто не подметает — уборщицы этого не делают. Они получают хорошие деньги — 441 доллар. Сейчас им, кажется, еще прибавили. А старшая уборщица получает пять сотен с лишним в месяц. Неизвестно за что. Балконы они не подметают, в прачечных не убирают. В нашем корпусе мусоропровод неисправен. Когда мусор сжигают, сбрасывать ничего нельзя. Поэтому приходится либо оставлять мусор около мусоропровода, либо нести его обратно в квартиру. Большинство, конечно, оставляет его около мусоропровода.

Мы пытались заставить жильцов следить за чистотой балконов. Мы просили управление домами нас поддержать. Мы предложили штрафовать на пять-десять долларов всех на этаже, абсолютно всех, если на балконе будет мусор. Две-три недели мы твердили об этом всем жильцам. И сразу стало куда чище. Но управление опять ничего не ответило. Люди им звонили, спрашивали, так ли это. Никакого ответа. Они требуют выполнения только тех правил, которые нужны им. Вот, например, мы все время говорили: не перегружайте лифты. А они ничего не делали, пока не произошел несчастный случай с одним из их маляров. Вот тогда они потребовали: не перегружать лифты! Они палец о палец не ударят до тех пор, пока не пострадает кто-нибудь из их штата.

А люди, если бы они видели какую-нибудь поддержку, какой-нибудь интерес, им бы не было все равно, они бы заботились о доме, поддерживали бы чистоту.

Вот ты им говоришь: следите за чистотой балкона. А тебе отвечают: «А кто ты такая, что здесь распоряжаешься? Ты живешь здесь, как и мы. Тебе кто-нибудь дал право нам указывать? Или тебе за это платят?» Вот сказать: плати больше за квартиру или выселяйся в пятидневный срок,— это управление может. А разве они не могли бы пригрозить тем же, чтобы в доме стало чище и спокойнее?

Если из детей, живущих в таких условиях, вырастают морально устойчивые люди, значит, им очень повезло. Все так очень сложно! Их все время дергают. Вот, скажем, я живу на пятнадцатом этаже. Шуметь нельзя — жильцы внизу жалуются. Выйти поиграть некуда. Делай уроки, присмотри за младшей сестренкой, будь осторожен, не разговаривай с незнакомыми. Все эти корпуса как проходной двор. Доступ в них открыт всем, а не только вашим знакомым и сборщикам квартирной платы, дом так и кишит посторонними — коммивояжеры, ну кто угодно.

Люди здесь не умеют им отказывать, а они знают, что вам предложить,— вы уже давно подумывали об этой вещи, только она вам не по средствам. Но они не отстанут, пока человек не купит. В рассрочку. Не надо ничего платить сейчас — или один доллар сейчас, а потом по доллару каждую неделю. Все кажется так просто и легко. А в результате платишь больше, чем эта вещь стоит на самом деле. Иногда задерживают взносы, и тогда компания начинает давить. Либо забирает вещь обратно, либо принуждает сделать очередной взнос. Так что приходится тратить деньги, отложенные на питание или на что-нибудь еще, такое же не-

* «Чикаго дейли ньюс» от 11 декабря 1965 г.: «Во время пожара в одном из тейлоровских корпусов, 4352, Саут Стейт-стрит, погибло двое детей. Ущерб исчисляется в 200 долларов. Погибли Тимоти Лард, пяти лет, и его сестра Реджина, трех лет. Дети задохнулись в квартире на десятом этаже. Соседи вытащили тело Реджины из квартиры. Тело Тимоти было найдено в стенном шкафу под грудой одежды, где он, по-видимому, старался спрятаться от дыма. По словам пожарного, мать детей была на работе, и пожар обнаружила девочка, которая пришла присмотреть за детьми. Дальше квартиры Лард пожар не распространился».

Эта заметка появилась через несколько месяцев после нашего разговора. *(Прим. автора.)*

обходимое. Они требуют, чтобы им заплатили,— больше их ничего не интересует. Приходится платить за то, что ты беден.

У меня нет времени беспокоиться из-за водородной бомбы. Иногда думаешь, ну и пусть бросят. У кого есть время думать о бомбе, когда надо думать о том, как у детей дела в школе и не случится ли с ними что-нибудь по дороге домой? Работают ли лифты? На что купить им новые ботинки? Одного надо сводить к зубному врачу, другого в поликлинику. Только об этом и думаем. Как ты... а главное, что из этого мальчика получится?

Четверть четвертого. Старшие дети по одному возвращаются из школы. Шквал новостей. Магнитофон на кухонном столе ввергает их в восторженное молчание.

Кажется, о бомбе очень много говорили в 1962 году, да? Обсуждали бомбоубежища и все прочее. Ну, а жильцам Тейлора что делать? Я говорила: это что, ловушка? Может быть, придумали способ избавиться от всех негров? Нажмешь кнопку — и нет их больше. В мире слишком много людей, с этим же надо что-то делать. А это хороший способ отделаться от очень большого числа людей.

Небольшой перерыв. Ребята по очереди ликующе получают в свое распоряжение микрофон. Имя, фамилия, класс, любимый предмет, куплеты из песен. Смеются и паясничают, когда прослушивают запись.

Наверно, бомба тревожит людей в других странах больше, чем меня, потому что они ведь испытали войну. А мы видим войну только по телевизору — это ведь все равно что кино. Для меня это что-то вроде вымысла. Если на нас сбросят бомбу, очень многие погибнут. Но об этом просто не думаешь... Я же ничего не могу сделать. Этим занимаются другие люди.

КТО?

Политики. Это их работа. Люди, которые стоят у власти, говорят им, что надо делать.

А КТО СТОИТ У ВЛАСТИ?

Люди, которые имеют деньги. У которых в руках права нанимать и увольнять с работы, вот кто. Возьмите хоть наши дома, к примеру. Вот наступает день выборов. Вы пойдете голосовать? Да-а. Нет. Очень нужно зря тратить время! Ради чего? Если бы все эти организации обучали людей их правам, тогда было бы по-другому.

Это касается не только негров, это касается всех. По-моему, тот, кто принижает других, принижает и себя. Нельзя одновременно давить кого-то и идти вперед. Что-нибудь одно.

ЧЕГО БЫ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО ХОТЕЛОСЬ В ЖИЗНИ?

Чтобы мои дети получили хорошее образование—такое, чтобы им не пришлось унижаться, живя на пособие. И еще я надеюсь переехать в такие дома, где за детьми был бы организован дневной присмотр. Не только чтобы с ними кто-то сидел, а чтобы с ними там занимались, учили бы их рисовать, петь, учили бы музыке, водили бы на экскурсии.

Красота ведь есть повсюду. Надо только уметь ее найти. Оглянитесь и посмотрите. Некоторые считают: красота это солнце и безоблачный день. Не обязательно. Я уверена, что художник и тут бы нашел красоту. И показал бы ее на своей картине. Он ведь видит больше, чем мы.

ПОСТСКРИПТУМ

Когда я ехал вниз, лифт был переполнен. Он то и дело рывками останавливался. Две женщины, говорившие с сильным южным акцентом, растерянно жаловались: лифт никак не останавливается на четырнадцатом этаже. Они снова и снова нажимают кнопку. Они уже три раза проехались вверх и вниз. «Да-да! Он всегда не работает. Я поднималась на четырнадцатый этаж пешком уж не знаю сколько раз». Одна говорит, а другая кивает головой: «Верно, верно». Молодой негр в каске строительного рабочего выходит на седьмом этаже. Через плечо бросает: «Программа президента по поддержанию здоровья». Никто не смеется.

(Окончание следует)

Перевод с английского И. ЯКУШКИНОЙ

МОРТ САЛ, «МАРК ТВЕН ЭСТРАДЫ»...

Каждый вечер на Бродвее Морт Сал — американский киноактер и политический сатирик — выходит на сцену и дарит публике десятки афоризмов — метких, смешных и, как правило, крамольных. В своих выступлениях он отзывался на наиболее злободневные политические новости («Эйзенхауэр за интеграцию, но постепенную. Стивенсон за интеграцию, но умеренную. Возможно, между этими крайностями удастся найти компромисс»). Посмотрев его программу «Сам себе президент», критик журнала «Нью Йоркер» написал, что актер создает на эстраде образ «интеллигента, который презирает правительство потому, что по его мнению, оно состоит из тупиц и пошляков». Нужно добавить, что Морт Сал бывает таким не только на сцене. Он не побоялся высмеивать Маккарти в те годы, когда мрачная тень бесноватого сенатора нависла над Америкой. («Джо Маккарти ставит под сомнение не столько то, что вы говорите, сколько ваше право вообще говорить»). В 1967 году Морт Сал отправился в Нью-Орлеан, чтобы помочь прокурору Гаррисону, искавшему истинных виновников далласской трагедии. На пресс-конференции он заявил следующее: «Я знаю, кто убил Кеннеди. Но могу сказать вам только, что здесь замешаны некие влиятельные внутренние силы и что, когда Гаррисон сообщит то, что ему известно, это потрясет страну до основания. Америке придется заняться уборкой своего дома».

Реакция широкой публики вызвала у Сала такое высказывание: «Пятьдесят восемь процентов не приемлют доклад комиссии Уоррена, но пятьдесят семь процентов из этих пятидесяти восьми не хотят нового расследования. В какое жуткое время мы живем!»

«Марк Твен эстрады» — так окрестили Морта Сала американские журналисты. Конечно, здесь есть преувеличение. При всей меткости отдельных его критических замечаний Морт Сал вовсе не так разительно отличается от тех, над кем он смеется. Он порой весьма язвителен, но это ирония человека, давно приспособившегося к американским порядкам, не ждущего да и не желающего коренных перемен. И все-таки послушать его небезынтересно.

В одном из номеров журнала «Плейбой» опубликовано интервью с Мортом Салом, которое «Иностранная литература» перепечатывает с сокращениями.

Вопрос: Думаете ли вы, что Никсон объединит страну?

Сал: Да, думаю, поскольку он — тот единственный человек, который может усадить либералов за один стол с фашистами и заставить их взглянуть на вещи с точки зрения фашистов. Правда, в этом отношении либералы уже прошли большую практику. Но Никсон находится в особенно выгодном положении, потому что, как сказал один из его помощников, ему не нужно платить по политическим векселям — например, рабочим, молодежи, беднякам или неграм.

В.: Будет ли, по-вашему, мешать Никсону то, что он победил таким незначительным большинством голосов?

С.: Мне кажется, это могло бы мешать только человеку, который действительно хотел бы что-то сделать. Перед Никсоном такой проблемы не возникает.

В.: Что вы думаете о перспективах страны при Никсоне?

С.: Вряд ли за время его пребывания у власти будет построено много школ — скорее всего, сожжено их будет больше. Невероятно! Американский народ дважды его отвергал, а на третий мы его получили. И я ничего особенного от него не жду. Даже во время предвыборной кампании он не давал обещаний что-нибудь сделать. Произнося одну из предвыборных речей, он стоял посередине телевизионной студии. Как объяснил режиссер, это позволяло ему повер-

тываться в любую сторону, что, в сущности, и составляет основу политической философии Никсона.

В.: Какой, по-вашему, была бы судьба всех несогласных — и ваша, в частности,— если бы победил Уоллес?

С.: Моя роль осталась бы прежней: я бы злоупотреблял добродушием президента и надеялся бы, что он не запрет меня в какую-нибудь «хорошую тюрьму», как он выражается. Но вернемся к Никсону. Я был на съезде республиканской партии в этом году и часто видел его в вестибюле его отеля. Говорил он мало, зато много улыбался. Я понял, каков будет тон съезда, когда увидел в отеле «Фонтенбло» следующее объявление: «Редакционный комитет республиканской партии приглашается в Круглый зал на коктейли для обсуждения вопроса о бедности».

В.: Вы присутствовали и на съезде демократической партии?

С.: Да. Джордж Мини бегал по холлу и вопил, что народ не должен устраивать демонстрации, по-видимому, забыв, как когда-то устраивали демонстрации рабочие, чтобы он, Мини, мог занять свой высокий пост. У меня взяли интервью на телевидении и спросили: «Что вы думаете о съезде?» Я сказал: «Я думаю, что все было подстроено заранее». Тогда они убрали меня из эфира. Потом меня опять выпустили в эфир и спросили: «Так что же вы думаете?» Я сказал: «Я думаю, что съезд был предопределен заранее». Тогда они снова убрали меня из эфира. В конце концов меня снова выпустили, и я сказал: «Я думаю, что этот съезд — комедия». Тут ко мне подбежала какая-то личность и сказала: «Я должен прервать ваше выступление». Я сказал: «Ну, конечно, вы же не хотите лишиться работы». Он сказал: «Нет, это не цензура, а последние известия. Мы получили сообщение, что одной из лошадей в Акведук-Парк дали допинг». Когда мы снова вышли в эфир, была уже утверждена кандидатура Хэмфри, и я сказал, что следовало бы проверить полноценность его победы и взять у него на анализ слюну.

Уоллес, как вам известно, обошелся без съезда. Это было Непорочное Зачатие. Ему адресовали плакаты вроде: «Если вам нравился Гитлер, вы влюбитесь в Уоллеса». Вы знаете, одно время я служил под командой его кандидата в вице-президенты генерала Дисмея. Командование стратегических военно-воздушных сил — удивительно теплая компания параноиков. Спать вас обязывали в самолете под охраной немецкой овчарки. Сапоги снимать разрешалось, только если вы привязывали их веревкой к талии. Мы проторчали в воздухе девять лет, пытаясь навести страх на русских...

В.: Вы до сих пор ни о ком не сказали ничего хорошего. Считаете ли вы, что в настоящее время в стране есть какие-нибудь обещающие политические деятели?

С.: Ну, сенатор Фулбрайт, сенатор Макгаверн, сенатор Маккарти, мэр Линдсей, сенатор Перси, сенатор Хэтфилд. Мне кажется, в некоторых из них есть хотя бы дух дерзания.

В.: Как вы думаете, удалось бы вам найти для своего кабинета достаточно людей, наделенных духом дерзания, если бы вы были президентом?

С.: Кого бы я взял в свой кабинет? Хорошие люди у нас в избытке. Министром обороны у меня был бы Говард Хьюз. Это дало бы ему возможность закупать самолеты у его собственной компании. Но министерству обороны пришлось бы изменить название.

В.: На какое же?

С.: Им пришлось бы сократить свой бюджет до минимума либо получить название «министерство агрессии». Я не намерен терпеть подобных эвфемизмов. Дайте-ка подумать, Гувера я бы оставил в ФБР. Как вам известно, он был назначен туда неким дальновидным президентом в 1924 году, и с тех пор преступность в стране росла прямо пропорционально бюджету ФБР. Гувер пробыл на своем посту 45 лет, и Джин Маккарти высказывал опасение, что президенты давно представляются ему чем-то временным и быстро преходящим. Поскольку в этом году мы намерены заняться предотвращением преступлений на улицах городов, ФБР, по-видимому, перестанет выискивать коммунистов под каждой кроватью.

Дайте-ка подумать. Мне надо поискать людей, достойных доверия. Людям, которых я вам назвал, я прежде доверял, но теперь, когда я ввел их в правительство, они начинают внушать мне недоверие.

В.: Считаете ли вы, что популярность таких архиконсерваторов, как Риган и Уоллес, в сочетании с другими симптомами предвещает появление в Америке фашизма?

С.: Не думаю. По-моему, когда фашисты в нашей стране начнут «разминку», они быстро обнаружат, что сбыть фашизм здесь им не удастся. Об этом говорит ряд признаков. Молодые люди, которые скоро составят большинство в стране, отказываются покупать такой товар. Этот саженец здесь не прижился. Фашисты в правительстве сделали все, что было в их силах. Они исподтишка бросали бомбы, они исподтишка шпионили, они убивали людей на улицах, они подготавливали покушения, но американцы стали подозрительными, циничными и утратили веру в свое правительство. Я бы сказал, что их время почти прошло.

В.: Чье? Фашистов или хороших ребят?

С.: Фашистов. Но предсмертные судороги могут быть сильны, и прежде чем конфликт окончательно разрешится, может пострадать еще много людей.

В.: Вы назвали бы Уоллеса фашистом?

С.: Иногда он высказывался как настоящий фашист, но чем ближе он подбирался к верховной власти, тем более умеренным пытался выглядеть.

В.: Многие считают, что с Голдуотером произошло бы то же самое, если бы его избрали. Вы с этим согласны?

С.: Во всяком случае, я не вижу, как он мог бы оказаться хуже Джонсона. Под воздействием определенных факторов ему во-

лей-неволей пришлось бы стать умеренней— например, всякий раз когда он говорил бы конгрессу «Дайте мне полномочия бомбить Вьетнам», демократы немедленно высказывались бы против. Да и демократы занимались бы тогда не только тем, что отрицали бы свою принадлежность к коммунистам.

Возможно, и Голдуотер был бы вполне в норме, но, на мой взгляд, тот факт, что человеку удалось попасть в Белый дом, еще не делает его государственным деятелем; и я думаю, история подтверждает мою точку зрения. Вы знаете, у нас любят повторять, что президентом может стать кто угодно. Было бы лучше, если бы люди толковали эти слова не так буквально. Однако различия между кандидатами становятся столь же незначительными, как различия между двумя основными партиями — а их практически уже не существует. Единственное несходство, которое мне удалось обнаружить, сводится к тому, что есть области, где республиканцы зарекомендовали себя большими специалистами. Заметьте, каждый президент-демократ подбирает республиканцев на должность министра обороны и министра финансов. Когда дело доходит до подписывания чеков, демократы не доверяют членам собственной партии. Но так называемые различия между партиями — это лишь одно из приятных заблуждений либералов. В течение 25 лет они стояли посреди дороги спиной вперед и повторяли: «Мы верим в сосуществование, но мы такие же антикоммунисты, как и все прочие», и бомбы СЕАТО и НАТО они принимали так же бодро, как план Маршалла.

В.: Как вы оцениваете возможность «черной революции»?

С.: Я не считаю ее реальной. Когда негры говорят, что они заставят жизнь в стране замереть, если мы не примем их условий, они только демонстрируют полнейшее отсутствие понимания ситуации. Если Соединенные Штаты готовы бомбить Вьетнам — целую страну! — из-за того, что им ставят условия, то неужели они уступят требованиям негров? Или негры собираются положить конец капитализму? Мне кажется, конец капитализму так просто не положишь, да и негры на самом-то деле этого вовсе не хотят. Они хотят участвовать в игре на равных; и их приберут к рукам, как когда-то профсоюзы, которым дали права на заводах, чтобы взять их затем под контроль.

В.: Что вы думаете о парадоксальном положении, когда либералы, с тридцатых годов добивавшиеся интеграции, теперь нередко с восторгом поддерживают черных националистов в их идее расового сепаратизма?

С.: Либералы всегда принимают участие в благих начинаниях такого рода. Этот сепаратизм — ерунда. К тому же меня тревожит современное употребление слова «черный» белыми. Оно чрезвычайно оскорбительно, независимо от того, произносит ли его Уоллес, либерал или куклукслановец.

В.: Как вы определяете понятие «либерал»?

С.: Я воспринимаю либерализм в европейском значении слова «социал-демократия». Не забывайте, что германский рейхстаг рассматривал вопрос о том, вступать или не вступать в первую мировую войну. Коммунисты были против по причинам, связанным с их мировоззрением, а правые считали, что война может обойтись слишком дорого. Но социал-демократы, обливаясь слезами умиления, спели «Дейчланд, дейчланд юбер аллес», и Германия вступила в войну. Социал-демократами были и те немецкие либералы, которые позволили Гитлеру прийти к власти — и вновь с крокодиловыми слезами. И именно они заявляли, что раз уж шаг сделан — ну, например, уничтожена Европа,— его надо оправдать. Разве это не напоминает тех людей, которые говорят: «Я не думаю, что нам следовало бы быть во Вьетнаме, но мы уже там, кроме того, как мы можем уйти оттуда?»

Пусть корабли дадут задний ход — вот как.

Социал-демократы способны видеть добродетели республиканцев вроде Макнамары. «Мне не нравится война. Мне не нравится призыв в армию. Мне не нравится быть банкротом». Но наш Мак — гений. Он способен правильно сложить столбик цифр.

Социал-демократы предали левых и стали прислужниками правых, утверждая при этом, что сами они-де находятся посредине. Но на самом деле они не посредине. Когда на них нажимают, они оказываются справа.

В.: Один из значительнейших современных конфликтов связан с требованиями студентов, которые хотят более активно участвовать в управлении учебным процессом. Если бы вы были ректором университета, далеко ли вы позволили бы им зайти?

С.: Во всяком случае, дальше организации комитета, решающего, кого пригласить на концерт. А вы знаете, что молодежь вовсе не хочет управлять учебными заведениями? Просто она чувствует, что администрация не считается с ней и позволяет себе возмутительные вещи — например, допускает в университет вербовщиков ЦРУ и вербовщиков «Доу кемикалс». Будь я ректором, я бы просто постарался быть в курсе всего, что происходит. И этого было бы вполне достаточно.

В.: Что бы вы противопоставили наиболее агрессивной тактике — захвату зданий и сожжению архивов?

С.: Не знаю. Но одно я могу вам сказать: я отнесся бы внимательно к их требованиям. Задача молодежи — задавать вопросы, помогать нам анализировать и понимать самих себя. Нам следовало бы использовать этих ребятишек, пока они полны энергии — они ведь не вечно останутся такими. Большинство из них перебесится к двадцати шести годам. Когда им исполнится тридцать, от их пыла ничего не останется. Я не сторонник насильственных методов, но я задам во-

прос: как это стало возможным? Кто-то обрекает их на разочарование, которое порождает эти протесты. Вот, например, призыв в армию. Что-то люди непризывного возраста не очень возражают против него. Так можно ли винить молодых ребят за то, что они протестуют?

В.: Вы вообще противник призыва в армию или только в связи с войной во Вьетнаме?

С.: Я никогда не был пацифистом. Я считаю, что во второй мировой войне было за что воевать — хотя другие примеры мне так сразу в голову не приходят. Но я хочу показать вам, как люди перегибают палку в другую сторону. Недавно в Сан-Франциско Стерлинг Хейден устроил митинг в связи с тем, что его сын отказался идти в армию. Выступая на митинге, Хейден сказал, что все они — чудесные ребята (с чем я совершенно согласен), а затем добавил, что они «не дали себя обмануть», в отличие от его поколения. Таким образом, он осудил все, что мы сделали, чтобы спасти Америку. Ну, конечно, это просто глупость — ведь если бы мы не сражались с Гитлером, от Стерлинга Хейдена и его сына давно остался бы только пепел. Ну, а что касается призыва, то сама его идея, по-моему, противоречит конституции. А если бы нашей стране действительно угрожала опасность, то, я думаю, никакого призыва вообще не понадобилось бы.

В.: Так, значит, во время второй мировой войны на призывные пункты сломя голову бежали толпы добровольцев?

С.: Может быть, и нет, но факт остается фактом: содержание большой армии противоречит интересам народа.

В.: Следующий вопрос связан с вашим утверждением, что вопросы секса вас интересуют больше политики. Что вы можете сказать о новых веяниях в области секса — включая организованный обмен женами,— которые, по слухам, наблюдаются в Лос-Анжелесе?

С.: Я думаю, что самым новейшим веянием в области секса была бы любовь. Многие люди, возможно, вообще не поймут, о чем я говорю, так как они никогда никого не любили и смотрят на секс, как на одну из форм вражды. Но вернемся к вашему вопросу об обмене женами: это, на мой взгляд, симптоматично для фашизма. Фашизм означает разрушение всего, что мы знаем, включая любовь. Ответ подсказывает психология животных. Вы знаете, что крысы в лабиринте, если поднести к ним раскаленную проволоку, разбегаются во все стороны? Это самое и происходит у нас в стране. Вот пример такого же явления: когда Джо Маккарти был в зените, у нас в Америке было больше гомосексуалистов, чем когда-либо прежде. Вы можете возложить ответственность за это на американских матерей, но я считаю, что в этой погоне за новыми ощущениями повинен фашизм.

Другие новые веяния, которые мне известны, связаны с тем, что молодежь ищет новых впечатлений. Нынешний юноша смотрит на своих родителей и говорит: «Мой отец был человеком страстным и лицемером. Следовательно, всякий страстный человек — лицемер». И он становится таким бесстрастным, что уже вообще ничего не чувствует. Тогда он говорит: «Меня притесняют. Жизнь не дает мне радости». Потом хватается за наркотики, чтобы возместить себе отсутствие нормальных ощущений. Затем он покупает спортивную машину, сажает рядом с собой девушку и на скорости сто миль в час врезается в стену. Поиски эксцессов — это признание, что окружающее вас не удовлетворяет. Когда человек принимает снотворное, он не говорит, что спит лучше тех, кто крепко засыпает, устав от какой-то творческой работы. Он говорит, что страдает бессонницей.

В.: Как вы определили бы стиль своих выступлений?

С.: В сущности, это чистая поэзия. Это афористичное изложение вопроса, сведенного к самой его сути,— часто в одной фразе. Например, можно ли охарактеризовать кандидата полнее и глубже, чем так: «Хэмфри говорит, что это отвратительная маленькая война, но кто-то же должен ее вести. Никсон говорит, что это отвратительная маленькая война, но, к счастью, мы должны ее вести. А губернатор Уоллес говорит, что это отвратительная маленькая война, но другой у нас нет, так будем же благодарны и за нее».

В.: Как вы относитесь к свободе, предоставляемой теперь телевидением для сатирических передач, вроде «Смейтесь с нами» братьев Смозерс?

С.: Я считаю, что это хорошая тенденция, хотя мне всегда казалось, что артисты используют далеко не всю свободу, которая есть в их распоряжении. Даже в дни Джо Маккарти свободы было процентов двадцать, но артисты использовали только восемь процентов. На телевидении полно людей, которые ничего не говорят, но обвиняют в этом радиокомпании. Не думаю, чтобы какие-нибудь их мысли могли вызвать возражения цензуры. Я вспоминаю, как один репортер сказал мне: «Вы думаете, правительство указывает мне, что писать?» Я спросил: «Так указывает или нет?» Он сказал: «Я работаю в этой газете восемь лет, и никто ни разу не рекомендовал мне, что писать». Я сказал: «Это потрясающе». Он сказал: «С другой стороны, не буду отрицать, что я прекрасно знаю, какой материал давать». Другими словами, правительству вовсе незачем давать ему указания.

В.: Вы сами писали для правительства, когда сочиняли шутки для Джона Кеннеди во время предвыборной кампании. Вы знали тогда, какого материала от вас ждут?

С.: Не в том смысле, какой вы подразумеваете. Советники Кеннеди предоставляли мне полную свободу в те месяцы, когда я работал для него. Делал я это анонимно, как одолжение его отцу, который попросил меня об этом. Платы я никакой не получал и не вел никакой агитации в его пользу — не произносил речей и не носил пуговиц с

надписью, утверждающей, что он — лучший из кандидатов. Во время последних выборов ко мне обращались все. Марлон Брандо просил меня работать для Маккарти, Джерри Льюис — для сенатора Кеннеди, Джон Уэйн — для Никсона, Чак Коннорс — для Ригана. Последним позвонил Фрэнк Синатра и приказал мне работать для Хэмфри. Конечно, я отказал им всем, потому что я не только не хочу агитировать за какого-либо кандидата, но я вообще никогда не голосовал бы за того, кто разделяет одну платформу с эстрадным сатириком.

В.: Вы считаете, что положение у нас в стране было бы иным, если бы Джон Кеннеди не был убит?

С.: Да. Он подписал свой смертный приговор, смягчив напряжение между Россией и Соединенными Штатами и гарантировав суверенитет Кубы. Уолтер Липпман говорит, что Кеннеди не был очень хорошим президентом. Он сделал только одно: попробовал положить конец «холодной войне» с Россией — что было отнюдь не так уж плохо, если подумать. Но, к несчастью, он умер. И причиной его смерти было именно это лучшее из его начинаний.

В.: Эту версию выдвинул нью-орлеанский окружной прокурор Джим Гаррисон, для которого вы в 1967 году производили некоторые расследования. Каким образом вы оказались к этому причастны?

С.: Главным образом потому, что я прочел все двадцать шесть томов доклада комиссии Уоррена и, как внимательный читатель, обнаружил в нем массу невероятнейших пробелов. Затем меня поразило нежелание большинства людей обсуждать все это. За всю мою жизнь ничто не производило подобного впечатления на меня.

Как бы то ни было, доклад Уоррена оказался лишь первой главой в этом хаосе. Второй было расследование, предпринятое Гаррисоном с целью установить, кто же это сделал. Я приехал в Нью-Орлеан примерно в то время, когда Гаррисон устроил свою первую пресс-конференцию — ту, на которой он сказал, что некоторые лица, замешанные в этом преступлении, были связаны с ЦРУ. Кто-то из репортеров спросил его: «А вы подумали о том, какой вред вы нанесете стране, если вы ошибаетесь?» Гаррисон ответил: «Я не ошибаюсь». Тогда тот же репортер сказал: «А вы подумали о том, какой вред нанесете стране, если вы правы?» Гаррисон ответил: «Как сказал Вергилий, пусть падут небеса, лишь бы восторжествовала справедливость». Тогда репортер спросил: «А как фамилия этого Вергилия?» — и тут я понял, что нам предстоит. В конце концов я записал на пленку полуторачасовое интервью с Гаррисоном для своей радиопрограммы. Вскоре после этого я лишился программы и на радио и на телевидении и уехал в Нью-Орлеан. Там по утрам я писал, а днем вел расследование по официальному поручению Гаррисона. Какой-то репортер спросил: «Как может Гаррисон объяснить включение комика в число своих сотрудников?» Ответ был: «Точно так же, как Джонсон объясняет включение семерых комиков в комиссию Уоррена».

В.: Вы ведь используете доклад этой комиссии в своих выступлениях на эстраде?

С.: Да. Это позволяет мне объяснить сущность доклада тем, кто не имел случая его прочесть. Я сообщаю моим слушателям, что на переплете доклада комиссии Уоррена красуется орел, означающий, что мы можем верить ему неколебимо. Затем мы узнаем, что, согласно анкете Гэллапа, восемьдесят восемь процентов американцев не верят в точность его данных. Поэтому я добавляю, что не буду критиковать доклад, дабы не подорвать веры остальных двенадцати процентов. Затем я излагаю выводы доклада, начиная с Ли Харви Освальда, одинокого и озлобленного бывшего солдата морской пехоты, который сошел с ума, смотря телевизионные передачи, как рассказывает Уильям Манчестер в своей превосходной книге «Смерть президента».

Освальд, сообщает нам наше правительство, стрелял в Кеннеди с шестого этажа далласского склада учебников. Он выстрелил три раза и дважды попал в Кеннеди — движущуюся мишень,— хотя в армии отнюдь не считался снайпером. Одна пуля — вещественное доказательство, фигурирующее в докладе под номером 399,— попала в президента на пять с половиной дюймов ниже правого плеча, пронзила шею и вышла спереди, потом помедлила 1,8 секунды, будучи скверного итальянского изготовления, и заметив губернатора Конноли, решила попасть заодно и в него. Она задела его ребро, повернула на 90° вправо, пронзила запястье, развернулась и вошла в его бедро, где и были обнаружены ее осколки. Девяносто минут спустя ее нашли возле носилок президента — президента, а не Конноли! — целехонькой и нисколько не пострадавшей от соприкосновения со всеми этими мышцами и костями. Позже Освальд забрел в другой район города и застрелил полицейского Типпита. Потом он решил задарма посмотреть кинофильм: комиссия сообщает нам, что его удалось отыскать благодаря жалобе владельца кинотеатра, который заметил, что кто-то прошел в зал без билета. Это посягательство на законы коммерции так разгневало полицию, что на место преступления было отправлено семь полицейских машин. На самом деле президента уже двадцать минут как застрелили, и в этих машинах больше не было особой нужды. Освальд был арестован, но допросить его не удалось, так как Джек Руби застрелил его, пока он находился под охраной семидесяти далласских полицейских чинов — или даже семидесяти одного чина, если считать Джека Руби. Невероятно.

В.: Ваше сотрудничество с Гаррисоном, ваши намеки на то, что вас включили в черный список,— все это, вместе взятое, навело многих ваших друзей на мысль, что вы стали параноиком — другими словами, что

вам всюду чудятся заговоры. Вам они чудятся?

С.: Я безусловно верю в существование одной группы заговорщиков — можете назвать их «бюро политических убийств»,— которая была замешана в убийствах президента Кеннеди, доктора Мартина Лютера Кинга и Бобби Кеннеди.

В.: Вы можете подтвердить это документальными данными?

С.: Не собираюсь и пробовать. Я — эстрадный артист, и я привлекаю общественное внимание к этим вопросам с помощью сатиры, а не документов, которыми пусть занимаются те, кто лучше для этого подготовлен. Я могу сказать только, что ваши читатели знакомы со многими доказательствами, если они читали ваше интервью с Гаррисоном («Плейбой», октябрь 1967 года), а со временем их будет представлено и еще больше. Они уже стали бы известны, если бы наше правительство столь упорно не затягивало процессы над виновниками. Так вот: если уверенность — которую я разделяю со многими американцами — в том, что убийство моего президента было результатом заговора, делает меня параноиком, хотя мне известна большая часть доказательств, то пусть я буду параноиком.

Что же касается моих личных затруднений — так называемого черного списка,— то я никогда не утверждал, будто против меня устроен заговор, то есть в том смысле, что какие-то люди, встречаясь в прокуренной комнате, говорят друг другу: «Давайте-ка покончим с Мортом Салом». Просто я внезапно вышел из моды. Видите ли, когда президентом был Эйзенхауэр, я пользовался бешеным успехом. Я мог высмеивать все, что он делал, и моим нанимателям это нравилось. Дело в том, что они почти все демократы, за исключением Джона Уэйна. Но когда был избран Кеннеди и я начал прохаживаться на его счет, мне это с рук не сошло. Внезапно меня принялись обвинять в антисемитизме, антинегритянских взглядах и в других малоприятных вещах. Мне было сказано, чтобы я оставил в покое правительство или я останусь без работы. Но повторяю: это вовсе не был заговор. Это просто были сотни — собственно говоря, тысячи — индивидуальных решений отдельных людей, которые все искренне негодовали, считая меня кем-то вроде предателя и ренегата. Стив Аллен, например, так объяснил ситуацию: «Морт Сал был нам нужен в дни Джо Маккарти и «охоты за ведьмами», но теперь он нам не нужен». Я ответил на это, что я и не подозревал, что теперь наступили утопические времена, не то я больше бы им радовался. Говорили, что я устарел, отстал от времени и мне следовало бы переменить профессию — пойти, например, в столяры,— ну, что угодно, лишь бы я не выходил на эстраду и не отпускал шутки по адресу всеобщих идолов и героев.

Но либералы, очевидно, готовы забыть и простить. Еще до того, как Никсон был избран, один ведущий на телевидении сказал мне: «Ну, в ближайшие четыре года вы будете как сыр в масле кататься». Я ответил: «Если вы это делаете ради меня, то не стоит». В любом случае теперь, когда произошла перемена мест слагаемых, я работаю постоянно, и вопрос о черном списке стал академическим. Задайте мне его снова через четыре года.

В.: Не скажете ли вы нам, во что вы верите?

С.: Я верю, что жизнь человека — в его работе и что он растет, если делает то, во что верит. Я верю, что люди, ни во что не верящие, зачахнут и погибнут. Я верю, что художник существует потому, что он отражает мысли своей аудитории. Он говорит не просто от своего имени...

Когда-то говорили, что никто не может стать выше закона. Я знаю многих людей, которые стоят выше закона. Но, мне кажется, выше юмора не может стать никто. В этом смысле моя работа никогда не бывает завершена. А тем, кто интересуется моей духовной анатомией, следует помнить, что мой отец всю свою жизнь работал на правительство. Ну, а если человеку действительно свойственно бунтовать против тех норм, в которых его воспитывали, то моей мишенью номер один всегда было наше правительство. Вывод вы можете сделать сами. Но я человек беспристрастный: у нас в стране еще не было правительства, которое внушало бы мне симпатию.

В.: Это последнее, что вы хотите сказать?

С.: Я от души надеюсь, что в стране не найдется политической группировки, которую я не задел бы. Благодарю вас.

Спокойной ночи.

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

ГОРЬКИЕ ПАРАДОКСЫ АЛЬБЕРТО МОРАВИА

Диалог издревле существует не только как особая форма устной речи, но также и как самостоятельный литературно-публицистический жанр. Он был широко распространен еще в античности и достиг высокого уровня развития в эпоху Просвещения. Ныне к этому испытанному жанру публицистики прибег в одном из своих последних эссе, опубликованном в журнале «Эспрессо», Альберто Моравиа. Этот крупнейший итальянский писатель хорошо знаком нашим читателям как автор романов «Чочара» и «Презрение», «Римских рассказов» и более поздних новелл. Однако Моравиа-публицист у нас известен гораздо меньше.

Когда говорят и пишут о Моравиа, обязательно начинают с того или кончают тем, что он — писатель-моралист. Как ни стерлось такое определение, придется и нам исходить именно из него, потому что и в данном диалоге Моравиа остается верным себе и к анализу важнейших общественных явлений подходит по-своему, то есть опуская социальные и политические предпосылки и концентрируя внимание на морали, на характере людей. Тем не менее, хотя он не вскрывает подлинные корни затрагиваемых проблем, сами проблемы он ставит, на наш взгляд, правильно и правильно определяет следствия. А порой он даже предвосхищает некоторые движения общественной жизни.

Итак, писатель раздвоился: одна его половина (итальянец А) задает недоуменные вопросы другой половине (итальянцу Б). Причем делается это не для того, чтобы мог постичь истину — ту самую, которая познается в споре,— сам писатель (мудрый мэтр, надо понимать, ею давно владеет), а для того, чтобы прояснить ее другим итальянцам на все буквы алфавита — от А до Ž.

...В начале диалога один из воображаемых собеседников спрашивает другого: «Чем был для Италии прошлый, 1968 год?» Тот отвечает, что это был год протеста, но протест назревал уже давно: против одних явлений — веками, против других — десятилетиями, против третьих — годами.

Первый вывод, который дружно делают А и Б: движение протеста было в минувшем году глубоким и радикальным, оно охватило все стороны жизни итальянского общества.

Протест итальянской молодежи имел два аспекта, уточняют участники диалога, один — международный, то есть был лишь проявлением более широких процессов, происходящих сегодня в мире, другой — чисто итальянский. Этот последний был направлен против авторитарных тенденций в итальянском обществе.

— Дай мне определение этого общества,— просит один собеседник другого.

— Итальянское общество скучно,— формулирует тот.

Против чего же протестовали студенты? Выходит, против скуки? Нет-нет, не истолковывайте это слово так узко. Скука бывает разная, поясняет Моравиа, то есть итальянец Б. Итальянское общество скучно в силу сложных причин — оно скучно, потому что глубоко испорчено, продажно.

Тут итальянец А прерывает ход рассуждений итальянца Б возгласом:

— Не будем заниматься морализированием!

— А почему бы и нет? —

отвечает тот, и дальше говорит, что испорченность, коррупция, как и все в Италии, имеют свои традиционные формы. Есть колоссальные жульнические сделки финансовых воротил, и мельчайшие «дела» тысяч проституток. Но всеобщая испорченность, продажность — лишь следствие. А главная причина куда серьезнее: «Итальянское общество испорчено, потому что глупо». Глупость порождает испорченность и продажность.

Основная предпосылка писателя верна — движение протеста в Италии носит всеобщий и радикальный характер. Но почему же Моравиа тотчас ограничивает это

движение лишь студенческими выступлениями? А грандиозная забастовочная борьба рабочих в городах? А массовые выступления батраков в деревне? А широкое движение художественной интеллигенции, требующей демократизации культурной жизни Италии, одним из проявлений которого именно в 1968 году был отказ от буржуазных фестивалей, выставок, конкурсов, премий? А взрывы общенародного недовольства, порожденного нищетой и бесправием, как тот, что произошел недавно в Баттипалье? Список вопросов к автору диалога можно было бы продолжить... Но вернемся к предлагаемой Моравиа схеме, а схема эта выглядит не слишком убедительно: студенты протестуют, потому что общество скучно; оно скучно потому, что испорчено, продажно; оно испорчено и продажно потому, что глупо... Сплошь эвфемизмы: ведь один из участников диалога сам намекает, что скука бывает разная. Что ж, ради оригинальности с такой терминологией можно было бы согласиться и вспомнить даже один из больших романов Моравиа, который так и называется «Скука» и в котором под этим словом он подразумевал нечто более широкое — отвращение к буржуазности, мерзости окружающего мира, неприятие этого мира. Но, говоря о движении протеста в Италии, даже если и не называть вещи своими именами, можно ли обойти такие явления, как нищета, безработица, полицейские расправы? Однако для Моравиа пока что все сводится к тому, что итальянцы «испорчены», «продажны», а это происходит потому, что они... «дураки».

«Дураками» же итальянцы стали потому, выясняется далее в диалоге, что

> «итальянское общество уже двадцать лет как позволяет себя коррумпировать посредством того, что... зовется благосостоянием».
>
> — Но итальянцы вовсе не глупы,— пытается возразить А, на что Б говорит:
>
> — Индивидуальный ум зовется сообразительностью, быстротой реакции, живостью. Но ум нации, общества, класса — это его культура. Итальянцы как индивидуальности сообразительны, имеют живой ум; но итальянское общество — в смысле культуры — нет.

Здесь в диалоге проявляется более чем обоснованное беспокойство писателя за судьбы национальной культуры — беспокойство, разделяемое всеми передовыми деятелями итальянской культуры. Под культурой Моравиа подразумевает (так поясняет итальянец Б) не только литературу, искусство, науку, но прежде всего образ жизни, вот почему он заявляет, что

> «итальянская культура и современные итальянские обычаи — это в значительной мере подражание американской культуре, стремящейся стать гегемоном... Она ныне в Италии — идеал для подражания. А те, кто подражает пришедшему извне, расписываются в собственной глупости...»

Затем предметом диалога становится понятие «идеалы».

— Не устарело ли само слово? — спрашивает один.

— Назовем это воображением,— отвечает другой.

Что же такое воображение?

> «Это форма непреоборимого, радикального, бескорыстного протеста, направленного против всякого «данного», которое претендует на неизменность. Или, если предпочитаете, против принятия циничной, наплевательской неофашистской по своей природе тавтологии: «мир таков, как он есть». Где нет такого воображения, там у нас — мертвые души, которых сегодня в Италии не меньше, чем было в царской России во времена Гоголя».

А дальше, увы, опять стремление придать всему надклассовый, вернее, внеклассовый характер, ограничить дело узкими возрастными рамками. По мнению итальянца Б, в итальянском обществе носителями «воображения» являются лишь молодые мятежники. Молодежь, в силу своего возраста, еще даже сама не испытав всех дефектов итальянского общества, выясняется в ходе диалога, «вообразила» эти дефекты, угадала, представила их себе правильно. Например, молодые бунтари правильно «вообразили», представили себе то, что структура итальянского общества является классовой (неужели надо «угадывать» такие элементарные истины?).

Дальнейшие рассуждения А и Б по поводу характера итальянского общества и места в нем культуры довольно любопытны, и здесь мы, в общем, хотя и с некоторыми оговорками, согласны с ходом мысли автора.

Дело не только в классовости структуры итальянского общества, говорят А и Б, а в том, что функция этой структуры сводится (Моравиа считает, что именно из-за отсутствия «воображения», то есть идеалов и осознания исторической перспективы) лишь к защите классовых интересов.

> «В Италии мы имеем, с одной стороны, промышленность, которая ничем не уступает промышленности других европейских стран. С другой стороны — государственную структуру (суд, полиция, социальное обеспечение, школы, университеты, больницы, вообще все учреждения), которая находится в позорных условиях культурной отсталости, подобной той, что царила во времена Бурбонов, и полного материального упадка. Контраст или, вернее, противоречие между современностью промышленной структуры и устарелостью государственной структуры

симптоматичен... Итальянская промышленность современна настолько, насколько дряхло государство. Ей не нужна современная государственная структура. Ей нужно только слабое и отсталое государство, которое обеспечило бы порядок или, точнее сказать, неподвижность и неизменность беспорядка. Предпочтение, оказываемое товарам по сравнению с культурными потребностями, свидетельствует о том уровне разложения, которого достигло итальянское общество в целом. Потребителю нужен лишь минимум образования, правосудия, здоровья. Итальянская промышленность позаботилась лишь о росте потребления посредством уменьшения безработицы».

(Разве уж так реально она уменьшилась? Ведь помимо сотен тысяч фактически безработных сколько в Италии людей, занятых лишь частично, сколько итальянцев вынуждено эмигрировать в поисках заработка? — *Г. Б.*)

«Все остальное,— продолжает Моравиа,— промышленность не интересует: потребительские товары приобретают ведь на деньги; а чтобы заработать деньги, культура вовсе не необходима. Но далеко не все приобретается за деньги; деньги — всего лишь то, что необходимо для удовлетворения повседневных жизненных потребностей. Именно в этом заключается оригинальность положения в Италии. Нас однажды назвали народом моторизованных дикарей. В самом деле, итальянской промышленности удалось превратить то, что необходимо для приличной, по современным критериям, жизни, в средство коррупции. Итальянское общество, если хорошенько в него вглядеться, продалось за чечевичную похлебку».

Таков один из выводов, к которому с горечью приходит под конец диалога Моравиа. И он мужественно отвергает всякое утешение, всякие «смягчающие обстоятельства».

— Да разве это не происходит повсюду? — вопрошает А.

Но Б отвечает, что да, «общество потребления» существует и в других странах, и они даже куда богаче Италии. Однако там потребительство уравновешивается «меланхолическим сознанием того, что это зло». Большинство же итальянцев, по мнению Моравиа, даже не сознает, что потребительство это зло.

«Непонимание истинного характера потребительства, или, другими словами, коррупции,— говорит просвещающий итальянца А итальянец Б,— доказывает фетишизация в Италии предметов, необходимых для современного уровня жизни».

И, возвращаясь к поставленной в начале диалога теме — движению протеста молодежи и студентов, Моравиа устами воображаемых собеседников дает такую оценку значению этого движения: сперва в Италии было черное двадцатилетие (период фашизма.— *Г. Б.*). Потом наступило двадцатилетие белое (то есть годы клерикального засилья, период господства христианско-демократической партии.— *Г. Б.*). В черное двадцатилетие итальянцев пичкали риторикой, в белое — рекламой.

«Студенческий протест — это перелом. Он знаменует конец белого двадцатилетия... Студенты сделали в миниатюре то, что вьетнамцы — в широких масштабах. Они разоблачили мифы системы «производство — потребление» (мы сказали бы — системы современного неокапитализма.— *Г. Б.*). То есть они выступили против установленной этой системой шкалы ценностей. Самое яркое проявление «демифизации» — падение, сверху донизу, веры в систему».

...Некогда Моравиа, еще совсем юный писатель, интуитивно понял и в своем романе «Равнодушные» одним из первых в Италии показал гнилость фашистского режима. Потом, в первые послевоенные годы, сумел нарисовать в «Чочаре» и в «Римских рассказах» правдивую, неприкрашенную картину итальянской народной жизни. Позднее, опять-таки одним из первых, прозорливо почувствовал трагедию, которую несет итальянцам «общество сверхпотребления»: отчуждение личности, распад духовных связей, все то, что в научной литературе зовется ныне некоммуникабельностью, а попросту — душевным очерствением, одиночеством, приводящим к неврозам, психическим расстройствам, самоубийству... Моравиа отнюдь не задается целью наметить какие-то пути выхода из тупика современной буржуазной жизни, но он бунтует против бездушного, жестокого мира, в котором вечная гонка за виллой, новым автомобилем, норковой шубой или всего лишь холодильником последней марки постепенно приводит к утрате простых человеческих чувств. (Речь, понятно, идет преимущественно о том социальном слое, к которому принадлежит сам писатель и недуги которого он особенно болезненно ощущает. Ни к батракам и крестьянам Юга, ни к подавляющему большинству рабочих Севера, ни к мелким служащим, ни к безработным, ни к эмигрантам, отправляющимся в поисках заработка на чужбину,— словом, ко всем тем, кто добывает хлеб насущный тяжким трудом, психологические последствия пресловутого «сверхпотребления», как, впрочем, и оно само, непосредственного отношения не имеют.) Эти мучительные процессы, происходящие в окружающем писателя страшном, трижды безумном мире, он с глубоким психологизмом раскрыл и в своем романе «Скука», и в сборниках новелл «Автомат» и «Вещь это вещь» (некоторые из них знакомы советскому читателю), и в пьесе

«Мир таков, как он есть». В сущности эти же процессы нам весьма наглядно показали в своих фильмах Федерико Феллини и Микеланджело Антониони.

Теперь Альберто Моравиа всем своим существом ощущает всеобщее и полное падение веры в незыблемость капиталистической системы. Предчувствие катастрофы звучит в самом заголовке диалога, как неожиданно четкая и ясная констатация: «Приближается решительный час».

Г. БОГЕМСКИЙ

«НЕОБХОДИМА ЛИТЕРАТУРА ЯСНАЯ И СМЕЛАЯ...»

Недавно на страницах югославского литературного журнала «Савременик» появилась подборка критических статей под несколько неожиданным на первый взгляд названием — «Новые значения критического реализма». Подборка включала главным образом материалы, не касающиеся непосредственно проблем югославской литературы. Можно было предположить, что обращение редакции «Савременика» к проблемам реализма носит чисто теоретический характер. Вскоре, однако, последовала еще одна публикация на ту же тему. Это была статья редактора журнала Предрага Палавестры «Трансформация критического реализма».

«Отношение к критическому реализму как к творческому методу и направлению литературы стало для многих современных писателей одним из тех вопросов, с которыми они сталкиваются ежедневно, почти на каждом шагу,— писал Палавестра.— Кроме участившихся в последнее время разговоров о трансформациях реалистической структуры в современной литературе и искусстве, кроме разных книг, написанных в новейшее время о характере современного реализма и различных способах отражения реальности в литературе нашего времени, вопрос об отношении к реализму возникает у многих писателей и сам по себе, изнутри, на основании их собственной творческой практики. Дух реализма — а у нас одно время полагали, что он навсегда уничтожен и удален из литературы,— скитается и по сей день по всему зданию нашей литературы и наполняет своим дыханием многие литературные и критические распри».

Что же заставило редколлегию журнала «Савременик» именно теперь заострить внимание своих читателей на вопросах, связанных с судьбами реалистического метода?

«...Общественные и политические процессы, протекавшие параллельно литературным спорам о реализме и влиявшие на их исход, создали у значительной части писателей впечатление, будто многие виды и ветви реалистической традиции изжили себя,— констатирует Палавестра, имея в виду ситуацию, возникшую в последние пятнадцать-двадцать лет в югославской литературе.— В силу неестественных отношений, сложившихся в литературной жизни в те времена, когда принадлежность к силам прогресса определялась отрицательным отношением к реализму, наша литература оказалась на время в своего рода интеллектуальном и нравственном тупике...»

Сказано весьма определенно, горько и резко. Пожалуй, слишком резко. В югославской литературе последних двух десятилетий немало серьезных достижений, немало хороших книг, в том числе и книг, созданных писателями-реалистами. Но не об этом сейчас речь. Предраг Палавестра, один из ведущих критиков и редактор крупнейшего литературного журнала в Югославии, озабочен судьбой молодых писателей, чье мировоззрение и литературные склонности формировались в самое последнее время.

«Захваченные накалом чужих страстей, молодые писатели... получили упрощенное представление о реализме и его возможностях. А так как они не изучали как следует реализм, считая его мрачным наследием прошлого — ибо ложный победный блеск иных литературных направлений увлек и литературоведение,— они поневоле смотрели на реализм глазами его противников».

Это и дает критику моральное право намеренно сгустить краски. Совсем еще недавно, пишет он, в литературе Югославии

«доминировала определенная литературная концепция, и ее положение облегчалось не только декларациями о широте возможностей литературного авангардизма, но и недвусмысленной щедрой поддержкой влиятельных общественных институтов, рассчитывавших своей поддержкой авангарда достичь определенного политического эффекта. Дело дошло до того, что понятие реализма у нас в значительной мере отождествлялось с понятием консерватизма, эстетической отста-

лости и примитивности в литературе. Литературная критика и теория перестают заниматься проблемами реализма, и процесс его трансформации, в полную силу разворачивавшийся в мире, у нас был априори забыт и недооценен».

Позицию Палавестры разделяет другой видный югославский критик — Павле Зорич.

По его мнению, литературный авангард в Югославии, став ведущим литературным направлением, очень быстро утратил свои общественные позиции, его бунтарство стало регламентированным, обязательным, однообразным, а проблема свободы творчества свелась, по ироническому замечанию Зорича, к «проблеме техники письма».

«Лишь когда улеглась пыль, поднятая на развалинах, стало ясно, что многие новые постройки возведены из старых кирпичей»,—

довершает расчет с авангардом («нашим якобы авангардом») Палавестра. На повестку дня выносится вопрос о трансформации реализма в новую силу художественного воздействия.

«Возможна и необходима литература, обращенная непосредственно к современной жизни, литература критической ориентации, литература ясная и смелая... которая не перестала бы быть глубоко художественной» (Зорич).

Итак, художественные достоинства литературы и активная гражданская позиция писателя — вот чего требуют сегодня от литераторов критики журнала «Савременик». Истины эти не новы, но принадлежат, очевидно, к числу тех, что от повторения не тускнеют.

«...Прислушиваясь сегодня к голосу своей литературной совести и пересматривая свою творческую этику, современный писатель не может не ориентироваться на время, на среду, в которой он живет... Непосредственное отражение его позиции — идея его произведения: она отражает его совесть, его сознание и в то же время — мораль и духовные возможности эпохи»,— пишет П. Палавестра.

Подобная постановка вопроса свидетельствует о существенной эволюции позиций югославской критики. В 1960 году в ходе полемики с болгарским ученым академиком Тодором Павловым критик Света Лукич писал, что многие югославские писатели боятся приблизиться к эпохе из опасения, что это

«повлечет за собой новое недоразумение, расхождения между искусством и историей, возможно — диктат со стороны общества...» Поэтому, утверждал он, «отброшена концепция искусства как практической общественной деятельности».

В статье Предрага Палавестры, опубликованной почти десять лет спустя, на первый план выдвигается необходимость близости писателя к своему времени, стремление литературы непосредственно повлиять на духовный климат эпохи. Точка зрения Светы Лукича, активно сотрудничавшего в журнале «Дело» — а именно этот журнал в свое время объявил реализм устаревшим,— и позиция Предрага Палавестры никогда не были идентичными. Журнал «Савременик» всегда поддерживал писателей-реалистов. Однако столь четкая программа непосредственной связи искусства с действительностью в «Савременике» выдвигается впервые. Чем это вызвано?

Палавестра в своей статье вновь и вновь мысленно возвращается к периоду начала пятидесятых годов, когда термин «реализм» почти исчез из обихода югославского литературоведения, а определение «социалистический реализм» было объявлено схоластической догмой и стало употребляться лишь в отрицательном смысле. «Многие писатели вместе с водой выплеснули и ребенка»,— сетует Палавестра. Подобно большинству югославских критиков и литературоведов редактор журнала «Савременик» односторонне трактует термин «социалистический реализм» на материале югославской литературы как «схематическое, искусственно приукрашенное» изображение жизни. Впрочем, здесь П. Палавестра лишь повторяет ставшие уже стандартными формулы противников термина «социалистический реализм» и не касается ни его сущности, ни споров, ведущихся вокруг теории социалистического реализма. Очевидно, поэтому, отстаивая реализм и идейность, Палавестра одновременно настойчиво подчеркивает, что

«творческие принципы искусства должны быть выше прагматических стремлений сообщить через литературу некоторые данные об общественной ситуации, которые могут быть лучше и точнее переданы средствами соответствующих гуманитарных наук».

С этим утверждением трудно не согласиться, хотя следует заметить, что оно вовсе не противоречит ни теории, ни практике социалистической литературы. Постараемся, однако, выяснить, какой же творческий метод считают югославские критики адекватным современности? Они выдвигают концепцию «нового реализма», или, по выражению Палавестры, «нового критического реализма». Эта концепция ясна лишь в своей негативной части. Тем не менее в ней немало моментов, к которым стоит присмотреться и прислушаться хотя бы потому, что для того, кто пристально следил за послевоенной югославской критикой, они звучат достаточно ново и непривычно:

«Исследование средствами литературы социальных, моральных и политических потрясений, кризисов, деформаций нашего времени, критический поиск... противоречий, действующих в современном обществе и влияющих непосредственно на судьбу человека,— все это расширило бы тематику современной литературы и предоставило бы новую основу ангажированности слова. Действие критического реализма означало бы осуществленное средствами литературы диалектическое отрицание тех явлений современного общества, которые стоят на пути свободы и человечности. Таким образом понятый и примененный, обновленный и приспособленный к современной литературе критический реализм мог бы стать одной из живых форм в богатом созвучии современных литературных направлений».

Как видно, программа «нового критического реализма» носит довольно расплывчатый характер. Четкой и конструктивной творческой концепции она пока не содержит. Свою конкретную форму современному критическому реализму, по словам югославских критиков, еще предстоит найти. На первый план в формуле «новый критический реализм» выступает пока слово «критический», олицетворяющее «беспокойный дух сопротивления и скепсиса». «критический образ мыслей, как животворное ядро заложенный в самой природе критического реализма» (Палавестра). Тут далеко не все до конца ясно, очевидно, и самим авторам концепции «нового критического реализма». Так, они пишут о том, что

«судьба критического реализма в современной литературе, видимо, одинаково неопределенна как в капиталистическом, так и в социалистическом обществе».

С этим вряд ли можно согласиться хотя бы потому, что критический реализм — категория историческая, подразумевающая определенные временные константы.

В эпоху социализма в искусстве не могут не возникнуть совершенно особые закономерности. Это подтверждается пятидесятилетним опытом развития советского искусства. Об этом свидетельствуют и пути искусства и литературы европейских социалистических стран. Да и сама заостренная постановка вопроса об общественной роли литературы и искусства в югославской критике, значительная часть которой долгое время весьма энергично отрицала необходимость прямых связей искусства с современной действительностью,— недвусмысленное тому доказательство.

Многие вопросы теории реализма в концепции, выдвинутой в последнее время югославскими критиками, остаются пока открытыми. По существу, речь идет лишь об одной черте, издавна присущей реалистической литературе: об ее общественной, гражданской функции. Право и обязанность писателя быть совестью, сознанием эпохи, передать ее дух и отстаивает редколлегия журнала «Савременик». Эту позицию разделяет и газета «Књижевне новине», особенно горячо поддерживающая в последнее время любую попытку непосредственного обращения к современности как в литературе, так и в театре и кино.

Многие критики с удовольствием отмечают, что в югославской драматургии, в частности, наметился определенный поворот к непосредственному отражению самых острых проблем современности. На XIII фестивале национальной драмы «Стерийно позорье» первой премией за текст была отмечена драма Приможа Козака «Конференция».

«Козак, как нам кажется, пошел дальше всех в актуальном и ангажированном подходе к общественным явлениям... Спектакль, выдержанный в хорошем, ясном реалистическом духе, стал тем, чем он должен был стать — документом эпохи»,—

писал тогда обозреватель театрального журнала «Позориште» Л. Павлович. Автор пьесы Примож Козак изложил свое творческое кредо в короткой, но четкой формуле. «Равнодушие равнозначно утрате свободы»,— заявил он в недавней беседе с корреспондентом газеты «Књижевне новине».

Прямая и непосредственная связь с современностью, идейность, открытая «ангажированность» или, употребляя термин, связанный с русской реалистической традицией, но вполне уместный в данном случае — гражданственность искусства,— таков девиз, отражающий настроения, все сильнее захватывающие широкие круги югославской художественной интеллигенции.

Н. ВАГАПОВА

НАШИ ГОСТИ

ПОИСКИ, РАЗДУМЬЯ, РАБОТА

Прошло немногим больше года с тех пор, как мы встречались в редакции «Иностранной литературы» с Аланом Силлитоу. На этот раз Алан Силлитоу приехал к нам вместе с женой поэтессой Рут Файнлайт.

— Минувший год,— рассказывает английский писатель,— принес немало неожиданностей. Мой друг режиссер Энтони Ричардсон спросил однажды, не привлечет ли меня работа над сценарием о Че Геваре. И разрушил все мои планы. Вообще я предпочитаю писать романы, но тема была слишком заманчивой! Писать о Че Геваре оказалось нелегким делом — не так уж много известно о нем. Я прочел его «Опыт партизанской войны», «Боливийский дневник», я читал по-испански и по-английски, познакомился с книгой воспоминаний о кубинской революции. Мы долго решали с режиссером, какой период жизни Че Гевары выбрать для фильма, и остановились на последних десяти годах — именно эти годы восстанавливаются по сохранившимся материалам наиболее полно.

— У Че Гевары много поклонников не только в Латинской Америке, но и в Европе, особенно среди молодежи. Меня же,— продолжает наш гость,— в большей степени интересует Че Гевара-человек, а не миф. Я полагаю, что всякую выдающуюся личность прежде всего надо понять именно как человека — не вознося сразу на пьедестал,— понять его идеи, убеждения, поступки как сущность его характера.

Меня очень интересовало, почему Че Геваре не удалось поднять революцию в Боливии. Он считал, что профессиональные революционеры изменяют обстановку в стране, а массы должны впоследствии принять их идеи. Но эти надежды его не оправдались. Меня привлекла трагическая в своих противоречиях фигура этого мужественного человека. Че Гевара жил, повинуясь своим убеждениям. Уезжая в Боливию, чтоб принять участие в партизанской борьбе, он оставил на Кубе жену и детей. В то время он был серьезно болен, его мучили астма и ревматизм, а в джунглях от укусов насекомых распухало все тело. Но ничто не могло его остановить. Надеюсь, что в фильме отразятся все эти, столь драматичные, стороны его жизни.

Разумеется, и то, что режиссер выбрал Алана Силлитоу как сценариста для своего будущего фильма, и то, что Алан Силлитоу взялся за эту тему, не столь уж неожиданно. Последние книги А. Силлитоу «Смерть Уильяма Постерса» и «Дерево в огне» по теме близки его сценарию. Герой этих книг, Фрэнк Доули, английский рабочий, осознав, что человек — лишь безликая деталь современной общественной машины, бросает завод, оставляет семью и отправляется странствовать. Затем он покидает родину, в Тунисе принимает предложение случайного знакомого американца Шелли провезти через границу оружие для сражающихся алжирцев (действие происходит во время борьбы Алжира за независимость) и несмотря на то, что женщина, которую он полюбил, ждет ребенка, присоединяется к сражающимся. «Он питал отвращение к идее неотвратимости судьбы, хотя порой считал это слово полезным... Почему он в Алжире? Была

ли это судьба, которую он осмыслил и принял, прежде чем сделать обдуманный шаг? Что было вначале: желание помочь Алжиру или желание найти себя?»

Несколько замедленные по темпу главы, повествующие о месяцах, проведенных Фрэнком Доули в пустыне, в алжирском отряде, вероятно, лучшие в книге. Это долгие дни опасности, лишений, страданий и раздумий, проникнутые желанием понять себя, понять мир, найти точку опоры. «Фрэнк не идеалист,— говорит о нем его друг художник Алберт Хэндли,— он — рабочий, который осознал бессмысленность своей жизни и отдает свои силы, чтобы помочь подняться и избавиться от страданий другим. Он — на стороне справедливости и лишь в революции видит, как и большинство из нас, способ решения важнейших духовных проблем». Когда Фрэнк принимает решение вернуться в Англию, он понимает, что отныне его жизнь связана с борьбой за свободу: «Я могу уехать отсюда на некоторое время и повидать Майру и опять, если я этого захочу, вернуться сюда или принять участие в другой войне, подобной этой. Их будет полно на моем веку».

— Идея сценария застала меня врасплох, и я вынужден был оторваться от начатого романа,— продолжает Алан Силлитоу.— Это — последняя часть трилогии о Фрэнке Доули. Впрочем, сейчас еще рано говорить о нем. Есть писатели, которые заранее составляют проспекты и конспекты. Для меня же процесс писания есть и процесс мышления. Например, когда я писал «Смерть Уильяма Постерса» и дошел до середины романа, я еще понятия не имел, что в романе появится художник. Он возник внезапно. Когда Фрэнк Доули, поссорившись с возлюбленной, вышел из дома и направился в бар, он увидел у стойки незнакомого человека — это и был художник. Я ввел его в роман неожиданно для себя. А во второй части трилогии, в романе «Дерево в огне» он оказался одной из главных персон. Сейчас написано около семидесяти страниц нового романа, он — если сравнить его с самолетом — еще набирает скорость, только-только оторвался от земли. Безусловно, работа над сценарием отразится и на романе, есть внутренняя связь между последней частью моей трилогии и сценарием, между той фигурой, которая стоит в центре будущего фильма, и героем книги, так как меня интересует мир современного революционера, человека XX века во всей его сложности. Думаю, что раскрыть эту тему достаточно полно можно, только если она охватит так или иначе всех персонажей книги.

Меня могут спросить: не «старовat» ли Фрэнк Доули, чтобы быть героем романа Англии сегодняшнего дня? Но у художника есть трое сыновей, и они в последней части трилогии, очевидно, выйдут на первый план. Молодежное движение в Англии, на мой взгляд,— хороший симптом. Волна демонстраций и выступлений, прокатившаяся по стране, говорит о том, что молодежь ищет какую-то цель, ее интересуют политические и социальные проблемы; то, что раньше зрело подспудно, теперь выплеснулось на поверхность. Чтобы добиться успеха, молодежное студенческое движение в Англии должно развиваться в тесной связи с рабочим движением.

Английская пресса писала, например, что в одной демонстрации против войны во Вьетнаме участвовало 25 тысяч человек. На самом деле эта цифра была намного занижена, в ней участвовало около 70 тысяч человек, я слышал это от людей, которые имели верные сведения. Мы с женой тоже участвовали в этой демонстрации и можем подтвердить, что большинство участников были молоды. Сейчас в Англии мы получаем право голосовать в 21 год, хотя поговаривают, будто собираются установить новый возрастной ценз — 18 лет. Небольшая поправка к английской конституции — обычный прием, средство притушить огонь и успокоить молодежь. Но кто знает, это могло бы вызвать и более важные последствия. Повторяю, для успеха движения необходимы контакты, единство действий студентов и рабочих.

Я еще не нашел решения многих вопросов,— говорит А. Силлитоу,— связанных с молодым поколением. Может быть, поэтому я и взялся за новый роман. Когда я пишу, кое-что проясняется само собой.

В ответ на просьбу рассказать читате-

лям «Иностранной литературы» о том, какие книги, какие имена, какие события литературной жизни Англии привлекают более всего к себе внимание, Рут Файнлайт — третья книга ее стихов только что вышла в свет — естественно прежде всего обратилась к английской поэзии.

— Сейчас,— рассказала она,— в Англии появляется много поэтических сборников, проходит много поэтических вечеров. Конечно, эти вечера трудно сравнивать с вашими вечерами поэзии. Три года назад, когда я была в Ленинграде, там как раз проходили дни поэзии, и на двух вечерах мне удалось побывать. Я была потрясена тем, сколь широкой и разнообразной оказалась аудитория. В Англии поэтические чтения посещает более определенная категория людей, у нас более узкий круг читателей, главным образом молодежь. Считают, что и написано лучшее в современной поэзии Англии молодыми поэтами — они много экспериментируют, ищут.

Среди имен поэтов, уже завоевавших читателя, назову Кристофера Лога, а также Теда Хьюза (я позволю себе определить его как «примитивиста» в том смысле, что он обращается к изначальным моментам в человеческих чувствах и в самой природе. Мне кажется, что поэт такого склада говорит иногда больше, чем тот, кто громко декларирует свои взгляды. Во всяком случае, можно утверждать, что сейчас в английской поэзии движение заметнее, чем в прозе.

— Современная английская проза,— вновь вступает в беседу Алан Силлитоу,— современный английский роман — как ни печален этот факт! — не затрагивают острых социальных и политических проблем. У меня такое ощущение, что английская литература всегда была сугубо индивидуальным делом писателя.

— Хотя в Англии выходит много романов,— развивает его мысль Рут Файнлайт,— большинство не вызывает желания дочитать книгу до конца. Чаще всего сюжет крутится вокруг бытовых тем: скажем, молодая женщина мечтает пойти работать, но ей не на кого оставить дом, детей — отсюда вся драма. Проблем как будто поднимается много, но все это сугубо локальные проблемы.

Пожалуй, более других привлекают читателей книги Айрис Мэрдок, ее склонность к драматизации моральных проблем, даже сам болезненный надрыв, который свойствен ее героям. Что же касается писательского мастерства — тут А. Мэрдок одна из сильнейших в Англии. Много пишут также о «Маленьком городке в Германии» Джона Ле Карре, причем его имя называют среди лучших английских прозаиков.

Все же большего, чем проза, внимания заслуживает сейчас английская драматургия. Особенно то ее направление, которое развивается под влиянием американского авангардистского театра, в частности, группы «Ламама», исповедующей идею о театре, как о замкнутом круге людей, которые вместе живут и вместе работают. Известное влияние оказывают на английский театр и хэппенинги.

И в Англии есть коллективы, которые путешествуют из города в город, порою пытаясь возродить искусство пантомимы и традиции средневековых мираклей. Они противопоставляют свой образ жизни, свою манеру работать той жизни, законам того общества, которые разобщают людей. Часто они живут коммуной, сами пишут пьесы или играют, по сути дела не имея текста, импровизируя на ходу. Хотя явление это еще не очень распространено, оно несомненно будет иметь влияние и на театр традиционный.

Как раз на традиционной сцене движение менее заметно. Сейчас в Лондоне идут, в частности, две последние пьесы Осборна — «Амстердамский отель» и «Настоящее время». К сожалению, по ним никак нельзя судить о дальнейшем пути драматурга. Сам Осборн из бывшего «сердитого» превратился в признанного «мэтра», и вообще английская драма типа той, что создавали «рассерженные», уже растеряла весь свой гнев. Нашим лучшим драматургом многие считают — и я к ним присоединяюсь — Мерсера. Привлекают и пьесы недавно погибшего Джона Оттена. Это направление довольно-таки «черного» юмора. Но и жизнь его была такой же, как и его пьесы. Вероятно, не пройдет незамеченной и новая вещь Уэскера. Автор обратился к проблеме, действительно существующей у нас: в пьесе речь идет о группе рабочих, которые добиваются успеха на ниве образования и в сфере искусства, но оказываются в состоянии душевного смятения, не зная, что делать, куда идти дальше. Я слышала только фрагмент из этой пьесы в исполнении автора, но и он произвел сильное впечатление.

Остается добавить, что и мы с Аланом отдали дань увлечению театром — перевели с испанского и переработали пьесу «Фуенте Овехуна», которая пойдет на сцене под названием «Все граждане — солдаты». Но главными для меня,— заканчивает Рут Файнлайт,— остаются стихи. Надеюсь, что, возвратясь в Англию, я найду рецензии на мою новую книгу.

— А для меня главное — новый роман о Фрэнке Доули. Он завершает трилогию, и в нем,— смеясь, признается А. Силлитоу,— мне надо сказать очень много, чтобы спасти свою репутацию!

Е. ПОМЕРАНЦЕВА

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

«ЖИЗНИ ЧУДОТВОРНЫЙ ТОК»

Шальное лето. Молодые писатели Румынии. Стихи, проза. Перевод с румынского. Составитель Д. Шполянская. Москва, «Молодая гвардия», 1968. 192 стр.

Еду — да нет, не еду: лечу по прекрасной шоссейной дороге, одной из тех, что построены в Румынии уже в послевоенные годы, и везет меня веселый шофер Георгицэ, который, видимо, слишком буквально понял знаменитые слова: «И какой же русский не любит быстрой езды!»

А русский только мысленно охает, считая явно неминуемым столкновение с несущейся навстречу машиной... Однако все обходится благополучно, и Георгицэ мчится дальше, с благодушным шоферским высокомерием усмехаясь при виде медлительных повозок — каруц.

Он рассказывает мне, что в одной из известнейших областей страны — Олтении — крестьяне привязывают к каруцам собак.

— А русские их в ракеты сажают! — восклицает Георгицэ, и в этой параллели — и беззлобное подтрунивание над олтенцами, часто служащими мишенью во всяких притчах и анекдотах, и шоферское упоение скоростью, и доброе уважение к успеху другого народа. Вероятно, Георгицэ считает, что в соответствии с советскими достижениями в космосе нас и на земле следует возить на ракетных скоростях. Так мы и едем.

А мимо несется жизнь иного народа, не сразу и не во всем понятная, но такая притягательная в своей новизне и оригинальности. Идут навстречу женщины с корзинами помидоров и слив, как символ изобилия. Как дружески протянутые руки, касаются стекол окна ветви придорожных деревьев.

Это прекрасное, стремительное и, увы, слишком короткое путешествие припомнилось мне, когда я читал сборник стихов и прозы молодых румынских писателей «Шальное лето». Как будто опять передо мной прошла красочная панорама целой страны — вся в цветах, усеявших каждый бухарестский дворик, каждый деревенский садик, и в пестрых лентах рек, и в шуршащем наряде листвы.

Но не думайте, что перед нами нечто вроде нарядного рекламного проспекта, где скрадывается то, что было или есть в жизни трудного и горького.

Скорбной заставкой к сборнику служит стихотворение Иона Александру «Конец войны» — о подарках, пришедшихся на долю многих румынских семей:

— Сначала тебе, Ион,— сказала война
отцу, сидя за столом,—
За то, что служил мне верой и правдой,
Вручаю тебе деревянную ногу.
. . . . . .

— Тебе, Мария,—сказала война матери.—
За то, что коней моих ты поила своими слезами
И оставила двух сыновей на поле битвы.
. . . . . .

Вот дарю тебе эту прядь седых волос,
Чтоб виски украшала.
И эту прядь бессонницы,
И этот дом, опустевший, без кровли.
— Тебе, Георге, сыну Петра с Верховины
За два карих глаза, что имел ты когда-то,
Я даю во владение все нивы мрака.

(Перевод А. Костина)

С таким военным наследством стране была бы уготована тяжкая участь, если бы не те перемены, которые произошли в Румынии, если бы не установление народной власти.

Ведь и до войны труженики здесь не могли похвастаться достатком, несмотря на все свои усилия. В музее села в Бухаресте, куда свезены образчики деревенских домов и всяких хозяйственных строений, есть полуземлянка из Олтении. Бревна, держащие ее свод и выведенные наружу, обто

саны так, что отдаленно напоминают напряженно вытянутые лошадиные головы и шеи. Как будто хозяин-строитель с горьким юмором хотел сказать о том, что и дом его, и вся его жизнь, как перегруженная повозка, застряли в этой яме и никак не выберутся наверх, к солнцу и радости.

Образы таких вечных бедолаг, бьющихся в путах нищеты, встают и на страницах сборника «Шальное лето». Вот бабушка маленького Нела, героя цикла рассказов Джордже Бэлэйцэ «Одним духом добежать до ворот», «Муравей на подметке» и «Весть наша насущная». Ее жизнь соткана «из ветхих дней с выцветшими краями, смешавшихся друг с другом, словно клубы пара, словно тени, словно призрачные кольца тумана». Когда-то она работала у матери богатея Нану Мыцу, у которого теперь начинает батрачить и ее малолетний внук. Когда Нел разговаривает с пришедшей его навестить бабушкой, ему и невдомек, что он словно смотрит в лицо своему собственному будущему, каким оно было бы, если бы все осталось по-старому. Или, что еще ужаснее, ему предстояло бы так же страшно, разительно измениться внутренне, ожесточиться и очерстветь, как это случилось с Меденой, чья эволюция так потрясла маленького героя рассказа Василе Ребряну «Яблоко».

Судьба шофера и боксера Пэсэрикэ («Одно очко» Думитру Раду Попеску) поначалу складывается как современный вариант участи Медены. Залетев в позолоченную клетку собственнического быта, став мужем хозяйки лавки Зорицы, Илие (таково настоящее имя героя) бросает и работу, и спорт и только сыто посмеивается в ответ на укоры вчерашнего напарника.

Пэсэрикэ, как его прозвала жена,— значит птичка. Увяз коготок — всей птичке пропасть? Но «птичка» не пропадает. Д. Р. Попеску находит неожиданный и оригинальный поворот сюжета; друзьям Пэсэрикэ удается уломать его выйти на ринг, чтобы выручить товарищей, среди которых нет другого боксера такой весовой категории. Пэсэрикэ рассчитывал на то, что бой быстро прекратится, и злится на тренера, который медлит выбрасывать полотенце на ринг в знак сдачи своего подопечного. Но, оправившись после полученного нокаута, Пэсэрикэ понимает, что и тренер, и подбадривавшие его зрители действительно верили в него, в его победу... Взволнованный, потрясенный, в глубине души устыдившийся своей предыдущей «птичьей» жизни, герой покидает дом Зорицы.

Для этого рассказа, как и для большинства произведений сборника, характерно стремление запечатлеть происшедшие в жизни страны перемены в их глубоко опосредованных, органически и порой внешне незаметно, неброско «принявшихся» в народной жизни проявлениях. Николае Веля пытливо наблюдает, как меняется душевный строй сельской учительницы Дженовевы Панцуреску, как расстается она с пугливой привычкой «не отдаваться полностью никаким радостям» («Радость»).

Никита Стэнеску делится обостренным и вдохновенным жизнелюбием, переполняющим его существо:

Я верю, что крылат,
но крыл не видно. Крылат я для полета.
Все для того,
чтоб сущее могло
лететь в грядущее.
Протягиваю руку, на которой
не пятерня, а вся пятерка рук,
и на которой тоже вместо пальцев
пять рук, а на пятерке рук опять пять
рук,
так — вместо пальцев — руки...

Все для того, чтобы схватить
подробности, чтобы ощупать
все нерожденные пейзажи...

(«Элегия седьмая». Перевод В. Корнилова)

Стихам Аны Бландианы свойствен пылкий нравственный максимализм; в своеобразной, иронической тональности, сквозь которую проступает искренняя взволнованность, размышляет об окружающем художника требовательном мире Марин Сореску:

У дома, где живу я собственном обществе,
Я увидел большое сборище.
Там собралось все человечество,
Пытаясь пробраться в мои стихи.
Я еле сдержал людское скопище,
Бегал, вспотел, выстроил очередь
И, наконец, роздал номерки.

(«Сон». Перевод В. Корнилова)

В другом стихотворении («Гора») он уподобляет себя мостовой, по которой едут и идут автомобили, танки и «самые простые ноги»:

И хоть переношу с немалым,
Вполне достойным стоицизмом
Свою гранитную судьбину,
Но иногда и заору:

«Зачем вы топчете всю душу,
Что, варвары, вам не хватает
Проезжей части?»

(Перевод В. Корнилова)

Знаменитый румынский поэт Тудор Аргези сказал однажды:

Когда бы ворожить я мог —
Я б жизни чудотворный ток,
Тончайший, режущий и колкий,
Продел бы сквозь ушко иголки
Чтоб он коснулся вдруг
Тебя, читатель, друг.

Этим «чудотворным током» проникнуты и лучшие произведения, вошедшие в сборник «Шальное лето».

А. ТУРКОВ

СЛОЖНОСТЬ ЛИЧНЫХ ПУТЕЙ

Николае Бребан. Франциска. Роман. Перевод с румынского и предисловие Ю. Кожевникова. Москва, «Прогресс», 1969. 350 стр.

Николае Бребан за короткий срок уверенно вошел в современную румынскую литературу: с 1965 года он выпустил подряд три романа — «Франциска», «В ожидании хозяев» и «Больные животные».

«Франциска» вышла в русском переводе. Это произведение сразу утвердило имя Н. Бребана как вполне сложившегося мастера большой разноплановой прозы.

С первого взгляда может показаться, что писатель в «Франциске» строит прямолинейную схему, выделяя и подчеркивая социальные черты персонажей. Уже в начале герои четко заявляют о своей классовой принадлежности: партработник Килиан гордится тем, что он плоть от плоти рабочего класса, фельдшерица Франциска вновь и вновь переживает драму своей мелкобуржуазной семьи, но у нее есть основания для гордости — она порвала с ней. Крестьянин Ион Купша становится рабочим...

Но на самом деле в романе нет схемы. Перед нами емкое и глубоко жизненное художественное произведение.

Вот история крушения семьи Мэнеску. Семья считалась вполне благополучной, ибо основывалась на верном и сбалансированном расчете. Драма назревает медленно, подспудно, но, когда она разворачивается во всей своей сокрушительной силе, становится ясно, что катастрофа этой отдельной семьи не случайна, а предопределена, с одной стороны, законами наживы и предпринимательства, с другой — победой нового уклада страны, повернувшей к социализму.

Сначала на сцене семьи Мэнеску появляется викарий Петрашку — как друг дома. Это предгрозье. Мать Франциски и Петрашку полюбили друг друга, но не дают воли чувствам — у них не поднимается рука посягнуть на мелкобуржуазную добропорядочность, царящую в провинциальном городе.

Толчок приходит со стороны. Летом 1944 года, когда уже трещал режим Антонеску, в провинцию хлынул поток столичных беженцев. В семье Мэнеску останавливается видный чин некоего бухарестского министерства — Пенеску. Блестящий представитель высшего света, самоуверенный и холодный циник, он затевает игру, в результате которой толкает мать Франциски в объятия Петрашку. Следующий вал политических событий уносит этого столичного «демона». Влекомые сильной и необычной любовью, мать Франциски и Петрашку сошлись. Решив компромиссно сохранить обе семьи, они нашли приют для своей любви на мельнице, которую совместно купили.

Некоторое время город молчит, как бы догадываясь, что незачем спешить с «осуждением», что сама судьба любовников таит в себе возмездие.

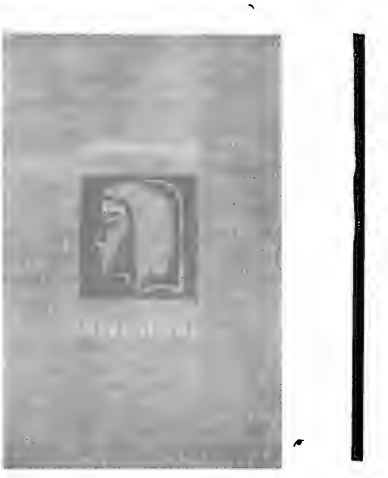
Так и случилось. Мельница притягивает к себе компаньонов, мельница требует расширения, усовершенствования. Любовники, поместившие капитал своих семейств в это предприятие, начинают вдруг сопротивляться дальнейшему процветанию мельницы — оно грозит нарушить их уединение. Но в конце концов они вынуждены уступить, подчиниться предпринимательской логике — мельницу наводняют компаньоны, подсобные рабочие, и чем больше растет прибыль предприятия, тем бледней и стесненней становится их любовь.

Отец Франциски, ранее вялый и безучастный, теперь находит применение своим тайным силам. По мере того как его энергичная жена, тускнея, все дальше и дальше отходит от предприятия, Корнель Мэнеску преображается, в нем пробуждается искусный и трезвый делец — он становится главой модернизированной мельницы, успешно обходит рифы послевоенных ограничительных законов, оттесняет и устраняет конкурентов. Звезда Корнеля Мэнеску восходит — запоздало, но ярко. На закате частнособственнического уклада старой Румынии судорожным последним светом вспыхивает его талант капиталиста-хищника. Национализация обрывает его стремительное восхождение. Пьяный, в зверином разгуле потерявший человеческий облик, он погибает в автомобильной катастрофе. Незадолго до этого Франциска порвала с семьей и уехала в другой город на медицинские курсы.

Все линии, которые связаны с этим сюжетным узлом, разработаны убедительно, детально, с глубокой психологической мотивированностью, пластично и выпукло. Франциска рассказывает все это Килиану с волнением, с пристрастным, но точным анализом.

Однако отношения коммуниста Килиана и Франциски обозначены пунктирно. Хотя Килиан неоднократно описывается (приземистый, угловатый, весь — воплощение недюжинной силы и упорства, сосредоточенный, целеустремленный, сдержанный, обладающий медлительным, но цепким умом), он все-таки лишен внутреннего психологического раскрытия. Его привязанность к Франциске носит какой-то половинчатый характер, то ли слишком рациональный, то ли бесстрастный.

Можно отнестись к некоторой рассудочности Килиана как к недостатку его однобоко-цельной натуры, сформировавшейся в условиях борьбы, крутого перелома в судьбах страны, когда коммунисты, недавние подпольщики, еще сохранили в себе отголоски сурового самоотвержения. Можно



истолковать выжидательность Килиана и как преимущество его характера, предельно чистого, честного и требовательного: он не может согласиться на любовь, пока она не созрела, не захватила полностью, не превратила взаимное влечение в неразрывное единство товарищей по борьбе...

Но писатель предпочел окутать мотивы поведения Килиана и Франчиски какой-то смутной, томительной и загадочной недоговоренностью — если поначалу это довольно эффектно, то в конце приводит к разочарованию: непонятно, почему вдруг Килиан произносит речь перед Франчиской, доказывая, что им надо на время расстаться, а не жениться (это происходит в тот момент, когда сама Франчиска порывисто предлагает — жениться!).

Создается впечатление, что линия Франчиска — Килиан, хотя и не лишена интереса, все-таки выполняет служебную роль — «двигает» другие линии романа.

Так, например, Килиан случайно становится свидетелем травмы, которую получает разнорабочий Купша во дворе завода. Франчиска делает Иону перевязку. Заинтересовавшись психологией Иона, Килиан вмешивается в его судьбу. Что поразило Килиана? Контраст. С одной стороны — социалистическое предприятие, завод новой Румынии, с другой — темный, недоверчивый крестьянин, пришедший в город на заработки,— он относится к начальникам как к господам, ставит себя в зависимое, рабское положение... Килиан участливо и сердито пытается пробудить в Ионе рабочего человека, хозяина своей судьбы.

Ион становится сварщиком. Но это только внешняя перемена, Ион еще долго остается прежним. Сначала он воспринимает Килиана как большого начальника, который все может и которому просто захотелось позабавиться. Ион постоянно ждет, что завтра придет конец забаве и его со смехом выгонят — опять на заводской двор, в грузчики. Ибо какой смысл, какая выгода Килиану всерьез заботиться о нем? Когда же Купша убеждается, что «разоблачения» не будет, он приходит к мысли, что Килиан — глуп. Ведь только глупый человек может совершать непонятные поступки решительно без всякой пользы для себя. И Купша решает всячески пользоваться «глупостью» Килиана.

Наконец, когда Купша осознает свою силу, догадывается, что он — равный, такой же, как все, он хмелеет от этого пробуждения, хочет скорее выбиться в люди, больше зарабатывать. С удивительным упорством добивается он специальности токаря — она выгодней...

Перед нами сложный процесс. Хорошо, что Купша вырос, ощутил достоинство рабочего, но вместе с тем он стал обнаженней и резче выгадывать на всем для себя, стал грубей и развязней.

Мы понимаем, что Иону Купше предстоит еще «протрезветь», на собственном опыте постичь законы товарищества, коллективизма, общей пользы.

Эта линия, выписанная очень детально, подробно, безусловно удалась писателю. Вот пример, когда «производственная» тема благодаря широкому исследованию, безбоязненному психологическому анализу приводит к художественной удаче.

Единственный упрек, который можно тут сделать,— перегруженность фона. Писатель слишком дотошно описывает завод, его цеха и рабочие процессы. Хотя автор описывает все это зримо, со знанием дела, явно чувствуется, что нет никакой художественной необходимости затормаживать действие добросовестным репортажем о производстве.

Однако в других случаях повторы и подробности играют определенную роль; незачем призывать Николае Бребана к лаконизму, который ему не свойствен. Его стиль — развернутое психологическое и образное истолкование малейших душевных движений. Писатель возвращается неоднократно к одним и тем же моментам, но это не круги, а спираль. Он нагнетает впечатление, как бы пристреливается к мишени, заставляя читателя быть соучастником этой пристрелки и наконец попадания в цель: как бы ни складывались личные судьбы на пути к социализму, все они подтверждают, что его приход неизбежен.

КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ОБЯЗАН ЛЮДЯМ

Demostene Botez. Aproape de pămînt. Bucureşti, Editura pentru literatură, 1968.

«Я был человеком действительности». Эти слова, произнесенные одним из старейших румынских поэтов, Демостене Ботезом, в прошлом году в день его семидесятилетия, точно и кратко определяют его неизменную позицию поэта и человека. Сын крестьянина, Ботез говорил: «Меня сформировала работа в поле... Она дала мне уравновешенность и серьезность. Она связала мое мироощущение с непреходящей в своем трудолюбии действительностью. Она дала мне воспитание, которое руководило мною всю жизнь». «Я показал поэзию в сущем, в жизни, в людях... Согласно своим наклонностям я был за то, чтобы поставить искусство на службу человеческому взаимопониманию, широкому гуманизму, видя в этом одну из важнейших и благороднейших целей искусства».

И в последнем сборнике стихов «Возле земли» Демостене Ботез обнаруживает органическую связь с современной действи-

тельностью. В его стихах дышат мысли и чувства, созвучные мироощущению людского большинства на земном шаре. Для поэта родство всего трудового люда, всех стремящихся к достойному человека существованию, всех угнетенных и борющихся за освобождение, всех завоевавших свободу и работающих во имя сохранения ее — вовсе не абстрактная идея, а выношенное за долгую жизнь единственное ощущение мира и себя в этом мире. В стихотворении «Всеобщее» он говорит о духовном родстве с совершенно неведомым ему человеком, который где-то живет, трудится, страдает, борется, любит:

Сижу с тобою в камере тюрьмы,
С тобой в больнице вместе мы страдаем,
Мы рядом в бурю средь ревущей тьмы,
Железо вместе в копях добываем.*

И это не отдельно взятый человек, а все человечество, без которого не мыслит себя поэт:

Я людям, их любви огромной
Своей поэзией обязан,
Как свет звезды, пусть самой скромной,
Со всей Галактикою связан.
(«Долг»)

Чувство родства с трудовым человечеством, острое ощущение времени позволяют поэту мыслить масштабно, широко, сливая воедино лирическое и гражданское начала. В стихах Д. Ботеза неотделимы размышления о личной судьбе и судьбах века.

XX век в стихах Д. Ботеза — это век неограниченных возможностей, невиданного творческого подъема, и вместе с тем это век реальной и чудовищной опасности, какая еще никогда не угрожала человечеству:

Время для задуманного нами
Мчится слишком быстрыми годами.
Для полета творчества и мысли
Слишком низко небеса нависли.
Чтоб насытить нашу жажду светом,
Слишком тускло полнолунье летом.
От границ, что взор наш достигает,
Слишком мало звезд нас отделяет,
Для красот, что мы рукою смелой
Создаем, нам мало жизни целой.
Для любви, которой мы полны,
Слишком много злобы и войны.
(«Взлет»)

В стихах Ботеза звучит проклятие войне минувшей, но еще не забытой. Опасность новой войны подобна непрерывному звону колоколов, который доносится и днем и ночью неведомо откуда — то ли с неба, то ли из глубин океана («Атомная одержимость»). Поэта преследует шепот раненых: «Пить... пить... пить...» («Из военных речитативов»). Поэт ненавидит войну, потому что она, убив единственного сына («Боль»), все еще грозит каждому новорожденному:

Дитя родилось. Одинокий крик
Раздался в мире жалобно и звонко —
Ведь атомная бомба в тот же миг
Уже была готова для ребенка.
(«XX век»)

Смерть насильственная, смерть-убийство, ее ненавидит поэт. Смерть естественная, которой завершается каждый жизненный цикл, смерть, о которой в его возрасте уже не может не думать поэт, заставляет еще острее размышлять о смысле жизни, о необходимости интенсивного творчества. Напрасно утекающее время воспринимается как всеобщая, мировая потеря:

О, день без всякого значения,
Зачем пришел и минул он?
Он нуль в гигантском уравнении,
Где результат не предрешен.

Каким усилием немыслимым
Для солнечной системы тот
Достался день, совсем бессмысленный,
И бесполезный оборот.
(«Бесполезность»)

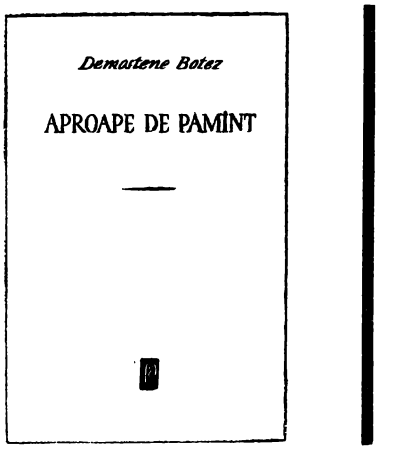
Поэтому в стихах Ботеза по-граждански мужественно звучит мотив личной ответственности перед жизнью, перед обществом:

Мой мир становится все уже, все тесней,
А окружающий все движет вширь
границы...
Исчезнет первый с жизнью моей,
А мир другой — кто измерять решится?

Пытаясь оба охватить умом,
Страшусь и мучаюсь я мыслью лишь
одною,
Что посреди галактик в мире том
Исчезну я, блеснув росы слезою.
(«Момент»)

Мотивы увядания, расставания с жизнью в стихах поэта («Проходит время», «Осенний полдень», «Все устало», «Долговечность») столь светлы и по-человечески оптимистичны, что невольно вспоминаешь пушкинские слова: «Тебе я место уступаю...» Оптимизм поэта зиждется на остром восприятии прекрасного в жизни и в искусстве («Музыка», «В кинотеатре», «Нашли шахтеры...»), на четком сознании того, что в мире есть непреходящие, вечные ценности, есть непоколебимые идеалы и их земное, реальное воплощение.

Д. Ботез воспевает высшую мудрость нашего века — идеи Ленина. Весьма характерно, что, рисуя «Московский пейзаж», поэт выбирает именно Красную площадь, где рядом с древней Кремлевской стеной воздвигнут мавзолей В. И. Ленина. Для поэта



* Здесь и далее перевод стихов автора рецензии.

именно здесь средоточие всего, что является символом столицы первого в мире государства рабочих и крестьян, отсюда идет свет ленинских идей:

Здесь прошли мильоны и мильоны,
Сомкнутые в тесные колонны.
Сколько лет они идут, идут,
К мавзолею Ленина текут!
И над мрамором его блестящим
Света неизменный ореол,
То ль ниспослан солнцем он слепящим,
То ль от мавзолея изошел.
Этот свет бессмертный и живой,
Люди, восприняв, несут с собой.

(«Московский пейзаж»)

Философия и лирика сливаются воедино в стихах Демостене Ботеза. Это философия и лирика XX века, века трудного и светлого, прокладывающего дорогу к коммунизму.

Ю. КОЖЕВНИКОВ

ЗА ПРАВДОЙ НА БЕЛОМ КОНЕ

Sânziana Pop. Serenadă la trompetă. Bucureşti, Editura pentru literatură, 1969.

Сынзиана Поп пришла в литературу недавно. В 1966 году молодежное издательство в коллекции «Лучафэрул» (здесь издают произведения, которые были опубликованы в газете «Лучафэрул») выпустило ее первый небольшой сборник рассказов «Тебя никогда не покинут». Румынская критика отметила его появление не просто как обычный дебют, один из многих, а как рождение новой писательской индивидуальности. Проза Сынзианы Поп привлекла читателей свежестью взгляда, искренностью интонации, неудержимой фантазией.

«Серенада на трубе» — ее вторая книга, произведение более цельное и зрелое и в то же время сохранившее все обаяние непосредственности дебюта.

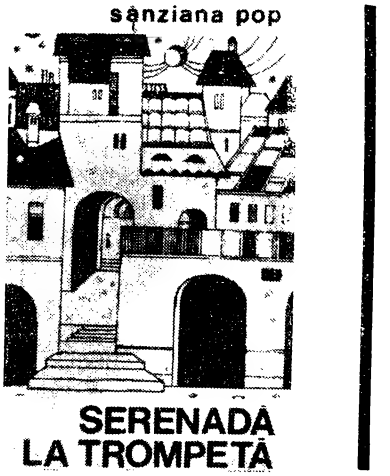
Сюжета в обычном понимании этого слова в «Серенаде на трубе» нет, или, вернее, он слишком прихотлив, слишком неожиданны его повороты, чтобы можно было уложить его в привычные рамки.

Книга состоит из двух частей, последовательно описывающих два дня из жизни ее героини — пятнадцатилетней школьницы. Действие происходит незадолго до освобождения Румынии в одном из провинциальных городов, основную часть населения которого составляют немцы.

Насильно увезенная от матери, которую филистерская мораль нарекла сумасшедшей только за то, что она отказалась от наследства и вышла замуж за бедного человека — отца героини, девочка живет в доме дяди-опекуна. Дом этот, где все построено на лжи и хитрости, на пресловутом здравом смысле, представляется героине каменной темницей. Там пахнет плесенью и мышами, туда не заглядывает солнце, и, чтобы увидеть кусочек неба, надо забраться на красную черепичную крышу. Так и поступает героиня — и мгновенно ощущает, как у нее выросли крылья. Один взмах — и она парит над каменной тюрьмой, видит ее обитателей с высоты птичьего полета, их никчемную, суетливую деятельность, их жалкое тщеславие и копеечные расчеты. И сразу исчезает у нее унизительное чувство зависимости. Свобода дает ей силы.

У девочки нет другого способа бросить вызов уравновешенности и трезвости, мещанскому благополучию и ханжеской морали. Она восстанавливает справедливость «колдовским» способом — в этом ее нравственная сила и трогательная в своей наивности беспомощность. В ней есть отчаянная решимость и гордость, уверенность, что человек всегда должен поступать справедливо и по совести.

«В этом мире надо жить только по велению сердца, так, как считаешь правильным. Никто не может заставить тебя быть чем-то иным, чем ты есть на самом деле. Только для этого нужно мужество»,— рассуждает героиня. И свой второй день — день освобождения, который начинается ее уходом из дома, она пытается прожить так, «как считает правильным». Перед возвращением в горы, к матери, она восстанавливает попранную справедливость: на белом коне врывается в дом-тюрьму, и конь рубиновой подковой убивает хозяина дома — жестокого и сластолюбивого старика, в котором сосредоточились для героини все пороки человечества. Она встречает людей, готовых помочь ей, и отдает последнюю честь Манане — своей бабушке, принадлежащей, как и мать, к породе людей смелых и независимых, живущих по «велению сердца». Словом, второй день - это день, когда сбываются мечты героини, когда претворяются в жизнь ее идеалы. Ее бунт против трусости и приспособленчества кончается, как



в сказке, полным триумфом истины и справедливости.

Особенность и обаяние прозы Сынзианы Поп состоит в удивительно естественном сочетании двух прямо противоположных планов повествования — реалистического (с элементами гротеска) и фантастического. Причем переходы одного плана в другой незаметны, граница между ними стерта: только что с беспощадной иронией, красками сатирическими, почти гротесковыми, живописала писательница школьные нравы, классную даму со злой ниточкой губ, угодливую спину первой ученицы, скучную проповедь учительницы — и вот уже, увлекаемый буйной фантазией автора, читатель отправляется в полет над городом, скачет на коне, творит справедливый суд. Верность жизненной правде в реалистических эпизодах оборачивается у С. Поп верностью духу сказки в эпизодах фантастических.

Героиня книги — современная Золушка, что сама освобождает себя из плена насилия и косного мещанства, существо мечтательное и ироничное, возвышенное и земное одновременно. Незаметной деталью автор умеет разрушить сказку, заземлить характер героини, придать ей черты вполне современной девочки, независимой и своенравной, относящейся ко всему на свете, в том числе и к самой себе, с известной долей скепсиса и иронии, как истинное дитя XX века.

Сказка, легенда — это оболочка, в которую замкнуты живые люди, характеры, схваченные острым взглядом современного художника. Стоит только принять эту условность — как перестаешь ее замечать. Многоплановая композиция, частая смена изобразительных ракурсов, напряженность сюжета создают стилевое многообразие книги, составляют ее особенность.

«Серенада на трубе» Сынзианы Поп, писательницы ироничной и лиричной, безудержной фантазерки и трезвого реалиста, утверждает обреченность всего, что враждебно человеческому счастью.

Е. АЗЕРНИКОВА

ПОИСКИ НОВЫХ ФОРМ

Г. Мишев. Матриархат. София. «Народна младеж», 1967.
Г. Марков. Жените на Варшава. София. «Народна младеж», 1968.

Способность общества к развитию проверяется умением и желанием трезво видеть свои сильные и слабые стороны. Многие произведения болгарской прозы последних лет отмечены печатью спокойной и уверенной реалистичности.

Это прежде всего коснулось способа изображения народной жизни. В болгарской критике отмечалось, что если в недавнем прошлом, например, жизнь села рассматривалась порой односторонне — сложные человеческие судьбы и отношения подменялись «кулацкой и вредительской тематикой, определявшей композицию весьма однообразных — черно-белых тонов» («Пламк», № 19, 1968), то в таких произведениях, как «Матриархат» Георгия Мишева или «Корни» Васила Попова болгарское село предстает перед нами иначе, многостороннее и точнее одновременно. Ведь современное село, по словам болгарского критика — «более сложный социально-экономический комплекс, нежели полупатриархальное село, которое было известно Влайкову, а позднее Йовкову и Елину Пелину». Новое село далеко ушло от традиционного своего облика в классической прозе.

А между тем как богата, полнокровна и интересна подлинная жизнь современного болгарского села! Когда едешь по дорогам страны, кажется, что село только начало строиться: красивые двухэтажные особняки красного кирпича, запах известки, горы песка, широкие оконные проемы, фундаменты и котлованы... На сотни километров раскинулись шпалеры виноградников, сады сменяются посевами хлебов, табак вытесняют ароматические травы — лаванда, шалфей... Красная черепица крыш, янтарь спелых кукурузных початков, красные гирлянды перца на стенах, скот на покатых холмах, густо-синее небо, зеленые сосны, взбегающие на древние горы,— и всюду люди, работающие на благословенной земле.

Войдем в село, поближе рассмотрим его людей, их характеры и нравы, проникнемся их заботами, надеждами, всмотримся в их жесты, повадки, послушаем их речь...

Все это вы сможете увидеть и услышать, прочитав «Матриархат», талантливую повесть Г. Мишева, в которой сцены народной жизни чередуются безо всякой насильственности.

Болгарская повесть и новелла сегодня расширили рамки привычной сюжетности, «Матриархат» — это монтаж сцен, начатый и законченный как бы случайно. Перед нами проходят несколько женских судеб, поистине жертвенных и скромно-героических, женщины, на плечах своих держащие деревню! Матриархат — вынужденный: мужчины предпочитают ездить в город на работу. Селянки — люди разные: веселые и бесшабашные, строгие и аскетичные, добрые или злые, но одинаково честные в труде — главном деле своей жизни. Об их нелегкой судьбе рассказано просто, достоверно, реалистически. Поэзия труда целомудренна и некриклива.

Жизненной правде соответствует и точная палитра описаний, тот «микрокосм» деталей и реалий, из которых и складывается доверительность интонаций автора, встречное доверие читательского внимания.

Писатель начинается с ощущения, с умения передать в слове свою чувственную реакцию на звуки, запахи, краски мира. Это не так мало, как иной раз кажется. Читатель открывает такому писателю кредит доверия, готов прислушаться более внимательно и к мыслям его, а значит, вслед за внешней, чувственной стороной повествования сможет уловить и пульс сокровенной духовной жизни. Сам внешний, окружаю-

щий мир кажется нам интересней, он заслуживает какого-то особого, доселе невыявленного нами, внимания к себе. Этот мир предстает перед нами не как конгломерат случайностей, не как поток будней, он имеет свой, сокровенный смысл, стоящий нашего интереса и пытливого ожидания перемен.

Но вернемся к мастерству Г. Мишева. «Она постучала камешком, провода загудели громче. Жела приникла ухом к столбу и стала слушать. Она почувствовала слабый, терпковатый запах оструганного дуба».

«Женщины окучивали кусты, двигаясь между рядами колышков, которые казались каким-то призрачным, высохшим лесом без веток и корней... Женщины работали босиком, и, когда стебли прикасались к их голым икрам, на коже оставались пятна желтого сока».

«Жена косила люцерну. Он увидел ее высокую худую фигуру, она склонялась и взмахивала косой, стальное лезвие которой со змеиным шипением пробивалось сквозь густую стену люцерны. Щшик-хруп, щшик-хруп — долетали до него отрывистые звуки».

«Ганка... выключила телевизор. Экран мигнул, и его свет, сворачиваясь в одну точку, спрятался внутрь, как улитка в свой домик. А потом исчезла и точечка, осталось лишь зеленоватое, холодное стекло».

Я привел несколько примеров того, как Г. Мишев умеет пластически выразить свои наблюдения. Ему одинаково удаются и картины природы, и описания быта, и пластика человеческого тела, трудовых движений, и соответствие жеста душевному состоянию. Но, как уже было сказано, живопись словом — не самоцель.

Большая заслуга писателя в том, что в «Матриархате» очень тактично и ненавязчиво проведена мысль о самобытности нравственной позиции трудового человека. Г. Мишеву близки те выводы о жизни, морали, культуре, которые являются результатом положительного народного опыта. В этом смысле повесть молодого писателя удачно входит в круг современной проблематики социалистического искусства.

Оригинально построена и новелла «Варшавянки» Г. Маркова. Сначала автор рассказывает о герое, молодом болгарине, который учится на геологическом факультете в Варшаве, потом герой рассказывает старику чабану о своих любовных приключениях. Каждая история как самостоятельная новелла. Но самое интересное не в этом.

Автор предоставляет читателю самому додумывать многое, поминутно оговариваясь, что за подлинность слов такого-то он не может ручаться, что его герой подумал, может быть, и не так, а похоже, что диалог между героем и его любимой, естественно, сочинен самим автором, так как герой его промолчал, и т. д. и т. п. Приключения болгарского Дон Жуана в Польше едва заметно стилизованы под романтические повести прошлых времен; история чабана, забывшего людей, давно отключившегося от общественных связей, говорящего поименно с каждой овцой, история чабана, который, осознав пустоту прожитой напрасно жизни, повесился на ветке единственного в округе дуба,— история эта, согласитесь, настолько эксцентрична и романтизирована, что только в подобной «предположительной» и «неправдашней» рамке и может сойти за реальность.

Но Г. Марков не просто развлекает читателя. В «Варшавянках» через условную — я бы сказал, изощренную — форму просвечивает мысль серьезная: полное «консервирование» в прошлом (история чабана) так же пагубно, как суетливое скольжение по поверхности впечатлений (история молодого болгарина). В труде, нечеловечески трудном, герой находит исцеление от иллюзий и мечтаний, но еще ближе и теплее становятся ему люди. Прошлое и настоящее сходятся, но не спорят в этой новелле.

Внимание к простому человеку, ценность трудовой личности, уважение к его внутреннему миру и признание значительности этого мира отличает многие произведения болгарской прозы. Я мог бы назвать, скажем, новеллу «Осеннее сено» Ст. Ц. Даскалова, где автор не без юмора рассказывает о грустном и вполне житейском случае, когда естественные человеческие влечения искажаются по вине обстоятельств, о которых только недавно стали говорить наши социологи,— мужчин в сегодняшней деревне намного меньше, чем женщин. Новелла «Осеннее сено», как и многие другие произведения, не «решает вопрос», а констатирует факты, предоставляя обществу искать пути решения. Интонация такого рода произведений лишена дидактичности, автор избегает прямолинейного подхода к явлениям жизни.

Неспроста болгарская повесть и новелла последних лет — это незатейливые рассказы об одном дне городского двора и его обитателей («Воскресенье» И. Радичкова), или двух днях бригады копнильщиц сена («Осеннее сено»), или же одно событие, повлекшее за собой раскрытие характера или его слом («Человек, подобный утренней звезде» П. Вежинова, «Жизнь, эта краткая иллюзия...» Д. Фучеджиева или интересная повесть Ив. Петрова «Перед тем как мне родиться»).

Новые формы, активность проявления авторского «я» — закономерное следствие новой проблематики — поисков реальных тем сегодняшней болгарской действительности.

ВЛАДИМИР ОГНЕВ

О МНИМОЙ ОБЪЕКТИВНОСТИ

Kleines Lexikon der Weltliteratur im 20 Jahrhundert. Herausgegeben von Helmut Olles. Freiburg-Basel-Wien, Herder-Bücherei, 1964.

Энциклопедии и справочники пишутся не на один день, и, пожалуй, стоит поговорить о книге, которая выш-

ла не в текущем году, а пять лет назад. «Малый лексикон мировой литературы XX века», опубликованный в ФРГ в серии карманных изданий «Гердер-бюхерай», по сей день имеет хождение в странах немецкого языка, им пользуются учащиеся, литераторы, журналисты. Это нечто большее, чем словарь-справочник. В заметках и статьях о писателях различных народов даются не просто библиографические сведения, доведенные до середины 60-х годов, но и характеристики, а в ряде случаев и оценки творчества каждого писателя, его идейной позиции и художественных особенностей. Среди авторов — известные специалисты из разных стран. Такая книга может сказать многое об уровне и тенденциях современного западного литературоведения.

В каждый экземпляр вложено короткое обращение издательства, где идет речь о задачах серии «Гердер-бюхерай»: «Она стремится помочь ориентироваться в нашей эпохе, притом — с сознанием ответственности, с заботой об актуальности и высоком качестве». Судя по всему, «Малый лексикон мировой литературы XX века» претендует на добротность и научную солидность, он густо насыщен информацией — именами, датами, фактами.

Мы встречаем здесь имена Рабиндраната Тагора, Мигеля Анхеля Астуриаса, Пабло Неруды, Алеко Карпентьера, Николаса Гильена, Леопольда Седара Сенгора, Эме Сезэра — при беглом просмотре может показаться, что составители и вправду захотели представить мировую литературу XX столетия в ее многонациональном богатстве, отойдя от привычного «европоцентризма» буржуазной науки.

Но так может показаться только на первый взгляд. Среди почти пяти сотен имен, включенных в «Лексикон», писатели Азии, Африки, Латинской Америки составляют считанные единицы. Никак не представлены литературы Китая, Вьетнама, ряда других стран. О том, как отражена в «Лексиконе» литература советская, пойдет речь впереди — однако сразу стоит сказать, что для авторов книги литература различных национальностей СССР, за пределами русской, совершенно не существует.

Составители даже позаботились о том, чтобы в аннотации, открывающей книгу, попытаться оправдать такой подход к материалу.

«При отборе уделялось внимание тем писателям, творчество которых обладает типизирующей силой и симптоматично для мышления и чувствования, свойственных нашему столетию. Отсюда следует, что имена из европейско-американского пространства поставлены в нашем изложении на передний план». Так «атлантическое» высокомерие мотивируется... складом мышления, свойственным XX веку — веку крушения колониализма, веку стремительного подъема национального самосознания угнетенных рас и наций!

Но даже и внутри «европейского пространства» отбор материала различных национальных литератур отмечен явной предвзятостью. Писателям южного и западного славянства уделен нищенский паек печатных знаков. Из всей литературы Югославии представлены Иво Андрич и Мирослав Крлежа: этим большим и сложным мастерам посвящены довольно краткие характеристики. Из писателей народной Польши выбраны (в совсем короткой заметке-отписке) лишь Ян Парандовский; есть затем два литератора-эмигранта, давно порвавшие с Польшей,— но нет ни Ивашкевича, ни Тувима, ни Броневского, ни Марии Домбровской, не говоря уже о поэтах и прозаиках более молодых поколений. Ни одного словацкого писателя, и всего три чешских. И как обидно-поверхностно, без должного уважения и понимания написана, например, заметка о Карле Чапеке! Отмечено, что он «достиг мировой славы» своими «Рассказами из другого кармана»,— но ничего не сказано о таких вершинах его творчества, как «Мать» и «Война с саламандрами».

Конечно, больший или меньший объем статьи, посвященной тому или другому писателю, не всегда может рассматриваться как оценка его значения — читателей «Лексикона» специально предупредили об этом в редакционном предисловии. И все же есть диспропорции, которые слишком уж явно бросаются в глаза. Достаточно сравнить две статьи, поставленные рядом. Сэмюелу Беккету посвящены целых три страницы, его пьеса «В ожидании Годо» охарактеризована как «недосягаемый образец» современной драматургии абсурда. По-видимому, именно Беккет и подобные ему пророки «абсолютного пессимизма» принадлежат, по мнению авторов «Лексикона», к наиболее характерным выразителям мироощущения XX столетия. Зато Иоганнес Бехер удостоился лишь небольшой заметки. И на каком уровне она написана! Тут автор даже не дает себе труда быть точным в изложении фактов. Как известно, Бехер не только лично участвовал в германском коммунистическом движении со времени «Союза Спартака», но и писал — с этого же времени — пламенные революционные стихи, одним из первых среди писателей Европы приветствовал Октябрьскую революцию. А здесь мы читаем: «С 1924 г. он... подчинился политической пропаганде коммунизма». Обо всем творчестве Бехера после 1924 г. (то есть за период, охватывающий почти 35 лет) сказано всего-навсего следующее: «В эмиграции он действовал главным образом как культурный функционер Москвы. После второй мировой войны Бехер в смысле формы стал носителем якобы народного, условного и упрощенного «классицизма», в то время как содержание его произведений по-прежнему определялось главным образом политикой Коммунистической партии на разных этапах». Антимилитаристский роман Бехера «Люизит», который навлек на него в середине 20-х годов обвинение в государственной измене и вызвал сочувствие к нему со стороны писателей-гуманистов всего мира; его лирика периода эмиграции, высоко ценившаяся Томасом и Генрихом Маннами, восхищавшая Пастернака; наконец многолет-

няя общественная деятельность Бехера в качестве собирателя демократических, антифашистских сил немецкой интеллигенции — обо всем этом умалчивают либо судят свысока.

И дело тут не просто в личной неприязни определенных западногерманских деятелей к поэту, который так много сделал для поддержания чести и достоинства немецкой литературы в годы фашистского позора.

Может показаться невероятным, но это факт: в литературном справочном пособии, претендующем на то, чтобы помочь читателю «ориентироваться в нашей эпохе»,— в пособии, в работе над которым участвовали, наряду с немцами, авторы из других стран,— имеется весьма любопытная тенденция. Антифашистская тема в мировой литературе на всем протяжении «Лексикона» последовательно приглушается или вовсе игнорируется.

Казалось бы, уж если говорить о чертах «мышления и ощущения» людей XX века, отразившихся в литературе,— как можно обойти такую очевидную закономерность эпохи, как рост общественной, гражданской активности литературы, ее прямое вмешательство в большие социальные конфликты? И как можно обойти вклад крупных писателей нашего века — немецких, но и не только немецких — в борьбу народов против фашизма? Оказывается, можно. Оказывается, обходят.

Общеизвестна заслуга Генриха Манна, который с большой силой художественного предвидения обрисовал в романе «Верноподданный» тип немецкого реакционного буржуа, впоследствии, в годы фашизма, раскрывшийся во всей своей преступной сути. В «Лексиконе» о Генрихе Манне сказано так: «Он едко критиковал в трилогии «Верноподданный» (1914—1918), «Бедные» (1917) и «Голова» (1925) общество вильгельмовской эпохи (впоследствии он с такой же нетерпимой остротой осуждал Веймарскую республику, а потом и национал-социализм). Изображение часто гротескное и преувеличенное, тон отличается непримиримостью». Нетерпимая острота — хорошо это или плохо? Антифашистская направленность реализма Генриха Манна вроде бы не отрицается, но неуловимым образом берется под сомнение.

Статью о Томасе Манне для «Лексикона» написал исследователь его творчества Эрих Геллер. В соответствии с концепцией, выраженной в его книге «Томас Манн — иронический немец», он рассматривает весь путь писателя под углом зрения проблем иронии и пародии. О борьбе Т. Манна против фашизма говорится, но — очень своеобразно. «Гнев политического эмигранта находил разрядку (?) в обращениях по радио к немецкому народу». Несколькими строками ниже читаем: «Томас Манн, отрекшийся от своей страны (?), запечатлел свою привязанность к ней в великой книге, непереводимо немецком романе «Доктор Фаустус». Сложная политическая проблематика романа об Адриане Леверкюне, взаимопроникновение глубокой, тоскующей любви художника к своей родине с национальной самокритикой — все это здесь смазано и нарочито затуманено.

Читатель вправе полюбопытствовать: что же сказано в «Лексиконе» об антифашистских романах Л. Фейхтвангера? Ничего, ровно ничего — он вовсе не включен в «Лексикон». Не включен и Бернгард Келлерман, автор всемирно известного «Туннеля», отразивший свою ненависть к фашизму в романе «Пляска смерти». Другой крупный немецкий прозаик, который, подобно Б. Келлерману, оставался в стране в годы гитлеровской диктатуры и мог судить о ней по личным тягостным впечатлениям — Ганс Фаллада,— получает в «Лексиконе» сжатую и довольно невнятную характеристику. О посмертно вышедших произведениях Фаллады говорится: «После 1945 года он снова получил известность благодаря книгам «Каждый умирает в одиночку» (1947) и «Пьяница» (1950), в которых отразились годы их возникновения». Какие именно годы и как именно отразились? Две явно неравноценные книги поставлены рядом — так нейтрализуется обличительная сила, дух борьбы, свойственные талантливому антифашистскому роману Ганса Фаллады.

В подобном же нейтрализующем тоне говорится и о более новых произведениях, в которых критика фашизма — недобитого и поднимающего голову в ФРГ — дана на основе послевоенного опыта. Как известно, в центре романа Вольфганга Кёппена «Смерть в Риме» стоит образ нацистского военного преступника Юдеяна, обрисованного достоверно и беспощадно. Об этом романе сказано так: «Смерть в Риме» (1954) демонстрирует диапазон идейных расхождений в немецком бюргерстве, изображая встречу членов одной семьи обер-бургомистра на фоне шутовски-мрачных событий в жизни Вечного города».

Зато как деликатно, с каким тонким пониманием психологических нюансов говорится в «Лексиконе» о писателях, которые в годы второй мировой войны сотрудничали с фашизмом! Наиболее «объективно» это сделано в статье о Кнуте Гамсуне. «Во время второй мировой войны Гамсун отстаивал дело (?) национал-социалистских немецких оккупантов против норвежских патриотов. Его позиция вызвала в Норвегии недовольство». В пространной и хвалебной статье об американском поэте Эзре Паунде мы читаем: «В 1940 году он по собственной инициативе начал передавать по римскому радио ряд обращений к США, направленных против экономической и финансовой политики правительства Рузвельта. Так как эти передачи происходили во время войны, они были расценены как государственная измена»... Еще более любопытны строки из заметки о Луи Фердинанде Селине: «Постепенно политическая позиция Селина становилась все более антисемитской, прогерманской, антианглийской и антиамериканской. После поражения Франции немецкие окку-

пационные власти отнеслись к нему терпимо. В 1941 году в Париже вышел его памфлет «Прекрасное одеяние», где он продолжал свои политические нападки на Третью республику». Автор забыл добавить, что позиция Селина в это время была не только «антианглийской» и т. д., но и антифранцузской и что памфлет против Третьей республики, опубликованный в условиях оккупации, представлял собой надругательство над поверженной родиной писателя!

Но самое ошеломляющее в этом ряду — финал заметки о французском монархисте Шарле Моррасе. «В 1940 году децентралистская патриотическая позиция правительства Виши дала Моррасу повод для идеологического сотрудничества, за что он в 1945 г. был приговорен к пожизненному заключению». Предатели из Виши в роли «патриотов» — поистине поразительное смещение понятий!

Но это не единственный случай, когда авторы «Лексикона» с готовностью называют черное белым. С подобными казусами мы сталкиваемся и в некоторых заметках, посвященных писателям наших дней. Так, содержание романа Г. Грина «Тихий американец» изложено следующим образом: «Молодой американец, член экономической миссии, движимый идеализмом, вовлекается в гражданскую войну на стороне борцов за свободу (?), что приводит к трагическим последствиям...»

Должна ли нас после всего этого удивлять предвзятость, проявляемая составителями «Лексикона» по отношению к писателям-коммунистам или близким к коммунизму? В «Лексиконе» вовсе не упомянуты такие писатели бесспорно международного значения, как Анри Барбюс, Назым Хикмет, Джон Рид, Юлиус Фучик. В «Лексиконе», по замыслу, декларированному издательством, должны были быть представлены не только поэты, прозаики, драматурги, но и эссеисты: немало внимания уделено там критикам и публицистам экзистенциалистского или религиозного толка, но отсутствует такое прославленное и благородное имя, как Антонио Грамши.

Единственный писатель политических передовых взглядов, которому в «Лексиконе» посвящена подробная статья,— Бертольт Брехт. Однако его творческий путь изложен таким образом, что его отношение к коммунизму предстает в странном двойственном свете. Чего стоят, например, такие строки: «Тот факт, что Брехт между 1948 и 1953 годами проявил готовность к тому, чтобы сочинить несколько стихотворений, прославляющих партию — по-видимому, нарочито неуклюжих,— имеет столь же малое значение, как его работа для Голливуда или написанные в юности рекламные стишки для автомобильной фирмы...» Обстоятельный, казалось бы, анализ творчества Брехта подчинен намерению — отыскать в его произведениях следы внутренней расколотости и даже неискренности. Под оболочкой уважения к новаторскому таланту драматурга-революционера кроется издевательство над его памятью.

Что сказать о немногочисленных заметках, посвященных русской советской литературе? Отбор имен в значительной мере произволен (отсутствуют А. Ахматова, В. Катаев, К. Симонов, Б. Полевой, А. Фадеев, К. Федин, А. Твардовский и многие другие советские прозаики и поэты, пользующиеся широкой международной известностью). Характеристики отдельных писателей составлены по знакомому рецепту — полуправда плюс неправда. Тут можно найти штампы, свойственные работам западногерманских и заокеанских «советологов». М. Шолохова хвалят за то, что он в «Тихом Доне» изобразил своих героев «без политической тенденциозности». О пьесах Маяковского путем прямой подтасовки создается представление, будто они в Советском Союзе по сей день «под запретом». Заметка о Есенине кончается фразой: «Вскоре после его смерти его творчество подверглось официальному осуждению» (!) — о широкой популярности наследия поэта в СССР в наши дни ничего не говорится. В заметке о Леониде Леонове (написанной пресловутым Глебом Струве) содержание романа «Русский лес» охарактеризовано таким образом: «Внешне тут идет речь об истреблении русских лесов, но Леонова интересует прежде всего человек, жизнь в ее многообразии и ее иррациональных связях...» О молодом Горьком сообщается, что «возвеличение отдельной личности связывало его с декадансом конца века»; «Мать» объявляется художественной неудачей, содержание «Дела Артамоновых» сводится к «упадку одной купеческой семьи», о драматургии Горького послереволюционных лет и о романе «Жизнь Клима Самгина» не упоминается вовсе... В пренебрежительно-поверхностной манере, с неприкрытой антипатией написана заметка об И. Эренбурге — видимо, составители «Лексикона» не могут простить ему антифашистской публицистической деятельности в годы Отечественной войны.

Пожалуй, довольно примеров. Мы получили представление о прописных литературоведческих истинах, которые имеют широкое хождение на Западе в общедоступных изданиях, выпускаемых большим тиражом. В «Малом лексиконе мировой литературы XX века» — да только ли в нем? — научная объективность нередко оказывается мнимой.

Т. МОТЫЛЕВА

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРИЯ

СТОЛЕТИЕ ВЕНСКОЙ ОПЕРЫ

Знаменитая Венская опера отмечает свой столетний юбилей. Ее здание было построено и торжественно открыто весной 1869 года. Первой на сцене Венской оперы была поставлена опера Моцарта «Дон Жуан». За минувшее столетие театр видел многих знаменитых композиторов, дирижеров, певцов.

Венская опера быстро завоевала почетное место среди оперных коллективов Европы. Наиболее плодотворным периодом ее истории считается конец XIX века, когда ее руководителем стал композитор и дирижер Густав Малер (1860—1911).

При его участии на сцене Венской оперы были осуществлены постановки классических опер Моцарта, Вебера, Бетховена, Вагнера, Пуччини, Рихарда Штрауса. Велика заслуга Малера также в том, что он познакомил австрийскую публику с оперным творчеством П. И. Чайковского («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта»).

После провозглашения Австрии республикой в 1918 году Венскую оперу возглавил Франц Шальк, а затем — Рихард Штраус. Это был период нового подъема в творческой деятельности Оперы. Он связан с именами таких крупных дирижеров, как К. Краус, В. Фуртвенглер, А. Родзинский, О. Клемперер.

В марте 1945 года здание Венской оперы было разрушено американской авиацией. Прошло десять лет, прежде чем жители Вены вновь смогли прийти в свой любимый театр. В возрожденной Опере, как и в день открытия театра в 1869 году, давали «Дон Жуана» Моцарта.

На протяжении последнего десятилетия на сцене Венской оперы выступали многие выдающиеся мастера вокального искусства Австрии и других стран. Музыкальная деятельность Герберта фон Караяна, который работал в опере в 1959—1964 гг., значительно обогатила ее репертуар. В 1965 г. была осуществлена постановка оперы «Катерина Измайлова» Дмитрия Шостаковича, которая по сей день не сходит с венской оперной сцены.

Ныне Венская государственная опера — один из ведущих музыкальных коллективов мира.

АНГЛИЯ

ЮБИЛЕЙ МОРЯКА ИЗ ЙОРКА

Одному из самых популярных литературных героев — Робинзону Крузо «исполнилось» двести пятьдесят лет. Эту дату отметили многие газеты и журналы Англии. В газете «Таймс», например, была напечатана статья Брайана Олдерсона, в которой приведено немало интересных историко-литературных фактов.

Весной 1719 года, пишет автор статьи, издатель Уильям Тейлор официально зарегистрировал свои права на книгу о жизни и необыкновенных приключениях моряка из Йорка Робинзона Крузо. Автором ее был Даниель Дефо.

Успех книги был стремительным: за четыре месяца книга переиздавалась четыре раза. Тогда же был написан второй том «Робинзона Крузо».

Почти невозможно, пишет далее Олдерсон, точно подсчитать количество изданий и адаптаций «Робинзона Крузо». В издательском справочнике «Букс ин принт» за 1968 год сообщается, что сейчас в библиотеках Англии можно найти не менее тридцати пяти изданий этой самой популярной книги Дефо. В справочнике ЮНЕСКО «Индекс переводов» было указано, что в среднем ежегодно в различных странах выходит около двадцати новых изданий «Робинзона Крузо».

В конце прошлого века немецкий ученый Ульбрих попытался подсчитать,

сколько было изданий первого романа Дефо, а также каковы масштабы изданий так называемой «Робинзонады» — бесчисленных подражаний Дефо, адаптаций и т. д. По подсчетам Ульбриха, к 1898 году на английском языке вышло 196 изданий «Робинзона Крузо», 110 изданий было выпущено на 23 иностранных языках, существовало не менее 114 адаптаций на различных языках и 277 литературных подражаний.

К этим цифрам, продолжает автор статьи, следует добавить, что ныне «Робинзон Крузо» опубликован уже по меньшей мере на сорока языках.

«Интерес читателей к «Робинзону Крузо»,— пишет в заключение Олдерсон,— наверняка не уменьшится и в последующие двести пятьдесят лет!»

БАЙРОН — В «УГОЛКЕ ПОЭТОВ»

Недавно, по сообщениям английской печати, в так называемом «Уголке поэтов» Вестминстерского аббатства состоялась церемония открытия мемориального памятника Джону Гордону Байрону. Это произошло в 145 годовщину со дня гибели поэта, отдавшего жизнь за свободу Греции. Как уже писала «Иностранная литература» (см. № 8, 1968), официальному признанию Байрона предшествовала многолетняя борьба прогрессивной английской общественности против клерикалов, предавших поэта анафеме.

БОЛГАРИЯ

ГОД КИРИЛЛА

Болгарская и мировая общественность отмечает в этом году 1100-летие со дня смерти выдающегося философа-гуманиста, создателя болгарской и славянской письменности Кирилла (827—869). Всемирный Совет Мира внес эту дату в список великих культурных годовщин 1969 года.

По решению ЮНЕСКО во многих странах состоялись собрания, научные сессии и конференции, посвященные памяти Кирилла. Одним из крупнейших научных форумов явился международный симпозиум, организованный в Софии Болгарской академией наук. В его работе приняли участие ученые-слависты, языковеды и историки СССР, Англии, ГДР, Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Франции, Швеции.

Открыл симпозиум почетный президент Болгарской академии наук академик Тодор Павлов. Он выразил уверенность в том, что на симпозиуме «найдет объективное выражение актуальная необходимость нашего времени искать и подчеркивать то, что является общим для всех славянских и неславянских народов, то, что их объединяет и сплачивает в единую силу».

Активно участвовали в работе симпозиума советские ученые. Член-корреспондент Украинской академии наук профессор Е. Кирилюк рассказал о том, как отразилась деятельность Кирилла и Мефодия на культурном развитии Украины. Известный советский византолог профессор А. Каждан проанализировал социальные и политические взгляды Фотия — учителя Кирилла по философии. Доцент Л. Жуковская сделала сообщение о текстологических исследованиях литературного наследия Кирилла.

С интересом были встречены также доклады польского профессора Ф. Славского, профессора Г. Михайлы из Румынии и венгерского языковеда П. Кирая.

В ходе дискуссии выступили также руководитель кафедры славистики в Государственном университете в Милане Бруно Мериджи, профессор Роберт Оти из Оксфорда и другие ученые.

По сообщениям печати, Болгарская академия наук учредила премию за новые оригинальные исследования в области староболгарской письменности, литературы и искусства. Премия имени Кирилла и Мефодия будет отныне присуждаться болгарским и зарубежным ученым ежегодно 24 мая, в День болгарского просвещения и культуры.

НОВОСТИ КИНО

«Какие фильмы выпускает кинематография Болгарии в юбилейном году?» — с таким вопросом редакция журнала «Филмови новини» обратилась к заместителю Главного директора Болгарской кинематографии Борисславу Петрову.

«Юбилею победы социалистической революции болгарские кинематографисты посвящают немало фильмов,— начал свой рассказ Б. Петров.— Уже вышли на экраны: «Свобода или смерть», «Иконостас», «Танго». Завершена работа над фильмами «Птицы и псы» (режиссер Г. Стоянов), «Признание» (режиссер Я. Янков), «Господин Никто» (режиссер Ив. Терзиев), «Иван Шишман» (режиссер Ю. Арнаудов).

В производстве находятся фильмы: «Восьмой» режиссера Хаския и «Черные ангелы» режиссера В. Радева по мотивам книги воспоминаний М. Грыбчевой «Во имя народа».

Большинство этих фильмов посвящено историческому прошлому,— сказал в заключение Б. Петров.— Что же касается современной тематики, то болгарские кинематографисты все еще остаются в долгу перед зрителями».

■

Новый болгарский фильм «Танго», недавно вышедший на экраны, представляет собой экранизацию одноименной повести Георгия Караславова, время действия которой относится к последним годам власти фашизма в Болгарии. «Основная тема повести «Танго»,— сказал в беседе с корреспондентом журнала «Филмови новини» режиссер фильма Васил Мирчев,— тема насилия, став-

Кадр из фильма «Танго».

(Журнал «Филмови новини»)

шего в условиях фашизации страны нормой повседневной жизни, это рассказ о действии страшного механизма уничтожения человеческой индивидуальности, уничтожения мыслей и идей».

Авторы фильма разоблачают разбогатевших на войне спекулянтов и мошенников, писал рецензент Н. Милев в газете «Работническо дело». «Вершина культуры», до которой «поднялись» болгарские богачи-«нувориши», — банальное бульварное танго. В фильме этот символ, по словам рецензента, является ключом к пониманию внутренней сути героев.

Как утверждает Н. Милев, фильм сделан несколько неровно, однако авторы экранизации «Танго» сумели сохранить художественные достоинства и идейный замысел литературного первоисточника и в то же время показать события недавнего прошлого Болгарии с точки зрения нашего современника.

ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ КНИГИ

В пятнадцатый раз в стране отмечалась Неделя детской книги. Торжественное ее открытие состоялось в приморском городе Бургасе, на которое собрались писатели, композиторы, художники, артисты, а также зарубежные гости. Присутствовавший на празднике советский писатель Сергей Михалков сказал: «Здесь находятся энтузиасты, потому что тот, кто занимается детской литературой, театром и кино, — обязательно энтузиаст».

В заключение праздника было объявлено о присуждении премий за лучшие книги для детей и юношества, за музыкальные произведения и художественные иллюстрации за 1968 год, учрежденные ЦК ДКМС, Комитетом по культуре и искусству и Министерством народного просвещения.

Первая премия присуждена Анастасу Павлову за книгу «Славный малый», вторая — Борису Априлову, автору книги «Приключения Лиско на море», и Георгию Струмскому, написавшему «Письма из твоего детства».

В области музыкального творчества для детей первую премию получил композитор Тодор Попов — за цикл «Восемь миниатюр для детского хора и духового квинтета».

За иллюстрации к «Сказкам» Андерсена первой премии был удостоен Любен Зидаров.

В дни Недели детской книги в выставочном зале Союза болгарских художников была открыта выставка детского рисунка.

ГДР

СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ

В ГДР состоялся очередной, VI съезд писателей. Основная тема съезда — литература ГДР на двадцатом году ее существования. Съезду предшествовали дискуссии и широкие встречи с читателями, где обсуждались новые произведения, положение дел в литературе. «Две пробяемы стояли в центре этих встреч и дискуссий: взаимоотношения литературы и современности и изображение человека в социалистической литературе»,— писала газета «Берлинер цейтунг» в сообщении о начале съезда.

После оглашения приветствия Центрального Комитета СЕПГ вступительное слово произнесла председатель Союза немецких писателей Анна Зегерс. «За время, прошедшее с последнего съезда писателей ГДР, одни из нас постарели, другие стали более зрелыми. У нас появились и новые, молодые писатели. Все мы призваны отражать в литературе те большие изменения, которые произошли за этот период в нашем государстве. О том, что нами сделано, и о том, что мы еще должны сделать, мы и будем говорить на этом нашем съезде»,— сказала Анна Зегерс.

Основным докладчиком на съезде был Макс Вальтер Шульц. Он остановился на важнейших вопросах современной литературы ГДР, отметил лучшие прозаические и поэтические произведения последних лет. Шульц говорил также о телевизионных пьесах и фильмах, которые за последнее время стали очень популярным жанром. «Наша социалистическая литература — это реалистическая литература о человеке и для человека»,— сказал Шульц.

Выступления в прениях на съезде начались с чтения писем Александра Абуша и Эрвина Штриттматтера, которые не смогли присутствовать на заседаниях съезда. Среди высту-

пивших были: министр культуры Клаус Гизи, писатели Герман Кант, Гельмут Заковский, Эрик Нейч, Уве Бергер, Гельмут Прейслер, Вольфганг Йохо, Фриц Зельбман и другие.

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ «КИНДЕРБУХ-ФЕРЛАГ».

Исполнилось двадцать лет издательству «Киндербух-ферлаг». 85 миллионов книг, 6 тысяч названий — таков итог его деятельности на сегодняшний день. «Сейчас, двадцать лет спустя, трудно себе представить, каким было издательство в 1949 году. Очень скромное и маленькое, ютившееся в жалком, полуразрушенном помещении, оно превратилось в крупнейшее издательство литературы для детей, выпускающее и классическое наследие, и новую современную литературу, и переводы лучших образцов детской литературы других стран»,— писал обозреватель газеты «Берлинер цейтунг».

За два десятилетия издательство приобрело широкий авторский актив, включающий многих видных писателей и художников. С самого основания издательством руководит Гюнтер Шмидт, человек, горячо влюбленный в свое дело. «Одновременно с поздравлениями издательству мы поздравляем Гюнтера Шмидта с его 60-летием,— писал в заключение обозреватель, — и выражаем ему и его сотрудникам большую благодарность».

ГОЛЛАНДИЯ

«ХРОНОСКОП» ГОСПОДИНА ХАГЕМАНА

...Английский профессор изобрел «хроноскоп» — особый телевизор, который воспроизводит картины прошлого. Профессор этот— герой книги некоего А. Хагемана, носящей название «Хроноскоп». Книга выпущена недавно голландским издательством «Стандарт»; на первый взгляд она кажется обычной фантастической повестью. Но при ближайшем знакомстве с ней, как отмечают рецензенты, поражает чрезмерное внимание автора к особе Гитлера.

Неоднократно появляясь на экране телевизора-«хроноскопа», Гитлер произносит речи, которые автор называет «правдивыми», он пишет о том, что призывы Гитлера «вызывают ликование», что от его личности «исходят страсть и сила убеждения». Кроме того, автор то и дело пускается в рассуждения, напоминающие образчики фашистской пропаганды, в которых восхваляет убийства, захваты чужих земель, войну.

Голландская печать отмечает, что книга Хагемана превзошла своим откровенным цинизмом все прежние попытки оправдать или приукрасить гитлеризм, которых было немало на голландском книжном рынке. «Хроноскоп» обращает на себя внимание еще потому, что книга предназначена для детей от 10 до 14 лет. «Нельзя допускать, чтобы дети знакомились с историей подобным образом, чтобы преступники становились для них объектом преклонения, а война представлялась захватывающим и волнующим событием»,— писал в связи с этим рецензент газеты «Ниве ротердамсе курант».

Однако, несмотря на резкие отклики прессы, книга Хагемана по-прежнему красуется на прилавках голландских книжных магазинов.

ГРЕЦИЯ

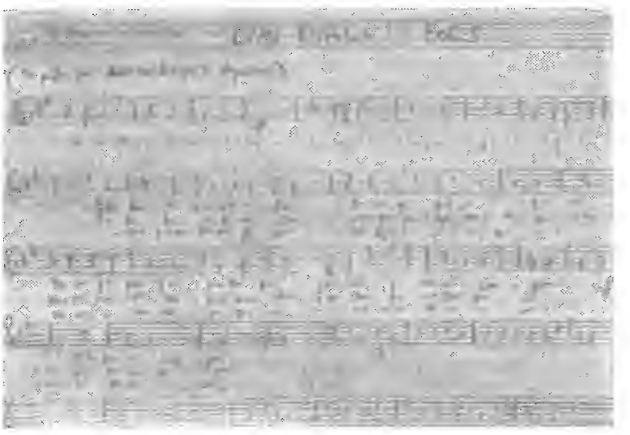
ТЕОДОРАКИС СЛАГАЕТ ПЕСНИ

Микис Теодоракис, живущий в ссылке под постоянным надзором полиции, тяжело болен. Но дух его не сломлен: он создает песни, призывающие к борьбе против режима «черных полковников». Недавно он сумел переслать свои последние песни Мелине Меркури в Париж, и среди них — песню, посвященную юному патриоту Панагулису, совершившему покушение на кровавого диктатора Пападопулоса. Как известно, Панагулиса удалось спасти от смертной казни благодаря активным действиям мировой общественности. Сейчас Панагулис находится в одиночной камере, без света; палачи не снимают с него наручников...

В песне, написанной Теодоракисом, выражается преклонение перед мужеством Панагулиса.

Песня о Панагулисе, написанная рукой Теодоракиса.

(Еженедельник «Юманите-диманш»)



ИНДИЯ

«ПРАЗДНИК ДЛЯ ГЛАЗ И ДЛЯ ДУШИ»

Творчество советского художника С. А. Чуйкова, удостоенного премии им. Дж. Неру за создание произведений, способствующих укреплению индийско-советской дружбы, весьма популярно в Индии. Недавняя выставка произведений художника, показанная в Дели и Мадрасе, на которой экспонировалось немало его полотен, в том числе на темы из жизни Индии, привлекла внимание индийской общественности.

Картины С. А. Чуйкова «В пути» и «Голова кули», экспонировавшиеся на выставке в Индии.

В дни работы выставки индийские газеты много писали об С. А. Чуйкове, в них можно было встретить такие заголовки: «Большой русский художник» («Санди стейтсмен»), «Мастер пейзажа» («Индиан экспресс»), «Работы, посвященные индийскому народу» («Нэшнл геральд»).

Председатель жюри премий им. Дж. Неру К. П. Менон писал на страницах газеты «Пэтриот»: «Сам рожденный в бедности, Чуйков даже среди индийских тем выбрал не экзотику и красоту, а жизнь простых людей. Его полотна рассказывают о труде и природе, поскольку они были близки художнику с раннего детства, проведенного им в прекрасной стране — Киргизии, где он родился».

В книгах отзывов о выставке были сделаны тысячи восторженных записей. С. М. Раджакандамами из Мадраса, например, написал: «Это — подлинный праздник для глаз и для души, долгожданный праздник, пришедший к нам, как летний дождь после засухи, после долгого периода абстрактного искусства. Его полотна — эти поэмы в цвете — достойно представляют советскую культуру».

ИОРДАНИЯ

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ-ПАРТИЗАН

В Аммане открылась выставка работ арабских художников, уроженцев Палестины, которые сражаются ныне в рядах партизанских сил Сопротивления. «Этих художников,— пишет рецензент журнала «Жён Африк»,— сплачивает чувство национального единства, они мечтают о возвращении на захваченные израильскими агрессорами территории. Свои мечты, гнев, решимость бороться они выразили в картинах реалистического характера, а также в символических композициях. Работы их выразительны и эмоционально насыщены». Герои большинства произведений художников-партизан — их соратники, люди с винтовками в руках. Из соображений безопасности эти авторы не подписывают свои картины.

Вместе с художниками-партизанами, в знак солидарности с их борьбой, на выставке в Аммане экспонируют свои работы и некоторые известные в арабском мире мастера кисти: Жорж Бабури (ОАР), Мохаммед Хив (ОАР) и Насир Рамас (Сирия). Рецензент «Жён Африк» отмечает, что посетители с волнением реагируют на картину Жоржа Бабури «Семья беженцев». Каждому арабу понятны и близки тяжкие страдания изображенного на этом полотне несчастного семейства, лишившегося в результате преступной израильской агрессии не только крова, но и родины, и средств к существованию.

Печать сообщает, что, по просьбе руководства сил Сопротивления, выставка еще долго пробудет в Иордании, так как успех ее огромен. «Ежедневно, — свидетельствует рецензент «Жён Африк»,— непрерывный поток посетителей проходит перед этими картинами, внимательно слушая пояснения гидов».

Амманская выставка побывает и за рубежом: она будет показана в крупнейших городах арабских стран, в Европе и в США.

ИТАЛИЯ

«СВЕСТИ СЧЕТЫ»

Две пластиковые бомбы взорвались у входа в римский театр «Делле Витторие», камнями были разбиты окна в здании телевидения... Такова была первая реакция итальянских неофашистов на спектакль режиссера Марко Лето «Свести счеты» о последних днях фашизма в Италии, показанный недавно по итальянскому телевидению.

Уже на следующий день после передачи известный артист Иво Гаррани, исполнявший роль Муссолини, стал получать письма с угрозами от членов неофашистской партии, а один из фашиствующих листков грубо пригрозил ему расправой за «оскорбление великой личности». Участник передачи журналист Уго Заттерин был вынужден прибегнуть к помощи полиции, и теперь несколько полицейских агентов в штатском постоянно следуют за ним. Стремясь избежать инцидентов, полиция окружила здание радио и телевидения.

Авторы спектакля «Свести счеты» воссоздают атмосферу жестокости и насилия в стане фашистов, которые чувствовали свой близкий конец. Режиссер Марко Лето в интервью газете «Паэзе сера» сказал, что он и авторы сценария Уго Заттерин и Луиджи Лупари не ставили своей целью дать анализ истории фашизма. Они хотели только, выбрав наиболее драматический эпизод, показать, к чему в конце концов приводит потворствование фашиствующим элементам. «Мы работали с чувством большой ответственности,— сказал режиссер,— так как знаем, что неофашисты в Италии сегодня снова поднимают голову».

Видный итальянский историк Руджеро Дзангранди в одной из своих рецензий на телевизионный спектакль отметил, что пьесу в целом можно считать удачей ее авторов.

ВРУЧЕНЫ «СЕРЕБРЯНЫЕ ЛЕНТЫ»

Когда кинорежиссер Франко Дзефирелли закончил в прошлом году съемки фильма «Ромео и Джульетта» по бессмертной трагедии Шекспира, он, вероятно, не предполагал, что его работа вызовет множество разноречивых откликов. Наиболее придирчивыми оказались английские критики, несмотря на то, что заглавные роли в фильме исполняют молодые английские актеры, которые, как признают многие, прекрасно справились со своей задачей.

Итальянские критики встретили фильм «Ромео и Джульетта» более благосклонно. Некоторые из них высказывают мнение, что в мировой кинематографии нет другого произведения, столь близкого шекспировскому оригиналу и по духу, и по воплощению образов, и даже по возрасту героев, по-шекспировски юных и непосредственных.

Ныне фильм и его создатели удостоены одной из наиболее значительных в Италии кинематографических премий — «Серебряные ленты»,— присуждаемых ежегодно по решению кинокритиков и журналистов. Франко Дзефирелли получил «Серебряную ленту» за режиссуру. Съемочному коллективу фильма достались «Серебряные ленты» за лучшую музыку, лучшие цветные съемки, лучшие костюмы и за лучшую постановку.

«Серебряными лентами» отмечены и другие итальянские фильмы: «День совы» — повесть о преступлениях мафии на Сицилии, а также «Бандиты в Милане», рассказывающий о современном преступном мире крупного капиталистического города (за лучший сценарий).

«Серебряные ленты» за лучшее исполнение главных ролей присуждены Монике Витти (кинокомедия «Девушка с пистолетом») и Уго Тоньяцци (кинокомедия «Большая кукла»).

КОНФЕРЕНЦИЯ В РЕДЖО-ЭМИЛИИ

В городе Реджо-Эмилия состоялась конференция на тему «Автономия местных организаций и свобода культуры», созванная по инициативе коммунистов. В дискуссии приняли участие видные художники, кинематографисты, театральные деятели, издательские работники, литераторы и журналисты. Представили свои доклады работавшие раньше комиссии — театральная, кино, музейная, библиотечная, книгоиздательская и другие, которые сообщили о положении в этих сферах культуры и искусства в Италии. Из этих докладов и особенно из выступлений руководящих работников ИКП Наполитано и Модики и заключительного слова Группи видно, как писал обозреватель газеты «Унита», насколько важен и актуален для Италии круг вопросов, обсуждавшихся в Реджо-Эмилии. Местные организации — и политические, и культурные — должны придать всей своей деятельности в области культуры и искусства массовый характер, массы должны стать активным участником культурных процессов — такова главная задача, выдвинутая конференцией. Задача местных организаций — демократизировать учреждения культуры: театры, киностудии, музеи, библиотеки и т. д.— и создать новые формы и возможности для проявления творческой инициативы масс, новые центры, в которых велись бы поиски и осуществлялись бы эксперименты. Для того чтобы сделать культуру достоянием масс, сказано в решении конференции, следует выработать конкретные программы действий на уровне областных и городских организаций и учреждений, добиться взаимодействия между студенческими, молодежными, рабочими ассоциациями, объединениями творческой интеллигенции.

На конференции говорилось о некоторых мероприятиях, уже осуществленных в последнее время в области демократизации культуры и искусства в Италии: «Четвертая выставка нового кино» в Пезаро; новая форма управления, введенная в городском театре во Флоренции; гастроли Дарио Фо в народных домах многих городов; конференции с участием рабочих в новых районах Турина на темы урбанистики; деятельность киноклуба в Фаббрико и т. д.

В резолюции конференции подчеркивается, что руководящая идейная роль во всей этой работе должна принадлежать коммуни-

На этом снимке воспроизведена медаль, выпущенная в честь 2722-летия со дня основания Рима; ее автор — известный скульптор Джузеппе Маццульо. На медали изображена одна из скульптур, украшающих фонтан на площади Навона.
Памятные медали в честь основания «вечного города» выпускаются в Италии ежегодно, начиная с 1964 г.

(Газета «Паэзе сера»)

стам, которые стремятся достичь единства в области культурной деятельности с другими левыми силами и добиться обновления итальянской культуры.

«ФЛЕШ-БЭК»

Так называется новый фильм режиссера Раффаэле Андреасси. Это английское название — термин, означающий в кино кадры, перебивающие основное действие и в сжатой форме рассказывающие о предшествующих событиях,— может быть переведено как «Взгляд в прошлое». Постановщик ранее был известен как документалист, создавший много фильмов о художниках и об искусстве. «Взгляд в прошлое» — первый его игровой художественный фильм. Это произведение, направленное против войны и ее жестокостей.

Как рассказывает Андреасси, однажды он прочел в газетах о том, что в Польше, более чем через двадцать лет после войны, в ветвях большого дуба был найден скелет солдата — вероятно, немецкого снайпера, оставленного командиром прикрывать отступление своей части в 1945 году. Эта заметка — о скелете, как бы сросшемся с деревом — произвела большое впечатление на Андреасси. На ее основе он и построил сюжет своего фильма, перенеся его действие в Италию.

Во время отхода гитлеровцев к новой линии обороны — так называемой «готической линии» — командование оставляет одного солдата-стрелка прикрывать отступление. После боя солдат засыпает. А когда просыпается, фронт уже далеко. Он видит вокруг себя мирную жизнь итальянских крестьян, возвратившихся в свою деревню. Солдат предается воспоминаниям о своей молодости, о родных местах, о войне. Потом решает сойти с дерева и сдаться в плен. Но тут его настигает пуля...

Сценарий фильма написали вместе с режиссером Нело Ризи, Каллисто Козулич и Маурицио Барендсон. Главную роль исполняет впервые снимающийся в кино норвежец Фред Робсам, в женских ролях— Пилар Кастел и Дада Галлотти.

Фильм Андреасси был представлен Италией на Каннский фестиваль и одновременно вышел на экраны страны.

ВЫСТАВКА ПОЛЬСКОЙ КНИГИ

По инициативе Варшавского авторского агентства в Милане открылась выставка переводов произведений польских авторов под названием «Польская книга на иностранных языках». Выставка вызвала большой интерес у итальянской общественности, ее предполагается провести также в Падуе и Риме. На выставке экспонируется 1300 книг польских авторов, переведенных в послевоенные годы на 40 языков мира, около 100 антологий и переводы старинных польских изданий начиная с XVI века.

По случаю выставки один из номеров итальянского журнала «Кангуро» целиком посвящен современной польской литературе.

МОНГОЛИЯ

ЖУРНАЛ «ЦОГ» — ЮБИЛЯР

Исполнилось 25 лет со дня выхода первого номера журнала «Цог» («Огонек»), издания Союза писателей МНР. Литературная общественность страны отметила эту дату торжественным собранием, на котором были оглашены приветствия читателей, редакций газет и журналов, а также Союза писателей СССР.

ПАКИСТАН

«В СТРАНЕ ЛЕНИНА»

Так озаглавлена книга известного пакистанского писателя Саида Бадшахада Али, который делится в ней впечатлениями о поездке в Советский Союз. Писатель посетил Москву, Ленинград, Ташкент, беседовал с рабочими, учеными, деятелями культуры, колхозниками. Автор в живой форме повествует о грандиозных достижениях советского народа в области науки, культуры, экономики.

Книга «В стране Ленина» вызвала значительный интерес у пакистанских читателей: она пользуется большим спросом в книжных магазинах Карачи.

ПОЛЬША

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

Закончена работа по созданию одиннадцатитомного «Словаря польского языка». По оценке специалистов, это самый большой из существующих толковых словарей и третий по счету монументальный словарь, созданный в Польше на протяжении последних 160 лет. В новом словаре собрано 124 308 слов, из них двадцать процентов приходится на неологизмы, возникшие в более позднее время и нигде, помимо этого издания, не зафиксированные.

Подготовительные работы велись с 1950 года. Был создан богатейший лексикографический архив, включавший свыше 6,5 миллионов цитат из художественной и научной литературы. Этот ценный архив используется не только польскими учеными, но и всеми европейскими славистами. На его основе был выпущен также однотомный «Малый словарь польского языка».

Ныне законченный изданием фундаментальный «Словарь польского языка» — результат коллективного труда группы ученых. Главный редактор словаря — профессор Витольд Дорошевский — награжден орденом «Штандар працы» первого класса. Правительственными наградами отмечены и другие создатели словаря.

На польские экраны вышел фильм «Пан Володыевский» по одноименному роману Генрика Сенкевича. В заглавной роли в фильме выступил известный польский актер театра и кино Тадеуш Ломницкий.

(Еженедельник «Экран»)

ФИЛОСОФ КИРИЛЛ НА ПОЛЬСКИХ ЗЕМЛЯХ

Историки и археологи уже давно находят на польских землях следы деятельности великого славянского просветителя философа Кирилла. С 863 по 867 год вместе с Мефодием он находился на территории Великоморавского государства, а затем — в Словении. Предполагают, что Мефодий привез алфавит Кирилла в Силезию и в страну вислян. В так называемом «Вроцлавском требнике» содержится латинский гимн в честь Кирилла и Мефодия. Вся первоначальная теологическая номенклатура, применявшаяся на территории Вроцлавской епархии до XIV века, свидетельствует о том, что она берет свое начало от Кирилла и Мефодия.

Наиболее интересным и все еще до конца не выясненным вопросом продолжает оставаться славянский ритуал в древнейшем каменном дороманском костеле в Вислице. Профессор Зофья Вартоловская, руководитель проводимых там раскопок, выдвинула гипотезу о принадлежности этого костела к сакральному строительству по славянскому обряду, то есть обряду Кирилла и Мефодия.

Замечательным польским памятником кириллицы в письменности XI века является «Супрасльский кодекс», содержащий переводы с греческого — жития святых и проповеди. По всей вероятности, перевод был сделан учениками Кирилла и Мефодия в последние годы IX или в начале X века.

Как сообщает польская печать, в нынешнем году труды Кирилла и Мефодия будут обсуждаться на научной сессии в Варшаве.

РУМЫНИЯ

ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Литературный еженедельник «Ромыния литерарэ» открыл на своих страницах специальную юбилейную рубрику «Год XXV». Здесь публикуются размышления румынских писателей о значении победы над фашизмом, о культурных и экономических достижениях Румынии за истекшие четверть века.

Председатель Союза писателей СРР академик Захария Станку подчеркнул, что за сравнительно недолгий срок — 25 лет — создана тяжелая и легкая промышленность, электрифицированы села, осуществлена коллективизация сельского хозяйства, расширена сеть просвещения и здравоохранения, культура стала достоянием масс, достигнут небывалый расцвет искусства, науки, литературы — в каждый дом пришла новая жизнь, благосостояние... Люди обогатились духовно, гордятся своей партией, своей родиной.

Поэт Вирджил Теодореску писал об органическом единстве партии и народа, об обновлении страны за четверть века, а также о долге художника перед обществом. Другой поэт — Ион Хоря вспоминал о совместной с Советским Союзом борьбе против фашизма: «Один год из минувшей четверти века был годом участия Румынии, всех ее военных и экономических сил в разгроме гитлеровской армии. «Все для фронта, все для победы» — было лозунгом тех девяти месяцев, когда вместе с Советской Армией наши солдаты шли на Запад, к берегам Эльбы. Тогда как бы стал яснее смысл нашей современной истории, тогда наша страна, объединив все демократические силы, вместе с другими прогрессивными странами примкнула к фронту социализма и мира».

РАССКАЗЫВАЕТ ХОРИЯ ЛОВИНЕСКУ

Еженедельник «Контемпоранул» опубликовал интервью с известным румынским драматургом, директором театра им. Ноттара в Бухаресте — Хорией Ловинеску.

Драматург рассказал об инициативе своего театра, приступившего к постановке спектаклей из серии «Литературные утренники» для школьной молодежи.

«Первый спектакль этого цикла был «Адела» по Ибрэиляну,— сказал Ловинеску.— Он был с энтузиазмом принят нашими юными зрителями. Имела успех и недавняя премьера «Дон Кихота»... Мы думаем также об инсценировке «Мары» — одного из романов Камила Петреску и других романов».

«А что вы можете сказать об основном репертуаре вашего театра?» — спросил представитель еженедельника.

«Репетируем «Отелло» для предстоящего театрального сезона, приступаем к репетициям спектакля по одному из произведений Караджале... Наши планы в целом довольно обширны. Если мы выполним все, что намечено для будущего репертуара, то у нас будет 9 спектаклей по текстам 11 румынских авторов. Среди них — «Эдип 20» Иона Омеску, «Брынковяну» Илие Пэуреску, пьесы Раду Думитру, Л. Теодореску и других».

«Какую из ваших собственных пьес увидят зрители в будущем театральном сезоне?»

«Пьесу «Четвертое время года», которая будет поставлена на сцене Национального театра».

На сцене румынской оперы в Бухаресте с успехом идет новый балет композитора Корнеля Трайнеску «Настасия»; в основу либретто балета положена трагедия Дж. М. Замфиреску «Барышня Настасия». На снимке: сцена из балета.

(Журнал «Румынские горизонты»)

«ЖИЗНЬ КАРАДЖАЛЕ»

Известный румынский критик Щербан Чокулеску опубликовал монографию «Жизнь Караджале». По словам рецензента журнала «Ромыния литерарэ», автор не ставил своей целью анализ творчества Иона Луки Караджале. Главное для него — жизненный путь и «живой» литературный портрет писателя. По выражению рецензента, «Чокулеску не описывает жизнь Караджале, а открывает ее».

Румынские критики видят заслугу автора монографии в том, что он использовал очень обширный документальный материал о Караджале и объективно подошел к описанию его жизненного и творческого пути.

Рецензент журнала «Ромыния литерарэ» пишет также о том, что «столь строго документированная биография выдающегося драматурга является одним из наиболее верных и углубленных комментариев к его творчеству».

НОВАЯ ИНСЦЕНИРОВКА ДОСТОЕВСКОГО

Румынская литературная печать откликнулась на новую театральную постановку по мотивам романа Ф. М. Достоевского «Идиот». Это вторая после «Братьев Карамазовых» (режиссер Ион Кожар) постановка по романам Достоевского на румынской сцене за последние два года.

Спектакль по роману «Идиот» поставлен бухарестским Национальным театром под руководством режиссера Александру Финци. Автор инсценировки — Андрэ Барсак.

В спектакле заняты лучшие актеры коллектива Национального театра: Флорин Пьерсик (князь Мышкин), Иляна Стана Ионеску (Настасья Филипповна) и другие.

США

АВТОБИОГРАФИЯ КОММУНИСТА, НАПИСАННАЯ В ТЮРЬМЕ

В нью-йоркском издательстве «Интернэшнл паблишерс» вышла книга американского коммуниста-негра Бенджамина Дэвиса под названием «Член муниципалитета — коммунист из Гарлема». Этот сборник автобиографических очерков был написан Дэвисом в федеральной тюрьме, куда его заключили на пять лет на основании «закона Смита». Дэвис писал в чрезвычайно трудных тюремных условиях. Закончить книгу ему помешала смерть.

Автор рассказывает о своих школьных годах, вспоминает, как он решил стать адвокатом. Эта часть его воспоминаний, по отзывам рецензентов, дает живое представление о положении негров на Юге США в первой трети XX века. Дэвис пишет об успешном начале своей адвокатской практики в Атланте, о том, как он познакомился с учением Маркса и стал коммунистом, а также о том, как он работал в муниципалитете Нью-Йорка, куда его избирали трижды.

Значительное место в сборнике занимают темы, остающиеся актуальными по сей день,— структура и функционирование органов власти на Юге США, независимая выборная политика, роль реформизма, классовые отношения в среде черных американцев.

ХЭРРИНГТОН: «ОСТАВАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ»

Оливер Хэррингтон — известный американский негритянский художник-кари-

Рисунки Оливера Хэррингтона: 1) «Туристский сезон» (по поводу происков ЦРУ у границ КНДР) и 2) Марионеточный правитель из Сайгона: «Ну, уважаемые леди, вы можете гордиться тем, за что погибли ваши храбрые сыновья — за меня, например!»

(Газета «Дейли уорлд»)

катурист, мастер политической сатиры, дал интервью газете «Дейли уорлд», на страницах которой часто публикуются его рисунки.

Хэррингтон рассказал, что с самого начала своей деятельности в качестве политического карикатуриста он ведет борьбу против расизма, социальной несправедливости и неравенства.

«Я рисую,— сказал художник,— с тех пор, как помню себя, это для меня — основной способ выражать мысли и чувства». Даже став известным, Хэррингтон упорно отказывался от работы в буржуазных газетах, отлично понимая, что в них он не сможет свободно выражать свои политические взгляды. Он предпочитал работать, получая невысокие гонорары, для прогрессивных газет, для негритянской печати. «Уоркер», ныне «Дейли уорлд», «Чикаго дефендер», прогрессивная печать Европы — вот где можно встретить карикатуры этого художника.

«Я всегда сам определял,— заявил он,— содержание и направленность своей работы и потому отказывался от предложений тех органов печати, работа в которых не позволила бы мне оставаться самим собой».

ФРАНЦИЯ

«ГАДИНА»

До сих пор Роже Планшон был известен как режиссер театра де ля Ситэ, в лионском предместье Вилльёрбан, как смелый новатор, автор оригинальных постановок «Тартюфа», «Трех мушкетеров» и других спектаклей. Он же — драматург, написавший пьесы «Сарай», «Синие, белые, красные», «Условный знак», «В духе времени» и т. д.

Недавно Роже Планшон проявил себя и как талантливый актер. Он выступил в спектакле, сюжет которого не совсем обычен даже для Франции: в пьесе речь идет о нарушении священником обета безбрачия. Тема эта

и поныне, даже после Золя и Бернаноса, по свидетельству рецензентов, остро тревожит ум и совесть католической Франции.

В основе пьесы лежит подлинное событие. «Гадина» — такое название дал драматург Планшон им же поставленной пьесе, в которой Планшон-актер исполняет главную роль священника, убийцы забеременевшей от него женщины. Действие происходит в течение нескольких часов, начиная с момента преступления до ареста убийцы. Драматург-режиссер-актер беспощадно бичует лицемерие церковников, для которых честь сутаны важнее человеческой жизни. Планшон-актер, по отзывам рецензентов, правдиво воссоздает сложный психологический облик убийцы. Критика в целом высоко оценивает новую работу Планшона и выражает пожелание, чтобы спектакль был как можно скорее показан в Париже.

В Музее современного искусства в Париже выставлены работы Пэта — 15-летнего шимпанзе. Корреспондент газеты «Таймс» вполне серьезно пишет о «таланте» обезьяны. На снимке: Пэт за работой.

(Газета «Таймс»)

«ДЕЛО» ЖАНА ФЕРРА

«В нашем сегодняшнем обществе есть эксплуататоры и эксплуатируемые. Само собой разумеется, что я — на стороне эксплуатируемых»,— заявил известный французский певец и автор песен Жан Ферра во время телепередачи «Воскресный гость», в которой принимали участие Жорж Брассенс, Жак Брель, Франсис Лемарк, испанский гитарист Себастьян Маротто, историк Парижской коммуны Моник Морелли и другие «телевизионные гости» писателя Жан-Пьера Шаброля. По окончании передачи генеральный директор телевидения г-н Андре Франсуа раздраженно сказал Ж.-П. Шабролю: «Пусть Жан Ферра поет, это еще куда ни шло, но разглагольствовать ему хватит!»

Эта передача оказалась последней для Жана Ферра, а также для его продюсера Клода Отценбергера. Одно за другим выступления Ферра отменяются под тем предлогом, что «телезрители слишком часто его видят». Не услышали телезрители и новую песню Ферра «Моя Франция», которая должна была впервые прозвучать в одной из телепередач. Ферра выступает в ней как художник большой гражданской темы: «Пусть поднимется она из шахт, спустится с холмов. Та, что поет во мне, прекрасная, мятежная,— говорится в этой песне.— Она держит будущее в своих тонких руках. Та Франция — 36 и 68 годов. Моя Франция».

«Все эти действия руководителей телевидения означают, что запрет наложен на Жана Ферра, а не на какую-то его одну песню, как это было два года назад, когда я пел песню о броненосце «Потемкине»,— сказал певец корреспонденту «Юманите-диманш».

ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ФЕСТИВАЛЬ ДРАМАТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

В столице Центрально-Африканской Республики г. Банги, как сообщает печать, прошел первый в истории страны фестиваль драматического искусства. Национального театра в республике пока нет, но есть любительские театральные труппы — в столице и в провинциях. Основной

состав таких трупп — юноши и девушки.

Центральным событием первого фестиваля драматического искусства стала постановка пьесы Ипеко Этомана «Свадьба Яссемалы». Героиня пьесы — девушка по имени Яссемала, которую по старому обычаю отец собирается продать в жены кому-либо из местных богатеев. Претендентов заполучить красивую девушку немало. Поэтому отец Яссемалы стремится заключить сделку повыгоднее. Выкуп за невесту — обычай, освященный предками; женщина всегда была в этих краях предметом купли-продажи. Однако Яссемала восстает против этого унизительного обычая, выгоняет богатого жениха и решительно заявляет, что выйдет замуж только за любимого человека.

По свидетельству рецензента газеты «Смэн», зрители, особенно молодежь, с энтузиазмом приняли этот спектакль. Помимо «Свадьбы Яссемалы» на фестивале были показаны пьесы Шарля Пелу «Тотем» и Диарра Адама Усмана «Устаревшие традиции». В обеих пьесах поднимаются проблемы взаимоотношений в африканской семье, где старые обычаи и традиции еще очень сильны. Молодежный дом культуры «Кастор» показал инсценировку повести известного сенегальского писателя Сембена Усмана «Почтовый перевод».

Дома культуры, как отмечает местная печать, строятся сейчас в разных провинциях республики. В них организуются художественные, музыкальные, спортивные секции, в которых занимаются в основном рабочие и учащиеся.

ЮГОСЛАВИЯ

МАВЗОЛЕЙ НЕГОША НА ВЕРШИНЕ ЛОВЧЕНА

По сообщениям печати, скупщина г. Цетинье приняла решение о сооружении на вершине горы Ловчена мавзолея Петра Петровича Негоша, воспевшего героическую борьбу черногорцев против турецких захватчиков в знаменитой поэме-эпопее «Горный венец», в которой прозвучал призыв к борьбе за свободу и к объединению братских славянских народов.

Негош умер в 1851 году, но не был сразу похоронен на Ловчене, как он завещал, так как черногорцы опасались надругательства над его прахом со стороны турок. Затем его могила была перенесена на вершину Ловчена, но новые оккупанты, австро-венгерские войска, в 1916 году перевезли останки Негоша обратно в Цетинье. На Ловчене император Франц-Иосиф решил поставить памятник «Победы». Во время второй мировой войны ловченская часовня Негоша пострадала от фашистских снарядов...

Двадцать лет назад представители Черногории обратились к известному югославскому скульптору Ивану Мештровичу, который долгие годы прожил в США, с предложением создать памятник Негошу. Мештрович в течение длительного времени до этого вынашивал замысел памятника и потому ответил согласием на предложение черногорцев. В 1954 году Мештрович создал модель памятника великому поэту Черногории.

Старая часовня Негоша стоит на каменном утесе на высоте 1660 метров над уровнем моря. Лишь после войны к ней было проложено современное шоссе. Мавзолей решено соорудить на том месте, где стоит старая часовня. Он будет высотой одиннадцать, шириной около пятнадцати и длиной

Скульптура Негоша работы Ивана Мештровича, которая будет установлена в мавзолее на вершине Ловчена.

(Газета «Югославские новости»)

тридцать семь метров. В мавзолее будет установлена статуя Негоша работы Мештровича. Он изображен сидящим, с книгой в руках. У входа — две кариатиды в костюмах черногорок. Вокруг мавзолея будет оборудована площадка с видом на море, село Негуши и черногорские дали. Работы по сооружению мавзолея Негоша предполагается завершить к концу 1970 года.

ЯПОНИЯ

В Токио состоялась XXII выставка объединения независимых художников. Там было представлено более тысячи полотен и скульптур, посвященных жизни трудящихся Японии.
Здесь воспроизводятся работы: «Мать» Хироси Окамото и «Шахтеры» Тосидзи Иосиды, заимствованные из еженедельника «Дейли уорлд мэгезин».

Авторы этого номера

ГАБОР ГАРАИ — GARAI GABOR (род. в 1929 г.).

В этом номере циклом стихов разных лет представлен один из популярных поэтов Венгрии Габор Гараи. Его первая книга стихов «Наполненные дни» («Zsufólt napok») вышла в 1956 году. С тех пор стихи поэта составили более десяти сборников; в последние годы вышли «Артисты» («Artisták», 1964), «Конец лета» («Nyárvég», 1965), «Вторник» («Kedd», 1966), «Маленькие чудеса» («Kis csodák», 1968) и др. Творчество Г. Гараи дважды отмечалось премией Аттилы Йожефа, в 1965 году поэт был удостоен премии Кошута.

■

МАРИО БЕНЕДЕТТИ — MARIO BENEDETTI (род. в 1920 г.).

Уругвайский романист, поэт и литературовед. Его перу принадлежит несколько поэтических книг, сборников рассказов, в том числе «Люди Монтевидео» («Montevideanos», 1959), повесть «Кто из нас» («Quién de nosotros», 1953), роман «Передышка» («La tregua», 1960), литературоведческий труд «Уругвайская литература XX века» («Literatura uruguaya — siglo XX», 1963) и др.

Роман «Спасибо за огонек» («Gracias por el fuego», 1965), которым мы впервые знакомим наших читателей с творчеством Марио Бенедетти, получил первую премию на Международном литературном конкурсе «Сеикс Барраль» в Испании, но сразу же был запрещен франкистской цензурой. В Уругвае и других странах Латинской Америки роман выдержал несколько изданий, поныне оставаясь бестселлером.

ТИТУС ПОПОВИЧ — TITUS POPOVICI (род. в 1930 г.).

Румынский писатель. Его роман «Земля» (в румынском издании «Жажда»—«Setea») был опубликован в нашем журнале (№№ 11, 12, 1958). В русском переводе вышел другой его роман—«Чужой». Перу Т. Поповича принадлежит несколько пьес и сценариев. Недавно на советских экранах демонстрировался поставленный по его сценарию фильм «Даки».

Публикуемая в этом номере повесть взята из журнала «Вяца ромыняскэ» (№ 1968).

■

КОБО АБЭ (род. в 1924 г.).

Имя этого видного японского писателя хорошо известно советским читателям. «Иностранная литература» опубликовала его романы «Женщина в песках» (№ 5, 1966) и «Чужое лицо» (№ 12, 1967). На русский язык переведены его фантастические романы «Четвертый ледниковый период», «Совсем как человек» и несколько рассказов.

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей вышедший в конце 1967 года роман «Сожженная карта».

■

СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ (род. в 1929 г.).

Известный монгольский писатель — поэт и новеллист, секретарь Союза монгольских писателей, главный редактор газеты «Утга зохиол урлаг» («Литература и искусство»).

Его первая книга стихов «Когда идешь по степи» вышла в 1949 году. За ней последовал поэтический сборник «Весенняя лирика». Обратившись к прозе, писатель создал цикл коротких рассказов и новелл, которые были опубликованы в сборниках «Когда приходит весна» (1959), «Хонгор-Зул» (1961), «У самого горизонта» (1963), «Пыль из-под копыт» (1964), «Рассказы» (1966), откуда взят рассказ «Земля под яблонями», публикуемый в этом номере. Он войдет в сборник «До новой встречи», выпускаемый издательством «Художественная литература».

Произведения С. Эрдэнэ печатались на русском языке в журналах и книжных сборниках, в 1965 г. был издан сборник рассказов «Чистый источник».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ (и. о. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 04585. Сдано в производство 4/VI-69 г. Подписано к печати 2/VII-69 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2). Уч-изд. листов 27,43. Зак. 2025.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394